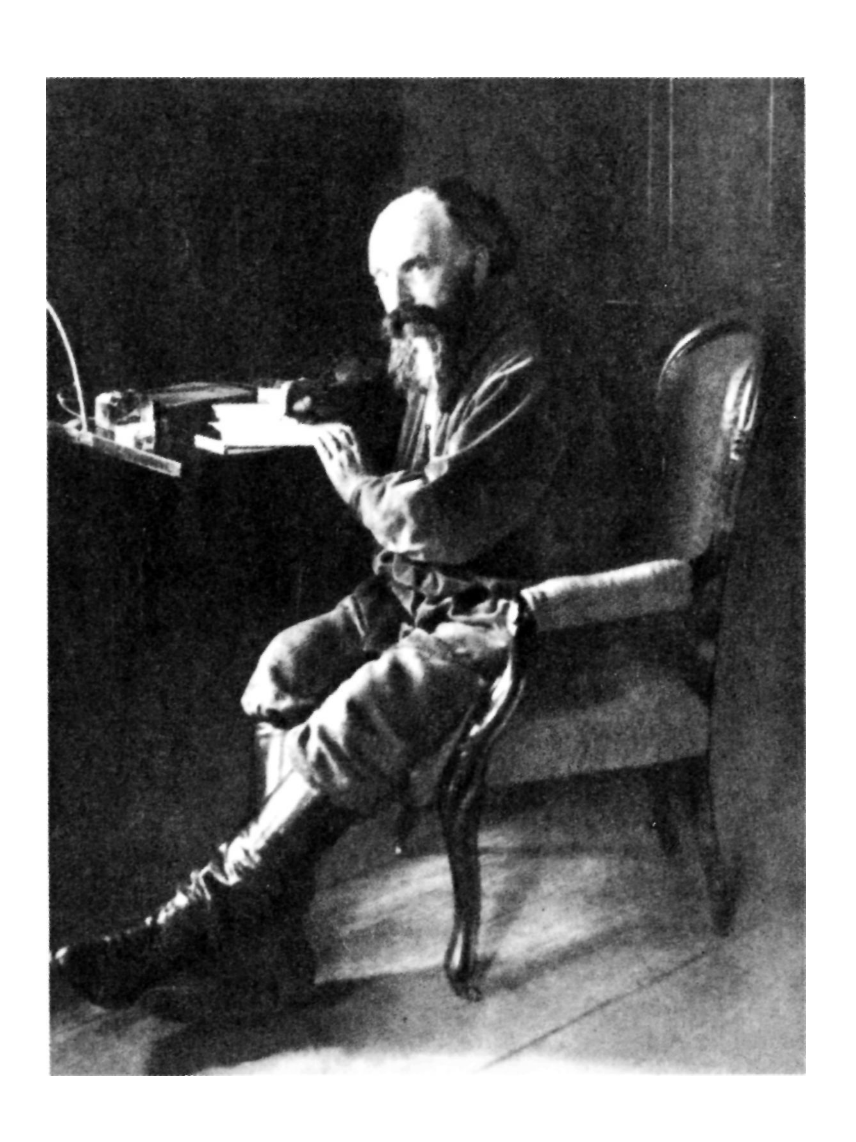
ВОСПОМИНАНИЯ О МИХАИЛЕ ПРИШВИНЕ





ВОСПОМИНАНИЯ О МИХАИЛЕ ПРИШВИНЕ

Сборник

Москва
Советский писатель
1991

ББК 83 3Р7
В 77

Составители
Яна Зиновьевна Гришина
и Лилия Александровна Рязанова

Художник Клара Высоцкая

В книгах этой серии в качестве иллюстративного материала, наряду с фотографиями последних лет, используются архивные и любительские, плохо сохранившиеся фотографии. Публикуя их, издательство стремится показать читателям редкий фотоматериал из жизни писателя, представляющий несомненный исторический интерес.

В $\frac{4603020000 — 40S}{083(02) — 91}$ 164—90

ISBN 5—265—01229—X

...К каждому я стремился как к другу.

М. Пришвин

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Судьба творчества Михаила Михайловича Пришвина (1873—1954) довольно сложна. С одной стороны, многие его произведения давно и широко известны и пользуются безусловным признанием читателей. С другой стороны, большая часть его литературного наследия была опубликована вдовой писателя В. Д. Пришвиной уже после его кончины, а публикация многолетнего дневника писателя в полном объеме начинается только в настоящее время.

Сам же Пришвин, который одними до сих пор понимается как «певец природы», другими — как философ, писал совершенно о другом: «Все больше и больше овладевает мною мысль о каком-то хорошем месте моем в будущем сознании людей...» Кажется, он имеет в виду не только писательство, но и самую жизнь свою — соединяет и то и другое в нераздельное целое.

Пришвин пытался осуществить в своей жизни и выразить в своем слове идею преображения бытия творчеством, идею обретения человеком той подлинной свободы личности, которую никто не может у него отнять. Практически осуществляя эту идею в жизни, он одновременно пытался осознать те нравственные законы, которые ведут к свободе и творчеству. Такая напряженная внутренняя жизнь требовала от человека едва ли не подвига. Недаром М. Горький как-то сказал о Пришвине: «Это не жизнь, а житие».

В той или иной степени это почувствовали все мемуаристы, хотя одни знали Пришвина в течение многих лет, а другие запомнили и описали редкие или одну-единственную встречу. Все воспоминания объединяет восприятие необычности, оригинальности личности Пришвина, начиная от внешнего облика, кончая манерой говорить и суждениями. Личность Пришвина вызывала у людей, которые были связаны с ним в жизни, неподдельный интерес.

Необходимость собирать воспоминания о М. М. Пришвине возникла вскоре после его кончины и была одной из важных сторон деятельности В. Д. Пришвиной. Эта работа продолжалась и после ее кончины до последнего времени.

Собранные воспоминания, хотя и с разной полнотой, освещают все периоды жизни Пришвина, поэтому они сгруппированы по принципу хронологической последовательности важнейших событий жизни писателя.

Первая часть объединяет воспоминания о дореволюционном периоде жизни Пришвина, начиная с детства. Несмотря на то что их немного и они довольно отрывочны, мемуаристам, дополняя друг друга, удалось отметить важ-

нейшие черты Пришвина — гимназиста, юноши, молодого человека, которые были присущи Пришвину до конца жизни.

Во второй части собраны воспоминания, относящиеся к 20—30-м годам жизни Михаила Михайловича. Нельзя не отметить, что исключительная напряженность творческой жизни Пришвина, его борьба за право на внутреннюю свободу, борьба за свой язык, стиль, темы, наконец, борьба за сохранение своей личности — все это оказалось скрытым от глаз мемуаристов, хотя отдельные штрихи, указывающие на это, есть в разных воспоминаниях.

Третья и четвертая части освещают последний период жизни Пришвина. Третья — предвоенные и военные годы до конца сороковых, а четвертая — последние восемь лет жизни, связанные с деревней Дунино, где Пришвин проводил в эти годы летние месяцы.

Воспоминания В. Д. Пришвиной поделены на две части. Из первой части видно, что сороковые годы были для писателя временем напряженной духовной жизни, временем рождения новых творческих планов. Во второй части ее мемуаров, относящихся к дунинским годам, очень важным представляется описание работы Пришвина над дневником.

Необходимо отметить, что все мемуаристы пытаются говорить не о жизненных частностях — хотя в большинстве случаев перед ними проходит внешняя жизнь писателя, — а о характерных чертах мировоззрения или поведения Пришвина, и это создает впечатление необычайной цельности его натуры. В подробностях бытовой жизни, в разговорах на различные темы, в поступках и переживаниях Пришвин остается неизменно открытым для окружающих, предельно искренним, доверчиво обращенным к каждому человеку как к равному в надежде на понимание и дружбу. И эту его серьезность в общении, судя по мемуарам, чувствовал каждый.

Кроме мемуаров в сборник вошла статья А. Ремизова, а так же отрывок из письма А. А. Ухтомского о Пришвине. Они действительно не носят мемуарного характера, но, поскольку авторы были современниками Пришвина, в этих материалах так или иначе отразилось восприятие Пришвина современной ему читательской аудиторией.

Дополнением к воспоминаниям стал дневник писателя. Поскольку Пришвин работал над ним ежедневно, то почти все люди, с которыми сводила его жизнь, были отмечены записями в дневнике. Это дало возможность прокомментировать мемуары соответствующими записями дневника. Иногда Пришвин описывает те же события, о которых вспоминает мемуарист, иногда это размышления, связанные с личностью нового знакомого или с темами, которые были затронуты в разговоре.

Так постепенно, с одной стороны, в воспоминаниях создается образ Пришвина таким, каким он воспринимался окружающими людьми, причем очень широкого круга, разных профессий, тот внешний образ, который как бы угадывает глубокое и внутреннее. С другой стороны, дневник открывает самого Пришвина — его душу.

И последнее. В. Д. Пришвина отмечает, что отношения Михаила Михай-

ловича с людьми волновали его своей «неразрешенностью». Чтобы понять, о чем идет речь, приведем несколько дневниковых записей Пришвина на эту тему. Первая относится к двадцатым годам, последующие сделаны в конце сороковых.

«Сегодня, друг мой, в Москве на Тверской я увидал, как два пожилых гражданина встретились и вдруг узнали один другого, наверно, не встречаясь полвека, один воскликнул: «Сережа!», другой: «Миша!» — и обнялись.

Я завидовал им: «Вот наговорятся-то!»

Вот и я так думаю иногда о себе: и мне когда-нибудь встретится друг, и я выскажусь до конца...

Такой я не один, и, значит, лирика моя в романе имеет всемирное значение жажды затерянного человека найти родную душу для встречи».

«Сегодня Ляля (Валерия Дмитриевна. — *Сост.*) обратила мое внимание на то, что за всю долгую жизнь не было у меня ни одного друга при большом разнообразии встреч. И еще замечательно, что эта мечта о друге через мое слово создала множество друзей моих — читателей, и сама Ляля пришла ко мне через эту мечту».

«У меня друзей не было, но зато к каждому я стремился как к другу».

И наконец: «Моя природа есть поэтическое чувство друга».

СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Путь к Слову — Пришвина В. Д. Путь к Слову. М., «Молодая гвардия», 1984.

ГЛМ — Государственный Литературный музей.

Собр. соч. в 8-ми томах — Пришвин М. М. Собрание сочинений в 8-ми томах. М., «Художественная литература», 1982—1986.

Наш Дом — Пришвина В. Д. Наш Дом. М., «Молодая гвардия», 1980.

Собр. соч. в 6-ти томах — Пришвин М. М. Собрание сочинений в 6-ти томах. М., Гослитиздат, 1956—1957.

Круг жизни — Пришвина В. Д. Круг жизни. М., «Художественная литература», 1981.

Большая часть дневниковых записей (неопубликованных или опубликованных ранее с купюрами) дана в соответствии с автографом (ЦГАЛИ). В остальных случаях указан источник.



Т. И. Коншина

В ХРУЩЕВЕ

Детство и отрочество Михаил Михайлович Пришвин провел в старинном имении Хрущево Орловской губернии Елецкого уезда. Усадьба Пришвиных, как большинство русских усадеб черноземной полосы, была очень поэтична. Большой двухэтажный дом стоял между садом и огромным двором, по сторонам которого полукругом тянулись служебные постройки — конюшни, амбары, сараи, погреб, дома для служащих. В тенистом парке старая липовая аллея вела от террасы к пруду, другая — еловая, к усаженной розами горке с беседкой наверху. Замечательный вишняк и яблоневый сад были известны в округе [1].

Отца Михаила Михайловича я не знала, он умер, кажется, еще до моего рождения, но жизнь в Хрущеве, какою я ее застала, ничем существенным не отличалась от других помещичьих хозяйств, владельцы которых, так же как и Пришвины, не имели никакого другого достатка, кроме земли. Хрущево приносило небольшой доход, но особенно прибыльно оно никогда не было.

Самые формы ведения хозяйства были везде однотипны. Почти всюду у средних помещиков практиковалась сдача покосов и озимых хлебов исполу крестьянам за обработку полей. Все сдавали свои фруктовые сады «огородникам» в аренду, выговорив хозяевам определенную часть урожая.

Помню, как на исходе лета в разных концах больших фруктовых садов во всех имениях строились шалаши для сторожей (то же бывало и в Хрущеве). Около каждого шалаша днем сидели на цепи большие собаки, ночью их спускали. А ближе к осени, когда созревали яблоки, груши, сливы, сад наполнялся чужими людьми. Все оживало. Начинался сбор. Чуть ли не под каждым деревом лежали на соломе разноцветные плоды. Раздавался стук забиваемых ящиков, скрипели подводы.

Самый быт Хрущева по внешним чертам тоже мало чем отличался от быта других усадеб. Помню, например, как в громадный двор в торжественные дни именин хозяйки или в большие праздники въезжали на парах, тройках, верхом соседи-

помещики. Помню, как на Троицу, по традиции окрестных имений, собирались девушки из деревни водить хороводы во дворе усадьбы. Хозяева смотрели с балкона второго этажа дома; молодежь сбегала вниз и присоединялась к хороводу, пели песни, плясали. После хорошего угощения все переходили веселиться на деревню.

Убранство дома было такое же, как во всех других имениях. Традиционная анфилада комнат создавала красивый интерьер. Длинные диваны стояли по стенам в так называемой «диванной». Стены кабинета были увешаны картинами с изображением рысаков — в память о собственном конном заводе. При мне завода уже не было, но тройка, на которой нас катали, была еще «своя».

Герои первой части романа «Кащеева цепь» — это в основном члены семьи и родные М. М. Пришвина. Это или мои родственники, или люди, с которыми я часто встречалась, поэтому я и решаюсь рассказать о некоторых из них.

Начну с Евдокии Николаевны Игнатовой, которая описана в «Кащеевой цепи» под именем «Дуничка», как ее и в жизни называл Михаил Михайлович. Она была его двоюродной сестрой со стороны матери, лет на пятнадцать старше Михаила Михайловича. Вероятно, поэтому она названа в романе теткой. Михаил Михайлович всегда говорил, что эта кузина имела на него большое влияние и способствовала формированию его личности, определению его вкусов и выбору занятий с самого раннего возраста. Он искренне любил и ценил ее [2].

На книге «Кащеева цепь», которую преподнес ей автор, дарственная надпись: «Милой Дуничке от Курымушки. М. Пришвин. 1.1.29. Сергиев. Я писал обе книги Кащеевой цепи шесть лет и не устал, потому что в первые дни моего сознания моя великая учительница Дуничка внушила мне долг и любовь к природе и людям».

Много лет спустя в напечатанной в «Литературной газете» заметке о фильме «Сельская учительница» Михаил Михайлович вспоминает о Дунечке [3].

Евдокия Николаевна была небольшого роста, но не хрупкая, а крепкая, сильная, в молодости очень хорошенькая. От природы умная, получившая хорошее, хотя и домашнее образование, она знала несколько языков, много путешествовала с отцом, много думала, много читала.

В ранней молодости вслед за братьями-студентами она уехала из семьи в Москву. Об этом московском периоде ее

жизни я знаю по ее рассказам. Она была сразу захвачена теми революционными идеями, которые характеризуют ту пору передовой русской мысли, и стала активной участницей нелегального студенческого кружка; вскоре предоставила свою комнату под явочную квартиру. Однако расплывчатая работа кружка, члены которого не имели никакой определенной программы, а только были воодушевлены идеями добра, свободы и справедливости, скоро разочаровала ее. Она примкнула к революционной народнической организации «Черный передел». Ее увлекали вопросы, связанные со справедливым распределением земельных богатств, ликвидацией крестьянской темноты и некультурности.

Но очень скоро, всего через несколько месяцев, этот московский период жизни Евдокии Николаевны кончился. Один из ее братьев (наш отец, проходящий в романе только мимолетно, как некрасовский «бледный господин») был задержан на фабрике Ганешина с нелегальной литературой, которую он там распространял среди рабочих. Последовал арест, затем ссылка. Евдокия Николаевна осталась одна. Что было делать? Она была предоставлена самой себе. Настоящего руководства не было. Много московских друзей было арестовано, другие уехали за границу во избежание ареста. Уезжать она не хотела. Так наступил новый этап в ее жизни. Она решила приносить непосредственную пользу — «нести свет в деревню». Это-то и была та работа, которую Михаил Михайлович в книге называет работой «на легальном положении». Она стала учительницей.

Надо представить себе эту барышню, совершенно одну, мало приспособленную к самостоятельной жизни, направившуюся в «медвежий угол» трудиться. Скачок от домашнего быта, от провинциального уюта был огромен. Правда, неподвижный уклад прежней жизни уже был взорван отъездом и революционной работой братьев, но все же потребовалась большая сила характера, чтобы избрать скромную трудовую жизнь вместо возврата к жизни в зажиточной семье. Этот сложный путь требовал выдержки и силы воли.

Евдокия Николаевна начала свою деятельность в снятом ею флигеле в одном из имений Елецкого уезда (в 20 верстах от пришвинского Хрущева). Купила несколько столов, скамеек и букварей и отправилась по деревне звать детей в школу. Сначала шли неохотно, но постепенно доверие было завоевано, и через два года произошел совсем необыкновенный для тех времен случай. От одной из ближних деревень явилась делегация крестьян с предложением устроить школу на земле, вы-

деленной ими для этого из общины. Евдокия Николаевна взяла деньги из своего приданого. Школа была ею выстроена; вместе с учениками был посажен фруктовый сад, и зеленый уголок среди полей на общинной земле был оазисом, где Евдокия Николаевна проучительствовала 40 лет. Из учеников ее некоторые становились учителями, были и агрономы.

Она не была аскетом, а скорее романтиком, может быть, даже несколько сентиментальна. Образ, который всегда волновал ее и являлся для нее светочем, — был Гарибальди (в романе это имя упомянуто не случайно).

В своей работе она шла ощупью, без всякой помощи со стороны. Выписывала книги по педагогике и постепенно овладела искусством преподавания. Но чем она владела еще более — это даром горячего человеческого общения со своими учениками. Они проводили у нее все вечера, воскресенья, праздники. Она им читала вслух, рассказывала о странах, где сама бывала с отцом, составляла с ними разные естественно-научные коллекции.

Теперь, в наше время, мы нередко читаем о славных скромных тружениках, которые лучшее, что в них заложено, несли и несут народу, но нельзя забывать и того, какие были времена, когда учительствовала Евдокия Николаевна. Приходилось лавировать между желанием расширить рамки дозволенного и постоянным опасением вызвать подозрения со стороны властей, которые могли погубить разом все начатое. На это уходило много сил.

Например, после длительных хлопот во время голода 1891 года Евдокия Николаевна наконец получила разрешение открыть на деревне столовую. Но вскоре, однако, начальство усмотрело, что там «разговоры ведутся». Столовую быстро закрыли. Другой пример. После 1905 года с большим трудом удалось получить разрешение открыть «чайную» на деревне (подобие клуба). Открыли. Народ буквально валом туда валил. В один прекрасный день приехал на дрожках урядник, велел заколотить «чайную», вывеску снять. Все так и кончилось.

В советское время деятельность Евдокии Николаевны была оценена по заслугам. Когда она уже не могла работать, она была помещена в «Дом Ильича» для ветеранов революции, где и скончалась в 1936 году, прожив там 10 лет [4].

О матери Михаила Михайловича Марии Ивановне много говорить не приходится. Мне кажется, это наиболее удачный образ во всем романе [5]. Он и наиболее живой, и наиболее

сходный с оригиналом. Может быть, поэтому и живой. Мария Ивановна была человек незаурядный. «В трудных случаях (она) всегда советовалась со всеми, ей было все равно, с кем бы ни советоваться, лишь бы свою мысль увидеть в зеркале и думать о ней, как о чужой», — пишет Михаил Михайлович, но к этому следует добавить: умная, властная, энергичная, она, посоветовавшись, всегда поступала по-своему, решительно и быстро. Вспыльчивая, даже немного взбалмошная, она часто поражала неожиданностью своих поступков. Она рано овдовела, осталась с пятерыми детьми, но не растерялась, а смело взяла в руки все сложное хозяйство и без всякой посторонней помощи сумела дать воспитание и образование всем сыновьям.

Нередко я, девочкой, увязывалась за ней в ее ежедневные утренние обходы владений. Как занятно было видеть ее, когда она, такая высокая, в широкой кофте навыпуск, быстро шагает по полям; то на току появится, то подойдет к стаду — везде нужен хозяйский глаз. То одного окликнет, то другого, и разговор ведется наподобие того, который описан в романе: «мужикам тем или энтим» сдать покос, какая корова стельная и т. п. Со всеми отношения личные, индивидуальные. Все они «были для нее самые разнообразные люди, а не мужики вообще» — так пишет о ней М. М. Пришвин. У кого-то из баб спросит о своем крестнике, сыночке трех лет, а кому-то напомнит, что надо скосить помещичий овес за то, что в прошлом году она давала ему лошадь отвезти больного старика в больницу.

В Марии Ивановне рядом с большим практицизмом и чрезмерной погруженностью в хозяйственные дела уживался постоянный интерес к литературе, к общественным вопросам. Она всегда выписывала толстые ежемесячные журналы и новые книги. Я видела у нее на столе только что вышедший «Дневник Адама Чарторыжского» [6], альманахи «Шиповник» [7] и другие издания. Чтение всегда откладывалось на зиму. Летом бывало не до книг.

Как сейчас вижу ее — сидит в своем глубоком кресле у окна и в темные зимние дни часами не отрывается от книги. Прерывала она чтение, когда хотела поделиться впечатлением от прочитанного. Подзовет к себе кого-нибудь из сыновей или племянниц, и начинается оживленное обсуждение книги. Такого глубокого интереса и страстного отношения к вопросам литературы я, положительно, ни у кого в том мире елецких помещиков не встречала. Вкус у нее был очень определенный. «Терпеть не могу мямлей, — говорила она с присущей ей резкостью суждений, — все только рассуждают, а дела не де-

лают». Она любила читать о характерах сильных, о людях энергичных, предприимчивых. Михаил Михайлович остроумно подметил случай, как она, только что покончив хозяйственные дела и будто еще погруженная в них, сначала молчаливо разливала вечером чай в гостиной, а потом вдруг, совсем неожиданно, произнесла: «Я вот все думаю. Какой колосс был, однако, Петр Великий!»

Интерес ее к событиям общественной жизни был очень велик.

В июле 1914 года мы гостили в Хрущеве (собирались родственники ко дню ангела хозяйки). Мария Ивановна с утра уехала по каким-то хозяйственным делам в Пальну к Стаховичам [8]. Мы ждали ее назад к обеду. Она задержалась. Начали даже беспокоиться. Вдруг во двор буквально влетает взмыленная пара с пристяжной, и Мария Ивановна со свойственным ей темпераментом и нетерпеливостью, еще не слезая с коляски, кричит что есть силы: «Ультимат! Сербия предъявила ультимат!» Так мы узнали о начале первой мировой войны.

У Марии Ивановны было несколько братьев, но особенно дружна она была с бессемейным братом Иваном. Все родные считали, что в характерах их было много общего. Они оба были люди волевые, не любили расплывчатости и сентиментальности, деятельные и энергичные. Оба были вспыльчивы, что называется «вскидчивы», оба любили говорить «об умном». Иван Иванович, как и Мария Ивановна, любил читать, верил в науку, в прогресс. Ему-то мать и доверила на время воспитание и образование сына Михаила, когда у того случились неприятности в Елецкой гимназии [9].

Иван Иванович был человек интересный, сложный, своеобразный. Смолоду кутила, очаровательный прожигатель жизни. Я помню множество семейных рассказов о его молодых годах; рассказы о знаменитых великолепных пикниках, которые он устраивал на своей родине (в Белевском уезде Тульской губернии), о его романах, о неожиданных сюрпризах, которыми любил поражать, о подарках, которыми славился. Когда он появлялся — становилось (рассказывали мне) весело, оживленно, шумно. Человек он был бесстрашный, заядлый охотник. Шкуры и рога — его охотничьи трофеи — висели у нас в московской квартире.

В жизни его, когда он был еще молод, произошел неожиданный и весьма существенный поворот. Его страстью были карты. Он много и крупно играл. Но вдруг фортуна изменила: стало как-то фантастически «не везти»... Иван Иванович

ставил и проигрывал, ставил и проигрывал. Когда собственных денег не осталось, спустил имение брата, а затем и изрядную сумму, которую ему одолжил друг. Тогда он решил: «Не возьму карты в руки, пока не верну долги». И вернул — сначала другу, потом брату, а затем разбогател и сам. Вот как это случилось. Этот человек сильной воли не впал в отчаяние, не пытался покончить с собой, а решил начать новую жизнь. Он уехал в Сибирь. (Поездка эта для нас теперь — пустяк, а представить себе, что все происходило лет 100 назад!) Не знаю, откуда он взял деньги на поездку, не знаю, с каким капиталом он начал дело — пароходство по сибирским рекам. Знаю только, что в период моего детства он уже б*о*льшую половину своей жизни прожил в Тюмени и был очень богат. В Москву он наезжал лишь изредка. Вот в эти приезды я его и узнала. Это был седой старик, невысокий, коренастый, с очень живыми глазами, правильными чертами лица. От всей его крепкой фигуры веяло какой-то не только физической, но и духовной силой. Отец наш говорил, что дядю своего он считает сродни первому гусару из повести Льва Толстого «Два гусара», конечно, с поправкой на время. Удивительная независимость в обращении со всеми поражала в нем. Ему интересно было все: и последние достижения науки, и новости литературы и театра, и политика. Отец мой всегда удивлялся, как это человек, не получивший правильного образования, живущий в глуши, вдали от центров культуры, — много знал, следил за всем и разбирался в основных проблемах общественной и культурной жизни. Вероятно, его огромная библиотека сыграла немалую роль.

И. И. Игнатов, как мне говорили, бывал часто своенравен, очень высокомерен, даже иногда жесток. Идеализировать его не приходится. Все эти черты так связываются с образом человека сильной воли и необузданного темперамента. Но он был смел, предприимчив и несомненно умен. С этим соглашались все его родные, даже те, которых он «не жаловал» и которым приходилось от него «терпеть».

Что сказать о братьях Михаила Михайловича? Насколько мне известно, большой близости между братьями не было [10].

Старшего, Николая, я совсем не знала. Он жил постоянно в Ельце и в Хрущеве почти не появлялся, родных сторонился. Что же касается Александра и Сергея, то оба они были честными тружениками, оба были земскими врачами. Александр Михайлович умер от тифа, добровольно отправившись на эпидемию сыпняка.

Романтизированная героиня «Кащеевой цепи» Марья Моревна создалась из образа прелестной кузины Михаила Михайловича Марии Васильевны Игнатовой[11]. Она была полна очарования для всех нас — ее племянниц, двоюродных братьев и сестер. Ее изящная, обаятельная наружность, ее увлекательные фантастические рассказы и милые поэтические образы, которые она умела вызывать в нашем воображении, — все это создавало вокруг нее атмосферу сказочности, романтической настроенности. Бóльшую часть своей жизни она прожила в Италии. Вернулась на родину в начале века и умерла в Москве в 1908 году.

Т. И. Игнатова-Коншина — дочь И. Н. Игнатова — двоюродного брата М. М. Пришвина по материнской линии.

С семьей Игнатовых связано начало писательского пути Пришвина. И. Н. Игнатов, врач по образованию, за распространение нелегальной литературы на заводах Москвы отбыл заключение и ссылку. Впоследствии он оставил медицину и многие годы, вплоть до Октябрьской революции, был сотрудником и совладельцем газеты «Русские Ведомости». В этой газете, начиная с 1905 года, публиковал свои многочисленные корреспонденции Пришвин.

[1] «Это маленькое имение, около двухсот десятин, было куплено дедом моим Дмитрием Ивановичем Пришвиным, елецким потомственным гражданином, у дворянина Левшина, кажется генерала.

После семейного раздела Пришвиных Хрущево досталось моему отцу, Михаилу Дмитриевичу Пришвину», — пишет в автобиографическом романе «Кащеева цепь» Михаил Пришвин.

[2] Составляя в 1918 году летопись своей жизни, Пришвин отмечает: «Двоюродная сестра Дуничка (орфография автографа. — *Сост.*) учит любить человека (Некрасовым)».

[3] В статье «Фильм о сельской учительнице» Пришвин, в частности, пишет: «Я смотрю на этот фильм, как на памятник близкому мне человеку... Тоже и я учился у одной такой учительницы и, может быть, ей больше всех обязан теми основами поведения, которые — хочу этому верить, а отчасти и знаю — определяют характер моего жизненного творчества» (Пришвин М. Дорога к другу. М., «Молодая гвардия», 1957, с. 339—342).

[4] В день похорон 10 июля 1936 г. Пришвин записывает: «Хоронили Дуничку, слушали речь, вроде того, что хороший человек, но средний и недостаточной революционной активности. Сам не мог говорить перед чужими, боялся разреветься. И не надо было говорить. Вечером хватил бутылку вина и так в одиночестве помянул Дуничку».

[5] Дневниковые записи о матери раскрывают глубокое понимание Пришвиным ее души, характера, осознание своего духовного родства с ней, роли в его жизни и творчестве.

Вот некоторые из них:

«Мать моя была добрым человеком, но не добродетельным, и я такой же...

У матери было так, что если бы никого не осталось возле нее, она бы сама создала себе восторг жизни, встречая всюду у большинства людей то, что она любила. Ей не нужно было возле себя постоянной стены ближнего, заслоняющего так называемым нравственным людям божий мир. Ее любимое существо встречалось ей всюду, переходящим от одного человека к другому».

«Мать моя была человек до того здоровый и радостный, что на несчастных и плохих людях не любила надолго останавливаться. Зато ничего, кроме хорошего, о ней не говорили, и только люди, постоянно страдающие душой, совсем хорошие тонкие люди потихоньку от себя не причисляли Марию Ивановну к людям морального сознания. В детстве в тайниках душонки своей я дивился несправедливости: мать моя на всех нас работает с утра до ночи, всегда помогает всем, всех выслушивает, будоражит своими нравственными выводами, так почему же такой-то человек не имеет нравственного сознания?

Слов, конечно, таких, как я теперь говорю, у меня тогда не было, но смысл был такой, и в этом же роде был и ответ мой. Мать моя так богата радостью, что другие хорошие же, но бедные люди ей завидуют и бедность свою возмещают якобы более глубоким сознанием. <...> Современным тогда была не радость, а страдание. <...> Я это до того понимал, что любовь свою к матери соединил в себе с чувством радости жизни и, слыша вокруг себя тонкое осуждение этому как ненормальному состоянию души человека, старался любовь эту на людях не выставлять и, притаивая, искать бессознательно ей оправдания.

Вот и возникла задача всей моей жизни сделать так, чтобы образ поведения свой построить не на страдании, а на радости.

Итак, мать моя, в то время человек несовременный, как бы поручила мне чувство свое к ней оправдать своей жизнью и сделать сокровенную сущность ее природы — радость жизни — чувством современным».

«Наконец-то понял я все, что делаю: я раскрываю душу своей матери, в этом и есть моя сила и мое счастье».

«Когда-нибудь я подберу все письма моих читателей за пятьдесят лет в таком порядке, что видно будет из них, как читатели поднимали меня и убеждали, но сейчас я скажу только об одном, и, может быть, самом главном читателе, от которого и сложилось во мне убеждение, что как настоящий писатель я существую в сердце своего друга-читателя. Этим первым читателем была моя мать Мария Ивановна Пришвина, умная, достойная и малообразованная женщина...» (Путь к Слову, с. 14—15).

[6] *«Дневник Адама Чарторыжского»* — имеются в виду «Мемуары князя Андрея Чарторийского и его переписка с императором Александром I». М., 1912.

[7] *«Шиповник»* — русское литературно-художественное издательство (1906—1918, Пб.—ПГ.), выпускавшее альманахи того же названия.

[8] *Пальна-Михайловское* — соседнее с Хрущевом имение богатых помещиков края Стаховичей.

[9] В 1889 г. Пришвин был исключен из гимназии без права поступления в другое учебное заведение. И. И. Игнатов забирает племянника в Тюмень, где тот заканчивает реальное училище.

[10] Взаимоотношения Пришвина с сестрой и братьями были непростыми. Однако дневник свидетельствует, что Пришвин стремится понять внутренний смысл жизненного поиска каждого из них и объяснить его для себя. В разные годы в дневнике появляются раздумья о братьях, о семье.

«Николай Михайлович (брат) был человек очень хороший, но, как все хорошие люди, он не знал, что хорош, и всю жизнь свою мучился, что он не такой, как настоящие люди. Где эти настоящие люди, кто они такие — в жизни он

едва ли видел, но настоящий человек был ореолом его личного существования; после в самые тяжкие минуты своей жизни он недоуменно меня спрашивал: если всё кругом так безобразно, то откуда же пришло к нему, что есть какой-то светлый человек?»

«Брат мой Николай имел душу такую же, как и я, но был несчастлив. Он ждал священной встречи с другом <...> Подозреваю, что и другие братья, Александр и Сергей, тоже бродили возле этого брачного пира, около того священного союза».

«Саша — какой-то артист по природе своей, которого нравственная Дуничка сделала доктором. Есть целый класс таких людей».

«Антоний очень похож для меня на брата моего Александра: бросил все, и медицину свою, и семью буквально за поцелуй — и умер <...> Нам удивительно в этом, что, несмотря на бедную добрую медицину и такую же свою жену и двух девочек, сочувствие наше осталось с Сашей. Так и Антоний написан как будто во свидетельство того, что жизненно-поэтическая мечта у человека выше всех царств и добродетелей» (Путь к Слову, с. 16—19).

«Обдумываю происхождение романтических взрывов у всех своих братьев и понял, что все это оттого, что отец наш не освободил нашу мать для любви, и бедная мать в борьбе за существование вся ушла в дело. Однако решил так с одной стороны, с другой стороны, я думаю иногда, что деловая мораль игнатовского рода моей матери необходима (полезна) была при «слабости» пришвинского дома (легкомыслие, охота, цветы, конский спорт, юмор)».

[11] Так же, как и Дунечка, оказала большое влияние на Пришвина: «Двоюродная сестра Маша прельщает неземным (Лермонтов)».

В дневнике Пришвин часто сопоставляет Машу и Дунечку:

«Дуничка была застенчивая, она всегда жила и пряталась за стеной. Маша, напротив, жила свободно в обществе. Маша была в искусстве. Дуничка в морали. <...> Дуничка пряталась, как бы виноватая тем, что не жила для себя и боялась жизни. Маша была правая, свободная, неземная... Прекрасная Маша умерла и стала для меня Марьей Моревной» (Путь к Слову, с. 35).

Д. И. Нацкий

ГИМНАЗИЯ

Первоначальное образование М. М. Пришвин получил в Елецкой гимназии, где в то время учился и я, но я был старше Пришвина на два класса. Лично я познакомился с Пришвиным, когда он был уже во втором классе. Этому знакомству посодействовало одно обстоятельство, которое чуть не повлекло за собою изгнание Пришвина из гимназии.

Дело было так: в августе месяце 1885 года, когда после каникул началось в гимназии ученье, в одно, как говорится, прекрасное утро по гимназии пронесся сенсационный слух, что четыре гимназиста, три из третьего класса — Тирман, Чертков и Голофеев, и один из второго — Пришвин, тайно ушли из своих квартир, оставив дома записки, что они отправились путешествовать в Америку и просят о них не беспокоиться и их не разыскивать.

Исчезновение ребят, конечно, крайне обеспокоило их домашних, которые не вняли просьбе беглецов. К розыску их были приняты меры как домашними, так и гимназическим начальством. «Путешествие» в Америку продолжалось всего одни сутки. Становой пристав Елецкой уездной полиции, по фамилии Крупкин, быстро обнаружил место нахождения путешественников на сделанном ими привале на берегу реки Сосны близ села Черкасы, километрах в 25 ниже Ельца. Готовясь к путешествию в Америку, названные четыре гимназиста купили старую плоскодонную лодку, взяли с собой одежду, постельные принадлежности, съестные припасы, охотничьи ружья и спустились вниз по Сосне, рассчитывая добраться в лодке до моря и дальше — в заманчивую страну, описанную Майн Ридом и Купером.

Экспедиция была задумана и осуществлена совершенно по-детски, и бравому становому приставу не стоило большого труда задержать «путешественников» и доставить их в гимназию на следующий же день.

Они прибыли в гимназию как раз во время большой перемены в сопровождении пристава, и я видел, как их вели по парадной лестнице во второй этаж, где находилась приемная комната директора гимназии Николая Александровича Закса.

Третьеклассники шли с понуренными головами и хмурыми лицами, а второклассник Пришвин заливался горькими слезами[1].

По постановлению педагогического совета гимназии двое участников путешествия, Тирман и Чертов, как старшие, да и к тому же раньше имевшие счеты с гимназическим начальством, были исключены из гимназии. Двое других, Голофеев и Пришвин, понесли более легкое наказание. Им понизили баллы за поведение до тройки и подвергли аресту — не помню, на какой срок [2].

Стремление Пришвина к путешествиям проявилось у него в раннем детстве. Его сестра Лидия Михайловна, гимназистка старших классов, училась с моей сестрой Сашей. В 1883 году, во время пасхальных каникул, она со своей матерью предприняли поездку в Крым. По возвращении Лидия Михайловна делилась впечатлениями с моей сестрой и говорила, что ей очень завидовал ее маленький братишка Миша, называл ее счастливицей и высказывал, что ему очень хочется путешествовать.

Узнавши лично Мишу Пришвина, я заинтересовался им и познакомился с ним поближе. Этому помогло то, что с ним был близок мой гимназический товарищ, Алексей Смирнов [3].

Припоминаю, как мы втроем пели по-французски «Марсельезу».

Пылкий темперамент подростка Пришвина трудно мирился с гимназической муштрой, и ему нередко приходилось, в виде наказания, оставаться в гимназии по окончании уроков. Это на гимназическом жаргоне называлось «оставлением без обеда». С учениками, подвергнутыми такому взысканию, оставался дежурный преподаватель.

И вот однажды, будучи в третьем классе, Пришвин был наказан арестом. Дежурным в этот день был учитель Василий Васильевич Розанов. Это был человек незаурядный. В то время он уже был автором большого философского трактата «О понимании» [4] и занимался журналистикой.

Как учитель, Розанов был сух, строг и придирчив. Ученики его не любили.

На следующий день после ареста Пришвин рассказал мне, что он много высказал дежурившему Розанову по поводу его взаимоотношений с учащимися гимназистами. «Розанов, — сказал мне Пришвин, — выслушал все внимательно, не перебивая и не оспаривая».

Однако в результате такого собеседования ученика с учителем в тот же день состоялось заседание педагогического со-

вета гимназии, которое вынесло постановление об исключении Пришвина из гимназии за неодобрительное его поведение, о чем утром следующего дня всем учащимся в назидание и было объявлено[5].

Пришвин был выпущен из гимназии с «волчьим билетом», без права поступать в другое учебное заведение.

Как большинству исключенных учащихся, ему грозило остаться недоучкой, но мать отправила его в Тюмень, где, по дядюшкиной протекции, ему удалось поступить в реальное училище, которое он и окончил.

Д. И. Нацкий — коренной житель г. Ельца, работал многие годы врачом в железнодорожной больнице.

Судя по дневникам и архивным материалам, в послегимназические годы общения с Пришвиным не имел. Воспоминания были присланы В. Д. Пришвиной в конце 50-х годов после кончины писателя.

[1] В фонде гимназии отложилось целое дело на 43 листах, посвященное «путешествию», — так называемое «Дело об увольнении из гимназии ученика Чертова Николая».

...Идея о путешествии в Азию, созвучная глубинной сути души Пришвина, действительно принадлежала ему. Константин Голофеев в своих показаниях заявил: «Первая мысль о путешествии была подана Пришвиным, которому о ней сообщил проживавший с ним летом в деревне кадет Хрущов, а Пришвин передал об этом Чертову, а затем мне. Устроил же побег Чертов».

Гимназическое начальство свою точку зрения на этот счет выразило в постановлении гимназического совета от 16 сентября 1885 года: «...Педагогический совет, рассмотрев все вышеизложенные обстоятельства, признал, что ученик Чертов был главным руководителем всех поименованных учеников и, располагая денежными средствами, приобрел на остальных влияние, которым и воспользовался для задуманного им путешествия, что им же, Чертовым, куплены револьверы, ружья, топор, порох, патроны и лодка; остальные ученики, по убеждению педагогического совета, были только исполнителями задуманного Чертовым плана, увлекшись заманчивостью его предложений, а потому совет постановил: ученика 11 класса Николая Чертова уволить из гимназии... а остальных, Пришвина, Тирмана и Голофеева, подвергнуть продолжительному аресту с понижением отметки поведения за 1-ю четверть учебного года. <...>»

С большой полнотой освещают как подготовку, так и весь ход путешествия показания самого Пришвина. Этот документ, автору которого не исполнилось еще тринадцати лет, интересен также тем, что он является, видимо, наиболее ранним сохранившимся пришвинским текстом:

«Нынешнее лето проживал у нас в деревне кадет 3-го Московского корпуса Хрущов со своею матерью. Хрущов рассказывал мне, что у них в корпусе бежали два кадета и возвращены были назад. Это я, когда приехал в город, рассказал Чертову, как новость. Чертов сказал, что кадеты дураки, потому что не умели бежать. Спустя неделю Чертов во время классных перемен начал подговаривать меня, Тирмана и Голофеева к бегству, говорил, что это очень заманчиво, что можно бежать так, что не воротят, и сказал, что у него уже все

готово, сказал, что есть деньги, оружие и что есть; сказал, что поедем с переселенцами, а потом сказал, что на лодке по Сосне в Дон, а из Дона по берегу Азовского моря.

Револьвер (два) Чертов вместе с Тирманом купил на свои деньги в лавке Черномашенцева, рядом с Богомоловым. Это он говорил сам и Тирман...

По дороге к Сосне мы остановились около кузницы, где Тирман сошел с извозчика, чтобы взять заказанные в кузнице мечи. Около моста Чертов дал лодочнику за лодку 25-рублевую бумажку и получил сдачи 6 рублей, и лодочник отдал лодку, в которую Чертов положил 3 ружья, ранец, в котором находились 3 пистолета, патроны, порох (5 фунтов), табак, спички, пули, дробь и отдельно мечи и топор.

Когда мы спрашивали, откуда у Чертова деньги, он сказал, что продал часы золотые. Мы спросили, чьи часы, он ответил, что родителей <...>.

Ночью, когда мы ехали по Сосне, Тирман испугался и просил Чертова, чтобы он отпустил его домой и дал ему один револьвер. Чертов рассердился сначала, а потом начал над ним смеяться. Тогда Тирман согласился остаться.

Ни у кого денег не было, мамаша мне денег не дает. Платил за все Чертов. Одно ружье он купил на базаре, как говорил Тирман, а где взял 2 другие ружья, не знаю. Он сам сказал, что топор взял из дома. Хлеб и соль на дороге покупал Тирман за деньги, которые дал ему Чертов. За перетаскивание лодки через плотину платил Чертов.

Когда мы увидели, что нас догоняют, то мы очень испугались. Чертов сказал, что нужно пристать к другому берегу, потопить лодку и бежать. Но в это время явился становой пристав Крупкин, нас задержали и возвратили в город.

Револьверы были заряжены, но их разрядил Крупкин, когда нас задержал, и положил в телегу, в которой ехали Тирман и Голофеев. <...>

М-ме Шмоль, у которой я с Голофеевым квартировал, тотчас же дала знать о моем побеге моей маме, и мама моя приехала из деревни в тот же день ночью, так что, когда нас возвратили, я застал свою маму у м-ме Шмоль. В этот же день меня вызывали в гимназию, и после меня в этот же день ходила в гимназию мама. Ученик II класса Елецкой гимназии Пришвин Михаил».

Исход гимназических лет Пришвина определило все то же его стремление к духовному освобождению, впервые заявившему о себе «путешествием в Азию». Сам писатель сказал об этом так: «Конец же пребывания моего в Елецкой гимназии был не чем иным, как продолжением неудачи побега в небывалое» («Русская литература», 1986, № 2).

[2] Пришвин был оставлен в гимназии, в частности, благодаря заступничеству учителя географии В. В. Розанова. Спустя много лет Пришвин пишет в дневнике: «Этих балбесов, издевающихся над моей мечтой, помню, сразу унял Розанов, он заявил и учителям и ученикам, что побег этот не простая глупость, напротив, показывает признаки особой высшей жизни в душе мальчика.

Я сохранил навсегда благодарность Розанову за его смелую, по тому времени необыкновенную защиту».

И в другом месте: «Страна обетованная, которая есть тоска души моей, и спасающая и уничтожающая меня — я чувствую — живет целиком в Розанове... Недаром он похвалил меня еще в гимназии, когда я удрал в «Америку». «Как я завидую вам», — говорил он мне».

[3] С А. Смирновым у Пришвина связано следующее воспоминание: «Из моей жизни. Преодоление неудач. В связи с чтением «Кащеевой цепи» мне вспомнилось (и как жаль, что я это не вспомнил, когда писал «Кащееву цепь»). Мне вспомнилось, что, когда после исключения меня из Елецкой гимназии Розановым Алеша Смирнов прислал мне сочувственное письмо с обвинением во всем Розанова (все были против исключения, он один), я ответил ему: «Дорогой Алеша, не вини Розанова — я сам во всем виноват. Я даже хотел было

застрелиться, и револьвер есть, но подумал, и оказалось, я сам виноват, так почему же стреляться, — и вот не стал». Что-то в этом роде написал, а умный Алеша письмо снес в гимназию, а из гимназии оно попало к матери и Дуничке, и вот почему все стали ухаживать за мной, как за больным и хорошим мальчиком».

[4] *О понимании.* Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания. М., 1886.

Экземпляр этой книги хранится в личной библиотеке Пришвина (ГЛМ) с наклеенным экслибрисом Пришвина и надписью: «Завет В. В. Розанова мне: Поближе к лесам, подальше от редакций».

[5] Постановление педагогического совета от 14 апреля 1889 года «об увольнении из Елецкой гимназии ученика IV класса Пришвина Михаила» последовало в ответ на докладную записку от «учителя Елецкой мужской гимназии Василия Розанова». Розанов писал: «Честь имею доложить Вашему Превосходительству о следующем факте, случившемся на 5 уроке 18 марта в IV классе вверенной Вам гимназии: ученик сего класса ПРИШВИН Михаил, ответив урок по географии и получив за него неудовлетворительный балл, занял свое место за ученическим столом и обратился ко мне с угрожающими словами, смысл которых был тот, что если из-за географии он не перейдет в следующий класс, то продолжать учиться он не станет, а выйдя из гимназии, расквитается со мною. «Меня не будет, и вас не будет», — говорил он, между прочим. Затем сел, и так как тишина класса не нарушалась, то я продолжал урок, до конца которого оставалось несколько минут. Через небольшой промежуток времени он встал и попросил извинения, ссылаясь на то, что вышеупомянутые слова сказаны были им в раздражении, при котором он вообще не может себя удерживать. Я предложил ему сесть, заметив, что о поступке его будет доложено Вашему Превосходительству. Он исполнил мое желание, еще раз сказав, что, принеся извинение перед всем классом, исполнил то, что от него требовалось, и по тону слов его было видно, что он считает это извинение почти заглаживающим вину. В субботу я остаюсь после 5-го урока дежурным с арестованными учениками, между которыми был и ПРИШВИН Михаил (за 2 по географии, по желанию, ранее выраженному г. классным наставником). Передавая ему запись, в которой родители извещались об его аресте и причине оного, я спросил его, что побудило его к поступку такой важности, и, указав ему на тон извинения, спросил его, какие вообще представления он имеет о себе и других людях, с которыми ему приходится вступать в отношения. Он высказал, что вообще не считает кого бы то ни было выше себя; что же касается до самого поступка, то он сделан был для того, чтобы выдаться из учеников, показав им, что он способен сделать то, на что никто из них не решился бы. Считая самый поступок выходящим из ряда обычных явлений гимназической жизни, а объяснения, его сопровождавшие, в высшей степени значительными с нравственно-воспитательной точки зрения, я почел своим долгом обо всем этом доложить Вашему Превосходительству, как высшему руководителю гимназической жизни и охранителю дисциплины в ней. Преподаватель В. Розанов. 20 марта 1889 г.» («Русская литература», 1986, № 2).

М. М. Введенская

ЕЛЕЦКИЕ ДРУЗЬЯ

С Михаилом Михайловичем я познакомилась еще в городе Ельце. В детские и ранние юношеские годы я его не знала. Мой брат Александр Михайлович Коноплянцев [1] учился вместе с ним в гимназии.

Компания у нас в Ельце была большая и дружная. Сдружились мы еще до того, как пришел к нам Михаил Михайлович. Всего было человек шестнадцать: студенты, высланные в Елец, и гимназисты. В Петербурге и в Москве тогда постоянно были студенческие беспорядки, за что в Москве, например, студентов сгоняли в Манеж или собирали в Бутырку, а потом разгоняли по разным местам, больше по месту жительства. Почти вся наша компания побывала в Бутырках или в Манеже. Высылали обычно на зиму, а иногда и на весь год, так что год учебы пропадал.

В первые годы, как я помню нашу компанию, нам было лет по 16—17. Я была самой младшей. Ставили мы уже вопрос о коммуне — брат мой, помню, должен был стать сапожником. Но женщин постановили в коммуну не принимать, и я сидела в соседней комнате и ревела.

Говорили о том, кто кем станет в будущем. Все выбирали такую профессию, чтобы не денег много зарабатывать, а быть поближе к людям.

Старший брат Николая Семашко мечтал быть агрономом и стал им потом. Две женщины из нашей компании поступили на Бестужевские курсы, две, как и я, стали медичками.

У всех была одна задача — служить народу. Личную жизнь вели аскетическую, это было наше твердое решение. Позже, когда мы жили уже в Петербурге, мы по-прежнему считали, что жить надо аскетически: никаких ленточек, платьев цветастых тоже не полагалось. А я очень любила цветы, помню, еще как-то лечу по улице весной с букетом сирени. Навстречу Маслов [2], лохматый, суровый, посмотрел на меня и сказал с презрением: «Эс-те-ти-ка...»

Часто по ночам мы зачитывались Марксом, расходились лишь к утру и шли на лекции... Помню, как в Ельце однажды разгромили нашу компанию. К нам постоянно ходил домой

классный наставник или инспектор из гимназии. На столе все пересматривал, в сундучок заглядывал, но мы, конечно, всё прятали, и в сундучке он видел только мои кружева да коклюшки. Приходил он к нам очень часто, раза два в неделю...

Но все-таки инспектор донес в гимназию. Устроили педагогический совет: трех исключили из гимназии, в том числе Семашко [3] и Маслова. Девочек не тронули, а также и моего брата пожалели, так как в то время у нас умер отец. Маслов был очень интересным человеком, дружил с Пришвиным. При Временном правительстве он стал министром земледелия.

Помню, ночью Маслов лезет к нам в окно, настоящий Марк Волохов [4], и говорит: «Выперли, брат!» А был он сыном крестьянина из местечка Ливны, недалеко от Ельца. После исключения из гимназии Маслов три года скитался, но потом все же окончил гимназию и университет. Семашко вскоре был принят в гимназию. На выпускных экзаменах все делалось для того, чтоб не давать ему медали: так закон божий заставили его отвечать на греческом языке, и он ответил. Сочинение блестящее написал, и за поведение ему «пять» поставили, но медали все-таки не дали.

Семашко был необычайно живой, остроумный человек. Он часто бывал у нас. Как появится — трень-брень на балалайке, и начинается веселье. Уже после окончания гимназии он опять приехал в Елец, так как был выслан за участие в студенческих беспорядках. Семашко — потомок известных польских Семашко, мать его — сестра Г. В. Плеханова.

Матери наши были дружны, так как и Николай Александрович Семашко и брат мой часто сидели вместе в Бутырках. Встретятся, бывало, обе матери, моя мама и говорит Марии Валентиновне:

— Ну как, Николашка сидит?

— Сидит!

— Мой Сашка тоже.

Семашко был одним из главных в нашей компании, куда вошел и Михаил Михайлович Пришвин примерно в 1898 году, когда снова вернулся в Елец и поселился у нас [5]. Жил он без всяких претензий, очень скромно, так что жилец был тихий, но выдумщик необыкновенный. Так, например, когда моя маленькая двоюродная сестра ему очень надоедала, то он, бывало, опояшет ее поясом и повесит на дверь, а она только кричит: «Мама!» А то целые сцены разыгрывал, например, пастораль из оперы «Пиковая дама».

Большой специалист был Михаил Михайлович играть на мандолине, и обычно любимым его делом было изображать

Кармен. Как-то вечером иду по улице поздно, часов в одиннадцать, все тихо, Елец спит, и вдруг Михаил Михайлович передо мной со своей мандолиной: «О Коломбина, я твой верный Арлекин...» Даже полицейский обратил внимание, пришлось замолчать. После ухода полицейского Михаил Михайлович опять взялся за мандолину, но полицейский снова пошел за ним следом, и мы вынуждены были спрятаться в церкви на паперти.

Озорной был Михаил Михайлович, но шутил не зло. Он и писал так, как говорил. И когда я читаю его рассказы, то читаю не глазами, а слышу, как он говорит, голос его слышу, смех слышу. Он всегда громко смеялся. В Ельце он у кого-то снял комнату и почему-то ходил в нее через окно, а не в дверь.

Помню, как-то в Петербурге является к нам Михаил Михайлович из заграницы, нарядный и в котелке. Нам его вид не понравился, так как мы одевались скромно и я лично терпеть не могла котелков. Стала я ему жаловаться на плохие условия жизни в квартире, которую снимала, говорила, что из-за постоянных ссор хозяев трудно заниматься. А он сразу предложил переселиться, так как в то время квартиру снять было очень просто. Через два дня он зашел вместе с двоюродным братом, и мы, никому ничего не сказав, собрали вещички, хлопнули дверью и ушли, тем более что за квартиру мной было уплачено. Помню, Михаил Михайлович схватил какие-то павлиньи перья и понесся с ними по лестнице, брат также шел с чем-то, а я с подушками. Так и переехали на новую квартиру. Этот случай говорит о решительности Михаила Михайловича, решил: раз, два — и готово.

Помню, приезжает как-то к нам с большим чемоданом и заявляет, что этот чемодан замечательный. На мой вопрос, чем же он замечателен, Михаил Михайлович открывает его, и в нем масса писем.

— Это всё письма моей невесты, — говорит Михаил Михайлович.

— Ну что же, дело хорошее, — отвечаю я.

— Хорошее, да не совсем, — говорит Михаил Михайлович, — я в отставке.

Говорил Михаил Михайлович об этом, как всегда, со смехом. Но шутка шуткой, а чувствовалось, что переживает глубоко, а если не говорит, то и нам царапать его душу нечего. Про эту невесту его я больше ничего не знаю. Кажется, она была из очень богатой семьи... [6]

Помню еще, дело было во время революции, когда был голод. Приехала я к брату, сидим разговариваем. Вдруг неожиданно является Михаил Михайлович, на ногах калоши, корот-

кие валенки, в шляпе — и больше ничего теплого, а ведь был октябрь месяц. «Я, — говорит, — к вам совсем приехал» [7].

Ну совсем, так совсем, мы ему всегда рады. Вытаскивает из кармана цветок земляники и говорит: «Вот нашел какое чудо, и это все, что у меня есть». Пришел он пешком. Спрашиваем, а где жена. Он отвечает, что она приедет завтра. На другой день действительно подъезжает телега, а в ней жена Михаила Михайловича, и с нею трое ребятишек — два его сына и пасынок. Привезли две-три краюхи хлеба, немного огурцов, узелки какие-то и собаку. Прожили у нас несколько дней, а затем брат отправил их на Смоленщину. Михаил Михайлович остался у нас. Он был у нас «кухонным» мужиком; мы с женой брата картошку чистим, а он воду таскает да какие-нибудь истории рассказывает, а выдумывать истории он был большой мастер.

Город Елец во время гражданской войны несколько раз переходил из рук в руки. Михаил Михайлович был в это время в Ельце, он даже стоял под расстрелом. Этот случай я точно знаю, так как он сам рассказывал [8].

Была я у Михаила Михайловича в Загорске. Помню такую картину: около дома стоит автомобиль, а под автомобилем Михаил Михайлович лежит в шелковом бухарском халате.

В комнате на столе Михаила Михайловича стоял корень женьшень, на стене висели подаренные ему художниками картины.

В конце жизни Михаил Михайлович ушел в философское созерцание мира, в это время у нас с ним не было обыденных разговоров, а всегда они носили серьезный характер.

Несмотря на свою постоянную шутливость, он был необыкновенно внутренне сдержан, и потому понять его было очень трудно. Много есть интеллигентных людей, которые говорят, что читать книги Пришвина трудно.

А вот несколько дней тому назад у меня был приятель Михаила Михайловича колхозник Дмитрий Павлович Коршунов [9]. Он очень хорошо передавал содержание произведений Пришвина, цитировал его наизусть, чем очень поразил меня.

М. М. Введенская — родная сестра А. М. Коноплянцева — елецкого друга писателя. Одна из первых выпускниц Бестужевских курсов, врач. В течение всей жизни поддерживала дружеские отношения с Пришвиным.

[1] В дневниках писателя сохранились записи об А. М. Коноплянцеве:

«13 декабря 1949. Коноплянцев был моим другом, и от него веяло на меня

славянофилами. От него остались знакомые мне книги от Аксакова до К. Леонтьева и Розанова».

«Вспомнился мой настоящий друг Александр Михайлович Коноплянцев, и я решил найти его могилу и на кресте поставить свои слова: «Большому читателю» (Путь к Слову, с. 89).

[2] *Семен Маслов* — один из елецких друзей Пришвина. «Революционеры бывают пассивные, как Семен Маслов, как Шатов *, то есть предполагающие личную мораль и страдание, ответственность личную...» — записывает Пришвин, вспоминая гимназического друга (Путь к Слову, с. 66).

[3] *Н. А. Семашко* (1874—1949) — земляк писателя. Под его влиянием в гимназии началось увлечение Пришвина марксизмом. Став писателем, Пришвин отошел от политической борьбы, но перед революционером Семашко он чувствует моральную ответственность за выбор своего пути служения народу — пути художника.

26 января 1941 г. он вспоминает свой давнишний разговор с другом и записывает в дневнике:

«И вот в 1906 году (ошибка в рукописи — книга вышла в 1907 г. — *Сост.*), когда вышла в превосходном издании моя первая книга... «В краю непуганых птиц», мне под величайшим секретом сказали, что из эмиграции тайно приехал Н. А. Семашко и приглашает меня на свидание. Мне было тяжело идти к деловому человеку революции, потому что и в своем-то новом деле я еще не был тверд и ничем не мог доказать право свое на вольноотпущенника революции. Все шло хорошо, пока мы были на людях, но когда наша хозяйка оставила обоих ею любимых друзей ночевать в одной комнате, обоим стало неловко. Перед сном у нас был такой разговор:

— Ты что же теперь делаешь?

— Пишу.

— И это все?

— Все, конечно, агрономию бросил: не могу совместить.

— И удовлетворяет?

— Да, я хочу писать о том, что я люблю: моя первая книжка посвящена родине.

— Нам не любить теперь надо родину, а ненавидеть.

— Нашу Елецкую родину и я не люблю.

— Ты всегда имел наклонность мыслить по-обывательски, разве я о Ельце говорю?

— Нет, я не обыватель, а только склонен мыслить образами: моя родина не в Ельце, а в краю непуганых птиц. Я верю, что такая моя родина существует, и я люблю ее беззаветно. А революция? Революция не любовь, а дело. Моя любовь включает и революцию, поскольку она есть движение духа. Если бы мне можно было участвовать в революции, как Рудин, я бы не отказался от такого мгновения и, может быть, давно погиб бы на Красной Пресне. Но делать это медленно, организовывать, выжидать, копить в себе силу ненависти, молить неведомого бога о мщении, я этого не могу, неспособен.

— К чему же ты способен?

— К такому же медленному накоплению любви в слове. Это тоже нелегко, еще, может быть, и труднее, но я к этому более способен. Я это могу...»

Н. А. Семашко послужил прототипом образа Ефима Несговорова в романе «Кащеева цепь», а также прототипом героя рассказа «Старый гриб» (Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, 5).

[4] Персонаж романа И. Гончарова «Обрыв».

[5] В 1897 году Пришвин, будучи студентом Рижского политехникума, принимал участие в работе марксистского кружка под руководством В. Д. Уль-

* Персонаж романа Ф. М. Достоевского «Бесы».

риха, за что был арестован и помещен в одиночную камеру Митавской тюрьмы (ныне Елгава). В 1898 году он получает разрешение выбрать для жительства на три года любой университетский город. Пришвин выбирает Елец. Составляя летопись своей жизни в 1918 году, он отмечает: «Высланный на родину в Елец — продолжаю быть марксистом».

[6] Речь идет о юношеском романе Пришвина с *Варварой Петровной Измалковой,* студенткой Сорбонны, встреча с которой произошла за границей. Разрыв с нею Пришвин переживал очень глубоко и в течение всей жизни возвращался в дневнике к своей первой любви:

«Вернулся, читая о Гёте, к своей первой любви, к тому особенному чувству, в котором как бы предусмотрен отказ («я не согласна»), — и все чувство направлено к тому, чтобы пострадать («я согласна» — значит, конец любви). Это любовь поэтического эгоиста, бессознательно отнимающего у возлюбленной душу».

«Подлость тут скрывается в том, что недоступность была потребностью моего духа, может быть, просто даже условием обнаружения дремлющего во мне таланта».

«Мне снилась на сене под шум леса моя прекрасная дама... Я просыпаюсь, и по тому единственному чувству, сопровождающему такие сны, узнаю... Мое неразделенное одиночество, многолетняя жажда общения, и шум деревьев, и эта далекая звезда — это все она».

«Как великие однолюбы, я все-таки про себя ее ждал, и она постоянно ко мне приходила во сне. Очень долго спустя, когда я уверился, что хотя писатель я очень медленный и неуспешный, но настоящий, я понял, что моя «она» у настоящих поэтов называется Музой...» (Путь к Слову, с. 87).

Отношениям с В. П. Измалковой посвящены главы автобиографического романа «Кащеева цепь».

[7] В начале революции Пришвин поселяется в Хрущеве на полученном в наследство от матери наделе земли, начинает сам обрабатывать землю, строит дом. Но в октябре 1918 г. крестьяне представили ему «выдворительную» — Пришвин оставляет Хрущево и переезжает в Елец, где в 1918—1919 гг. Пришвин работает учителем русского языка в бывшей Елецкой гимназии, пытается организовать краеведческое дело.

[8] См. об этом очерк «Мои тетрадки», — Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5, с. 257—262.

[9] См. ниже его воспоминания о Пришвине.

Е. Н. Волынцев

МОЛОДОЙ ЗЕМСКИЙ АГРОНОМ

Более полувека прошло с тех пор, как я познакомился с Михаилом Михайловичем Пришвиным. Было это в 1903 году, когда я был учителем земской школы в селе Березине Борщовской волости, Клинского уезда, Московской губернии. Мне было 30 лет. Это был расцвет земской эпохи, когда в русском обществе распространилось «хождение в народ», чтобы реально своей работой быть полезным крестьянам.

В это время в Клинское земство приходит молодой агроном М. М. Пришвин, ему тоже около 30 лет. Клинское земство было в числе прогрессивных, имело хорошо поставленные школы и благоустроенные больницы. Агроном Пришвин предлагает свои услуги[1].

Клинское земство охотно принимает его в число своих земских работников (третьего земского элемента) — так назывались земские служащие — агрономы, учителя, врачи и т. д., и поручает Пришвину заведование земским сельскохозяйственным складом.

С жадностью молодой агроном принимается за новую работу.

Конечно, он мог ограничиться просто снабжением населения сельскохозяйственным инвентарем, кровельным железом или иными предметами крестьянского обихода. Но Михаил Михайлович повел широкую культурно-просветительскую работу по всему уезду.

М. М. Пришвин частенько стал приезжать в Березинско-Биревский район, где я работал учителем. Здесь его очень интересовала сельскохозяйственная мастерская, организованная жившим там прогрессивным земским гласным, неким Анзимировым. Мастерская выделывала в те времена особые однолемешные плуги под названием «биревские», получившие потом среди крестьян широкую известность, они были легкие, удобно сваливавшие земельный пласт. Плуги эти впоследствии заменили допотопную соху и в свое время сыграли в деле развития сельского хозяйства прогрессивную роль.

Приезжая в Бирево и Березино, Пришвин обыкновенно

останавливался у меня в школе и жил по нескольку дней. Мы с ним вместе организовали в школе агрономические чтения с «волшебным фонарем». На эти чтения кроме учащихся сходилось местное крестьянское население всех возрастов: в перерывах выступал школьный хор, распевавший русские народные песни, в которых также живое участие принимал Пришвин, подпевая деревенским ребятам своим нежным тенорком. Я управлял хором и «фонарем», показывая своевременно картины, а Пришвин вел чтение-лекцию. Я вспоминаю, с каким особым увлечением он вел эти чтения, нам казалось, что он подобрал ключ к уму и сердцу народа.

Михаил Михайлович поражал нас тогда заражавшей всех какой-то своей особенной живостью и искренностью и еще неожиданными поворотами мысли, как бы проливавшими новый свет на обыкновенные явления. Это всегда возвышало нас, увлекало к новым веяниям и одухотворяло нас.

С тех пор прошло так много времени, что реальные подробности нашей жизни уже стерлись в памяти, но осталось живое ощущение внутреннего образа очень интересного, великодушного, широкого человека. Михаил Михайлович в те годы производил часто впечатление большого ребенка.

Вспоминаю, что на одной из наших агрономических лекций Михаил Михайлович рассказывал о благоприятных почвах и необходимых условиях питания растений, в частности об азоте. Один пожилой крестьянин Осип Николаевич Прунцов во время чтения подал такую реплику: «Ты все твердишь: азот, азот, что ты все только говоришь нам, а где он, этот азот? Ты нам его покажи на деле».

Тогда Михаил Михайлович обернулся ко мне и говорит: «Давай, Евгений Николаевич, покажем Осипу Николаевичу этот азот» — и предложил заложить опытный участок. На этом участке посеяли отборными семенами одну меру ржи, удобрили азотом, и на следующий год получился от этой меры ржи совершенно необычный, высокий урожай: собрали 52 меры. А за Прунцовым с тех пор сохранилась кличка до самой смерти Осип Азотыч.

Под влиянием этих опытов и агрономической пропаганды М. М. Пришвина все село Березино вскоре перешло с традиционной трехполки к четырехполью, стали одно поле отводить под клевер.

Вспоминая далекие времена нашей молодости, я должен сказать, что у меня на всю жизнь сохранилась в памяти светлая личность М. М. Пришвина. И пусть моя капля живых воспоминаний сольется с рекой других воспоминаний и хотя бы

несколькими штрихами даст представление о молодом агрономе М. М. Пришвине, ставшем знаменитым писателем — классиком родной советской русской литературы [2].

Воспоминания заслуженного учителя РСФСР *Е. Н. Волынцева* относятся к началу агрономической деятельности Пришвина.

Хотя знакомство с будущим писателем было коротким, автор увидел в молодом агрономе незаурядную личность.

А для Пришвина жизненные впечатления того времени проросли через много лет художественно-завершенным образом в одной из самых поэтических новелл писателя о любви — «Фацелия».

[1] В очерке «Охота за счастьем» Пришвин пишет об этом времени, когда он вернулся из Германии после окончания университета: «Вернувшись в Россию, я встретился с запрещением въезда в столицу и устроился на службу в земстве как агроном.

В то время ученому агроному в земстве было очень трудно определиться, и все дело сводилось к устройству кредитных товариществ, к пропаганде травосеяния и торговле в земском складе разного рода сельскохозяйственными орудиями и семенами. На этом деле я мог пробыть всего только год...» (Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3, с. 13).

[2] В раннем дневнике сохранилась запись, относящаяся к этому времени. Она выдает внутреннее состояние Пришвина в связи с разрывом с невестой, глубоким переживанием этого разрыва, неуходящей любви к ней. Эта запись — исток поэтической миниатюры поэмы «Фацелия», которая будет создана много позднее — в 1940 году.

Вот эта запись:

«Фацелия. Ехали мы с агрономом Зубрилиным осматривать клевера в Волоколамском уезде. Агроном Зубрилин, толстый и на вид жизнерадостный человек, восхищенно показывал мне клевера — цветущие, душистые. На помещичьей земле было целое необъятное поле клевера. На крестьянской — полосками. Мы задыхались от запаха клевера, такого сладкого, полного счастья, что становилось даже кисло во рту, и к этому запаху как будто чуть-чуть примешивался запах детской комнаты с пеленками.

И вдруг среди красного клевера показалось небольшое лиловое поле фацелии — медоносной травы. Странный цвет в наших полях...

Неожиданно спросил меня Зубрилин: «Сколько вам лет?» — я сказал. И он продолжает: «Теперь уже кончено: она не придет...»

И вдруг зарыдал. Мы остановили лошадей. Он все продолжал рыдать. Сбегал кучер за водой. Он выпил, оправился и стал разговаривать о какой-то сенокосилке новой конструкции.

Так это и кончилось, и прошло, и тайна этого толстого семейного человека, который хорошо устроился, чуть-чуть приворовывал, исчезла и осталась на лиловом поле фацелии среди душистых клеверов с их сладким запахом.

Зубрилин был весь как природа; что там делается, то и у него: поставь ему под мышку барометр — можно бы узнавать погоду» (Путь к Слову, с. 95).

Е. П. Пришвина

МОЯ ЖИЗНЬ С МИХАИЛОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ

Родилась я в деревне Следово Смоленской губернии, Дорогобужского уезда, в семье Бадыкиных. Жили бедно: отец рано умер, мать одна маялась с детьми — кроме меня было еще четверо.

Все было так убого в нашей жизни, так нищенски, что и рассказывать-то стыдно. Вся жизнь проходила в тяжелой работе. Я все умела: и жать, и косить, и скотину обихаживать, да что говорить, ни одна крестьянская работа мимо моих рук не проходила.

Но бывали все же и праздники. Редко, правда, а все же были дни, которые вспомнить радостно. В праздник не работали, это даже за грех считалось. Такого праздника ждешь, бывало, как красного солнышка. Особенно любимый был праздник — Троица, а за ней — Духов день. Этот праздник — летний. В этот день мы уходили в рощу, хороводы водили, песни пели — я и плясать, и петь одна из первых была.

Недолго длилась моя девичья жизнь. Вскоре просватали меня за Филиппа Смогалева. Просватали против моей воли, потому что Смогалевых двор считался богатым: у них лошадь была. Мне тогда было шестнадцать лет, ему — двадцать два. Жених не нравился мне, я плакала. А мать уговаривала:

— Ты там сыта будешь, и соседство близкое: будет ребенок — я присмотрю.

Когда под венцом стояла, хотела крикнуть, что, мол, не согласна, меня неволей отдают. Но пока с духом собиралась — ведь на это все же смелость *нужна*, — венчанье шло своим чередом. Вот уж и вокруг аналоя повели — всё: повенчали.

Муж был пьяница и безобразник. Ни доброго слова, ни ласки я от него ни разу не слышала, не видела. Он бил меня без вины, жизнь была — сплошная мука.

Земский начальник знал о моей тяжелой жизни и распорядился выдать мне на три месяца паспорт — как ушедшей в город на заработки. Я мешок с пожитками собрала, Яшу у матери оставила — и уехала. Хотела прямо в Москву. Да меня отговорили — ты, говорят, там пропадешь. Лучше в какой-нибудь небольшой городок. Вот так и очутилась я в Клину.

Поступила на работу в прачечную. Работала, пока срок паспорта вышел. А дальше что делать? Видно, хочешь не хочешь — приходится к мужу возвращаться. Я бы, кажется, лучше под поезд легла, да ведь у меня Яшенька. Делать нечего, собрала я мешок в дорогу. И тут приходит знакомая моя, хорошая женщина, Акулина, и говорит, что живут тут поблизости два холостяка — Михаил Михайлович Пришвин да Петр Карлович (фамилии не помню). Им прислуга нужна. Только я это услышала, мешок в сторону и, не раздумывая, прямо к ним пошла. Думаю, будь что будет, хуже не станет.

Михаил Михайлович посмотрел на меня и засомневался:

— Женщина красивая, молодая, как бы не стали к ней солдаты ходить!

Однако же взял меня. Солдаты не ходили, а мы с Михаилом Михайловичем скоро друг друга полюбили и сошлись как муж с женой *.

Михаил Михайлович был тогда такой живой, верткий, болтал много и курил. Со стороны посмотреть — пустой человек. Петр Карлович мне так и говорил:

— Ты, Фрося, его остерегайся: он пустой человек, ненадежный. Обманет и бросит.

Однако же не бросил. Конечно, жениться по-настоящему мы не могли: я — замужняя, а о разводе в те времена-то в деревне и понятия не имели. А мы просто вот так стали жить. Земский паспорт мне выправил. Яшу к себе взяли — Михаил Михайлович сам настоял.

Осенью родился наш первый сын Сереженька. Мы к тому времени переехали в Петербург. Сережа там заболел, и вскоре мы его схоронили.

Первый свой рассказ Михаил Михайлович написал, пожалуй, в тот год, когда родился Лева. Имя это ему отец выбрал. О чем был этот первый рассказ — я не помню. Что-то об огоньках на реке. Собираясь посылать его в журнал, Михаил Михайлович попросил меня благословить рукопись. Я конверт перекрестила и опустила в почтовый ящик. Рассказ был напечатан в «Русских Ведомостях».

Когда мать Михаила Михайловича узнала, что ее сын женился на «простой бабе», она, конечно, была очень недовольна. Приехала к нам посмотреть как и что. Мария Ивановна гордая была очень, сблизиться с ней было трудно. Но все же сказала сыну, а он мне передал:

---

[1] Официально брак был оформлен после Октябрьской революции.

— Ты, Миша, держись этой женщины, не обижай ее, она дельная и добрая.

Из Петербурга мы уехали в Брынь. Мы вообще часто меняли место. Характер у Михаила Михайловича был непоседливый, беспокойный. Но еще и то было, что его интересовали новые места и новые люди — как писателя. Так много с места на место переезжали, что я и не все помню — откуда куда. Так вот после Петербурга жили мы в Брыни. Летом к нам приехала погостить Михаила Михайловича сестра — Лида. Мне Мария Ивановна много подарков с Лидой прислала, вот я и говорю:

— Чем мне ее отдарить, просто и не знаю!

А Лида:

— А вот чем: мать ведь никогда не видела, как брусника растет. Давай срежем целую кочку с брусникой и мохом — как есть целиком, и я ей отвезу. Так и сделали. Срезали кочку, я подняла голову — вижу, дым над городом валит, да и звон слышен — пожар в Брыни! Побежали домой в гору, себя не помня: дома у меня дети с нянькой одни...

Михаил Михайлович как увидел пожар, схватил коня чьего-то, сел и раньше нас до дома доскакал. А дом-то весь в огне! Дети, слава Богу, целы. Я было бросилась в дом, да где там!

Переехали мы в Белев. Мы туда потому поехали, что место дешевое, садов много, Михаил Михайлович любил этот городок. Мы там недолго жили, одну зиму только, а оттуда переселились опять в Петербург. Из Петербурга — в Новгород. Там Михаил Михайлович изучал старинные церкви, монастыри, дома разные старые. Уехал он один, а я потом за ним следом с тремя детьми, с вещами и собаками. Это уж моя судьба такая — по всем путям-дорогам так вот ездить.

Приехала я в Новгород в час ночи. Добралась до квартиры, которую Михаил Михайлович снял. И застала я в этой квартире Бог знает что... Там Михаил Михайлович сдружился с художником Мангонари. И решили они к нашему приезду отделать квартиру совсем особенным образом. Одну комнату покрасили в синий цвет, другую — в оранжевый. И ситцу купили двадцать аршин в цвет — тоже синего и оранжевого, на занавески. Все это они затеяли без разрешения хозяйки дома, жены полицейского, она в ужас пришла, собралась в суд подавать...

Переехали мы на другую квартиру, к батюшке Фортификатову, а осенью уехали в Велебицы. В эту осень началась война, а у Михаила Михайловича мать умерла. Схоронил он ее и поехал на фронт [1]. В 1916 году мы переехали в материнское имение в Хрущево. И вот однажды подкинули нам записку,

что завтра придут имение громить и Михаила Михайловича убить собираются. Что делать? Решили, что надо ему на время скрыться. Вот он оделся во что похуже, взял в ладанку родной землицы, я его перекрестила на дорогу — и он ушел. А вскоре нас в самом деле пришли громить. Ночью пришли и прежде всего потребовали хозяина. Когда убедились, что его нет, пошли по дому грабить. Первым делом со стены сорвали драгоценную икону, новгородский складень. Потом рожь потащили из кладовой.

Имение мы все-таки успели тогда продать. Куда ехать жить? И получилось так, что Михаил Михайлович с Левой оказались в Ельце, а я с Петей — в Смоленской губернии. Я еще о Яше не сказала: он в Красную Армию ушел. Мы долго о нем ничего не знали, потом получили известие, что он убит в Сибири на Колчаковском фронте.

Как мы жили в семье? Да всяко было. Михаил Михайлович горяч, в гневе несдержан. Характер у Михаила Михайловича был не из легких. Он был человек-одиночка.

Где бы мы ни жили, порядок бывал примерно один и тот же. Михаил Михайлович вставал с рассветом, в летнюю пору иной раз часа в три. Ему с вечера заготавливался самовар: вода налита, угли засыпаны и сухие лучинки приготовлены. Ему только поджечь и под трубу поставить. Михаил Михайлович сам себе чай заваривал (пил только свежий и крепкий), завтракал и тут же в лес шел или дома за работу садился. К 12 часам должен быть готов обед. После обеда Михаил Михайлович ложился отдыхать и вставал часа в четыре, к чаю.

Прислуги настоящей у нас не было. Жили все больше в тесноте, да и платить дорого. Я брала себе в помощницы какую-нибудь девчонку из деревни, но самое главное сама делала. Да и что же мне-то делать было? Какая от меня польза? Я ведь неграмотная, только в Петербурге недолгое время ходила в воскресную школу — вот и все мое образование. Я и старалась делать, что могу. Муж мой не простой человек — писатель, значит, я должна ему служить. И служила всю жизнь как могла [2].

Е. П. Пришвина (1883—1953) — первая жена Пришвина, с которой он прожил бóльшую часть жизни. Они встретились в 1903 году и были вместе до 1937 года. Записи дневника писателя открывают и существо их взаимоотношений, и глубокие, сложные причины семейной драмы. Воспоминания были записаны женой старшего сына писателя Г. Б. Фосс.

[1] Пришвин совершил две поездки на фронт в качестве корреспондента от газеты «Русские Ведомости». Первую — в сентябре — октябре 1914 года, вторую — в феврале — марте 1915-го.

[2] *«1905.* Через год после нашей встречи в Париже (имеется в виду первая любовь Пришвина В. П. Измалкова. — *Сост.*) я сошелся с крестьянкой, она убежала от мужа с годовалым ребенком Яшей. Мы сошлись сначала просто. Потом мне начала нравиться простота ее души, ее привязанность. Мне казалось, что ребенок облагораживал наш союз, что союз можно превратить в семью, и подчас пронизывало счастливое режущее, чувство чего-то святого в личном совершенствовании с такой женой. Я научил ее читать, немного писать, устроил в профессиональной школе, так как не ручался за себя. Она выучилась, но продолжала жить со мной; у нас был ребенок и умер. Теперь скоро будет другой. Яша вырос, стал хорошим мальчуганом, я его люблю. Я привык к этой женщине. Она стала моей женой. Но, кажется, я никогда не отделаюсь от двойственного чувства к ней: мне кажется, что все это не то, и одной частью своей души не признаю ее тем, что мне нужно, но другой стороной люблю» (Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8, с. 9).

«28 декабря 1914. Семейные сцены проносятся как ураганы в пустынях: но дети, как лес в пустыне — защита от ветра пустыни... Какая-нибудь мелочь (упорно, несмотря на все просьбы, непришиваемая пуговица) вдруг переносит в какой-то мир хороший, где пуговицы всегда пришиваются, кажется, что там не должно этого бывать. И вот из этого воображаемого мира счастья рождается раздражение и упрек, а в ответ из женских уст сыплются тысячи «нелогичностей», как комки из вихря засыпают домик жизни. Ураган! И потом... вот это самое удивительное (характер матери), все слетает, проносится и как ни в чем не бывало. <...>

Жизнь трещит по швам. Что бы то ни было, надо терпеть до устройства хутора. Устрою, а потом, может быть, и прощусь. Пусть живут, а я отправлюсь странствовать» («Литературная учеба», 1989, № 1, с. 165).

«Ефросинья Павловна была настолько умна и необразованна, что вовсе и не касалась моего духовного мира».

«Вчера она мне рассказывала, как она песням научилась. «Бывало, ни одной работы без песен не проходило: зимними вечерами спать хочется, песня не дает спать. А на поле! Как ведь устанешь, и не больно-то сытно, другие сало едят, у нас кое-что, и заморённые, и голодные, а как хватят после работы песню, вся затрясешься и даже плясать.

Как научилась! Да тогда без песни и жить нельзя было... Тогда песни сами рождались, теперь их списывают и учат».

«Через деревенскую женщину я входил в природу, в народ, в русский родной язык, в слово».

«Ефросинья Павловна вся состоит из сказок и песен. Я ее сохранил в том состоянии».

«Ефросинья Павловна вначале была для меня как бы женщина из рая до грехопадения: до того она была доверчива и роскошно одарена естественными богатствами. Я эту девственность ее души любил, как Руссо это же в людях любил, обобщая все человеческое в «природу». Портиться она начала по мере того, как стала различать». (Путь к Слову, с. 103.).

«13 января 1927. Е. П. во всей прелести показала свой характер. <...> Пришла тупая тоска и, что еще хуже, потом какое-то равнодушие, безрадостность существования», *«31 июля 1932.* Стало невозможно жить в Сергиеве», *24 августа 1932.* Ефросинья Павловна предана дому, а не лицу. Из этого понятно ее подчас полное пренебрежение к моему личному», *«13 сентября 1932.* Отдать ей тут все, пусть тут будет у нее ее царство, а самому прочно устроиться в Москве».

К. Н. Давыдов

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О М. М. ПРИШВИНЕ

Три года тому назад в зарубежной печати появилась краткая заметка: в Советской России умер М. Пришвин [1]. Прочел это известие, оно взбудоражило, всколыхнуло мою душу. Сколько ярких, теплых воспоминаний поднялось в моей памяти. Я знал Пришвина в течение полутора десятка лет в самом начале его творческой деятельности, когда только определялся его талант. Мы были с ним близкими друзьями, и я горжусь тем, что мне удалось, быть может, как никому, понять его мятущуюся душу, быть свидетелем его порывов.

Потеря Пришвина остро чувствуется всей культурной Россией. Там, в Советском Союзе, где протекала главная часть его работы, творчеству Пришвина посвящено уже немало работ, но все же скажу, это был талант такой оригинальный, такой своеобразный, что пройдет еще много времени, пока удастся правильно, вполне разгадать и оценить, откликнуться на эту потерю, но, говоря об ушедшем, нельзя ограничиться характеристикой только, его литературной и общественной заслуги.

Да, конечно, Пришвин был один из талантливейших писателей нашей эпохи. Это был бытописатель русской природы, глубоко оригинальный, весь целиком ею проникнутый. Как никто другой понимавший ее настроения, ее размах, ее чары. Это было своеобразное творчество, понять которое было нелегко.

Пришвин не только чувствовал и понимал явления родной природы. Наша русская природа нашла в нем (и, пожалуй, только в нем) передатчика своих настроений. Его мятущаяся душа сливалась с душой природы, проникалась ее порывами, ее размахом. Читая Пришвина, каждый невольно почувствует, что автор говорит языком природы, мыслит ее мыслями. Живя всеми своими чувствами в связи с природой, Пришвин в то же время ставил себе основной задачей искать в природе прекрасные черты человеческой души. «Человечество от природы неотделимо, — говорил он, — она есть часть человеческого общества». «Я пишу о природе, а сам только о человеке и думаю».

Пришвина мало понимали. Ему ставили в упрек, что он ог-

раничил свой талант описанием природы. Но это было глубоко несправедливо. Чтобы понять суть творчества Пришвина, нужно было шаг за шагом проследить историю развития этого творчества. Я считаю большим для себя счастьем, что знал Пришвина в период, когда определялся «будущий Пришвин». Следя за его деятельностью в тот период, мне удалось в ней открыть то, что остается скрытым для других. Льщу себя надеждой, что, может быть, мои воспоминания об ушедшем навсегда писателе внесут свою лепту в правильное понимание и оценку специалистами его художественного наследства.

Я познакомился с Пришвиным в период начала его литературной деятельности, сразу же близко сошелся с ним и был свидетелем развития его творчества вплоть до 1923 года — дата моего отъезда за границу.

Наше знакомство произошло при не совсем обычных обстоятельствах. Это был 1903 год [2]. Я только что вернулся из своего большого путешествия в Индонезию, во время которого мне удалось побывать в малодоступных, остающихся до сих пор в девственном состоянии местах (я говорю о Новой Гвинее). Путешествие возбуждало, разумеется, немало разговоров в научных кругах, и меня, что называется, разрывали на части всякими вопросами. В это время один из коллег пригласил меня к себе, чтобы в дружеской компании послушать мои повествования. За столом я оказался сидящим рядом с неизвестным мне лохматым господином, который сразу же стал меня расспрашивать о вынесенных мною впечатлениях в тропиках. Место и время для серьезного разговора мне показалось неподходящим. Я лично всегда держусь правила: «когда я ем — я глух и нем». И всунулась мне в голову шальная мысль (другого слова в голову не приходит) прекратить дальнейшие разговоры на эту тему и обратить дело в шутку. Благодушно настроенный, я стал рассказывать моему соседу явно в шутливом тоне фантастическую нелепую историю, как где-то в девственном лесу навстречу мне на тропинку вышла группа обезьян. Я будто бы выстрелил. Одна обезьяна упала, а остальные бросились, расселись по деревьям и смотрели на меня с укором. Раненная же мною обезьяна, лежа на земле, поманила меня рукой и, когда я подошел, посмотрела мне в глаза долгим прощающим взором, пожала крепко мне руку и умерла...

История, повторяю, шутливая, но, к моему изумлению, мой сосед, взволнованный, нервно поднялся со своего места, руки его дрожали. «Боже, какая потрясающая драма, господа, как вы можете продолжать спокойно обедать после такого рассказа! Нет, нет, я не в состоянии, ухожу». И он ушел.

— Это писатель Пришвин, — пояснил мне хозяин, — я позабыл тебя предупредить — с ним нужно осторожно. Это мудреная личность, у него всегда какая-нибудь белиберда в голове.

Прошло недели две после описанного нелепого инцидента, и я уже успел забыть о нем. Работаю как-то в лаборатории Академии наук, и вдруг на пороге появляется характерная фигура Пришвина. Явно взволнованный, бегло поздоровавшись, он сразу же обращается ко мне с вопросом:

— Меня все время мучит одно обстоятельство. Скажите, когда «она» жала вам руку...

— Кто она? — спрашиваю я, ничего не понимая.

— Да эта обезьяна. Я сейчас пишу рассказ о ней и посвящу его вам...

Эта перспектива привела меня в ужас. Воображение рисует мне впечатление от этого рассказа в научных кругах. Пытаюсь объясниться:

— Да ведь это же шутка! — кричу я. — Всю эту историю, поймите, я сочинил, ничего подобного не было.

— Это он просто наврал, для красного словца, — пытается в свою очередь пояснить присутствующий при разговоре мой товарищ профессор Метельников, тоже понявший грозившие мне перспективы.

— Нет, — решительным тоном сказал Пришвин, — так выдумать нельзя. Я вас понимаю — вы стараетесь вашу выходку превратить в шутку и забыть о ней, но все это было. В вашем рассказе я почувствовал глубокую правду и всей душой ее переживаю.

Мне долго пришлось убеждать Пришвина не писать задуманного рассказа и, в особенности, не посвящать его мне, но убедить его в том, что взволновавший его эпизод вовсе не имел места, я так и не мог.

— Нет, нет, вы просто хотите, чтобы он не лежал на вашей душе, — упорно повторял наш гость. — И я вас понимаю, — заключил он с сочувствием, покровительственно пожимая мою руку.

Прошло еще два-три месяца. За это время мы несколько раз виделись и успели близко сойтись с Пришвиным, а затем и подружились. Дружба родилась и окрепла на почве охоты. Пришвин оказался страстным охотником, охотником «Божьей милостью», воспринимавшим природу и весь вообще окружающий нас мир через призму необычайно сильных проявляющихся в нем охотничьих инстинктов. Не преувеличивая, скажу, что самым близким существом для него была не жена, не дети, а

его легавая собака. Добавлю, что Пришвин никогда не говорил о своей семейной жизни. Как-то раз я выразил ему свое удивление, почему он никогда не приглашает меня к себе.

— Уж не боишься ли ты, — сказал я шутливо, — что я начну ухаживать за твоей женой?

— Нет, — совершенно серьезно ответил Пришвин, — тут дело не в жене, а в собаке.

Как всполошился я, ошарашенный этим ответом.

— Да, — пояснил мой собеседник, — тебя к себе оттого не приглашаю, что боюсь, мой Спорт может открыть в тебе что-нибудь такое настолько близкое его душе, что может свои симпатии перенести на тебя...

Я был очень польщен таким предположением и не настаивал.

Пришвина первого периода его литературной деятельности, как автора «За волшебным колобком», «В краю непуганых птиц» и т. д., мало кто понимал по-настоящему. Его бьющая в глаза оригинальность граничила часто с кажущейся наивностью и у многих вызывала недоумение. Мало того, порой его подозревали даже в своего рода рисовке. На самом деле никакой рисовки у него не было, и я категорически на этом настаиваю... Пришвин всегда был искренен. Его просто, повторяю, не понимали, не умели к нему подойти. Это была сложная, чересчур оригинальная натура. Он всегда искал и находил в окружающей действительности особый, скрытый для других смысл. Видел что-то всеми отрицаемое, но что он сам ясно сознавал. Он создал в своем подсознании особый мир, в реальность которого твердо верил и в нем жил. Всякое явление, которое останавливало его внимание, принимало в его сознании особую окраску, он видел в нем особый смысл. Для демонстрации приведу два известных мне случая.

Как-то, рассказав ему о периодических перелетах птиц, я стал ему характеризовать тот порыв, которым сопровождаются перелеты и то психическое действие, которое оказывает пролетающая стая не только на птиц оседлых, порывающихся лететь за пролетающими родичами, но и на людей, которые испытывают чувство тоски по крылу, как я его назвал.

Пришвин долго, проникновенно жал мне руку и ушел, не говоря ни слова. Через неделю он принес мне проект рассказа, посвященный перелетам, и я в нем увидел те же элементы, что в рассказе «Смерть обезьяны» [3], послужившем когда-то поводом для нашей дружбы. Пришвин в своем рассказе, описывая общий порыв, вызванный пролетающей стаей журавлей на всем пути их следования, говорил о дьяконе убогой сельской церкви,

который, будто бы охваченный безумным экстазом, выскочил на улицу, замахал рясой и вдруг... полетел за улетающей стаей...[4]

А вот второй пример: отправляясь как-то на Крайний Север России, Пришвин хотел познакомиться с теми местами, о которых знаменитый Бэр [5] говорил как об «утре творения». Пришвин, по моему совету, присоединился к моему другу профессору М., трезвому натуралисту.

По возвращении из поездки он осыпал меня упреками.

— Ну, нашел кого рекомендовать мне в сотоварищи, — говорил он. — Этот М. на каждом шагу мне все дело портил.

Я недоумевал.

— Сам посуди, — объяснил мне собеседник. — Представляешь картину: холодное полярное море, темное, угрюмое, свинцовое, явно враждебное человеку. Над ним такое же враждебное нам темно-свинцовое грозовое небо... И вдруг, что это? Я с удивлением вижу, что кто-то начинает приветливо махать нам с неба белым платком. Окрыленный этим чудным видением, я обращаю на него внимание своего спутника. «А, — безучастно отозвался он, — да это же... (латинское название северной чайки)». Ты понимаешь, он сразу же убил во мне все настроение, разрушил всю сеть моих иллюзий.

Пришвин избегал всякой банальности, всего, что могло разрушить мир его фантазии.

Как-то в Петербург приехал знаменитый полярный путешественник Фритьоф Нансен, имя которого гремело по всему свету [6]. Пошли с Пришвиным на доклад. Как только Нансен появился на эстраде, весь зал замер и встал. Пришвин долго, в каком-то экстазе смотрел на эту «железную» фигуру, а потом вдруг неожиданно вышел из зала, не дожидаясь даже конца доклада. Все были поражены.

— Фигура Нансена, — объяснил он мне позднее, — меня совершенно подавила. Взгляд этого человека, одно воспоминание о нем может довести человека до галлюцинаций. И знаешь, глядя на него, я вдруг испугался: а вдруг он станет сейчас говорить какие-нибудь банальности. Ведь это разрушило бы в моей душе образ «сверхчеловека».

Оригинальность натуры Пришвина сказывалась на всем. Он не желал подчиниться общепринятым понятиям, ни в чем не выносил рутины, не колеблясь, признавался в мыслях, которые возникали у него временами, хотя нелепость их всем была очевидна.

Помню наше с ним путешествие пешком по Заволжью на хорошо известное в России Святое озеро, со дна которого в

определенный день народ слышал раздававшийся звон колоколов [7]. Вот уж семь дней, как мы идем через необозримые, беспросветные леса Ветлужского края. Пробираемся по этой дикой, безлюдной глуши, не встречая признаков жилья (какие в те времена встречались чудесные уголки совсем близко от Центральной России). С нами идет случайно встреченный по дороге раскольник. Красочная фигура начетчика допетровской Руси, хорошо гармонирующая с окружающей обстановкой.

Наш спутник, глубокий старик, бредет тоже к Святому озеру, чтобы принять там активное участие в предстоящей мистерии. Для этого он несет с собой (правильнее сказать, тащит) огромную, тяжелую, окованную железом, помнящую, вероятно, времена протопопа Аввакума, книгу. Во время одной из ночевок в лесу, у костра, заходит разговор на отвлеченные мистическо-философские темы. Наш начетчик, человек вообще малоразговорчивый, враждебно отмалчивается.

— Послушай, — задумчиво говорит мне на следующее утро Пришвин, — вот ты старался просвещать Потапыча, доказывая ему, что не Солнце вертится вокруг Земли, но наоборот — Земля вокруг Солнца. Ну а скажи по правде, ты-то сам твердо сейчас в этом уверен?

Знаю, что, читая эти строки, многие читатели презрительно и в недоумении пожмут плечами, но смею уверить, что в той примитивной обстановке, в которой происходила описываемая сцена, я ничуть не был шокирован и прекрасно понял Пришвина.

В нем рождался инстинктивный протест против господствующего миропонимания. В таких случаях он никогда не скрывал своих мыслей и не стеснялся их высказывать публично, несмотря на то что эти признания не встретят ничего, кроме презрительного пожимания плечами и открытой насмешки [8].

Как сейчас помню доклад Михаила Михайловича в Русском географическом обществе об этнографических исследованиях где-то в Заволжье (Пришвин в молодые годы одно время занимался и этнографией и даже получил — он это скрывал — серебряную медаль от Географического общества) [9].

Зал был переполнен «избранной» публикой (присутствовал даже один из великих князей). И вот, характеризуя женское население изученного района, докладчик рассказал о какой-то «девке Матрешке», которая, несмотря на свою незаурядную религиозность, сделалась будто бы добычей темных сил.

— Эта Матрешка, — рассказывал докладчик, — как-то исчезла из дома, пропадала трое суток и, вернувшись, объясни-

ла свое отсутствие тем, что ее запер где-то в землянке леший, который ее там подковал подковами.

Шокированный зал разразился хохотом. Но Пришвин ничуть не смутился.

— Вот вы смеетесь, — сказал он не без сарказма, — вы, разумеется, скажете, что лешего не существует. Согласен, здесь, в этом зале, может быть, он и не появляется, но там... Впрочем, — добавил он, оглянув залу победоносным взглядом, — если лешего вообще нет, то объясните мне, пожалуйста, кто же подковал Матрешку?

О впечатлении, произведенном на публику этим ядовитым замечанием, предоставляю судить читателю, скажу только, что председателю пришлось неоднократно хвататься за звонок...

Насколько мало считался Пришвин с общепринятыми нормами при официальных публичных выступлениях, дает понятие другой его доклад (тоже в торжественной обстановке) в том же Географическом обществе.

Дело шло о вышеупомянутой мистерии на Святом озере. Доклад начался так своеобразно, что на лицах у присутствующих я прочел явную тревогу за состояние психики докладчика. В самом деле, подойдя к кафедре, Пришвин, охваченный внезапно каким-то экстазом, забыл о всем окружающем. Не входя на кафедру, не делая обычного вступления и даже без обычного обращения к публике, он вдруг порывисто опустился на пол эстрады и, низко наклоняясь во все стороны, касаясь головой пола, пополз по эстраде, все время приговаривая каким-то приглушенным шепотом: «Ползут, все ползут — тут, здесь, там... везде. Мужчины, женщины, дети — все ползут...»

Пришвин, разумеется, рисовал в лицах картину религиозного экстаза паломников. Публика была шокирована, но все же на этот раз поняла его.

Но в дальнейшем опять не обошлось без курьезов. Докладчик с упоением, жестикулируя головой, руками и ногами, описывал секту каких-то бегунов, которые всю жизнь проводят в ямах, не выходя из них ни на минуту. Заметив общее недоумение, Пришвин, словно снисходя к наивности публики, добавил: «Да, физически они все сидят в одном месте, но мысли, запросы души блуждают по всей вселенной...» Зал насторожился и притих.

Был период, и очень продолжительный, когда Пришвин жил в каком-то волшебном мире, мире сказок. Он не хотел мириться с прозой жизни, с житейской действительностью. В нем всегда боролись, но уживались две личности. С одной стороны, это был глубоко культурный, серьезный и современный человек,

но в то же время его душа всегда тяготела к примитивным пережиткам старых времен; время, когда наши отдаленные предки жили в фантастическом мире, отголоски которого дошли до нас в нынешнем мире сказок.

Пришвин прекрасно сознавал, что дело идет об области небывалого, и в то же время, по крайней мере в течение всего раннего своего творчества, инстинктивно душой стремился к этому небывалому. Он предпринимал ряд странствий по Европейской и Азиатской России. В этом стремлении к сказочному, небывалому Пришвин кончил тем, что стал чувствовать это «небывалое» везде, где жил, — «у себя под боком», как он говорил. Вся его деятельность в течение этого времени была проникнута малопонятной для свежего человека фантастикой (должен сознаться, что часто с трудом понимал его и я). Как-то он поделился со мной своим проектом летней поездки в дебри Сибири, в Тарбагатайские горы[10]. «Я убежден, — говорил он, — что эта всем известная трогательная история розысков Иваном-царевичем похищенной у него прекрасной царевны произошла именно в Тарбагатае и, стало быть, там нужно искать следы этой чудесной погони».

И опять-таки я сразу понял затаенную мысль моего друга. Его не только тянуло познакомиться с природными особенностями этого своеобразного уголка Азии и, знакомясь с этим краем, приобщиться душой к этой природе, — он мечтал в то же время окутать свою поездку мистической, сказочной фатой. И Пришвин действительно осуществил свою мечту, он побывал в Тарбагатае и много рассказывал мне об этом.

Он уверял, что отыскал перышки, которые догадливая царевна, увлекаемая серым волком, бросала по пути, чтобы облегчить погоню за ней Ивана-царевича. И нужно сказать, что рассказы его о посещенных местах были очаровательны.

Он даже показал мне два найденных там перышка[11].

После своей поездки на Тарбагатай Пришвин часто говорил со мной по поводу «рационального» воспитания детей. У него появилась экстравагантная мысль совершенно изменить принятые устарелые, по его мнению, методы воспитания детей мужского пола.

— Что делать с подрастающими девочками — я еще не решил, вопрос этот еще не продумал, что касается мальчиков — он для меня совершенно ясен. По достижении, скажем, 8—9 лет их воспитание должно быть предоставлено природе. У меня проект: свезти своих мальчуганов на Памир и там их оставить на попечение природы. Там они придут в соприкосновение с туземцами и будут принуждены, так или иначе, приспособиться к

жизни в природе. А потом я их там легко найду (ведь туземное население, разумеется, будет знать), и верь, — с какой-то настойчивой восторженностью повторял мой собеседник, — это будут настоящие люди — люди будущего...

Слышавшие эти рассуждения свежие люди даже не возмущались, не принимая их всерьез. «Пустая болтовня», — говорили они, выслушав мои опасения. Но они ошибались. Проекты воспитания Пришвина были монстрюозны, аморальны, безобразны — называйте как хотите. Соглашусь на всё, кроме одного — они не были с его стороны пустой болтовней... Пришвин твердо верил в рациональность своих проектированных приемов и готов был идти на большое самопожертвование, чтобы выработать из подрастающей молодежи настоящих «людей будущего».

Я, разумеется, как мог, возражал Пришвину, но убедить мне его так и не удалось. Он неоднократно возвращался к своему проекту, и я уверен, что он его не осуществил только благодаря обстоятельствам, от него не зависящим.

События 1917 года нас разлучили. Мы разъехались в разные концы России и потеряли друг друга. Нельзя сказать, чтобы мы не искали встречи, но эти поиски были напрасны. Знаю, что, когда Пришвин меня нашел, я был уже за границей. Знаю также, что он мечтал снова войти со мной в сношения, я был об этом осведомлен, но времена были тяжелые — ему это не удалось[12].

А когда атмосфера прояснилась — друга уже не стало.

К. Н. Давыдов (1877—1960) — русский ученый, зоолог-фаунист, морфолог и эмбриолог. С 1923 г. жил во Франции, член-корреспондент Парижской Академии наук. После кончины К. Н. Давыдова научное наследие было передано его вдовой в Ленинградское отделение Архива АН СССР, где и хранится рукопись его воспоминаний о Пришвине.

[1] Пришвин скончался 16 января 1954 г.

[2] Ошибка: Пришвин переехал в Петербург в 1904 г.

[3] Видимо, рассказ не был написан, так как в печати он не появился.

[4] Имеется в виду рассказ «Птичье кладбище» (т. 1, с. 603—622).

[5] *Карл Бэр* (1792—1876) — выдающийся естествоиспытатель и путешественник.

[6] *Фритьоф Нансен* (1861—1930) — норвежский путешественник, океанограф, исследователь Арктики. В 1893—1896 гг. руководил экспедицией к Северному полюсу на специально построенном для этой цели корабле «Фрам».

[7] Имеется в виду Светлое озеро, о котором издавна в народе бытует легенда, что в него опустился и тем спасся от татарского нашествия город Китеж, что до сих пор из-под воды можно услышать звон китежских колоколов. Один

раз в году — 23 июня, в день Владимирской Божьей Матери (в языческие времена — день Ивана Купалы), у озера собирались люди разных вер и вели спор об истине.

В результате путешествия Пришвина на Светлое озеро была написана третья его книга «У стен града невидимого» (1909).

[8] Давыдов отмечает существенную черту творческого поведения писателя, которую так характеризовал сам Пришвин, говоря об успехе книги «У стен града невидимого»: «Удивляет меня, как я, абсолютно невежественный в сектантоведении, умел за месяц разобраться и выпукло представить почти весь сектантский мир. И все это благодаря борьбе с мыслью, моему методу бездумности» (Контекст-74. М., «Наука», с. 319).

И в другом месте: «Весь смысл таких путешествий — в особенном зрении... Еще случай, еще исключение. И так сложится правило, чудесное, из одних только исключений» (Путь к Слову, с. 155).

[9] В 1908 г. за книгу «В краю непуганых птиц» Пришвин был избран действительным членом Российского Императорского географического общества и награжден серебряной медалью.

[10] *Тарбагатай* — название хребта в отрогах Алтайских гор, где во время путешествия по Киргизии в 1909 г. Пришвин охотился на архаров. (См. рассказ «Архары». Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3, с. 431—439).

[11] Тяготение Пришвина к местам, в которых еще сохранилась традиционная, не тронутая цивилизацией жизнь, отмечает русский историк и публицист Г. П. Федотов в статье «Русский человек» (1938):

«Могучий процесс рационализации убивает безжалостно все подсознательно-стихийное, засыпает все глубокие колодцы, делает русского человека поверхностным и прозрачным. Но до конца ли? Нет ли таких медвежьих углов, где еще живут старые поверья, не порвалась древняя связь с землей? Ведь сохранилось же знахарство и шаманство, о чем нам время от времени сообщает советская этнография. Почему же не сохраниться более смутным и тонким комплексам родовой пантеистической душевности? Знаем, что кое-что сохранилось, что недаром пишет Пришвин, кто-то должен сочувственно читать его. Но не знаем, достаточно ли это сохранившееся, чтобы по-прежнему питать большую русскую литературу» (Федотов Г. П. Русский человек. Киносценарии, 1989, № 4, с. 180).

[12] См. очерк «Гибель биолога Давыдова и народного учителя Автономова» (1929). Собр. соч. в 4-х томах. М., Гослитиздат, т. IV, с. 341—356.

В. Могильницкий

ТАМ, ГДЕ ОХОТИЛСЯ «ЧЕРНЫЙ АРАБ»

Увидеть архаров было моей давней мечтой. И вот прошлой осенью она осуществилась. Я наблюдал за архарами в урочище Акбауыр в горах Кызылтау.

В здешних местах мало кто видел этих редких животных. Одно из первых упоминаний о горных баранах в Кызылтау сделал русский писатель Михаил Михайлович Пришвин в очерке «Архары». Он побывал в горах Кызылтау осенью 1909 года. Пришвин приезжал в Сарыарку по заданию редакции газеты «Русские Ведомости». Он должен был собрать материал о жизни русских переселенцев в казахских степях. Но во время путешествия по Сарыарке вычитал в книге русского исследователя Центральной Азии П. П. Семенова-Тян-Шанского скупые сведения о том, что где-то около Каркаралинска в степных горах водятся архары. «Непобедимое желание овладело мной, — вспоминает Михаил Михайлович, — бросить переселенцев, плюнуть на аванс и заняться архарами». Ему повезло: в Павлодаре на палубу парохода взошел молодой человек, родной брат фабриканта фруктовых вод в Каркаралинске Лазаря Исаича Дебогана. Он-то и посоветовал Пришвину непременно побывать в Кызылтау. А путешествие туда, лошадей, охоту на архаров может устроить Лазарь Исаич, у которого в степи масса знакомых.

Вот так Михаил Михайлович оказался в Каркаралинске, а затем в горах Кызылтау. И кто знает, с пользой ли прошло бы его путешествие, если бы кроме Дебогана, кстати очень прогрессивного по тем временам человека (за ним был даже установлен надзор полиции), Пришвину не оказали помощь местные жители Сарыарки, проводники-казахи.

Позже Михаил Михайлович с большой симпатией нарисовал в очерке «Архары» портреты своих спутников — верных проводников, сотоварищей — знаменитого охотника Хали-Мергена, поставщика зверей известной в Сибири купчихе Верещагиной, снабжавшей животными Гамбургский зоологический сад, а также бедного казаха Токмета, который на своем верблюде возил за охотничьей экспедицией юрту, съестные и

другие припасы, постоянно давал добрые советы Пришвину во время этого небольшого, но знаменательного путешествия.

Одну из глав очерка «Архары» Михаил Михайлович полностью посвятил Токмету, хорошему знатоку окрестностей, много пережившему на своем веку человеку. Он даже имя его вынес в название раздела «Токмет и тетерева».

Каким же предстает перед нами проводник Пришвина? «Он был джетак, — пишет Михаил Михайлович, — значит, самый бедный казах, у которого джут (гололедица) от всего стада оставил только одного верблюда». И тут же замечает: такой человек в степи не может больше кочевать и должен заниматься земледелием, а это, как правило, никакого дохода не дает. Вот и вынужден Токмет эксплуатировать своего единственного верблюда для охотничьих поездок «черного араба из Петербора».

Да, Токмету довелось вдоволь хлебнуть горя. Но он сохранил оптимизм, любовь к родной степи, казахской неласковой природе, не замкнулся в себе, а, наоборот, еще больше потянулся к людям. Михаил Михайлович с удовольствием пишет о его пытливом уме, зорком глазе. Причем не единожды цитирует мудрые пословицы и поговорки, которые ему говорил Токмет: «Воздух и вода принадлежат всем», «Кто много ездил, тот знает, что далеко и что близко», «Кто много пережил, тот знает, что сладко и что горько».

В урочище Акбауыр, где нынче расположено третье отделение совхоза Акшокинский, мне удалось разыскать свидетелей пребывания М. М. Пришвина и его спутников в Кызылтау. Один из них — пенсионер Кабдулла Атымбаев. Когда Михаил Пришвин и его проводники прибыли в Акбауыр, Кабдулле Атымбаеву было всего девять лет и он, ясное дело, смутно помнит во всех подробностях приезд М. М. Пришвина в Акбауыр. Но со слов отца Атымбая (тот трудился чабаном у местного бая) помнит, что в 1909 году в их аул приезжал «черный араб из Петербора». Тогда еще отец Атымбая принес в юрту пачку папирос «Кадо», плитку чая и сказал, что это подарок от «араба из Петербора».

Пришвин всем своим видом оправдывал прозвище. В просторном черном халате, загорелый, бородатый, в малахае из меха молодого барана, он выглядел весьма экзотически даже для здешних мест.

— А где вы видели самого Пришвина? — спросил я.

— На том месте, где старая мельница стояла, — последовал ответ. — Там в 1909 году две барышни из Петербурга в палатках жили... Они искали тут подземные источники воды для

будущих переселенцев. Передвигались они на подводах, возили с собой разный груз, в том числе и ручной бур. Там вот я и был свидетелем их разговора с «черным арабом». Сам не знаю, о чем они говорили, лгать не буду, русский язык я тогда не знал. Но со слов отца помню, что вроде бы «черный араб» интересовался, сколько людей сюда из России приедут. Значительно позже, когда Кабдулла уже вернулся с фронта Великой Отечественной в родной Акбауыр, ему попался в руки очерк М. Пришвина «Адам и Ева». В нем он с удивлением прочитал строки писателя о встрече с двумя петербургскими барышнями-топографами, которые нарезали тут земли, «удобные для водворения странствующих, ищущих приложения труда».

Зашел разговор о спутнике М. Пришвина — казахе Токмете, и мой собеседник задумался. Потом сказал:

— Я точно не знаю, что с ним сталось. Он вроде бы прожил долгую жизнь, ибо слух о нем доходил до Акбауыра...

Недавно в Джезказгане я разговорился с начальником управления лесного хозяйства и охраны леса Джезказганской области К. К. Бигузиным о поездке Пришвина в Кызылтау. И вдруг Кенес Каримжанович заявил, что он хорошо знает внука пришвинского проводника Токмета — ныне директора Каркаралинского механизированного лесного хозяйства Тишбека Медеубековича Токметова.

Что же сталось с героем пришвинского очерка «Архары»?

— У Токмета сложилась хорошая жизнь, — охотно пояснил Бигузин. — Не сразу, конечно, а после победы Октябрьской революции. Как только в Каркаралинске установилась Советская власть, он определился на службу в народную милицию, по сути он был первым участковым милиционером в тех краях. Его очень уважали в Каркаралинске. Может быть, поэтому он прожил девяносто семь лет. Рассказчиком Токмет-ага был отличным, очень гордился тем, что ему довелось быть проводником знаменитого певца природы из России. Во время встреч со школьниками он просил их читать вслух очерк «Архары».

— Как хорошо писал Михалыч! — каждый раз вздыхал он. — Мне бы его дар, сколько бы я сочинил рассказов о чудесных наших сосновых борах, горах и долинах...

Да, писателя из Токмета не получилось, а вот защитником природы он был отменным. Свою любовь к зверям, птицам, красоте казахстанской природы он передал детям, внукам. Не зря его внук Тишбек Токметов стал директором крупного механи-

зированного хозяйства, которому приданы Каркаралинский и Кентский лесные массивы.

Хочется надеяться, что нам под силу сегодня сохранить нетленную красоту долин и гор Кызылтау, ее зверей и птиц, всю флору и фауну уникального горно-лесного оазиса среди обширных степей Сарыарки. Тем более что эти места с любовью описал в свое время Михаил Михайлович Пришвин, который завещал нам охранять природу как зеницу ока.

Очерк собственного корреспондента «Казахстанской правды» *В. Могильницкого* был опубликован в этой газете в 1986 г.

А. Мартынович

ДЕВОЧКА ИЗ ДНЕВНИКА ПРИШВИНА

Дорога из Шимска в Сольцы обычная: березнячки да осинники, плоские поля. И вдруг зеленый хвойный островок — возле зверохозяйства. А дальше открывается пейзаж невероятной красоты: деревня в сосняке, синяя лента Шелони, туманные заречные дали. Желтеет обрывистый песчаный берег. Песок здесь везде, потому и деревня называется Песочки.

Издавна, еще с конца прошлого века, приезжали сюда городские дачники, и большинство крестьян летом сдавали им избы, а сами жили в амбарах. Привлекали дачников большие леса с их дарами, парк, веселая рыбная ловля и особый мягкий микроклимат.

Слава о Песочках дошла до М. М. Пришвина, и с 1910-го по 1915 год он приезжает сюда и живет подолгу. Летом он обычно приплывал из Новгорода на пароходе со всей семьей: с женой Ефросиньей Павловной, с двумя сыновьями. Всегда непременно с ними были и охотничьи собаки. Знали Пришвина в деревне как хорошего охотника и рыбака, а о его писательстве вряд ли кто догадывался.

В первый приезд Пришвин остановился в доме Дмитрия Михайловича Столярова, прожил там два дня, а потом ему подыскали отдельную избу по тому же порядку, через два строения. Эта изба пустовала, так как хозяин ее, Василий Михайлович Столяров, брат Дмитрия, работал в Велебицах, в семинарии, там и жил с семейством.

Изба была маленькая — два окна на улицу, — стояла немного вглубь от дороги. К сожалению, до нашего времени она не сохранилась.

А вот изба Дмитрия Михайловича — большая, в четыре окна, стоит и по сей день, хотя и ремонтировалась не раз: то двери меняли, то крышу. Здесь в 1901 году родилась девочка Лиза. Сейчас Елизавете Дмитриевне 85 лет, но у нее завидная память, многое она помнит и не скупится на рассказы.

В дневниках писателя Лиза появилась так. Пришвиным нужна была помощь по домашнему хозяйству. И Лиза, тринадцатилетняя девочка, делала что полегче. А 6 января 1914 го-

да они вместе с Михаилом Михайловичем топили печь, рано закрыли вьюшки и угорели чуть не до смерти. Каким-то чудом из последних сил он открыл дверь в сенцы, потом на руках принес Лизу в родительский дом. Этот случай и описан в дневниках[1].

Сильное это было потрясение для обоих, и оно, видимо, как-то сблизило сорокалетнего писателя и голубоглазую деревенскую девчушку.

Елизавета Дмитриевна вспоминает:

— Жили Пришвины дружно, хотя и небогато. Одевался Михаил Михайлович просто: косоворотка, пиджак, сапоги. Зимой — заячий тулуп, валенки и ушанка. Он был черный, кучерявый, в церковь не ходил и праздников не признавал. Так что деревенские думали: не татарин ли он?

..Летом Лизу редко звали к Пришвиным — сама Ефросинья Павловна управлялась. А зимой, к Рождеству, на большую охоту, Михаил Михайлович чаще приезжал один и жил месяц-полтора. Тогда Лиза хозяйничала в его избе!

— Ел он то же самое, что и мы, — рассказывает моя собеседница, — спасибо, скажет, вкусно! А утром, раненько, любил чай. Только непременно из самовара. Чайник не признавал. Заодно в самоваре яички варились...

Да, утром первое дело — самовар. Вот он на столе шумит, а рядом Михаил Михайлович пишет и пишет...

Изба Пришвина была обставлена обычно: красный угол с большим столом, вдоль стен широкие лавки, сундук, деревянная кровать. Лиза прибирала избу: подметала пол, а по субботам мыла голиком и песком. Бревенчатые стены и дощатый потолок мыли раз в году, под Пасху.

Пришвин доверял смышленой девочке разбирать по коробочкам охотничьи припасы: порох, пистоны, дробь. Еще Лиза приглядывала за собаками. У Пришвина тогда было две собаки, видимо, русские гончие. Одну звали Понтик, а как вторую — позабыла Елизавета Дмитриевна.

Пришвина в деревне очень уважали как охотника: тогда их было мало. Мужикам было не до того, главное — хозяйство. Да и ружья дорого стоили. Зато зверья было много: лютовали волки, лисы шкодничали, енотов и белок и не перечтешь...

— Часто Михаил Михайлович собирал ребят на конях и ездил в большой лес возле деревни Мшага, — продолжает Елизавета Дмитриевна. — Там делали облаву на зайцев. Ребята окружат лес, кричат, а сами идут к середине — там охотник. Помощникам давал за работу две-три штуки. Иногда зимой приезжала Ефросинья Павловна. Она тоже охотилась.

— Пришвина знала вся деревня — и старые и малые, — заканчивает свой рассказ Елизавета Дмитриевна. — Любил он беседовать со всеми. Спросит что-нибудь и слушает, слушает, не перебивает...

Елизавета Дмитриевна Столярова (по мужу Зайцева) прожила большую трудовую жизнь. Детей растила. В колхозе трудилась и на ферме и пахала-боронила. Все делала. Даже почтальоном работала, как и ее дядя Николай Михайлович, описанный Пришвиным в рассказе «Слуга времени».

Не случайно замечательный писатель-натуралист столько лет ездил в эти места, так задушевно описал здешнюю природу и жителей Песочек.

Ближние леса, сосновый парк, долина Шелони, высокий левый берег, все эти неповторимые пейзажи — драгоценности, которые необходимо сохранить. Пора, давно пора районным активистам общества охраны природы взять эти места под охрану, объявив памятником природы.

Очерк местного краеведа *А. Мартынович* опубликован в газете «Новгородская правда» в 1486 г., 26 декабря.

[1] Запись об этом см. в дневнике 1914 года, т. 8, с. 74—75.

А. С. Пришвин

БАБУШКИНО ЯБЛОКО

Осень 1914 года. Только недавно началась первая мировая война. Отца сразу же призвали на фронт, он был врачом, но он успел отвезти меня к бабушке Марии Ивановне в деревню Хрущево под Ельцом. Мне в ту пору было около семи лет.

Бабушка Мария Ивановна была суровая женщина, такой, во всяком случае, она мне представлялась. Вставала она обычно часа в три-четыре утра и надолго исчезала «по хозяйству». Затем часов в семь утра на весь дом раздавался ее зычный голос: «Тише вы! Ребенка разбудите!» Ребенком этим был я. Раз голос бабушки гремел на весь дом, значит, ничего не поделаешь — надо вставать.

Однажды мы с бабушкой гуляли в саду. Собственно, гуляла бабушка, а я носился по саду. Мне было весело, радостно беспричинно, каждый жук, каждая божья коровка вызывали во мне буйный восторг. Я то и дело кричал: «Бабушка, посмотри!» Но бабушка шла, не обращая на меня внимания. Путь ее был ведом ей одной.

Была осень, ранняя осень, когда листья еще держатся, но вот-вот полетят с дерева. Вдруг бабушка остановилась и сердито крикнула дочери:

— Лида! Посмотри, какую здесь *профанацию* устроили. Сколько раз я тебе говорила, что за «бабушкиным» требуется особый уход. Опять не перекопано! Знаешь ведь, какой это редкостный сорт...

После я спросил у тети Лиды:

— А что это за «бабушкино» яблоко?

— Сорт такой.

— А-а... — протянул я разочарованно.

— А ты пробовал?

— Пробовал. Кислятина...

— Ничего ты не понимаешь. Отличное зимнее яблоко.

Осенью 1914 года бабушка умерла. Был ноябрьский сля-

котный день. Мрачное небо, мрачные вороны в саду, и сам сад, где изредка летели последние листья, был мрачен и неприютен. Все дни до похорон я был отодвинут куда-то в сторону, иногда люди натыкались на меня, словно на неодушевленный предмет. Я не жаловался, хотя такое невнимание было обидно.

Как похоронили бабушку, я не помню. В памяти осталась только дорога на кладбище, шли долго, хотя кладбище было совсем рядом, сиротливое стояние в сторонке, громкое рыдание тети Лиды и чей-то приятный женский голос, успокаивающий ее: «Не вернешь, Лида... Не надо...»

Потом — это было уже после похорон — приехал дядя Миша, Михаил Михайлович Пришвин, очень тяжело переживавший смерть матери. Как и когда именно он приехал — не запомнилось. Помню только, что он бросился целовать тетю Лиду (хотя они вовсе не были нежными братом и сестрой), так они долго стояли обнявшись, и дядя Миша плакал и говорил сестре: «Как же вы... Ну как же вы...» Потом он в полном одиночестве ушел на могилу матери и долго пробыл там. Мне запомнилось это его прощание с горячо любимой матерью[1].

Дядя Миша пробыл у нас с неделю. Вставал он обычно рано. Так хорошо спится, а он в пять, в шесть утра уже сидит за столом и пишет. Сидел он обычно в большой, мрачной комнате, нашей столовой, где в углу стояло нелепое кресло «курым» [2]. Я не знал тогда, какая профессия у моего дяди, да и вообще в ту пору не разбирался в профессиях, но меня занимал сам процесс писания: сидит человек и сосредоточенно водит пером по бумаге. Иногда я приоткрывал дверь в столовую, делал маленькую щелочку и подолгу наблюдал за дядей. Писал он на небольших листах бумаги мелким, убористым почерком, вставал, расхаживал по комнате и снова садился за стол.

Потом дядя уехал. Зима прошла уныло. Я учился, должно быть, неважно, потому что тетя Лида часто сокрушенно качала головой. Иногда она запиралась в своей комнате и выходила из нее с заплаканными глазами. В такие минуты я старался не попадаться ей на глаза.

Но вот разом все изменилось. Весной приехал с войны отец (ему дали отпуск на две недели «для устройства семейных дел»), приехали дядя Миша и дядя Коля. Дом наполнился шумом и тем веселым неповторимым, чем характерна молодость, хотя все они были не особенно молоды. Отцу и дяде Мише недавно перевалило за сорок, а дядя Коля и тетя

Лида казались мне стариками — им было уже под пятьдесят.

Тетя Лида сидела за столом у самовара и хозяйничала. Она говорила при этом, вздыхая:

— Мамы нет, а то бы она порадовалась... Все вместе... Вот только Саши нет, царство ему небесное...

Потом, через день или два, началось что-то необычное. Все четверо сели за маленький ломберный столик в диванной и начали что-то горячо обсуждать. На столе лежали какие-то чертежи, бумаги. В комнате было накурено, хотя курящим был один дядя Миша.

Это был *раздел* [3].

Как закончился раздел, я не помню. Знаю только, что дом остался у тети Лиды, а Михаил Михайлович получил молодой сад и там, почти в самом саду, вскоре начал строить дом. Дом получился небольшой, но мне тогда он казался громадным.

По-прежнему по утрам он долго сидел за письменным столом и работал. Лева [4] объяснил мне, что он писатель, но я не заинтересовался этим открытием. Мы целый день гоняли по улицам и не интересовались жизнью взрослых.

Как-то я забежал к моим братьям. Они куда-то собирались.

— Отец землю пашет. Побежали смотреть!

— Далеко?

— Нет, тут рядом, за перелеском.

Недалеко за деревней дядя Миша действительно тянул борозду. Плужок вихлялся из стороны в сторону, выскакивал из борозды, но дядя Миша не сдавался. Он покрикивал на лошадь и победно поглядывал по сторонам. Сделав две или три загонки, он остановился.

— Фрося! — крикнул он. — Дай-ка попить.

Ефросинья Павловна, его жена, неторопливо, вразвалочку понесла ему пить. Дядя Миша в поту, взмокший, растрепанный, весь какой-то не такой, каким положено ему быть, жадно пил из фляги. Ефросинья Павловна смотрела на его работу, как может смотреть женщина, для которой крестьянская работа не в диковинку. Потом она, ничего не сказав, молча взяла у него вожжи и все так же молча повела борозду. Борозда получилась ровная и красивая.

Ефросинья Павловна была редкостный человек. Простая крестьянка из Смоленской губернии, она была почти неграмотна, но обладала большим тактом, вкусом, так что это почти не чувствовалось. Была ли она красива? Не знаю, в те годы, да

и потом я над этим никогда не задумывался. Но песни она могла петь отлично. Она знала песни величальные, свадебные, она их пела Михаилу Михайловичу, и он всегда поражался ее исключительной памяти.

— Гляди, Михалыч, а у твоей бабы сподручней получается, — сказал подошедший сосед. — Много ловчей работает... Как ножом режет.

— Сноровка, — сказал дядя Миша, закуривая.

Мы пошли в лес...

Вскоре все так закрутилось, что я и сам не помню, как очутился в Новороссийске. Вероятно, приехал за мной отец и увез меня туда. Жизнь пошла совсем по другому плану. Новороссийск, затем станция Кавказская.

Гражданская война, бушевавшая на юге страны, надолго разлучила меня с дядей Мишей и братьями. Я ничего не знал о них.

После смерти отца я перебрался в Тамбовскую губернию к матери, где жил и учился. И только через много лет, уже после смерти Михаила Михайловича, я узнал историю того, как его выселяли из имения [5].

...С Федором Федоровичем, елецким краеведом и знатоком литературных памятников края, мы едем в Хрущево. Я спрашиваю у него:

— Как вы объясните то, что, по вашим словам, из этих мест пошла вся русская литература?

— Ну, не вся... — смеется он.

— Ладно, — соглашаюсь я, — не вся, но краюха изрядная.

— Это верно, — откликается он и задумывается. Потом долго говорит о Тамерлановых ордах, что подступали к самому Ельцу, о том, как ельчане отважно защищались, но не выстояли против многочисленного врага, и город был взят и разграблен, а жители, которые не успели скрыться в окрестных лесах, перебиты. — Вот тогда и двинули князья из разных концов земли русской людей — создавать здесь прочный заслон против татар. Население у нас пришлое, множество диалектов перемешалось в нем, из них и родился тот русский язык, что поражает нас у Пришвина или Бунина...

Федор Федорович помолчал немного, затем продолжал:

— Да что там говорить... Я бы на доме, что в Пальна-Михайловке, мы недавно проезжали это село, я на этом доме

мемориальную доску укрепил бы. Этот дом принадлежал когда-то известному деятелю и богатому помещику Стаховичу. Я бы написал так: «Здесь выступали Федор Иванович Шаляпин и Константин Сергеевич Станиславский, здесь бывали Лев Толстой и Тургенев». И на усадьбе Лермонтова, отца Михаила Юрьевича, тоже в наших краях жил, и где-нибудь на бывшем монастыре, где Бунин уловил сюжет своего замечательного рассказа «Легкое дыхание»... Да разве мало в наших елецких краях таких памятных мест, что только снимай шляпу да стой безмолвно! Взять хотя бы Лебедянь, небольшой городок, а прыткий, навеки прославил его Иван Сергеевич. Или Красивую Мечу возьмем. Я бы перед самой рекой у города Ефремова поставил бы большой щит, на котором написал бы: «Проезжий! Перед тобой река, с которой происходит знаменитый тургеневский Касьян с Красивой Мечи»...

Я перебиваю Федора Федоровича:

— Это все так. Это все хорошо. Язык, конечно... Но ведь не в одном языке дело...

— Не в одном языке, а и в народе. Но язык и народ так тесно переплелись, что одно без другого и не мыслишь.

— А может, в яблоньке дело? — спрашиваю я, не объясняя, что имею в виду давнее воспоминание о «бабушкином» яблоке.

— Может, и в яблоньке, — соглашается, нисколько не смутившись, Федор Федорович.

Ну вот и Хрущево. Я был ко всему готов, но то, что увидел, превзошло мои самые худшие ожидания. На месте дома Михаила Михайловича — ровное поле озими. Поле и поле... Я с недоумением оглядываюсь вокруг, но нет, я не мог ошибиться. Деревня на месте, каменная школа стоит на месте, вот и остатки кладбища, где похоронены родители Пришвина, а дома нет.

Я прохожу на место, где виднеются несколько деревьев. Вот тут были аллеи — липовая, тополевая, березовая... Детская память цепкая. Я нахожу сажалку, заросшую травой сажалку, в которой на самом донышке еще плещется вода, нахожу остатки парников, полуразвалившийся, сползший курган и вот — о чудо! — рядом с курганом вижу несколько яблонь, старых, одичавших, но все равно осыпанных весенним цветом яблонек. Мне подумалось: не одну ли из этих яблонь мы когда-то называли «бабушкиной»?

К нам подошел мужчина лет семидесяти. Был он высок, строен, годы не тронули его. Он снял кепочку, поздоровался, и

я увидел на его лице, не тронутом загаром, большой розоватый шрам.

— С войны? — спросил я.

— Откуда же больше? Ясно, чья память. — Потом спросил, кто мы, откуда и что ищем в этом бросовом месте.

Я назвал себя. Он сказал:

— Я так и подумал, что вы из Пришвиных. Решил, что Петр Михайлович, того я хорошо помню, подошел ближе, нет, обличье не то... А-а, значит, вы Сергея Михайловича сын, доктора... — И потом добавил раздумчиво: — Михаила Михайловича и Ефросинью Павловну я хорошо помню... Годов семнадцать мне было в ту пору, когда они уезжали отсюда. Михаил Михайлович тогда себе надел мужицкий взял и пахал вон там, — мужчина махнул рукой за деревню, — за леском. Там лесок еще был маленький в те времена...

Понятно, не барин был, из купцов они сами. И хлеб он себе головой добывал, а все-таки мужики собрались и пошли выселять его. Впереди отец, а за ним и я увязался. Любопытно было посмотреть, как барина выселять будут. «Так и так, Михаил Михалыч, человек ты безвредный, а все равно несподручно нам здесь с тобой. Вот лошадка, до Ельца довезет, а дальше как знаешь...»

Мужчина продолжал:

— Ну, Михаил Михалыч был легкий на ногу человек, кинул под мышку несколько книжек да тетрадок и говорит жене: «Пойдем, Фрося, новый дом строить, нам не в первый раз...» Так и ушел...

Федор Федорович спросил, не жив ли Никифор Сорокин, которому несколько лет тому назад девяносто стукнуло. Он все помнил о Пришвиных.

— Помер. Года четыре ай пять прошло, как преставился. Чудак-человек был. Придет на место сада, глядит по сторонам, а у самого слезы на глазах. «Чего плачешь, старина?» — спрашиваем. «Сада-то нету», — отвечает он. «Так не твой был сад, а барский». Засеменит смешно так ногами да как закричит: «Какой там барский? Тот молодой сад был мой, мой, говорю, да и все, потому что я его вот этими мужицкими руками от первого до последнего деревца посадил...» — Мужчина помолчал, неторопливо раскурил папироску. — А сад, должно, зря порушили... Ну да чего поделаешь, время кипит, ломай все подряд да строй сызнова... Бывайте! — Мужчина попрощался и пошел прямиком через поле.

А неутомимый Федор Федорович, прихрамывая, увлек меня к пруду, без конца расспрашивал, чертил что-то в своем

блокнотике и непрестанно говорил о том, что как бы хорошо здесь все восстановить, и сад и дом, построенный Пришвиным, вновь возвести, и чтобы все как прежде, а в доме пусть будет совхозное управление, разве в этом дело, важно — память, и все окупится со временем: сад станет плодоносить, а сколько людей, чтущих память Михаила Михайловича, понаедет в эти края — не счесть...

А. С. Пришвин (1907—1978) — племянник Пришвина, журналист, писатель.

[1] Известие о смерти матери застало Пришвина в Петербурге: *«3 ноября 1914.* В восьмом часу вечера получена телеграмма, что мама скончалась 1 ноября — 4-го похороны. Я не успею. Сегодня она последнюю ночь в хрущевском своем доме. Последний раз я видел ее в августе. Яблоки... Сад осыпался... Оскал... Худая...»

«9 ноября. Хрущево. Поминки недаром выдумали, на девятый день опомнишься и начинает сниться. Странный сон: где-то в комнате гостиницы увидел я мать и сестру, я забыл, что она умерла, и разговаривал просто, и вдруг вспомнил и ужаснулся». (Собр. соч., в 8-ми томах, т. 8, с. 82).

[2] В романе «Кащеева цепь» мы читаем: «В нашем доме сохранилось старинное, сделанное еще крепостными руками огромное кресло Курым. Никто не знал, что это значит, слово «Курым», и откуда оно взялось, но если скажешь: «Курым», то каждый почему-то ищет глазами кресло. Говорят, будто в этом кресле я родился и за то получил прозвище Курымушка.

Говорили, что мальчиком я был очень похож на кресло, но чем же именно, об этом никто верно не знал.

Часто я раздумывал, сидя в этом огромном кресле».

[3] Имеется в виду раздел имения по завещанию матери между братьями и сестрой Пришвина.

[4] Старший сын писателя Л. М. Алпатов-Пришвин (1906—1957).

[5] Пришвина выселили не из имения, а из дома, который он выстроил на полученном в наследство от матери наделе земли. В октябре 1918 года он пишет в дневнике:

«*8 октября.* Старый дом (дом матери. — *Сост.*), на который смотрим теперь только издали, похож на разрытую могилу моей матери: черви кишат в нем народа...

Мы смотрим с Колей (брат. — *Сост.*) из-за кустов на дом наш, не смея и думать, чтобы к нему подойти.

Николай:

— Ну, что же Бог?

— При чем тут Бог?

— Допускает!

— А ты молился?

— Почему не молился, я всегда молюсь, разве нужно с крестом?

(Разговор с хрущевским мужиком. — *Сост.*)

— Что же мне делать? — спросил я.

— Иди в город, скорей лесом, возьми узелок, иди... ребятишек не тронут, а сам уходи...

Меня провожал Василий и голос зайца, а я сам, как заяц, нет-нет и присяду

и оглянусь на Хрущево: быть может, последний раз вижу. Так шесть раз оно показывалось и скрывалось.

Мы дорогу обходим, потому что стыдно и страшно встретиться с людьми.

По мере того как я ухожу, наши враждебные дома все сближаются, а церкви города будто растут и растут из-под земли, и я клянусь себе, сжимая горстку родной земли, что найду себе свободную родину».

«22 ноября. За полтора месяца со дня разорения спрашивают меня, что я делал. Не написал ни одной строчки первый раз в литературной своей жизни. Не прочел ни одной книги. Что же делал? И так жутко подумать: что? Сладостный сон, полный, летаргический (лампада, диван). Ночь, полночь глухая и сон. И тут она со своим вопросом: почему не пишете? Это когда вообще вопрос над всей Россией стоит — почему не живет?

Боже, дай мне дождаться первого проблеска света — это поможет мне увидеть, где я ночую, куда мне идти.

Оставить так — гнус, нельзя так оставить, а чтобы все распустить, свет нужен — дай, Господи, увидеть свет!»

И. С. Соколов-Микитов

СЛОВО О ПРИШВИНЕ

Не помню точно, когда произошло первое наше знакомство. Думаю, это был 1912 год. Нас познакомил А. М. Ремизов, известный русский писатель, к которому в ранней молодости меня привела сказочная тропа. Именно от него я впервые узнал о писателе Пришвине — авторе книг «За волшебным колобком» и «В краю непуганых птиц», изданных в Петербурге. Эти первые книги положили начало писательского пути Михаила Михайловича Пришвина, агронома по образованию, в зрелые годы начавшего писать художественные книги. Будучи старше Ремизова, Пришвин считал себя ремизовским верным учеником. Замечу кстати: широкая известность писателя Пришвина пришла не скоро, первые его книги знал лишь небольшой круг избранных читателей. В те годы гремели иные, забытые теперь писательские имена.

О первом нашем знакомстве помню очень немногое. Мы сблизились и очень часто встречались уже в семнадцатом году. В тот памятный год я приехал с фронта в залитый красными флагами, бурно и шумно кипевший Петроград. Время было необычайное, коротко о нем не расскажешь. Помню, что жил я рядом с Ремизовым на Четырнадцатой линии Васильевского острова, в доме Семенова-Тян-Шанского, в одной из пустовавших квартир. Михаил Михайлович Пришвин — тогда еще кудрявый, подвижный, немного смахивавший на цыгана — обитал по соседству — на Тринадцатой линии, в крохотной однокомнатной квартире. Вот там-то, на Тринадцатой линии и у Ремизова, встречались мы почти ежедневно.

Время, как я уже сказал, было необычайное. Шаталась под ногами земля, в незыблемую прочность которой многие верили простодушно. В революционной столице выходили десятки газет разнообразнейших направлений — от большевистской «Правды» и горьковской «Новой жизни» до монархического «Нового времени» и черносотенного уличного листка, который издавал и редактировал «дядя Ваня», известный цирковой арбитр. В городе было пусто, жители разбегались за хлебом в уездные города и деревни, покинутые городские квартиры

пустовали. Мы переживали тревожные июльские дни, Октябрь, выстрелы «Авроры».

Пришвин работал в одной из многочисленных газет, где редактировал еженедельное литературное приложение — небольшой листок, носивший название «Россия в слове». В этом листке часто печатались пришвинские фельетоны и маленькие рассказы, принимали участие многие видные петербургские литераторы.

Летом восемнадцатого года, уже в смоленской деревне, я получил от Михаила Михайловича короткое письмецо. Он просил меня устроить его семью, которая собиралась уезжать из Елецкого уезда, из родной пришвинской усадьбы, где стало беспокойно и трудно жить.

Жена его родом была из Дорогобужского нашего уезда, из деревни Следово. Всей семьей они вскоре приехали на родину жены в Дорогобуж. Пришвину дали место учителя в Алексине, вместе с семьей он жил в барском дворцовом доме, принадлежавшем некогда богачам Барышниковым.

Время нас разлучило. Встретились мы в двадцать втором году в Москве. Дружеские отношения восстановились. Пришвин был в творческом подъеме, он писал своего «Курымушку»[1] и охотничьи мелкие рассказы, принесшие ему широкую известность. Эти добрые отношения поддерживали до его смерти.

Чем дорог нам всем Михаил Пришвин? Трудно назвать другого писателя, столь обладавшего своим лицом. Пришвин был не похож ни на какого другого писателя. Считая себя учеником Ремизова, он пошел своим, пришвинским путем. Быть может, не все равноценно в произведениях Пришвина. Но оригинальность его, непохожесть на других писателей очевидна. И в человеческой и в писательской жизни шел Пришвин извилистым сложным путем, враждебно несхожим с писательским путем Ивана Бунина — ближайшего его земляка (быть может, в различиях родового и прасольско-мещанского сословий скрывались корни этой враждебной непохожести)[2]. Пришвина иногда называли «бесчеловечным», «недобрым», «рассудочным» писателем [3]. Человеколюбцем назвать его трудно, но великим жизнелюбцем и «самолюбцем» он был несомненно. Эта языческая любовь к жизни, словесное мастерство — великая его заслуга.

Он знал волшебное мастерство слова. Такое чудесное мастерство не дается университетским и литературным образованием, художники ему учатся у своих матерей и отцов.

Каждое сказанное Пришвиным слово как бы имеет свой особенный запах, цвет и вкус. Редкое качество это есть верный

признак истинного таланта, только очень немногие этим великолепным качеством обладают.

И. С. Соколов-Микитов (1892—1975) — известный писатель, близкий Пришвину по взгляду на родную природу, много писавший для детей и взрослых.

[1] Название первой части автобиографического романа «Кащеева цепь».

[2] Отношение Пришвина к Бунину было намного сложнее. Среди записей о Бунине есть и такая: «2 *сентября 1943 г.* Вчитывался в Бунина и вдруг понял его, как самого близкого мне из всех русских писателей. Для сравнения меня с Буниным надо взять его «Сон Обломова-внука» и мое «Гусек». «Сон» тоньше, нежнее, но «Гусек» звучнее и сильнее. Бунин культурнее, но Пришвин самостоятельней и сильнее. Оба они русские, но Бунин от дворян, а Пришвин от купцов».

[3] Это мнение впервые высказала З. Гиппиус в статье «О «Я» и «Что-то» (1913), где автор называет Пришвина «легконогим и ясным странником с глазами вместо сердца». На протяжении всего творческого пути Пришвину не раз приходилось слышать такого рода упреки. Он отвечал многочисленными записями в дневниках и в своих произведениях. Вот одна из записей: «...Неопытному человеку может показаться, будто я действительно о себе это пишу, о себе, какой есть, — нет, нет! Это «я» мое — часть великого мирового «Я», оно может свободно превращаться в того или другого человека, облекаться той или иной плотью».

А. М. Ремизов

М. М. ПРИШВИН

«Я счастлив, что живу с вами на одной планете!» Это обращение Горького к Пришвину при первой встрече. В этих немудреных словах перелив чувств и кипь растроганного сердца, сказавшаяся в несуразной астрономической «планете». А как не восчувствовать и не полюбить Пришвина и всякому, для кого дороги и близки эти кусты, пеньки, лыки, овражки, логи, кочки, хохолки — вся необъятная, бедноватая, в чем-то печальная русская природа. Пришвин нашел для нее слово — гремящее, как лесной ключ, сверкающее, как озимые росы. Повторяя за ним это слово, видишь и чувствуешь живую русскую землю.

Но пространства России не Москвой сошлись: на север она за полюс, где в зимнюю бесконечную ночь костры зажигают гам, за облаками, и небо полыхает в переливных, осыпающихся на землю огнях; на юг она за белоснежный Эльбрус с памятью Арарата и проклятого жадными богами огненного Прометея; на восток она через верблюжьи киргизские степи со звездами-птицами до серебряного волшебного Алтая, и по Китайской стене вдоль Сибири до Великого океана, царства оленей, рек — как моря, и чародейского шаманского бубна.

И на всех этих пространствах — на тысячи тысяч верст — ступила нога русского — и уж он не Пришвин, русский, а «Черный араб», загадочный и ни-на-что-не-похожий, а там, у Даурских гор, он превратился в Белого Китайца. И всюду будет желанный гость.

И то, что глаза его увидят — глаза его зорко-птичьи, и то, что тронет его сердце, открытое ко всему живому Божьему миру, он, одаренный слухом к свисту птиц, дыханью трав и мурму зверей, передаст в своих рассказах русским словом, памятным на тысячи тысяч верст.

«Я счастлив, что встретился с в а м и , — скажу я, — и на мою долю выпала честь направить вашу руку в трудной работе над словом».

В литературе Пришвин выступил в 1907 году: его первые книги — географически-учебного характера — очерки: «В

стране непуганых птиц» (1907) и «За волшебным колобком» (1908). Но как писатель, Пришвин начинается с рассказа «У горелого пня», напечатанного в петербургском избранном журнале «Аполлон» в 1909 г. А вскоре после встречи с Горьким «Знание» выпустит три книги его рассказов, куда входит «Черный араб», «Крутоярский зверь», «Птичье кладбище» (1913—1914). И имя Пришвина упрочится в кругу русских писателей.

Пришвин идет не из пуста, он продолжает традиции русской литературы. По тишине и растворению благодати Пришвин подхватывает голос С. Т. Аксакова (1791—1856) с его размывной в мире трепещущей жизнью, где не найдете ни косого взгляда, ни злого зуба, а есть только заботливая теплая любовь. По словарю Пришвин продолжает Б. Дриянского, автора «Записок мелкотравчатого» (1857), первого в русской литературе по богатству языка, а тема Дриянского общая с Пришвиным: земля, небо, звери и птицы. В своих очерках странника Пришвин ученик В. Г. Короленко (1853—1921), то же внимание, бережность и чистота. А в своей памяти о первых годах жизни Пришвин идет с Гариным-Михайловским (1852—1906), автором «Детства Темы». А то, что назовут пришвинским, — это его мир зверей: его олени, гуси, собаки, перепела, ежик, — тут Пришвин продолжает Решетникова (1841—1871), открывшего человекообразных, Пилу и Сысойку, стоящих на грани «безгрешных» зверей. Решетников подслушал слово в бессловесном человеке, а Пришвин расслышал голос немого зверя.

Когда-то елецкий «черный араб», а теперь как лунь, бородатый, белый медведчик и волхв — Михайло Михайлович Пришвин. А над ним серебряные тихие русские звезды.

Пришвин, во все невзгоды и беды не покидавший Россию, первый писатель в России. И как это странно сейчас звучит этот голос из России, напоминая человеку с его горем и остервенением, что есть Божий мир, с цветами и звездами, и что недаром звери, когда-то тесно жившие с человеком, отпугнулись и боятся человека, но что есть еще в мире и простота, детскость и доверчивость — жив «человек»[1].

А. М. Ремизов (1877—1957) — известный русский писатель, оказавший большое влияние на русскую прозу начала века. Под его немалым воздействием развивалось творчество не только М. Пришвина, но и А. Толстого, Евг. Замятина, В. Шишкова, Б. Пильняка, Вс. Иванова.

С 1921 г. писатель жил в эмиграции во Франции. Оставил большое литературное наследие, которое в наши дни возвращается в отечественную культуру.

[1] С Ремизовым Пришвин познакомился в 1907 г. и вошел в «Обезьянью великую вольную палату» — кружок литераторов, группировавшихся вокруг Ремизова. В шутливой форме игры в «Обезьянью палату» проявлялся, однако, серьезный интерес этого общества к изучению истоков русской культуры и народной жизни. В кружок входили многие русские писатели, поэты, художники, ученые: А. М. Горький, А. Н. Толстой, В. Я. Шишков, А. А. Блок, А. А. Ахматова, К. С. Петров-Водкин, П. Е. Щеголев и др.

Пришвин в дневниках на протяжении всей жизни вспоминает А. М. Ремизова. Приведем некоторые из записей:

«6 мая 1926. Общаясь с декадентами, я всегда испытывал к ним в глубине души враждебное отталкивание, доходившее до отвращения, хотя сам себя считал за это каким-то несовершенным человеком, низшего круга. Но Ремизов понимал меня лучше, чем я сам себя, и, кажется, очень любил».

«9 февраля 1927. Большой хитрец и потешник Ремизов, прочитав мой рассказик «Гусек», приготовленный для детского журнала «Родник», сказал мне: «Вы сами не знаете, что написали». Он устроил из моего рассказа свою очередную потеху, прочитав его среди рафинированных словесников Аполлона. Его интриговало провести земляной, мужицкий рассказ в «сенаторскую» среду (так он сам говорил). И он был счастлив, когда рассказ там пришелся по вкусу и его напечатали: получился «букет».

Самому Ремизову чего-то не хватало, чтобы самому писать, как хотелось, просто, он был похож на скифа, делающего себе карьеру при византийском дворе. Вот почему всех, кто подражал ему извне, постигала потом печальная участь. Пришлось и мне испытать на себе некоторое время эту заразу ремизовской кори. Но сам Ремизов ненавидел эти подражания ему, и не кто другой, как он сам, и освободил меня от себя. Из больших писателей, мне кажется, Ремизов глубоко любил и признавал только Розанова, он был тайным врагом Мережковского, Гиппиус, Блока. Признавал еще Белого в его «бешенстве». Ремизов не своими писаниями, а своей личностью сделался единственным моим другом в литературе, хранителем во мне земной простоты. Я был не одним из таких «хороших» учеников Ремизова. Знаю, что А. Н. Толстой не откажется признать Ремизова своим учителем. На моих глазах с огромным терпением из первых крайне путаных рассказов В. Шишкова он вылупливал его здоровое сибирское ядро. Было много и других учеников у Ремизова, и все, кто чему-нибудь научился у Ремизова, сделались в писаниях своих почти прямо противоположным его собственным писаниям. Столбовую задачу Ремизова я бы теперь характеризовал как охрану русского литературного искусства от нарочито мистических религиозно-философских посягательств на него со стороны кружка Мережковского, с другой — тенденциозно-гражданских влияний не умершего еще тогда народничества».

А вот записи, сделанные много лет спустя:

«6 марта 1945. Чагина позвонила в 11 утра: вчера умер Шишков. <...> Вымирает гнездо писателей школы Ремизова...

Это было то время, когда уже прискучил декадентский звон прославления в лице своем сверхчеловека и стало зарождаться движение, теперь можно назвать его своим именем: движение патриотическое. Историки литературы, может быть, сказали что-нибудь об этом движении или собираются сказать, я же могу говорить о нем лишь по себе и тем немногим друзьям, которые были со мной. В то время, не мечтая о художественной литературе, я занимался пешим хождением по стране с целью записывания фольклора. Мои записи народных сказок чрезвычайно понравились Ремизову. <...> Обезьянья палата как насмешка над декадентами. Маяковский, Клюев, Ремизов, Толстой, Замятин, Шишков, Пришвин, Хлебников».

«20 марта. Узнал от Бориса Дмитриевича (Удинцев. — *Сост.*), что речь моя в Литературном музее о Толстом за упоминание Ремизова подверглась

в партии особому разбору и осуждению. Раз Ремизов в «Правде» разъяснен как эмигрант, то как можно упоминать его имя и Толстого называть учеником Ремизова.

Вспоминая прошлые свои выступления, я делаю вывод, что мое особое мнение, производившее шум, в конце концов приносило мне пользу, создавая хорошее положение советского юродивого, и обеспечивало тайное уважение всех. Я сделал в советское время редкую карьеру независимого человека. И в этот раз после криков против меня были и такие голоса: «Пришвин завоевал себе право говорить независимо от «Правды».

«Ремизов играл словами как мячиками и много развел подражателей пустоте словесной. Но сам он не был пуст. Ему не хватало охоты, смелости, наивности и еще чего-то (?) к живому и слепому движению, к тому, чего так много было у Горького. Он утонул в море эстетической старины» (Путь к Слову, с. 176).



Е. Горбов

ЗНАКОМСТВО

Весной 1919 года мать получила ордер на новую квартиру. Она работала в коммунальном отделе, поэтому жилье нам отвели — лучше не надо. Квартира размещалась в просторном двухэтажном доме с парадным ходом, с широкой лестницей внутри, с неприступным забором вокруг многочисленных надворных построек. Дом принадлежал местному старожилу, одному из тех крепышей, чьи родовые корни уходят глубоко в купеческое или поповское прошлое. Нас встретил сам хозяин. Это был кряжистый человек с косым брюхом, с узкой бородой, кончик которой завивался каким-то ассирийским колечком, с тяжелым и неприязненным взглядом глубоко сидящих обезьяньих глаз. Он стал на пороге, как бы не желая пускать нас дальше, взглянул на наш тощий скарб, заключавшийся в двух небольших узлах, и на лице его ясно изобразилось: «Э, шушера! Будь моя воля, турнул бы я вас отсюдова...» Однако он тут же отступил в сторону, потрогал бороду и сказал неожиданно мягко и предупредительно:

— Пожалуйте *сюда*... — и потопал внутрь своих владений.

Я оглядывался. Вот это квартира! Чистые, недавно оштукатуренные стены, свежевыкрашенные полы, веселые окна на улицу. Я подошел к столу и увидел на нем мудреную брезентовую сумку с толстыми кожаными ремнями и — о чудо! — маленький, прямо-таки микроскопический самовар на два-три стакана воды. Я отроду не видел таких самоваров.

— Вот это штуковина! — сказал я, выхаживая вокруг стола.

Мать тоже заинтересовалась:

— Оригинальная *вещица*... — и осторожно повернула миниатюрный краник.

— Вот бы *присвоить*, — продолжал я мечтательно.

— Не глупи. Вещи не наши, и ты их не трогай. Надо сказать хозяевам, пусть заберут.

Она вышла в коридор, с кем-то поговорила и тотчас вернулась.

— Это вещи прежнего квартиранта. Их скоро возьмут.

И самовар, и сумка принадлежат писателю Михаилу Михайловичу Пришвину.

— Писателю?

Я вытаращил глаза. Вот оно что... Писателю... Взглянуть бы на него!

За самоваром и сумкой пришел, однако, не писатель, а какая-то женщина — простая и неинтересная, вещи исчезли, и я мало-помалу забыл о них и об их владельце.

Кончилось лето, и возобновились школьные занятия.

Уже в первый день мне стало известно, что географию нам будет преподавать новый учитель. Новость не ахти какая, но она поразила меня тем, что учителя звали Михаилом Михайловичем Пришвиным [1].

Пришвин! Тот самый, что с самоваром. Я насторожился.

...Он вошел в класс, едва задребезжал звонок, быстро поднялся на кафедру и легким, чуть заметным движением руки предложил: садитесь. До сих пор (хотя прошло больше полсотни лет) мне представляется подтянутый, средних лет человек в черной, очень приличной по тогдашнему времени, паре, бледнолицый, с черными длинными волосами и такою же черной и довольно длинной бородой. В нем было что-то, сразу возбудившее интерес, привлекавшее и одновременно отстранявшее от себя, была смесь спокойной доброжелательности, живого внимания к окружающему и вместе с тем какой-то суховатой официальности. Хотя мы еще не могли разбираться в таких тонкостях, однако сразу смутно почувствовали, что Пришвин не настоящий, не всамделишный педагог; в нем не было и следа профессионализма, того особого свойства, которое либо крепко сближает учителей с учениками, либо превращает их в педантов, мелочных придир, а то и гонителей юного поколения.

Сделав перекличку по журналу и, так сказать, познакомившись с нами, Михаил Михайлович открыл книгу и без лишних предисловий сказал:

— Сейчас я почитаю вам свои очерки «В краю непуганых птиц».

И тотчас начал. Класс примолк. Это было необычно и противоречило всему, к чему мы привыкли. Пришвин читал ровно, внятно, но с таким видом, будто его совершенно не касалось, слушаем мы или нет. За все время он ни разу не взглянул в нашу сторону. Сначала все слушали внимательно, некоторых по-настоящему заняло содержание книги, затем — сперва

сзади, потом в середине класса — пополз шепоток, переходивший в бормотанье, и скоро весь класс забормотал и забурлил, как вскипающее молоко. Пришвин читал невозмутимо, глаза его не отрывались от книги. Когда прозвенел звонок, он захлопнул книгу, кивнул на прощание и так же легко и быстро, как появился, вышел из класса.

На следующем уроке все повторилось: Пришвин продолжал читать свою книгу. То же самое было в третий, четвертый и пятый раз. Мы скоро привыкли к этому, и в классе установился своеобразный порядок. Одни слушали учителя, другие негромко разговаривали, третьи повторяли уроки, четвертые читали, что им самим нравилось. Никто не позволял себе излишнего шума, не хулиганил, не высовывался вперед: класс побормatывал — и все тут. В этом чувствовалась некая солидарность учителя с учениками. Когда Пришвин дочитал «В краю непуганых птиц», на смену появилась другая его книга — «За волшебным колобком».

Иногда Пришвин закрывал книгу и принимался рассказывать о своих странствиях по стране. Я забыл эти рассказы, но одна деталь запомнилась: какой-то житель далекой окраины спрашивает у соседа: «Хабар бар?» — и тот ему отвечает: «Бар, бар» [2]. Не знаю, как перевести эти слова, но в то время они мне почему-то очень понравились. Но вот кончился учебный год, и вновь пришло лето. Я продолжал работать в упродкоме и кое-что пописывать, но свободное время чаще всего проводил на реке.

Я любил ее — нашу реку [3], спокойную, медлительную, с миллионом золотых блесток посредине, с высоким берегом противоположной стороны, где торчали глыбы известняка, желтели глинистые осыпи, стеной стояли репьи и между ними карабкались вверх утлые хибарки с крохотными садиками, палисадниками и будочками отхожих мест. Все это, ветхое, тысячелетнее, тянулось на вершину берега, к той крайней точке, где именно громоздился собор — удивительно рельефный, остро рассекавший своим куполом и сверкающим крестом светлое половодье круглых, важных, медленно плывущих облаков. Бывало, заглядишься на этот крест, на облака — и сладко затуманится голова...

Я и мои приятели-купальщики проводили здесь целые вечера. Больше всего нам нравилось плавать к мосту. В этом месте река, стиснутая преградами, начинала бурлить, скручиваться и приобретала такую силу, что, казалось, ее не одолеть ни саженками, ни «по-собачьи». Несколько последних отчаянных усилий, последний бросок — и вот она, влажная и скольз-

кая свая. Переведешь дыхание — и под мост. Таинственно, жутковато...

Во время наших заплывов на мосту обычно стояла шеренга зрителей, и однажды я увидел среди них Пришвина. Одетый в какую-то крылатку с металлическими застежками, в черной шляпе с широкими полями, он стоял, облокотясь о перила, корпусом вперед, и вся его поза выражала глубокое внимание и интерес к тому, что совершалось в воде. Я заметил, что он был в эту минуту какой-то простой, доступный, нисколько не похожий на того подтянутого, чуть холодноватого педагога, каким я его знал до сих пор. Я подпрыгнул в воде, высоко вскинул руку и во все горло закричал:

— Хабар бар!

Пришвин пригнулся еще ниже, всмотрелся и, узнав своего ученика, с полной готовностью ответил:

— Бар... бар...

— Хабар бар! — прокричал я вторично, и он снова отозвался:

— Бар, бар!

Мои приятели-мальчишки, слыша это, мигом вошли во вкус игры и хором, на всю реку, завопили:

— Хабар ба-а-ар!

Пришвин, дружески улыбаясь и помахивая рукой, благожелательно ответил им:

— Бар, бар!

С этих пор это повторялось часто. Почти каждый вечер, в определенный час, подплывая к мосту, мы уже издали видели черную шляпу, крылатку и приветственно поднятую руку Пришвина. Мы знали, что наш коллективный клич не останется без ответа. Такова история моего первого знакомства с настоящим писателем — история пустяковая, наивная, но одна из тех, которые на всю жизнь оставляют в душе какую-то милую теплоту.

Осенью, когда начался новый учебный год, Пришвина в школе уже не оказалось. Видимо, он уехал из нашего города [4].

Воспоминания краеведа *Е. Горбова* были написаны к 100-летнему юбилею М. М. Пришвина в 1973 году и опубликованы в газете «Литературная Россия».

[1] 13 октября 1919 г. Пришвин записывает в дневнике: «Сегодня я назначен учителем географии в ту самую гимназию, из которой бежал я мальчиком в Америку и потом был исключен учителем географии (ныне покойным) В. В. Розановым».

«16 октября. Завтра иду в гимназию давать урок по географии; программа 1-й лекции.

До XVII века боролись между собой два представления о Земле: что она есть блин и что шар; 1-е мнение было основано, в общем, на чувстве, второе — на знании (на разуме). Коперник в XVII веке окончательно доказал, что Земля есть шар с двойным вращением, и с этого времени география в полном смысле слова стала наукой.

Наша Россия, как родина наша, очень маленькая, такая, какой мы видим ее с нашей родной колокольни, чувство родины дает нам представление, подобное тому чувству, которое в древности создало образ плоской земли. Когда к чувству присоединилось знание — Земля стала шаром. Так наша родина Россия, если мы узнаем ее географию, станет для нас отечеством: без знания своей родины она никогда не может быть для нас отечеством.

Вопрос: что означает слово «родина» и слово «отечество» — какая между ними разница? Ответ: родина — место, где мы родились, отечество — родина, мною созданная.

Путешествие как средство узнать свою родину и создать себе отечество».

«31 октября. В полушубке и валенках иду в гимназию учить ребят географии нашего отечества».

«8 ноября. Хотел бросать свои уроки географии, услыхал, что ученики от них в восторге, и сам я теперь в восторге...»

В декабре в дневнике появляется запись, имеющая отношение к творческому кредо Пришвина, но несомненно косвенно связанная с его преподавательской деятельностью:

«11 декабря. Учиться и подготовляться... нет! это не ученье, я никого учить не хочу, я поведаю вам свою боль и радость, а вы делайте с ними, что хотите, я не учитель, а только делатель общения и связи...»

[2] Речь идет о путешествии Пришвина в Киргизию в 1909 году. «Хабар бар?» по-киргизски — «Есть новости?». См. повесть «Черный араб» (1910), написанную в результате путешествия (Собр. соч. в 8-ми томах, т. 1).

[3] Река Сосна, протекающая в Ельце.

[4] Пришвин уезжает из Ельца летом 1920 г.

Н. И. Дедков

УЧИТЕЛЬ

Поздней осенью 1920 года я пришел учиться в семилетнюю школу, открытую в селе Алексино в доме помещицы Барышниковой.

Пришел я в школу с опозданием. Еще до прихода в школу мне стало известно, что родную, любимую мою литературу будет преподавать писатель Пришвин. Это имя мне ничего не говорило, так как ни одного слова Пришвина я к тому времени не читал. Но я читал Пушкина, Лермонтова, Шекспира, Вальтера Скотта, Горького, Гаршина, Гоголя. Я боготворил людей, умеющих делать книги.

И вдруг такое большое счастье — увидеть, услышать и учиться у живого писателя!

И вот школа. Первый урок русского языка! Открылась дверь класса, неторопливой легкой походкой проходит через класс невысокий, собранный, с черными, слегка вьющимися волосами, смугловатый человек. Вот он повернулся к нам и своими сияющими лучистыми глазами всех нас увидел, по-своему оценил и еле заметно, одними глазами, лукаво улыбнулся. Голос М. М. Пришвина негромкий, приглушенный, интимный, голос раздумья, манящих вопросов.

В этот урок он говорил нам о великой силе и значимости записанного слова, о дошедших до нас памятниках письменности и изобразительного искусства, по которым ученые воссоздают историю жизни человеческого общества. Говорил об устном творчестве, о летописях нашего русского народа, о сказках, былинах, у которых простые люди оставили след своего бытия, создали культуру России.

Урок русского языка закончился тишиной, ушел учитель, завязав во мне на всю жизнь узелок любви к себе[1].

В один из дней, после занятий Михаил Михайлович пригласил меня к себе на квартиру. Он с семьей жил здесь же, в барском доме. Жилье его было скромное и беспорядочное. Позднее много раз я убеждался, что сам Михаил Михайлович не обращал никакого внимания на окружающую его обстановку,

ему нужно было только место для работы, орудия его производства, и ничто другое его не трогало.

Он усадил меня возле стола, где работал, сам сел в жесткое удобное кресло. Познакомил с женой Ефросиньей Павловной. Детей его, Леву и Петю, я уже знал. Самое большое и привлекательное богатство в этой комнате заключалось в огромном, во всю стену, шкафе, плотно уставленном строгими рядами книг в богатых переплетах с золотым тиснением.

На столе был беспорядок, или, вернее, порядок хозяина: тетради, несколько книг, рассыпанный табак, огниво, кое-что из плотничьих принадлежностей и даже скудные остатки пищи. Керосиновая лампа. Самодельный ночничок.

Вел беседу Михаил Михайлович. Я был очень застенчив, и внимание ко мне писателя, учителя приводило меня в трепет. Осторожно он расспросил меня о моей жизни. Поведал я ему свое большое желание учиться. Я волновался и очень внимательно слушал Михаила Михайловича, но это старание приводило к обратным результатам — я почти ничего не понимал. Все происходившее доходило до меня сквозь какой-то туман. В конце беседы Михаил Михайлович разрешил мне обращаться к нему со всеми моими вопросами, когда будет у меня желание. Более того, он сказал, что здесь же, в доме, организует музей усадебного быта и хочет, чтобы я ему помогал, что мне это пригодится, и предложил жить, если я захочу, рядом с ним в одной из комнат дома и быть как бы хранителем музея. Я был очень рад и дал свое согласие.

Живу рядом с Михаилом Михайловичем в роскошном барском охотничьем кабинете. Много света, зеркальные стены, простенки увешаны образцами охотничьего оружия. Здесь же охотничьи принадлежности, чучела птиц, зверей.

Долгими вечерами учу уроки и читаю запоем книги при свете камина — другого освещения не было. Усталый, ложусь спать на диван. Недостатком этого красивого кабинета было то, что он быстро остывал, и ночью я сильно замерзал. Это доглядел Михаил Михайлович и собственноручно принес мне из музея роскошную, подбитую белым, как снег, мехом — барскую ротонду. С тех пор, укладываясь спать, я заматывался с головой в эту ротонду и спал в тепле. Но была другая беда — мех ротонды вылезал и каждое утро после сна я походил на зайца-беляка при линьке — весь в клочьях белого пуха.

После уроков Михаил Михайлович часто приглашал меня к себе и вел со мной долгие беседы. Вернее, беседовал он, а я сидел и слушал. Он говорил о литературе, о революции, о большевиках, о судьбах России. Будущее ее для него было темно,

как я сейчас понимаю, он боялся гибели культуры и ее ценностей. Но неизменно и всегда он верил и любил свой русский простой народ. Свою судьбу, жизнь и творчество он связывал только со своим народом.

Уроки Михаила Михайловича по русской литературе мы все любили. Преподавал он по-своему: поощрял инициативу суждений, часто давал сочинения на вольные, свободные темы, связанные с прочитанным и изучаемым на уроках; лучшие сочинения обязательно прочитывались и обсуждались на уроках. Он старался всегда объективно дать оценку тому или другому автору и не навязывал своего мнения, оставляя (и поощряя) это право за нами.

Больших художников слова он раскрывал перед нами всесторонне и с учетом времени. Так, когда мы изучали творчество Л. Н. Толстого, в классе было прочитано вслух его знаменитое гневное письмо «Не могу молчать». В связи с этим письмом нам было задано написать сочинение, и одно из них было прочитано и обсуждено в классе.

Я часто бывал у Михаила Михайловича на квартире. Однажды он подвел меня к шкафу с книгами и сказал: «Ну, кажется, тебя уже можно пустить к Достоевскому» — и дал мне «Преступление и наказание». И я испил горькую эту чашу до дна, прочитав запоем «Преступление и наказание», «Братьев Карамазовых», «Записки из Мертвого дома», «Идиота» и другие. У меня было невыносимое состояние. Порой мне хотелось бросить это чтение, так как мне нечем было дышать, но я снова тянулся к оставленным страницам книги, и снова все мои нервы трепетали и все горело во мне. Как после тяжелой болезни, отходил я от Достоевского в круг текущей жизни. Мне долго не хотелось ничего читать.

Михаил Михайлович, безусловно, понимал без слов мое состояние.

О своем творчестве и своих книгах Михаил Михайлович никогда не говорил с нами, учениками и со мной. Только один раз, по моей просьбе, он дал мне для прочтения «За волшебным колобком. По Крайнему Северу России и Норвегии». Книга мне понравилась, это было что-то от Лукоморья, что-то знакомое по бабушкиным сказкам и вместе с тем новое — и сказка, и манящая быль. Я любил и чувствовал природу, а книга его была полна ею.

По выходным дням, бывая у себя дома, в семье брата, я часто рассказывал о своей учебе, о жизни в Алексине и больше всего — с гордостью о своем учителе. Мне очень хотелось чем-то отблагодарить своего учителя, и, решив позвать его

к себе в гости, сказал об этом брату. Тот охотно согласился и обещал сварить самогонки, так как без вина какие ж гости.

Мы условились о дне приглашения. Об этом я рассказал Михаилу Михайловичу. И вот в условленный день, или, вернее, ночь, я веду своего учителя в Картицкое болото. Темная ночь, лес, идем по следам, протоптанным моим братом и его кумом, мужиком из соседней деревни.

Горит костер, вокруг костра все устлано хвойными ветками. Поздоровались. Я всю дорогу тревожился: как-то сладится компания из двух смоленских мужиков и писателя Пришвина? Но он удивительно быстро и естественно ассимилировался, как бы слился с этим маленьким коллективом. Разговор его ничем не отличался от собеседников и носил производственный характер. «Пошла!», «Удачна!», «Смотри, кум, горит!» — и на хвойной ветке мерцал язычок лиловатого пламени горящей самогонки. Все по-детски радовались. «Ну, кум, давай для знакомства по маленькой!» И уже было не два, а три кума. И Михаил Михайлович кум, и брат — кум и кум — кум! Я вел костер и неотрывно смотрел за поведением кумовьев. Неподдельная радость и довольство светились на всем лице и особенно в буквально сияющих глазах Михаила Михайловича. Не от самогона, он пил очень мало, а просто от общения с новыми людьми, от родной стихии и общения с природой расцветал этот человек [2].

Впоследствии я не раз убеждался в его удивительной способности растворяться в окружающей среде, и только глаза оставались пришвинскими, которые светились умом, игривым лукавством и все впитывали, все видели. Мне кажется, что он и за собой часто наблюдал как бы со стороны.

Позже, когда Пришвина много раз видели и знали наши деревенские мужики, мне приходилось неоднократно слышать от них такие слова: «Ну что ты, Николай, болтаешь, какой он писатель. Мужик и мужик, разве писатели такие бывают!» Меня это злило. Я как-то принес книгу Михаила Михайловича как неоспоримое доказательство, что он подлинный писатель. Мужики вертели эту книгу в руках и оставались при своем мнении.

Прошла зима. Весна принесла свои тревоги ученикам и учителю. Михаил Михайлович физически по-прежнему бывал на своих уроках, но душа его была не с нами. Он делил ее между нами и смоленскими лесами и, безусловно, не в нашу пользу. Мы, ребята, табунились с девушками, а многих из нас уже властно требовало поле. Надо было пахать, сеять хлеб. Семилетка окончена. Живя дома и работая в крестьянском

хозяйстве, я не порывал связи с Пришвиным и изредка с ним встречался.

Однажды летним вечером мы шли с ним из Алексина в нашу деревню Плоское. Дорога лежала меж ржаных хлебов в пору цветения. Вправо от нас расстилалась в легкой голубоватой дымке пойма нескошенных цветущих лугов. На западе стояли, как в дреме, причудливые кучевые облака. Далекая песня девичьих голосов плыла и сливалась с красотой природы. Все ржаное поле было заполнено звуками нежных, страстных, трепетных призывов. В пойме лугов — дразнящие, резкие крики дергачей.

«Знаете, Михаил Михайлович, о чем идет разговор между дергачами и перепелками?» — спросил я своего учителя и рассказал ему, как ветреный непостоянный дергач обманул скромную перепелку, обещая ей в награду хозяйство и корову. Уговорил, а потом бросил и вот теперь дразнит ее ночами: «Тпруст! Тпруст!» — а она верит и ждет: «Вот идет! Вот идет!» Рассказал и забыл.

На другой день Михаил Михайлович вернулся к этому случаю и предложил мне написать маленький рассказ «Дергач и перепелка», написать так, как я рассказывал. Я написал, но Михаил Михайлович забраковал написанное и предложил переделать. Долго мучился я над этим дергачом и перепелкой: написанное было скучно и самому мне не любо. Больше мы к этому не возвращались. Уже в 1927-м или в 1928 году, читая книгу вышедших рассказов М. М. Пришвина, я наткнулся на что-то знакомое: «Дергач и перепелка». Ржаными полями, цветущей поймой наших родных лугов веяло от этой его драгоценности. Я был счастлив, что дал художнику тему нашей милой Смоленщины.

Ближе к осени Михаил Михайлович часто охотился в лесах около наших маленьких деревенек. Заходил по пути с охоты в дома к своим ученикам, где всегда был желанным гостем, о чем он так тепло вспоминал позже в своих дневниках. Круг его связей и знакомств с крестьянами становился шире. Время это было во всех отношениях тяжелое, и наш учитель жил бедно. Ходил он плохо одетый: какой-то короткий пиджачок неопределенного цвета, ноги обернуты концами не по росту сшитых портов и заправлены в кожаные истертые башмаки. В таком виде зашел он однажды к моему дяде Е. И. Барановскому, крестьянину, бывшему питерскому рабочему-путиловцу. Сынок его учился у Пришвина. После недолгого отдыха и беседы за крестьянским столом учитель ушел. Через несколько дней Барановский заехал на квартиру к Пришвину и подарил

ему яловые сапоги[3]. Всю жизнь помнил Михаил Михайлович этот случай, писал о нем в своих рассказах и дневниках, посылал свои книги с благодарными автографами этому хорошему человеку. В годы Великой Отечественной войны Барановский уехал в Ленинград и умер там во время блокады...

Начало осени. Убираются хлеба. Деревня ожила. Успеньев день (15 августа по старому стилю) — престольный праздник в нашей деревне. Съезжаются гости, шумное, праздничное настроение.

У нас в доме, среди детей, почетное место занимает Михаил Михайлович. Сидит в красном углу. Я простудился и больной лежу в постели, откуда потихоньку наблюдаю за своим учителем. Как он хорош! Как он буквально врос в это гудящее застолье! Пользуясь хорошим, благодушным настроением хозяев, Михаил Михайлович вспоминает обо мне и настойчиво советует моему брату послать меня в Москву учиться. Брат не возражает, и здесь же радостным тостом скрепляется решение: «Быть по сему! Пусть едет!» Решают, что мы едем со старшим сыном Пришвина — Левой. Брат обещал снабдить нас продуктами и впредь помогать нам.

Провожая нас в Москву, Пришвин вручил мне собственноручно написанное удостоверение на листе из ученической тетради, скрепленное его, Пришвина, подписью и печатью, где говорилось, что я успешно окончил Алексинскую семилетнюю школу и еду продолжать учение. Удостоверение заканчивалось настоятельной просьбой ко всем лицам и учреждениям оказать мне посильную помощь. Кроме того, он вручил мне личные письма к А. М. Горькому, Н. А. Семашко, М. О. Гершензону. Основное содержание этих писем было таким: «Вот ученик мой из недр современной деревни, Коля Дедков, едет в Москву учиться, помогите ему, чем можете. Что ему нужно, он сам вам расскажет». В одном из писем было добавлено: «Примите его, как если бы я к Вам посылал моего родного сына». Я привожу эту фразу по памяти, так как из всех документов у меня сохранилось только письмо к А. М. Горькому и удостоверение об окончании семилетки.

Встретился я снова с Михаилом Михайловичем уже в 1927—1928 гг. в Москве. Он жил тогда в общежитии писателей у Тверского бульвара. Занимал он одну комнату и жил со своим старшим сыном. Обстановка в комнате была холостяцкая, бедная и неуютная. Неизменный спутник того времени — примус, две кровати, два-три стула и один небольшой стол, служивший для работы и пищи. Немного книг, номера журнала «Красная новь», где печатался его роман «Кащеева цепь»

В одно из моих посещений он пригласил меня пойти к поэтам С. Клычкову и П. Орешину, которые жили в том же общежитии. На этой встрече оба поэта читали Михаилу Михайловичу свои новые стихи. Помню, что Михаил Михайлович был не в восторге от этих стихов и, уходя, потихоньку ворчал.

От этих встреч у меня осталось и закрепилось впечатление о том, что Михаил Михайлович был на распутье: старое мертво, в новое еще не врос. Творчество его подвергалось атакам со стороны особенно архиреволюционных групп. Путь компромисса был абсолютно чужд этому большому проницательному художнику. Он стал в оборону.

Вскоре Михаил Михайлович ушел в Подмосковье, к родникам Берендея, — к новому расцвету своего творчества, а потом и совсем пропал где-то на Дальнем Востоке, в уссурийской тайге. Но отыскался «след Тарасов».

Начало осени 1935 года. Я опять в гостях у Михаила Михайловича в его домике в г. Загорске. Он весел, разговорчив, глаза полны света и озорства. Чувствуется силушка и довольство, он явно рад мне. Показывает свое хозяйство — знаменитую машину-газик, дом и настоящий корень жизни — женьшень, привезенный им из Приморья.

Михаил Михайлович с пристрастием допрашивает меня, доволен ли я избранной работой, весь ли я отдаюсь ей, захватывает ли она меня.

Жизнь моя к тому времени окончательно определилась — я был на партийной работе, жил и дышал своей работой, о чем и сказал своему учителю. Михаил Михайлович очень хорошо это воспринял, был доволен, радовался за меня и даже гордился.

Неоднократно знакомя меня с известными людьми, он неизменно подчеркивал: «Это Коля Дедков — мой ученик».

В эту осень я часто бывал в Загорске. Каждый раз мы уезжали или уходили в леса и поля на охоту. Особенно хорош был один осенний солнечный день. Поля убраны, по обочинам оврага ярко рдеет спелая рябина. Мы идем усталые по проселочной дороге. Навстречу нам едет подвода, высоко загруженная домашним скарбом. Рядом шагает хозяин.

Михаил Михайлович проводил глазами эту подводу и не то мне, не то себе вслух заметил: «Если бы кто знал, как я богат! Я ношу в себе столько всякого добра, что мог бы и не такой воз загрузить!»

Зная, как ревниво оберегает Михаил Михайлович свой внутренний мир, я шел, стараясь быть ненавязчивым. «У меня столько силы сейчас, я накопил в себе столько, что и моей жиз-

ни не хватит, чтобы все это переделать. — И, уже обращаясь ко мне, Михаил Михайлович закончил: — На тот свет я пойду так: наряжусь в свою охотничью одежду, возьму ружье, буду трубить в охотничий рог, соберу всех своих собак — Ярика, Анчара, Ладу — всех-всех! Отец и мама заметят меня еще издали и, радуясь, скажут: «Смотрите, это наш Миша идет со своими собаками!»

Я видел перед собой красивого человека, полного радости жизни, и понимал, что он просто от избытка сил озорничает и совсем-совсем не хочет уходить от этой жизни даже в таком земном виде, который он мне только что изобразил.

В середине 1938 года жизнь моя, не по моей воле, резко изменилась, и я только из сибирского далека по случайно попадавшим мне книгам следил за жизнью и творчеством своего любимого учителя.

В 1946 году я позволил себе написать Михаилу Михайловичу письмо и, к моей огромной радости, получил от него немедленный теплый ответ. В этом письме он писал мне о большом событии, произошедшем в его личной жизни. Лейтмотивом этого письма была тема: «Ко мне пришла моя Фацелия» [4]. Я получил еще два-три письма, но ни одного из них, не по своей воле, мне не удалось сохранить. О смерти Михаила Михайловича я узнал из газет и свои горькие мысли изложил в короткой телеграмме.

В Москву я вернулся в начале 1955 года, спустя год после смерти М. М. Пришвина, и, естественно, пошел на квартиру своего незабвенного учителя.

На мой звонок дверь мне открыла незнакомая женщина в черном, на ее немой вопрос я ответил: «Вы меня не знаете, я Коля Дедков и пришел на квартиру своего учителя». — «Неправда! Я вас знаю. Михаил Михайлович всегда вас помнил и считал своим духовным сыном!» Со слезами на глазах Валерия Дмитриевна Пришвина расцеловала меня и ввела в комнаты, где незримо присутствовала тень дорогого нам обоим человека.

Бывший ученик Пришвина *Н. И. Дедков* впоследствии стал партийным работником, работал в одном из московских институтов. В 1938 году был арестован, сослан в Сибирь, вернулся в Москву в 1955 году, уже после кончины Пришвина, поддерживал дружеские отношения с семьей писателя.

[1] В автобиографическом рассказе «Школьная робинзонада» Пришвин так описывает свои уроки словесности в Алексинской школе: «Я никогда не был учителем, не выработал в себе еще шаблона, сам ужасно робел и потому перед уроками столько занимался, что как будто сам готовился к экзамену.

Я не готовился даже, я просто сам сочинял свою историю словесности, потому что не по чем было готовиться, у нас не было библиотеки, не было даже учебников; самых старых — учебников Смирнова было только несколько экземпляров. Не было вначале даже просто Пушкина, ничего не было: пустой класс с дымящейся печью и дети земли, сидящие по краям ободранного бильярда. <...>

Мы часто перекидывались из древней словесности в новейшую, так мне очень хорошо удалось оживить утраченный образ Перуна по рассказу Бунина «Илья-пророк»; найденная, помню, где-то на подоконнике по пути на урок книга Сологуба открылась на стихотворении «Стрибог», выкопал я в Дорогобуже Ремизова, Городецкого и тоже нашел в них много языческих и христианских образов.

«Домострой» мне очень счастливо удалось осветить чеховским рассказом «Бабы». <...>

И что бы стало со школами, если бы они перестали учить детей ходить вверх ногами: да, если бы эта бюрократическая схоластика, наследие старых времен, исчезла и ученики знакомились с предметами, как исходящими от жизни самого человека! Я готов поклясться в своей искренности, если скажу, что не талант мой, не образование, а какое-то простейшее знание, полученное от здравого смысла и доброго сердца моей покойной матери, дало мне возможность с успехом заниматься в народной школе, и если бы не страсть к писательству, берущая меня целиком, я никогда не оставил бы этого благословенного труда, вознаграждаемого высшей наградой — любовью детей» (сб. «Встречи с прошлым». М., 1975, с. 202).

[2] Этот эпизод, как и многие другие жизненные впечатления этого времени, легли в основу повести «Мирская чаша», которая была написана в Алексине в 1922 г. (см.: Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 508—518).

[3] Этот эпизод описан в рассказе «Школьная робинзонада»:

«Раз осенью, в холодный моросливый день меня встретил один крестьянин — его звали Ефим Петрович Барановский — и ужаснулся, что я иду на босу ногу в дырявых резиновых калошах; сам он ехал в город на базар с возом. Поздно ночью — слышу я — кто-то стучится ко мне в музей, открываю и вижу: весь серый от дождя, с новыми сапогами в руках стоит Ефим Иванович и говорит мне, передавая подарок, парадными своими словами:

— Категорически вам сочувствую, потому что взять вам нечего.

Да, я знаю, как доставались ему эти пуды ржи, отданные им за сапоги, и что значил этот подарок! Но мало того, передав мне сапоги, он еще сказал:

— Вы не думайте, что помрете с голоду, этого я не допущу, вы только учите, а душку вашу я подкормлю».

[4] Пришвин имеет в виду встречу с В. Д. Лебедевой, которая в 1940 году стала его женой.

И. Романов

НЕЗАБЫВАЕМОЕ ПРОШЛОЕ

Весной 1924 года Михаил Михайлович Пришвин поселился в нашем районе с целью исследования кустарных промыслов в Талдоме и Кимрах. Это была пора буйного расцвета нэпа. Жил тогда Михаил Михайлович в деревне Костино, расположенной в полутора километрах от Талдома.

Старинное торговое село Талдом в 1919 году стало городом уездного значения. С этого времени началось небывалое раньше развитие башмачного промысла и в самом Талдоме, и в деревнях. Большинство башмачников жило прежде в Москве и Петербурге, а после революции вместо нескольких крупных хозяев появились тысячи кустарей-одиночек. Местом сбыта готовой обуви был Талдом, сюда со всего нашего края по воскресеньям и четвергам сходилось и съезжалось множество народа. Здесь была масса скупщиков не только из Москвы, но и из Сибири, Туркестана, Бухары, с Украины, Поволжья и других мест.

В базарные дни весь центр города был до отказа забит торговцами кожевенным товаром и кустарями. После продажи обуви башмачники покупали нужный им товар в палатках или на развалке.

В базарные дни Михаил Михайлович любил побродить, потолкаться в людской гуще. Тут можно было услышать какое-нибудь своеобразное словечко, какого еще нигде не услышишь, наблюдать и изучать типы людей, каких редко где встретишь.

Ходил он обыкновенно с фотоаппаратом «лейкой», делая снимки наиболее характерных базарных сцен. В его кармане всегда лежала записная книжечка и прикрепленный к ней суровой ниткой маленький кончик карандаша. В книжечку аккуратно записывалось все, что ему казалось особо интересным.

К вечеру, после окончания базара, подвыпившие деревен-

ские кустари разъезжались по домам, а среди местных начинался бесшабашный разгул. В кооперативной чайной, обыкновенно заказав кружку пива, Михаил Михайлович внимательно прислушивался к откровенным разговорам башмарей. Иногда в пивных можно было услышать диковинные истории, щедро приправленные выдумкой. Например, в книге «Башмаки», в главе «Анатомия женской ноги», описывается кустарь Иван Афанасьевич Хренов, названный писателем Шмелем, — это был действительно специалист своего дела и неистовый фантазер, любитель прихвастнуть.

Со многими кустарями Михаил Михайлович установил приятельские отношения, от них он почерпнул массу сведений о прежней жизни мастеровщины, на первых порах они помогли ему глубже понять основную суть прошлого и настоящего. В числе его приятелей были Елизар Наумович Баранов, Ефрем Васильевич Елизаров, Логгин Яковлевич Страхов и другие местные люди. Дружил он с видным талдомским революционером Михаилом Петровичем Седовым, беседовал с поднимающимися в гору, то есть начинающими богатеть, лавочниками. Результатом бесед и наблюдений явились очерки, которые Михаил Михайлович помещал в журнале «Красная новь». Очерки печатались в разделе «От земли и городов». Впоследствии часть этих материалов вошла в книгу «Башмаки»[1].

Михаил Михайлович расшевелил, всколыхнул общественность нашего кустарного городка. Под его влиянием создалось и начало энергично работать общество краеведения, по его инициативе начался сбор материала для краеведческого журнала «Башмачная страна».

По совету Михаила Михайловича мною были написаны несколько очерков о прошлом и настоящем нашего края. Они были напечатаны на страницах краеведческого журнала. Но это издание оказалось недолговечным. В 1925—1927 годах вышли только три номера, на этом журнал и прекратил свое существование. Наши встречи продолжались довольно долго, до его отъезда в Переславль-Залесский.

Помню, вместе с одним из его местных приятелей я пришел к Михаилу Михайловичу весной. Идя в деревню Костино, я очень волновался, боясь показаться дикарем. Я хорошо знал, что между интеллигентными людьми принято обращение на «вы», но мне с раннего детства такая деликатность была незнакома. В нашем деревенском быту и среди мастеровых это совсем исключалось. Поэтому обращение на «ты» так въелось в мою разговорную речь, что стоило мне увлечься,

и я сразу же забывал об общепринятой вежливости. Это и угнетало меня всего более.

Встретил нас Михаил Михайлович просто и очень приветливо. Он оказался, как говорят наши башмари, человеком «артельским». Все мои страхи и опасения были напрасными. Как-то впоследствии я сказал Михаилу Михайловичу о своем недостатке, и он мне ответил, что особого внимания на это обращать не следует.

В доме, где жил писатель, обстановка была бедная. На столе в передней половине стояла маленькая пишущая машинка и керосиновая лампа с абажуром. Тут же лежал целый ворох листочков, исписанных мелким почерком.

Я стал часто бывать в Костине. В воскресные дни нередко заглядывал ко мне на квартиру и сам Михаил Михайлович.

Помню, как-то в воскресенье я пришел в Костино. После чая перешли в переднюю половину дома. Перебирая напечатанные на машинке листки, Михаил Михайлович предложил мне прослушать рассказ «Халамеева ночь».

В одно из следующих посещений Михаил Михайлович прочел недавно полученное им письмо Алексея Максимовича Горького.

Одним из любимых мест охоты Михаила Михайловича было изобилующее торфяниками болото Воргаш. Торфяное болото тянется от Костина до самой Волги. Охотился он с собакой рыжей масти по кличке Ярик. Это был умный пес, незаменимый спутник писателя в его скитаниях по лесам и топям.

Как-то Михаил Михайлович задался целью пройти Воргаш прямиком и выйти к Кимрам. Приглашал он с собой и меня. Но наше путешествие так и осталось неосуществленным.

Однажды решили мы побывать на Дубенской пойме, куда Михаила Михайловича приглашал охотник Наумыч из деревни Костолыгино. Условились так, чтобы сначала провести в нашей деревне Терехово Троицын день, а потом уже податься и на Дубну. Так и сделали.

Отправились пешком уже под вечер втроем: Михаил Михайлович, его сын Лева и я. В полуверсте от Талдома большая деревня Ахтимнеево, а за нею, почти до самой нашей деревни, дорога идет сплошным лесом.

Михаил Михайлович шел легким, как будто неторопливым

шагом, но вперед подвигался споро. В пути несколько раз сидели на обочинах дороги, говорили, перекидывались шутками.

Над землей уже спустилась ночь, когда мы подходили к Терехову. Идя тропкой около канавы, мы видели, как за деревней из влажной низины на кусты и мелколесье хлынули волны теплого пара. От земли и от неба струился какой-то трепетный полусвет. А из ближней березовой чащи, как звенящий хрусталь, сыпались соловьиные трели.

Продвигаясь вперед молча, мы тихо пролезли сквозь изгородь возле амбаров. Каждому из нас не хотелось каким-либо, сказанным даже полушепотом, словом разрушить очарование теплой майской ночи.

Утром поднялись рано, позавтракали чем пришлось на скорую руку и вышли на улицу. Над крышами домов круто поднимался вверх голубой дым. В воздухе вкусно пахло праздничными пирогами. Над яблонями в садах, густо усыпанными бело-розовым цветом, гудели тысячи пчел.

После прогулки вышли посидеть на лавочке около палисадника. У соседних домов на завалинках и просто на траве сидело много молодых женщин. Девушки группами медленно расхаживали взад и вперед по деревне. Вскоре возле нас появился мой односельчанин Дмитрий Иванович Молчанов с сыновьями Степаном и Дмитрием. Они обладали хорошими голосами, были любителями песен. Спели «Хорошо было детинушке», «Липа вековая», «Бывало, в дни веселые».

— Давайте хороводную, — предложил я.

И вот девушки и молодые женщины, взявшись за руки, медленно и плавно начали кружиться в хороводе. Полилась песня:

Вдоль по морю, морю синему,
По синему, по волнистому
Плыла лебедь с лебедятами...

Михаил Михайлович сначала нетерпеливо пересаживался с места на место, затем встал и тихонько придвинулся к хороводу. Две девушки на ходу разъединили круг и, не прерывая песни, взяли его за обе руки. Он очутился в кругу, захваченный широкой песенной волной. В песне пелось, что охотник убил белую лебедь:

Он кровь пустил по синему по морю,
А перышки по чистому по полю.

Двигаясь вместе с другими по кругу, Михаил Михайлович с увлечением пел:

Брала перья красна девица-душа...

На дороге бегали три моих девочки, особенно заинтересовала Михаила Михайловича маленькая Люба с большими глазами и круглым, густо залитым румянцем личиком.

— Ну, вишенка, — сказал он, — давай я тебя сфотографирую.

На другой день мы отправились в соседнюю деревню Буртаки. Едва наша небольшая компания показалась в конце деревни, навстречу нам вышла ватага людей во главе с Иваном Ивановичем Песковым.

— Стоп! — заявил он. — Заворачивайте к нам в гости.

Сославшись на то, что в доме жарко и душно, мы прошли в огород и расположились на зеленой лужайке.

— Давай-ка, Настасья, угощай гостей, чем можешь, — обратился Иван Иванович к жене.

Через несколько минут та поднесла Михаилу Михайловичу старинный резной деревянный ковш, наполненный хмельной пенистой брагой. Этот момент был заснят и один из снимков подарен мне.

Спустя некоторое время Михаил Михайлович исчез из нашего района. Очутился он на Ботике, около Переславля-Залесского. В ответ на мое письмо Михаил Михайлович писал 10 февраля 1926 года:

«Квартира у меня роскошная, природа самая желанная. Все мы здоровы. Пишу роман. Скоро выйдет книжка моя «Родники Берендея», подобная «Башмакам», но более художественная. «Башмаки» имели успех. Что же больше? Я жизнью доволен.

Ужасно жаль, что я не жил в вашем краю в более лучших условиях: у меня осталось очень горькое воспоминание от Костина...

Жду от Вас нового письма, раз объявились, надо писать. Крепко жму Вашу гусарочную руку».

И. Романов — герой очерков Пришвина «Башмаки», над которым работал писатель в 1925 году, башмачник. Есть о нем такие строки: «Слышал я, будто портные поют больше башмачников, но сильно в этом сомневаюсь: больше башмачников петь невозможно. Среди них, наверно, есть много

и поэтов. Я знаю одного в деревне Терехово, гусарочника Ивана Романова...»

[1] Свой метод работы над очерком в это время Пришвин описывает так: «Путь исследователя журналиста в моем опыте сопровождается все время, с одной стороны, расширением кругозора до того, что в дело пускается все пережитое, прочитанное и продуманное, а с другой — поле зрения сужается исключительным вниманием, со страстью сосредоточенным на каком-нибудь незначительном явлении. И от этого почему-то чужая жизнь представляется почти как своя. И вот, как только это достигнуто, что свое личное как бы растворяется в чужом, то можно с уверенностью приступить к писанию, — написанное будет для всех интересно, совершенно независимо от темы, Шекспир это или башмаки» (Собр. соч. в 8-ми томах, т. 3, с. 478—479).

П. М. Пришвин

В ЗАГОРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Передо мной часто встает образ отца: после большого охотничьего броска по торфяным болотам у Туголянских озер мы наконец выбираемся в сосновый суходол. Я сажусь на валежник, а отец, выбравшись моим следом, садится против меня на пне. Немного передохнув, он энергично забрасывает ногу на ногу, вынимает из бокового кармана записную книжку, кладет ее на коленку, берет карандаш и начинает что-то записывать. Изредка, прерывая запись, смотрит в бездонное небо, шевелит губами, улыбается и опять спешно что-то записывает.

Я встаю и, стараясь не мешать, набираю в свою кепку перезревшей брусники, потихоньку сажусь у пня рядом с ним, и только тут он возвращается от своих образов на нашу грешную землю, замечает меня и пригоршнями берет бруснику из кепки. Или вот, закончив писать, он обращается ко мне со словами: «Знаешь, Петька! Нигде в мире нет такого замечательного языка, как русский. Вот возьми, например, слово «Родина». Сколько слов с тем же корнем: родина, род, роды, родственник, родимый, рожденный, родник, родничок, родственный, родственное внимание...» И опять улетел с мечтательным взглядом в бездонное синее небо, как бы выискивая там новые образы.

Но я, с детства сопровождавший отца почти во всех его путешествиях и охотах, знал, что многое, о чем пишет в своих произведениях отец, не фантазия. В основу всего его творчества положены действительные события, собственные наблюдения и впечатления. Нас, своих детей, он рано приучал к охоте, к наблюдениям над природой. Ради охоты нам многое прощалось. С помощью отца, рано признавшего во мне способности следопыта и охотника, я, в виде большого исключения, был принят в общество охотников задолго до исполнения мне восемнадцати лет. Отец считался со мной, как с полноправным охотником, мне он иногда даже больше доверял, чем брату Леве, который был старше меня на три года. Нам

часто поручались самостоятельные охоты, иногда нам доверялось сопровождать на охоту гостей отца. Наиболее важных и почетных гостей он сопровождал сам.

В охоте привлекала отца и охотничья терминология, прекрасная, образная и щедрая, сложившаяся, вероятно, еще со времен охоты на мамонтов. И здесь, на охоте, у него сохранялась тяга к живому меткому слову.

Некоторые рассказы отца не сразу попадали в печать, иногда их печатание задерживали в редакциях под предлогом, что они написаны не на тему дня. Так, рассказ «Анчар» путешествовал по трем редакциям. Везде хвалили, платили гонорар и не печатали, чего-то опасались. В конце концов отец стал его в шутку называть «Рассказ-кормилец».

«Смертный пробег» — один из лучших, по общему утверждению, охотничьих рассказов отца, был написан им, что называется, в один присест, за пять-шесть часов непрерывной работы [1]. Он не отлеживался ни минуты. В то утро отец вышел к нам ко второму общему чаю позднее обычного и сразу же приступил к чтению рассказа. Во время чтения он наблюдал за мной, ведь я был очевидцем описываемых событий и ему нужно было знать, какое впечатление производит на меня его чтение. Рассказ мне очень понравился, но конец рассказа грешил против факта. Я был слишком мал, чтобы допустить отклонения от действительности. Хорошо, что хватило такта не сказать тогда об этом отцу, я знал, как чутко отец воспринимал замечания. Теперь я понимаю, что иначе не могло быть прекрасного рассказа.

В нашей семье долго хранился охотничий рог, подаренный позднее отцу писателями-охотниками с надписью: «Труби, труба, бессмертному автору «Смертного пробега» Михал Михалычу Пришвину от друзей-охотников Л. Н Сейфуллиной, Правдухина, Пермитина, Соколова-Микитова, Штефко, Акимыча, Месяц Листопадень. 1934». Сейчас этот рог находится в экспозиции, посвященной М. М. Пришвину, в музее писателей-орловцев города Орла.

Летом мы всей семьей выезжали поближе к местам охоты, обычно в Константиновский район за 35—40 километров от Загорска — в деревни Переславище, Шепелёво или Александровку. В конце июня — начале июля нанимался возчик, иногда это был знакомый отца, прозванный в народе «божьей пчелкой», о встрече с ним отец рассказал в «Неодетой весне». Наш воз всегда был огромен. Лошадью обычно правила мать, а мы с отцом и возчиком шли пешком. В деревне мы обычно снимали пол-избы, но в ней мы лишь столовались, а спали

и отдыхали в пунях, сараях, на сене и соломе, с нами же распределялись и наши собаки.

С открытием охоты мы с отцом каждый день охотились или натаскивали собак, делая при этом до двадцати пяти, а то и больше километров в день. Записи в дневниках отцом делались теперь после дневного отдыха и чая. В дождливые дни отец много писал, встречался с местными людьми, из которых во время разговоров старался «выудить» что-нибудь интересное.

Когда отец узнал от жителей села Заболотье и деревни Посевьо, что сюда приезжал Ленин, он посетил очевидцев-охотников и долго беседовал с Егоровым и Зайцевым, провожавшими Ленина на охоту. На основе их рассказов и появился очерк «Ленин на охоте».

Эти поселения фактически отрезаны от больших городов и других сел реками, болотами и озером. Для сообщения жителям приходится сооружать лавы — доски на сваях, пользоваться преимущественно лодками. Ленин, узнав об этом от жителей Замостья, пообещал построить дорогу, и дорога позже была сделана.

Когда мы расспрашивали охотника Зайцева об утиной охоте Ленина, узнали и о том, что охотники показывали Владимиру Ильичу удивительные зеленые шары, растущие в северной части Заболотского озера. Отец, никогда не встречавший таких необычных растений, тут же заинтересовался этим и попросил показать и нам таинственные шары. Удивительными показались нам эти шары, как называли их местные крестьяне и охотники. Как груды ядер, располагались они грядой вдоль берега в северной части Заболотского озера, в других местах озера их нигде больше не находили. Росли они в воде на глубине примерно полутора метров, никаких признаков корешков у них не было видно, и размножалось растение, видимо, почкованием. Шары эти имели изумрудно-зеленый цвет, их поверхность напоминала бархат или мох сфагнум торфяных болот.

Мы долго занимались наблюдениями над клавдофорой, о чем потом отец подробно рассказал в своей повести «Журавлиная родина». Вскоре после того, как нам удалось сделать чудесное открытие, началась осушка поймы Дубны от села Константиново вниз по течению реки. Все многочисленные извилины реки, создававшие множество мелких озер, выпрямлялись в одну прямую линию, и вода из озер сливалась в один бурный поток. При этом Заболотское озеро также входило в план осушения, что неизбежно грозило гибелью клавдофоры.

Отец проявил бурную деятельность по спасению реликтово-

го растения, но в то время не так-то легко было убедить спасать какое-то растение, когда с началом широкой индустриализации по всей стране проводились грандиозные работы по преобразованию природы. У большинства людей эта борьба за клавдофору вызывала улыбки недоверия, иные смотрели на отца как на чудака. Тогда он решил написать А. М. Горькому, с помощью которого надеялся поднять общественность на защиту редкого растения, затем сам дважды писал об этом в газете «Известия» в 1928-м и 1934 годах [2]. Отцу при участии Горького удалось мобилизовать внимание крупных ученых-биологов, на Заболотское озеро приезжало много ученых, студентов-биологов. Водоросль расселяли в другие водоемы, схожие по режиму воды с Заболотским.

Усилия отца тогда не пропали, работы были приостановлены, озеро удалось частично сохранить. Но водоросль в Заболотском озере все же погибла из-за мелководья.

С тех пор прошли десятки лет, но я не терял надежды найти эту водоросль в других местах и в память об отце исследовал много озер, пока наконец мои поиски не увенчались успехом. Так же, как и отец в свое время, я написал об этом в 1961 году статью, послал ее в журнал «Природа» и копию — в газету «Известия». К сожалению, я не смог участвовать в работе авторитетной комиссии из Академии наук, но водоросль ее участникам показал. Тогда же озеро Клетинское в Калининской области, находящееся примерно в ста километрах от Заболотского, было объявлено заказником.

П. М. Пришвин (1909—1987) — младший сын писателя, зоотехник по образованию, помощник и участник многочисленных путешествий писателя по стране. Герой пришвинских охотничьих рассказов 20—30-х годов. Последние годы жил и работал под Загорском в Завидовском военном охотничьем хозяйстве.

[1] Интересно, что в дневнике Пришвина в конце жизни появилась запись о внутренней, творческой истории создания рассказа «Смертный пробег»: «*8 октября 1953.* Сколько ни думай, до своего желанного, о чем бы можно и другу сказать, не додумаешься. Но если в то время под напором мысли удастся что-нибудь сделать, то оно и доскажет то, о чем ты хотел было сам просто додуматься.

Сколько раз так бывало, и я решаю: значит, недаром и те мысли стремились ко мне, и недаром хотелось тогда до чего-то додуматься. Некогда было както мне в жизни своей передумать о том, как исполняется творческий процесс у других художников, но по себе, о том, как во мне самом совершалось словесное творчество, я, конечно, поработав больше полстолетия, могу сказать коечто ценное. В моем опыте оно всегда получалось, что удачная вещь досказывала то самое, о чем я не мог домыслить. И всегда это бывало как-то на сломе, мысль

моя ломается, и тут впечатляется какая-нибудь чудесная мелочь, вроде, помню раз, было с ольховой шишечкой. В момент огромного напряжения, когда приближался гон, я заметил на светлом пространстве неба или снега черную ольховую шишечку, и вслед за этим из-под шишечки, издали закрывавшей от глаза всего зверя, вышла на меня прямо лисица. Почему так запомнилась мне эта шишечка, и совсем ничего не помню из того, о чем я думал перед тем, как страсть моя бросила мысль и вместилась вся в ольховую шишечку. Дома я написал рассказ «Смертный пробег», как будто шишечка была катушкой ниток и я ее всю размотал и совершенно успокоился».

[2] В статье «Claudophora Sauteri (К делу охраны природы)» («Известия», 1928, № 157, 8 июля) Пришвин, в частности, пишет: «В настоящее время происходит осушение дубенских болот, и в связи с этим делом в начале августа предполагается спустить озеро Заболотское в Дубну. Шары редкостной водоросли расположены на небольшой глубине, и при спуске воды Заболотского даже на один метр claudophora неминуемо должна погибнуть. Кто знает, всё ли рассказали в науке эти изумрудные шары, свидетели ледниковой эпохи нашего края? Быть может, вместе с ними исчезнет надолго возможность осветить ряд таинственных вопросов истории нашей земли? Во всяком случае, если этой водоросли суждено остаться не в двух точках земного шара, а только в одной, ученые-ботаники и геологи срочно должны явиться на место, чтобы гибель вида не произошла вне их ведения в силу только обстоятельств текущего дня.

Возможно, что ученые-геоботаники найдут не одну только водоросль claudophora подлежащей охране, что, может быть, все это ледниковое озеро представляет собой редкостный памятник природы и что спуск его не является уж такой настоятельной необходимостью».

Л. М. Алпатов-Пришвин

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ОТЦЕ

«ПЕРЕВАЛ»

В конце двадцатых годов многие знающие люди были удивлены, что в списке группы «Перевал»[1] есть имя Михаила Пришвина. Они недоуменно пожимали плечами и спрашивали:

— Почему?

Я главный виновник этого недоразумения и поэтому хочу рассказать, как это произошло.

Была вторая половина двадцатых годов. Я учился на первом курсе университета и был разъедаем литературным «грибком». С детских лет началась игра в писателя: мы выпускали домашний рукописный журнал. Теперь игра продолжалась, но она была более опасная — я печатался в разных еженедельниках; конечно, считал себя очень талантливым, а литературу представлял как легкое дело. Что говорить! Ведь мне было двадцать лет.

В то время на литературных собраниях было много споров, и везде слышался командный окрик рапповцев [2]. Отец «ходил» в «попутчиках».

Я сблизился с молодыми людьми, объединенными в группу «Перевал». В их литературных установках я совсем не разбирался, но одно то, что они боролись с РАППом, казалось привлекательным. Ко мне перевальцы относились весьма радушно, приняли меня в свою группу без всяких анкет. Я, конечно, был им благодарен за такое «признание моего таланта», устроил им свидание с отцом, и они приехали в Загорск, где в то время мы жили. Молодые люди были очень интеллигентные, симпатичные и к тому же охотники, почитатели отца. Этим людям Пришвин был нужен как весомый, большой писатель, и им удалось добиться согласия Михаила Михаиловича быть включенным в их группу.

Такова история появления в антологии «Перевал» на первой странице в списке участников фамилии Михаила Пришвина и Льва Алпатова. Кстати, в этот сборник я ничего дать

не мог по причине литературной несостоятельности. Отцовской вещи, помнится мне, там тоже не было.

И то, что имя Михаила Пришвина появилось в списке перевальцев, я считаю недоразумением.

ТВОРЧЕСКИЙ ТОЛЧОК

Когда Алексей Максимович Горький приглашал Михаила Михайловича принять участие в журнале «Наши достижения», отец заявил:

— Очень шумное название, в нем чувствуется похвальба.

И предлагал назвать журнал «Родина».

Но напряженное строительство, развернувшееся по всей стране, увлекло писателя, и он взял командировку от «Наших достижений» на уральский машиностроительный завод[3].

В Свердловске мы поселились в общежитии небольшой гостиницы, в полуподвале.

Несмотря на трескучий январский мороз 1931 года, на площадке строительства кипела жизнь. На глазах вырастали металлические конструкции цехов. Главный инженер рассказал нам о плане строительства. Отец все это задумчиво слушал, а я записывал цифры. Строительство было огромно, все торопились, отец заметно растерялся и был немного вяловат, хотя осматривал все добросовестно.

По соседству с могучей стройкой в лесу мы набрели на поселок подсобных рабочих. В хозяйственно оборудованной чистенькой землянке с многочисленной семьей жил бородатый красивый крестьянин. Около землянки стояли телега, сани и лошадь. Пахнуло сеном, деревней, землей. Отец оживился, стал расспрашивать хозяина о жизни и работе. Но тот был замкнут, насторожен. Из разговора так ничего и не вышло.

Побывали мы на Верх-Исетском металлургическом заводе, смотрели старые плавильные печи, были на гранильной фабрике, но и тут почему-то контакта с материалом у отца не получилось[4].

Странное дело. Михаил Пришвин ничего не написал об этой поездке, а ведь его талант был в расцвете. Но думается мне, что посещение строительства дало своеобразный творческий толчок Пришвину к написанию «Жень-шеня», ведь путешествие на Дальний Восток было в том же, 1931 году[5].

В близкой к его таланту области отец быстро нашел именно то, что ему было нужно. Он сидел целыми днями за круглым столом в клубах дыма и писал. Случилось небывалое — вся повесть «Жень-шень», размером в четыре листа, написана за месяц.

А он всегда говорил:

— Я пишу в месяц только один лист.

ПТИЧИК

«Птичик, самый малый, сел на вершинный палец самой высокой ели, и, видно, он там — недаром сел, тоже славил зарю; клюв его маленький раскрывался, но песня не достигала земли, и по всему виду птички можно было понять: дело ее — славить, а не в том, чтобы песня достигала земли и славила птичку» («Фацелия»).

В Загорске, как всегда, отец вставал с восходом солнца, кипятил самовар, в маленькой комнате-передней пил чай. Потом часа два писал за круглым столом в большой комнате и, взяв с собой Ладу и фотоаппарат, шел в лес мимо прудов, за Черниговский скит.

Часов в 8—9 за чаем он обыкновенно читал то, что им написано утром. Редко делился записями из толстой тетради-дневника, совсем не читал заметок, сделанных в маленькой карманной книжке: там было сырье. Читал он обыкновенно первый вариант рассказа, зарисовки.

С самых ранних лет моей жизни я помню отца, сидящего за столом с пером в руке, со взглядом, устремленным в окно. Он писал каждый день. В 1918 году, когда не было надежды печататься, отец написал небольшую пьесу «Чертова ступа» о жизни елецкого базара. Писал он и в холодном Барышниковском дворце Смоленской губернии. После революции несколько лет не появлялось ни одной печатной строчки Пришвина, но писатель жил, он каждый день вел записи в тетради и там же, в Алексине, написал повесть «Мирская чаша» [6]. Отец ее читал мне, и я всеми силами боролся, чтобы не уснуть, стараясь угадать, сколько страниц осталось до конца. Но сделать это было трудно, так как он имел привычку подкладывать страницу под страницу. С одинаковым результатом он мог бы читать чучелу медведя, стоящему в кабинете, но отцу нужен был какой-никакой, но человеческий глаз, и я добросовестно боролся со сном.

Теперь я понимаю, что отец и не ждал моего мнения, он

пел, как тот птичик, дело которого — славить, а не в том, чтобы песня достигала земли.

Но, помнится мне, раз отец изменил этому своему обычаю «славить зарю». Он читал свой «Корень жизни» в литературном салоне «Никитинские субботники» [7]. Закончил чтение, все зааплодировали, задвигали стульями, и хозяйка объявила, что сейчас будет маленький концерт. И вправду, кто-то запел арию Олоферна. Скучно стало, и мы потихоньку ушли домой. Отец чувствовал себя обиженным и ворчал, что это черт знает что.

ФОТОГРАФИЯ

Фотографией отец начал заниматься еще в начале двадцатого века, когда он с громоздким аппаратом бродил на севере в «краю непуганых птиц» и иллюстрировал своими фотографиями книгу.

Затем, уже на моей памяти, отец фотографировал старину Великого Новгорода. В 1924 году, когда он писал о башмачниках города Талдома, я помогал ему проявлять негативы, забираясь в темную баню в деревне Костино.

Но вот в 1929 году, при помощи А. В. Луначарского, мы получили из Германии два прекрасных аппарата новейшей конструкции «лейка». Отец был буквально пленен портативностью и удобством аппарата и загорелся желанием заняться фотографией вплотную. Мы жили тогда в Загорске в небольшом доме. Была сделана к дому пристройка, где и поселилась моя мама, Ефросинья Павловна, а ее маленькая комната, рядом с кабинетом отца, пошла под лабораторию.

Острый взгляд вдохновенного певца природы сразу сказался в замечательных снимках отца. Тут были и весенние сережки ольхи, и не растаявшая еще, ставшая ледяной, белая дорога на фоне лужицы, прихваченной с краев морозцем. Снимал он ковры цветов и украшенную сверкающими каплями росы паутину.

В начале тридцатых годов в Загорске с лаврской колокольни сбрасывали колокола. Первым слетел «Царь», весивший 4000 пудов. Вторым сбрасывали «Бориса Годунова» весом в 2000 пудов. Второй колокол должен был искрошить «Царя» и разбиться сам.

Отец с «лейкой» засел внизу, укрывшись за углом башни, я же залез на колокольню, став под защиту карниза. В двух шагах от меня прошел «Борис» — шипели смазанные жиром

рельсы, и сильно пахло гарью. Через мгновение внизу раздался страшный грохот.

Когда я спустился, отец меня спросил:

— Успел снять?

— Снял. А ты?

— Тоже. А как ты думаешь, если б эта штука прошла немного н и ж е... — И он показал на кирпичный угол, раздробленный осколком колокола на высоте двух метров.

Многие писатели жалуются, что фотоаппарат мешает собирать «человеческий» материал. Но отцу «лейка» служила как бы второй записной книжкой. Помню, как на острове Фуругельм он часами лежал, затаившись между камнями, подкарауливая голубых песцов. Терпение охотника у него было великое, и благодаря этому он делал замечательные снимки.

Отец был не только писателем, но и исключительным фотографом, проникновенным охотником — исследователем природы, этнографом, географом, отличным стрелком и еще незадолго до смерти в возрасте восьмидесяти лет водил автомашину.

Л. М. Алпатов-Пришвин (1906—1957) — старший сын писателя, журналист, фотограф.

[1] Литературная группа, основанная в 1924 г. при журнале «Красная новь» А. Воронским. «Перевал» выступал за сохранение «связи с художественным мастерством русской и мировой классической литературы», отстаивал принципы подлинного искусства. В «Красной нови» (1927, № 12) была опубликована декларация «Перевала», подписанная более чем шестьюдесятью писателями, в числе которых был Пришвин.

[2] Российская ассоциация пролетарских писателей (РАПП) с 1925 года стала ведущей во Всесоюзной ассоциации пролетарских писателей, существовавшей с 1920 года. РАПП резко выступал против всех литературных группировок, нигилистически относился к культурному наследию прошлого, включая и творчество писателей старшего поколения, которые именовались «попутчиками».

Дневник Пришвина свидетельствует, как тяжело переживал писатель нападки рапповцев, в этих записях виден и страх потерять связь с читателями, в которых он всегда верил, и отстаивание своей самостоятельной позиции, которая не укладывалась ни в одну из существовавших литературных группировок, и сомнения в возможности дальнейшей работы, и глубокие раздумья о роли писателя в складывающейся труднейшей новой действительности — извечная тема о соотношении словесного творчества и творчества жизни. Вот записи из дневника 1930 года:

«8 июля. Вчера меня задела статья в «Новом мире», где автор осуждает «Перевал» и меня упоминает, перемешивая с мальчишками, притом еще

так, что мальчишку поставит на первое место, а меня на десятое. Но самое глазное, что статья бьет в «биологизм», в «детство» — ничего этого, мол, не надо, все это отсталость, реакция, а нужен «антропологизм». Сама по себе статья, конечно, ничего не сделает, но «ахиллесову пяту» обнажает, следующий ударит в пяту, и связь моя с обществом прекратится» («Октябрь», 1989, № 7).

«10 июля. Совершенно ничего не делаю. Становится явным невозможность делать — писать о своем: только производственный очерк, только наблюдение, а мне все это надоело... И еще не хватает сил, чтобы перестроиться на писание непечатаемого в настоящем» («Октябрь», 1989, № 7).

«12 ноября. Письмо в редакцию.

Среди современных романтиков, схоластиков и просто очеркистов или корреспондентов я определяюсь как последний реалист. Меня в молчаливом согласии признавали в советское время последним реалистом, и было принято в литературе после каждого моего нового произведения сказать несколько уважительных фраз, соответствующих моему положению почетной реликвии. В последнее время, как сообщают мне друзья мои, в разных журналах («Красная новь» и др.) появились враждебные мне статьи, в которых мне инкриминируется моя принадлежность к литературной организации «Перевал». В то же самое время я получил несколько писем из провинции от учеников средней школы, в которых излагались гонения, испытанные ими от современных Передоновых за излишнюю приверженность к сочинениям «перевальца» Пришвина. Конечно, я столько поработал в литературе, что как-то обидно встречать актуальность моих сочинений за счет «Перевала», и это вынуждает меня, наконец, как выражаются теперь, разъяснить себя как перевальца. Не помню, в каком году, приехали ко мне прекраснейшие юноши и предложили мне искать вместе с ними Галатею. Я, будучи в положении почетной реликвии, подписал анкету и через это получил положение генерала на свадьбе, хотя ни разу на свадьбе и не бывал. В самом деле, я ни разу ни на одном заседании «Перевала» не был, мне романтизм перевальцев столь же близок и столь же далек, как схоластика.

Каждый понимает, что такая актуальность именно идет на пользу писателю начинающему, но мне эта известность за счет «Перевала» обидна. Я спешу отстранить от себя эти дары и объясняю всем пишущим, что в «Перевал» я записался по просьбе каких-то отличных юношей, вроде романтиков, но после этой записи не получил ни разу ни одного приглашения на ту свадьбу, где я должен был быть генералом. <...> Хотя неполучение ни одной повестки за несколько лет на собрания достаточный повод, чтобы выйти из «Перевала», но как-то неловко сделать это теперь: подумают, что я испугался травли за «Перевал». Лучше уговоримся с критиками так: пусть они разбирают мои сочинения без отношения к «Перевалу», а я, когда будет прилично, выйду из него.

В чем виновны перевальцы, не могу понять. Во всяком случае, числиться в организации, в которой никогда не бывал и не имеешь ни малейшего понятия, в наше время рискованно, и, пожалуй, надо бы из нее выйти».

«14 ноября. Однако нет дыма без огня. Есть же, значит, во мне нечто «перевальское», если юноши избрали меня своим шефом. Да, конечно. Я шесть лет писал «Кащееву цепь» в чаянии, что наша страна находится накануне возрождения, мной понимаемого как согласное общее творчество хорошей жизни. Предчувствие меня обмануло, оказалось, что до «хорошей» жизни в свободном творчестве еще очень далеко, и, может быть, среди перевальских юношей я был самым юным. Ошибки эти произошли от наследственной привычки подчеркивать в своем сознании важность словесного творчества относительно общего творчества жизни. И этой ошибке, по-видимому, подвержен и «Перевал». В самом деле, раз Галатея или Прекрасная Дама, то это уже лите-

ратура, а не жизнь: все эти дамы бумажные и их рыцари вооружены бумажными мечами. Если бы юноши из «На посту» отказались бы от некоторых своих приемов убеждения, я сейчас был бы ближе к их организации, чем к «Перевалу», потому что из двух дам мне ближе теперь Необходимость с ее реализмом, чем Свобода с ее иллюзией и романтизмом».

«*17 ноября. Письмо в «Перевал». Зарудному.*

Дорогой Николай Николаевич,

я выхожу из «Перевала», потому все оппозиционные литературные организации считаю в настоящее время нецелесообразными. Кроме того, мысли, высказанные мной в «Кащеевой цепи» и друг. моих сочинениях, в настоящее время все слова о свободе, гуманности и т. п. должны смолкнуть и писатель должен остаться с глазу на глаз с Необходимостью.

Перевальские слова о свободе, гуманности, творчестве и т. п. должны теперь смолкнуть и побыть с глазу на глаз в недрах просто, как живой человек, «как все». Все литературные оппозиционные организации считаю теперь неуместными и выхожу из «Перевала».

В «Литературной газете» от 9 января 1931 года в статье «Нижнее чутье» Пришвин официально заявляет о своем выходе из «Перевала».

[3] Поездка Пришвина на Уралмашстрой состоялась в январе — феврале 1931 г.

[4] Несколько записей из дневника поездки позволяют понять, что размах строительства на Урале не только не вдохновил Пришвина, но и породил у него глубокие сомнения относительно смысла этого устремления к будущему за счет настоящего.

«*1 марта.* Строительство на Урале для меня привлекательно тем, что это не «дело» в том смысле, как сложилось во мне понимание дела под влиянием жизни родного мне, самого купеческого города Ельца («в Елец, к образованным купцам!» — *Чехов*). Поистине, дела в Ельце относились прежде всего к личному поведению «делового» человека, например, что копейка рубль бережет, что по одежке протягивать ножки и т. п. Благодаря такому нравственному кодексу создавались такие огромные миллионные дела, как, например, махорочная фабрика Романова, подразумевавшая всем нам известного Николая Ивановича, который в слободской трущобе, в «каменьях» начал свое дело; кажется, с починки гармоний.

Биография таких замечательных людей была для нас как бы житиями святых, направленными в сторону земного стяжания. И вот отсюда вытекало понятие «дела» как мрачного подвига. Мы, развитая [1 нрзб.] молодежь, были революционерами и очень издевались над всей этой нравственностью купеческого Ельца. Но, отрицая, мы ведь необходимо имели перед собой предмет отрицания: купеческий быт с его «делом». Такое деятельное отрицание есть длительный процесс, в котором, конечно, бывали минуты сомнения. Да и как не сомневаться, если их «дело» как-никак, а дает реально всем необходимые материальные ценности, а материальное развитие нашего дела теряется в тумане [1 нрзб.] будущего. И вот, когда теряешься, бывало, в сомнениях, то встают, бывало, из недр родового прошлого, как необходимость, как неминучесть, и смерть, и проклятие, и вечность, и роковой голос слышится: «Надо делом заниматься, а не утопией...». <...>

Ближе всего это «недело» к войне, потому что, во-первых, как на войне, тут действуют массы. Вагоны переполнены, вокзалы набиты людьми из разных, часто отдаленных краев, и все эти, прямо сказать, народы находят себе место, мало того: их не хватает.

Тысячи иных признаков... Мы шли по месту, где прошлый год один инженер заблудился в лесу. Теперь тут от всего леса среди целого города кое-где еще торчат забытые деревья. <...>

Мы видели каких-то совершенно железных людей, на которых возложена волевая установка этого «недела».

Это стремление вперед так огромно, что будущее становится реальней настоящего. Ведь это верно, что инженер еще прошлый год здесь заблудился в лесу. Теперь тут город, а лес стоит вдали. Но какой это лес, ведь он обречен, его завтра не будет, этот лес почти нереальность. Зато вот механический цех, которого еще н е т , — он реальность».

«*11 марта.* Я так оглушен окаянной жизнью Свердловска, что потерял способность отдавать себе в виденном отчет, правда, ведь и не с чем сравнить этот ужас, чтобы сознавать виденное. Только вот теперь, когда увидел в лесу, как растут на елках сосульки, вернулось ко мне понимание возможности обыкновенных и всем доступных радостей жизни и вместе с тем открылась перспектива на ужасный Урал».

«*5 апреля.* Наконец-то мне удалось побывать на большом уральском строительстве, и эта поездка разбила в пух и прах то мое представление, которое сложилось из материалов повседневных моих наблюдений строительства возле себя и чтения газет... пресса не стоит на уровне дела. Не бойтесь, однако, товарищи литераторы, мой камень в ваш огород если и полетит, то не с той стороны. Как могу я бросить камень, если сам плохо могу писать о деле, которого на свете не было»

«*19 мая.* Пиши я о заводах, я и там бы нашел Землю и говорил бы то же самое. <...> Но ведь целая жизнь истрачена в скитаниях по лесам, и переключаться на индустрию очень трудно, особенно в спехе, при посредстве командировок от журналов с их условностью» (Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8, с. 224—228).

[5] Путешествие на Дальний Восток состоялось в июле — ноябре 1931 года.

[6] Повесть «Мирская чаша» (1920) была написана Пришвиным по свежим впечатлениям от жизни в русской провинции в первые послереволюционные годы. В дневнике 1922 года Пришвин пишет об этой вещи (называя ее «Раб обезьяний») так:

«*24 августа.* Выяснилось из беседы с Воронским, что нечего думать посылать обезьяньего раба в цензуру, и потому решаюсь написать письмо Троцкому.

Письмо Троцкому

Уважаемый Лев Давыдович, обращаюсь к Вам с большой просьбой прочитать посылаемую Вам при этом письме мою повесть «Раб обезьяний». Я хотел ее поместить в альманахе «Крут», но из беседы с Воронским выяснилось, что едва ли цензура ее разрешит, т. к. повесть выходит за пределы данных им обычных инструкций. За границей я ее печатать не хочу, т. к. в той обстановке она будет неверно понята и весь смысл моего упорного безвыездного тяжкого бытия среди русского народа пропадет. Словом, вещь художественно-правдивая попадет в политику и контрреволюцию. Откладывать и сидеть мышью в ожидании лучших настроений — не могу больше. Вот я и выдумал обратиться к Вашему мужеству, да, советская власть должна иметь мужество дать существование целомудренно-эстетической повести, хотя бы она и колола глаза.

Сознаю, что индивидуальность есть дом личности, верю, что будет на земле (или на другой планете) время, когда все эти особняки личности будут сломаны и она будет едино проявляться (как говорят, «в коллективе»), но сейчас без этого домика проявиться невозможно художнику, и весь мой грех в том, что я в этой повести выступаю индивидуально.

Ну, да это Вы сами увидите и поймете. Не смею просить Вас о скором ответе, но сейчас меня задерживает в Москве только судьба моей повести.

Примите привет моей блуждающей души.

Михаил Пришвин».

«8 сентября. В редакции «Красная новь» <...>. Вошел Воронский и, взяв меня за руку, провел в пустую комнату и там передал ответ Троцкого по телефону о моей повести «Раб обезьяний»: «Признаю за вещью крупные художественные достоинства, но с политической точки зрения она сплошь контрреволюционна». Я ответил на это Воронскому: «Вот и паспорт мне дал».

Повесть «Мирская чаша» была напечатана впервые в 1982 г. Собр. соч., т. 2.

[7] *Е. Ф. Никитина* (1893—1973) — литератор, в 1922 г. ею было организовано кооперативное издательство «Никитинские субботники», на ее квартире многие годы проводились вечера, литературные встречи. О выступлении Пришвина с чтением своей новой вещи у Никитиной, о которой пишет Лев Михайлович, осталась в дневнике грустная запись: *«1933 г. 17 февраля.* Читал «Корень» у Никитиной... нечистое место. Прямо после чтения грохнула рояль. Мерзость запустения... Марка литературы быстро падает».

В. Ф. Боков

ВЕЛИКИЙ БЕРЕНДЕЙ

Впервые я увидал Михаила Пришвина осенью 1931 года в Загорском педтехникуме. Он пришел на литературный вечер. С ним были два прозаика: Алексей Кожевников и Федор Каманин.

Тогда все они жили в Загорске[1]. Коренастый, крепко сбитый Алексей Кожевников певучим своим вятским говорком читал отрывок из романа о Турксибе; длиннющий, худой Федор Каманин живо и выразительно рассказывал повесть о детстве. Пришвин слушал с восторгом. Он любил живое слово и сам слыл редким рассказчиком. Хромовые сапоги Михаила Михайловича были до блеска начищены, грудь закрывала черная как смоль борода. Пришвин прочитал маленький рассказ, который очень понравился молодой аудитории.

Дошла очередь и до нас, юнцов техникума, которые пописывали стихи. Выходили гуртом, читали что-то сырое, неуклюжее. Вышел и я, и не оробел, и стал читать с «выражением», как учили в школе. И сейчас помню строки:

Небо на землю смотрит
Мириадами звезд.

Были в стихе и розы, и бриллианты, которых я никогда отродясь не видел, а позаимствовал у Фета.

Стихи были плохие, но мне почему-то аплодировали, и не только в зале, но и в президиуме. В том числе и сам Пришвин.

Вечер кончился, и из всей нашей армии пишущих Пришвин подозвал меня: «Вы мне понравились, молодой человек. Заходите ко мне домой!»

Собрался я к Пришвину не сразу, надо было пережить все, что случилось в тот незабываемый для меня вечер. Пришел день, когда я твердо решил: «Пойду к нему!»

И вот я стою на Комсомольской улице, дом 85. Скромный домик, каких тогда было много в уездном Загорске, бывшем Сергиевом Посаде. Дом с белыми наличниками без резьбы, обит тесом, покрашен в серый, под стать зимним сумеркам, цвет.

Я робко застыл на пороге дома. Пришвин позвал меня к столу. За этим столом потом много раз слушал я Пришвина, любовался его красивым лбом, осанкой, пышной шевелюрой «черного араба».

— Стихи читал плохие! — напал он на меня.

С чувством глубокого стыда сидел я в кресле, которое мне было предложено. Встать да уйти, извиниться и бросить всю эту писанину, если она никуда не годится. Так бы и поступить. Но в глазах Пришвина засветились вслед за этим доброта и расположение. За резкой критикой последовало одобрение:

— Вы очень красиво держались на сцене. Просто удивительно! Деревенский мальчуган, а вышел как природный артист, с первой ноты не пофальшивил. Волновался очень красиво! Этому не научишь. Это от природы.

Так началась наша дружба, длившаяся на всем протяжении жизни писателя.

Я недоучился на педагога, ушел, поступил на завод, стал учеником токаря. Пришвина продолжал читать и пропагандировать среди рабочих. «Что это за Пришвин? — спрашивали они. — Привез бы, показал, что это за бог такой».

Пришвин смеялся этим словам и пообещал приехать.

Появился он на легковой машине. В те годы мало кто из писателей имел автомобиль. Певец природы Михаил Пришвин, охотник, лесной бродяга, поэт и философ, сел за руль и стал автомобилистом[2].

Людей на встречу с писателем собралось много. Все смотрели и ждали, с чего начнет знаменитый гость свое выступление.

Писатель начал необычно. Лукаво поблескивая глазами, достал он из маленького чемоданчика два поршневых кольца и, показав их всем, спросил:

— Что это?

— Поршневые кольца, — хором ответили рабочие.

— Правильно! — подтвердил Пришвин.

Продолжая показывать изящные изделия из металла, Пришвин опять спросил:

— Это красиво?

Ну кто не ответит на такой простой вопрос:

— Конечно, красиво.

Незаметно подвел он свою аудиторию к мысли о том, что красота человеку дорого стоит, за нее отдают жизнь!

Разговор пошел о трудностях жизненного пути, в том числе и пути творческого.

— Мне за свою красоту тоже влетело, — сказал он. — Жив! Но мог бы и погибнуть!

Он взял рукопись и стал читать рассказ о домкрате-богатыре, который дремлет в багажнике автомобиля до тех пор, пока не понадобится. Понадобится, поднатужится, приподнимет кузов, водитель тем временем колесо заменит, ремонт сделает. Сослужил свою службу домкрат и снова — нырк в багажник и лежит себе, помалкивает.

Рассказ был очарователен и мудр. Слушатели вздохнули, каждый стал думать о своем — кто о скромности, кто о терпеливости, о готовности сделать свое дело, выручить кого, если в том будет надобность. У меня сохранилась фотография этой встречи.

Рабочие влюбились в Пришвина, благодарили меня за то, что я уговорил его приехать.

В тридцатые годы я писал не только стихи, но и прозу. Прозу писал и мой товарищ Костя Барыкин. Порешили мы показать наши рассказы Пришвину.

Пришвин принял нас. Уселся все за тот же круглый стол, стал слушать. Прочитал рассказ Костя Барыкин (он погиб в Отечественную войну), прочитал рассказ вслед за ним и я. Ждем, что скажет Пришвин. А он с хитроватой улыбкой лезет в письменный стол, достает конверт, берет из него письмо и говорит:

— Судить вас, молодые люди, буду не я, а тетка Матрена!

И стал читать. Письмо написала знакомая крестьянка из-под Переславля-Залесского. Кто не знает этих деревенских писем с их традиционным началом: «...и еще кланяется вам мой супруг Иван Тихонович, и дочка Валя, и сыночек Федя, и соседка Дарья, которая вам приносила картошку».

Далее сообщалось, кому что сшили к зиме, кому и какие валенки скатали, сколько намолотили ржи, чем будут крыть крышу... Душевное, откровенное письмо-исповедь простой русской женщины, которая живет семьей, заботами о ближних.

Прочтя письмо Матрены, с хитрецой посматривая на нас, Пришвин спросил:

— Ну-ка, молодые люди, какой из рассказов, прочитанных вами, ближе к письму моей знакомой?

— Мой рассказ ближе! — решительно ответил я.

— Правильно! — подхватил Пришвин. — Ваш рассказ и лучше. А вы, молодой человек, — обратился он к моему другу, — неправду пишете. Нехорошо! Честь смолоду!

Так преподала нам через Михаила Михайловича урок

литературы простая деревенская женщина, которая от чистого сердца написала правду о том, как живет она на белом свете.

Урок этот произвел неизгладимое впечатление. Я его запомнил.

И еще один урок дал мне сам Пришвин. С порога, как хорошо знакомому человеку, торопливо говорю:

— Михаил Михайлович, я к вам на пару слов.

— На пару слов? — огорчившись, повторил он мои слова. — Пару чая, да, но пару слов — как можно? Никогда не говорите так! Вы писатель, вы не должны говорить на жаргоне!

И тут же назвал имя прозаика, у которого, по мнению Пришвина, плохой, неряшливый язык.

— Мне говорят, что он хороший человек. Охотно верю. Но в литературе он мой враг. Он разрушает все дело моей жизни. Вы послушайте!

Пришвин прочел абзац из произведения писателя И все сокрушался, что тот не слышит живой речи народа.

Пришвин отлично слышал. Как верно схвачена речь северян уже в его первой книге. Он признавался, что пишет так, как говорила его родная матушка. Я не раз обращал внимание на изустность пришвинской прозы, на ее высокое сказительство. Рассказ «Старый гриб»[1] по существу своему современная сказка. Я обратил на это внимание Пришвина. Много лет спустя в шестом томе Собрания сочинений Пришвина я прочел: «Боков считает рассказ «Старый гриб» фольклором». И мои слова, выходит, для него были значимы.

Родниковой свежестью слова веет со страниц «Журавлиной родины» Пришвина. Я знал эту книгу буквально наизусть. Места, описанные в книге, недалеко от моей родной деревни Язвицы. Моя двоюродная сестра вышла замуж в Заболотье.

Заболотье стало у Пришвина страной чудес, страной поэзии, страной мудрых крестьян, пастухов, охотников и пахарей. Мне очень хотелось съездить с Пришвиным в его заповедные места.

— Михаил Михайлович, возьмите меня в Константиново! — не утерпел и попросил я.

— Полноте! — остановил он меня. — Что вы там увидите? Болота да грязь, да комары и слепни. Это я в сердце своем создал Золотой луг, который вы так любите, «Журавлиная родина» — это я сам!

И это было мне уроком литературы.

Когда вышел в свет «Заполярный мед», я прочел его, и радость осветила мою душу. Какое удивительное произведе-

ние! Факт трудовой деятельности человека, разводящего пчел на далеком Севере, под пером Пришвина превратился в чудесную поэтическую сказку.

Я пытался разобраться, как написан прекрасный этот очерк-поэма. Вещь эта как слиток золота, нельзя найти ни единого шва, как в лермонтовской «Тамани». Я позвонил ему на московскую квартиру.

— Кто это? — спросил знакомый мне голос.

— Михаил Михайлович! Это Боков. Я прочел ваш «Мед». Это шедевр.

Последовала пауза. То ли Пришвин был смущен высокой оценкой, то ли не был согласен со мной.

— Михаил Михайлович, — опять начал я, — прочел «Мед» и вспомнил легенду, которую рассказывал мне в Сибири один пимокат.

Легенда простая. Черт овладел всеми специальностями, но вот нашел валенок на дороге, поднял его и стал думать, как же он сшит. Вертел, вертел в руках, никаких швов нет, отбросил в сторону и в сердцах выругался: «Шут его знает, как он сделан!»

Михаил Михайлович! Вы сделали валенок, — заключил я.

— Это вы здорово насчет валенка, — с детской радостью приветствовал меня мой учитель.

Не раз потом вспоминал он про валенок и черта, не сумевшего разгадать тайну производства любимой всеми обуви.

«Литературу делают волы», — записал Ренар в своем дневнике. Пришвин вспоминал эти слова и сам был рабочим волом литературы, неутомимым тружеником. Подвижническое поведение в литературе было связано у Пришвина с подвижническим поведением в природе. Когда опубликуют фотографии Пришвина из мира природы, откроется еще один подвиг писателя, понимавшего душу живой природы не меньше Гёте.

В одну из встреч Пришвин показал мне фотографию, на которой была снята большая щука.

— Молодой человек, что эта щука делает, чем занята.

На меня смотрели цепкие глаза охотника.

— Она не икру мечет, Михаил Михайлович?! — спросил я.

— Молодец! Знаете, — обрадовался Пришвин, — пять часов я просидел над рекой, пока щука не вышла и не взялась за свое материнское дело.

Пришвин, занимаясь фотографией, сделал немало открытий. Он заметил, что паук ткет паутину только на рассвете, когда паутина от росы влажная. Пришвин сфотографировал паука за работой на «ткацком станке».

На подаренном мне томе сочинений Пришвин написал: «Моему литературному ученику с заветом моего литературного опекуна «Поближе, Пришвин, к лесам, подальше от редакций».

Да, близко стоял он к лесам, к воде, к растительному миру. «Корень жизни» Пришвина — великая и мудрая песня о человеке и его участии во всем живом, что есть на земле.

«Пишу о травинках, — говорил он, — а сам только о людях и думаю».

Вульгарные социологи от литературы травили Пришвина за биологизм [4], не понимая, что охрана природы средствами поэтического слова — одна из социальных функций литературы. Теперь-то нам видно, как далеко смотрел Пришвин.

Это был человек большого гражданского мужества. В тяжелые для меня годы, когда я находился вдалеке от родных мест, он ободрял меня письмами, не отказался от меня. А когда в апреле 1948 года я вернулся в Москву, он написал мне очень коротко: «Приветствую Вас, достойный гражданин, становитесь в строй, пойдем вместе!»

Увы! Недолго нам пришлось идти вместе. Как-то проснувшись в тесной комнатенке, которую я снимал у одной старушки, я почувствовал, что меня зовет к себе Пришвин.

На улице в газетной витрине узнал о том, что его больше нет.

— Что с вами? — с тревогой спросила у меня стоящая по соседству женщина. — Вам плохо?

— Да, плохо! Умер мой учитель, писатель Михаил Пришвин.

На гражданской панихиде было много людей, которые пришли проводить в последний путь классика советской литературы.

Помню, стоял во всем черном Паустовский и говорил о Пришвине.

Читаю и перечитываю учителя, дивлюсь чудесному потоку слов и мыслей. И каждый раз, когда встречаю в лесу желто-фиолетовые цветы иван-да-марьи, спрашиваю, как некогда делал это Пришвин:

«Иван, Иван, где теперь твоя Марья?»...

В. Ф. Боков (р. 1914) — известный советский поэт. Боков учился в Загорском педагогическом техникуме и как начинающий литератор познакомился с Пришвиным и подружился с ним на многие годы.

[1] В Сергиевом Посаде (с 1930 г. — Загорск) Пришвин поселился в 1926 году и жил там до конца 1937 г.

С писателями А. Кожевниковым и Ф. Каманиным Пришвин поддерживал в годы жизни в Загорске тесные дружеские отношения.

[2] Машина (так же как фотография и охота) была для Пришвина не простым увлечением, а средством постижения современной жизни, необходимым для его основного дела. В 1934 году он пишет в дневнике: *«20 февраля.* Можно будет изобразить земледельца и нового для нашей страны человека, водителя машины. Много раз я к этой теме старался подойти и с этой целью осматривал большие заводы. Ин нет! Я не мог найти случая, чтобы не одной головой, а всей личностью, цельно соприкоснуться с машиной. <...> Теперь же так выходило, что машина ... входила в состав моей творческой личности» (Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8, с. 260).

[3] Рассказ «Старый гриб» (1945) оставался одним из любимых рассказов писателя. В последний год своей жизни он пишет в дневнике: «Лечат меня, как лечат! А вот опять всю ночь прокашлял и не спал. Разбитый, потный, старый, вспомнил почему-то свой «Старый гриб», стал его сравнивать и не нашел ни у кого такого правдивого, простого и красивого рассказа. От этого раздумья мне стало хорошо на душе!»

[4] В разные годы Пришвина неоднократно упрекали в аполитичности, в «несвоевременном обращении к цветочкам и листикам», а его писательство объявляли «органически и непримиримо чуждым мироощущению человека, живущего подлинной, не отгороженной от борьбы и строительства жизнью» (Мстиславский С. Мастерство жизни и мастер слова. — «Новый мир», 1940, № 11—12, с. 272). В январе 1941 года Пришвин пишет об этом редактору «Нового мира» В. П. Ставскому: «Предупреждаю Вас, что борьба за «Лесную капель», «Жень-шень» и т. п. для меня есть такая же борьба за родину, как для вас, военного, борьба за ту же родину на фронте. <...> Я очень боюсь, что литераторы ... умышленно не хотят понимать, что за моими цветочками и зверушками очень прозрачно виден человек нашей Родины».

Ф. Е. Каманин

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ

Журнал с «Кащеевой цепью», с первой частью романа, попал мне в руки году, наверное, в двадцать третьем. «Пришвин... — думал я. — Кто же это такой, Пришвин? Из нашей братии, молодых, или из стариков? Нет, имя будто знакомое, я встречал его на страницах какого-то дореволюционного издания, но где именно, не упомню».

И я начал читать роман. И забыл обо всем на свете.

С той поры Пришвин стал одним из самых дорогих для меня и любимых мною писателей. Я начал искать его книги и все прочитывал тотчас, как находил. Хотел очень увидеть его самого, посмотреть на него, но почему-то не выходило случая.

— Ты никогда не видел Пришвина? — спросил я как-то у Алексея Кожевникова, жившего тогда в Загорске.

— Михайлу Михайловича?

— Да.

— Так он частенько бывает у меня, а я у него. Он живет в Загорске, у нас небольшая литколония, еще поселился Григорьев Сергей Тимофеевич[1]. Занятные старики. А ты что, любишь Пришвина?

— Считаю, такого писателя больше и нет сейчас!

— Да, вижу, тебе страх как хочется поглядеть на него. Приезжай ко мне, я его приглашу на пельмени, ну и познакомлю вас.

Признаюсь, я не поверил другу. Не может быть, чтобы так все было просто. Кожевников, видать, прихвастнул слегка.

— А что особенного? — говорил он, заметив мое сомнение. — Это наш брат как выпустит одну книгу, то и нос задерет. Старики мудрее. Ты запомни: чем крупней человек, тем он держится проще.

Я с нетерпением стал ожидать дня, когда увижу Пришвина, услышу его голос, но встреча все оттягивалась, и познакомился я с Михаилом Михайловичем только в 1930 году, когда сам волею судеб оказался жителем города Загорска,

бывшего Сергиевого Посада. Но и тут сделалось все непросто.

— Знаешь что? — говорит мне Кожевников. — В педтехникуме ребята просили устроить литературный вечер. Григорьев болен, а Пришвина я уговорю. Но и тебя включу, вот и познакомлю вас.

Вечер состоялся в первое воскресенье после нашего разговора. Мы с Кожевниковым пришли за полчаса, чтобы встретить Михаила Михайловича, а оказалось, он пришел раньше нас. В холодном гулком коридоре бывшего здания духовной академии, где размещался тогда педтехникум, я увидел пожилого человека в сером пиджаке, в шапке-ушанке с козырьком, стоявшего у фотографий на стене. Из-под шапки выбивались вьющиеся полуседые, как и борода, волосы.

— Я тут повесил свои снимки, — сказал он, когда мы поздоровались с ним. — Хочу почитать студентам очерк про соболей, так, думаю, кто-то и заинтересуется.

— Конечно, это вы хорошо сделали, — говорит Кожевников и тут же, с ходу: — Михаил Михайлович, разрешите вас познакомить. Это мой друг, писатель Каманин, он очень любит вас читать.

— А, очень приятно.

Не помню, как протянул руку Пришвину, я не знал, что мне делать, что говорить, воцарилось, как пишут, неловкое молчание, а друг мой, вместо того чтоб выручить меня, удрал.

— Ну, вы тут побеседуйте, а я пойду узнаю, скоро ли можно будет начинать.

Мы остались одни, я стоял нем как рыба, что со мною редко бывает, а Пришвину такие знакомства, надо полагать, в тягость были. Однако молчать и ему было неловко.

— Вот посмотрите снимки, — сказал он, недовольно покашливая. — Это все видено в Пушкинском заповеднике, там мой сын Петя работает, так я и побывал у него.

Разглядываю фотографии, перед глазами круги, думаю — надо ему что-то умное сказать, да ничего не идет в голову, кроме одного: «Вот он какой, Пришвин! Почему же мне казалось, что он совсем не такой?..» Наконец явился за нами Кожевников.

Михаил Михайлович читал первым, выбрал поэтичнейший очерк про соболиную любовь, но очерк не дошел до аудитории, то есть он-то дошел, но не так, как надо бы. Студенты, здоровенные ребята, поняли его как эротическое произведение, парни хихикали, девушки краснели, и мне было мучительно это видеть. Пришвин тоже уловил невежество слушателей и,

окончив чтение, сразу ушел. Так и получилось, что при первой встрече я не сказал ему ни слова. И хотя был представлен ему, а будто и незнаком. Часто видел его на улице (жили мы совсем близко), кланялся издали, и он кивал рассеянно, а другой раз не замечал меня, думая о своем.

— Вот странность, Леша, — говорю я своему другу. — Книги Пришвина все жизнеутверждающие, радостные, а в жизни он, по-видимому, мрачный, нелюдимый человек.

— Нелюдимый? — засмеялся Кожевников. — Да нет никого общительней его. А уж поговорить любит!

— Почему же он ходит такой?

Оказалось, были причины: как раз тогда против Пришвина ополчились критики РАППа. Заявили, что-де пользы от него для советской литературы, как от козла молока. Печатание произведений Михаила Михайловича после этого затормозилось.

— Да, брат, в этом все дело, — говорит мой друг. — У старика и с деньгами туго сейчас, жена его вынуждена продавать на базаре молоко, чтобы купить сена для своей коровы.

Все это было мне удивительно. И то, что у такого большого писателя корова на дворе, как у самого простого обывателя, и то, что денег нет у него, чтобы сена купить для коровы. Но как ни странно покажется, а именно вот эти обстоятельства и послужили поводом к возобновлению моего знакомства с Пришвиным.

Он уехал в командировку на Дальний Восток; Ефросинья Павловна, его жена, продолжала торговать молоком, и мы стали брать молоко у Пришвиных. Недели через три вернулся из поездки Михаил Михайлович, заметил мою жену раз, другой и спросил, что за молодка ходит к ним на кухню. Ефросинья Павловна мне после все рассказала. Она ему ответила, что, мол, жена писателя Каманина, а он будто сказал на это, что не слыхал о таком, и еще добавил со своей усмешечкой:

— Писателей нынче так развелось.

На другой день, когда моя жена опять пришла за молоком, спросил ее в упор:

— Голубушка, а ваш что же, писатель?

— Да, Михаил Михайлович.

— Что же он пишет?

— Да все он пишет, кроме стихов, — ответила она. — У него рассказы есть, повести и даже романы.

— Даже и романы! — притворно изумился он, надо полагать, с большой дозой иронии. — Так вы, голубушка, принесли бы мне что-нибудь почитать из его книг, а?

Я, когда услышал об этом, онемел от неожиданности. Пришвин, сам Пришвин хочет почитать какую-нибудь из моих книг! А что я могу дать, не боясь быть смешным в глазах человека, который пишет природу, как писали ее только Тургенев, Лесков, Бунин? Я перебрал все сочиненное мною и не нашел ничего, что мог бы показать ему. И сказал жене, что книги никакой не дам.

— Почему? — удивилась она.

— Потому что это Пришвин!

Так и не дал книгу. Пришвин вскоре снова уехал в какую-то поездку, разговор постепенно забылся, жена не напоминала о нем, а оказалось, что не послушалась меня.

— Федя, — говорит однажды, — Михаил Михайлович вернулся и приглашает нас сегодня в гости. Ему, знаешь, понравилась твоя «Свадьба моей жены». Так прямо и заявил мне, что ты настоящий писатель и чтобы был сегодня вечером.

Гром и молния! Как мог ему понравиться этот мой написанный наспех роман? Лукавит, наверное, хочет надо мной подшутить. Да и где он мог взять эту книжку?

— Твоя работа? — спрашиваю у жены.

— А что такого? — говорит она. — Получилось-то хорошо.

Не помню, как мы шли, как встретил нас Пришвин, как провел в небольшую гостиную своего загорского дома. Что-то он приговаривал благодушно, потом женщины ушли на кухню, снова мы остались одни:

— Книгу вашу, Федор Егорович, я все-таки прочел, да, прочел. И знаете где? В поезде. Я взял ее с собой в поездку, думал, как нечего будет делать, то в нее загляну...

В поезде какой-то человек попросил что-нибудь почитать, Пришвин дал мою книгу, а утром этот человек поблагодарил и начал рассказывать свою жизнь.

— Если человек, прочитавши книгу, — сказал Пришвин, — захочет рассказать свою жизнь, значит, книга неплохая.

Спросил неожиданно, люблю ли я Кнута Гамсуна. Я подтвердил. Ну вот, кивнул он, влияние чувствуется. Не страшно, все подражают кому-то на первых порах, важно не остановиться на этом, найти свое. Огрехов в моей книге хватает, но главное, что, по его словам, понравилось ему, это искренность. Вот чего нужно держаться всегда.

Мне захотелось узнать, как он нашел себя, как писал самую первую книгу. Он встал из-за стола, принес из шкафа объемистую книгу, на обложке стояло: «Картофель» [2].

— Вот это и есть самая первая. Я был агроном. Но это,

конечно, не Пришвин. А по-настоящему первая была «В краю непуганых птиц».

Трудно, конечно, передать дословно его рассказ, а запоминать специально в голову не приходило: я просто слушал Пришвина, и мне было хорошо. Но кое-что помню точно.

— Ты не писатель, если ты не победил.

— Как вас понимать? — спрашиваю. — Кого надо победить?

— Не кого, а в чем, — поправляет он. — Если ты пишешь, то должен победить в своем ремесле, доказать, что ты настоящий. Найти свою тему, свой музыкальный ритм. И приучить, как ни трудно, что ты есть, что ты такой, что таким тебе и надо быть. Да ведь это не только в литературе, но и в любом ремесле. Вот вы житель деревни. У вас там, наверное, были свои кузнецы, колесники, боронники, санники. Разве не замечали, что они не все одинаковы?

— Еще бы! — говорю я ему. — У нас было два кузнеца, так все знали, что за топором надо идти только к Птицыну. А колеса лучшего ты в Ивановичах ни у кого не добудешь, как у Фанаса Анисина...

— Вот-вот, — рад Пришвин. — Вы с Фаворским знакомы? Нет? Я вас к нему сведу. Художники не как мы работают, нам подавай уединенность, а они могут и при людях. Василий Андреевич мне говорил, что ему даже лучше, когда домашние рядом, лишь бы за локоть не хватали. И вот он сидит колдует над своими гравюрами, а отпечатает — и ты восхитишься поэзией. Он победил, доказал свое право быть непохожим на других, и нам, каждому, надо победить...

Говорит Пришвин свободно, легко, и уж, слушая его, не зевнешь! Просидели мы у них до полуночи. Кожевников мне вскоре сказал, что Михаил Михайлович «принял» меня и полюбил.

— Почему ты так думаешь?

— Да уж вижу, — ответил он, — не первый год знаком со стариком. Он даже меня до сих пор не называет на «ты», а вот тебя такой милости удостоил.

Добрые отношения наши не оборвались и с моим отъездом на родину. Бывая в Москве, а Пришвины перебрались туда, я всегда заходил к Михаилу Михайловичу и видел, что он мне рад. И вдруг в очередной приезд узнаю такое, чему поверить не могу, не хочу. На шестидесятом своем году он разошелся с Ефросиньей Павловной, с которой прожил лет сорок, прожил

так, как дай бог каждому, имел двоих детей и трех внуков, и женился на другой женщине.

Всех, кто знал Пришвиных, это потрясло ужасно. Одни бранили Михаила Михайловича за бессердечие и эгоизм, другие жалели его, и мало кто оправдывал. И почти все осуждали Валерию Дмитриевну, новую жену, что, мол, вышла за него не по любви, а по расчету. Я-то знал, что полюбить его очень можно, но и у меня, признаюсь, были сомнения. А многие из друзей Пришвина, даже такие давние, как Фаворский и Кожевников, совсем отошли от него.

Волею случая я оказался втянут в семейную драму и рассказать о ней считаю долгом своим.

Итак, весной 1940 года я приехал в Москву, узнал всех взволновавшую новость и, не подумав, что нельзя мне вмешиваться в такое деликатное дело, тут же позвонил Пришвину. Ответил незнакомый женский голос, я назвал себя, потом слышал в трубку, как голос этот произнес: «Михаил Михайлович, какой-то Каманин хочет вас видеть», и его голос: «Ну что ж, пусть приходит и этот...» Такое начало не предвещало ничего доброго, но я к нему поехал. Двери открыла женщина, которая не показалась мне молодой, лет, наверное, сорока. «Значит, не в молодости тут дело», — подумалось мне. А она, Валерия Дмитриевна, провела меня в кабинет и тотчас ушла.

— Михаил Михайлович, что вы делаете? — начал я напрямик, словно в омут бросился. — Вы ведь наш учитель и в литературе и в жизни, а чему учите? Как жен бросать на старости лет?

Он не дал мне больше говорить, вскочил как ужаленный.

— А-а! — закричал он. — Это Кожевниковы так настроили тебя? Ну и черт с вами, я вас ничуточки не боюсь! Говорите что хотите, а я наконец встретил женщину-друга, полюбил ее, как никого еще не любил, и буду с ней, если только она не покинет меня. Я должен с ней быть, поймите вы это! Хоть под старость я имею право пожить с другом, который близок душе моей? Ты скажешь, что Ефросинья Павловна тоже была мне близка, что и ее я любил? Да, любил и жил с ней согласно, а знаете ли вы, что был всегда одинок? Ведь она, хоть и умна, никогда не понимала меня, не могла понять, чем я живу. Вы этого не знали? Так узнайте теперь! А еще беретесь меня судить!

— Я вас, Михаил Михайлович, не сужу и судить не имею права, но мне жаль Ефросинью Павловну. И я, и другие тоже — мы любим вас, но любим и ее, поймите вы это.

Так пытался я возражать, да он не слушал, он продолжал

кричать, потому что вину свою все-таки ощущал, но тут вошла в кабинет Валерия Дмитриевна, и он, как увидел ее, сразу поутих.

— Вы меня простите, — говорит она, — но я услышала, какой у вас бурный пошел разговор, и решилась войти. Тем более что речь, кажется, идет и обо мне, я тоже хочу свое слово сказать. Вот вы сказали, что вам жалко Ефросинью Павловну. Это по-человечески понятно. А Михаила Михайловича вам разве не жалко? Я знаю, что говорят обо мне, и хотела уйти, но вы знаете, что он мне сказал? Он сказал, что покончит с собой, если только я покину его.

— Да, покончу, — отозвался он. — У меня уже написаны три письма — правительству, в Союз писателей и всем друзьям — и ружье заряжено. И я уйду из жизни, колебаться не буду.

Мне стало страшно, так спокойно были произнесены эти слова.

Поднялся я уходить, но Пришвин не пустил:

— Посиди немножко... Давай уж, раз начали, закончим этот тяжелый разговор. Я на тебя не сержусь, хоть и накричал на тебя. На твоем месте я, пожалуй, не то еще сказал бы...

Вы скажете, что я немолод, пора бы и угомониться. Но ведь Гёте влюбился в семьдесят лет? И потом, я же не бросаю ее, все ей оставил в Загорске и на жизнь буду давать, чтобы не нуждалась ни в чем. Ты скажешь, одинока она? Но я-то не могу с нею жить. Было бы подло жить с одним человеком, а любить другого, я так не могу... Вот и все, что я хотел тебе сказать. Можешь передать своим Кожевниковым.

Я простился с Пришвиным, а ночевать действительно поехал к Кожевниковым и в тот же вечер им все рассказал.

— Да-а... — вздохнул Кожевников, — я знал, что тут все кончено. Ефросинье Павловне доживать век одной.

Встретился я и с нею. В этот приезд мне надо было пожить, поработать вблизи Москвы, и тот же Кожевников посоветовал съездить к Ефросинье Павловне. Она, мол, сейчас одна, гостям будет только рада. Я знал, конечно, какие тоскливые у нас пойдут беседы, но выхода другого не было, да и повидать ее хотел.

Приняла она меня со своей обычной милой улыбкой, сразу захлопотала с угощением, стала расспрашивать обо мне, о жене, о детях, я ей ответил, а потом перешел к тому, зачем приехал.

— Дорогой мой, я вас с удовольствием пущу, но куда? В полуподвале вам не ужиться. Отдала бы кабинет Михаила Ми-

хайловича, мне он ни к чему, да все еще жду. Все надеюсь, старая дура!

Она улыбалась, но на прекрасных, все еще прекрасных ее глазах сверкали слезы.

— И надо же, — сказала в другой раз, — никто мне не был мил, кроме него. Вы думаете, ежели я малограмотная, то и не понимала, с кем жила? Нет, мне радостно было быть женою Пришвина.

С ним я начал встречаться по-прежнему, а зашел первый раз по ее же просьбе. Она хотела, чтобы я посмотрел, каково ему там без нее, и ей передал. Лукавить я так и не научился и на вопрос его, где теперь живу, ответил, что в Загорске, у нее, Ефросиньи Павловны. Надо было видеть его удивление и даже некоторый испуг. Минуты две он и говорить не мог.

— Где же она тебя поместила?

— Внизу, — ответил я.

— Но там же сыро. Почему не в моей комнате?

— Ждет до сих пор, что вы сами вернетесь туда.

— Нет, — сказал он с грустью. — Там все кончено.

Всего один раз виделись они после разрыва. Он приезжал к ней в Загорск, о чем много позже она рассказала мне, когда я снова ее навестил. Встреча у них была тяжелая...

В сельской школе, где работала учительницей моя жена, долго хранилась книга Пришвина, подаренная им. Ребята прочитали всем классом «Кладовую солнца» и решили написать автору. Не обошлось, надо думать, без подсказки жены, но письмо она не подписала, это я помню точно. Михаил Михайлович ответил быстро, да еще прислал свою книгу «Дедушкин валенок» с такой надписью:

«Ученикам 2-го класса Сытьковской школы Рузского района Московской области, — Шуре, Вите, Рае, Гале, Васе, Светлане, Зине, Вере, Коле, Гале Зайцевой, Наде, Гале Курковой, Люсе, Коле Рябченкову, Ларе, Наде Корнеевой, Вове, Тамаре, Славе, Зине Каменской, Ляле, Жене, Тоне, Зое, Зинаиде Воейковой приношу благодарность за хорошее письмо.

Михаил Пришвин

Москва. 7/X.49 г.».

Никого не позабыл, всех двадцать пять поименовал!

Пришвин был прост в общении с людьми, большими и маленькими, никогда я не видел в нем и тени зазнайства. Это

и воскрешаю в памяти своей, перебирая беседы с ним — о литературе, об охоте, о жизни. Даже мимоходом он умел такое сказать, что запоминалось надолго. Как-то я спросил его мнение об одной книге, в ту пору нашумевшей, а теперь забытой, и он ответил, что книга посредственная, автор не художник и художником ему не быть. Почему?

— А у него квадрат в спине, — ответил Михаил Михайлович.

Увидя мое недоумение, пояснил, что это примета верная. Он давно заметил: если у человека такая спина, что в нее вписывается квадрат, то истинным писателем он не станет. Зато уж дельцы из таких выходят первый сорт! И так обстоятельно мне это втолковывал, что я и понять не мог, шутит или всерьез говорит.

— Не верите? — сказал под конец. — А вы присмотритесь, когда он к вам повернется спиной.

Другой раз зашла у нас речь о писателе известном, который вдобавок был с Пришвиным в дружеских отношениях. Книги его мне нравились всегда, но последний роман показался конъюнктурным, и я спросил у Михаила Михайловича, читал ли он его.

— Да как тебе сказать, — ответил Пришвин. — Читать не читал, но слушал. Он, видишь ли, пригласил меня на свою дачу, я жил там с неделю, и каждое утро у него пекли к завтраку блины. А пока пекли, он мне и читал главу-другую... Ну, читает он хорошо, я с удовольствием слушаю, но мне и то слышно, как на кухне сковородки шипят, вот я и думаю: скоро ли их подадут, блины-то?

Озорная улыбка тронула усы Михаила Михайловича, чуть заметная, но рецензия уже есть, вот она: блины победили роман! В то же время бывал он снисходителен, и даже, на мой тогдашний взгляд, излишне. Состоя членом редколлегии журнала для детей, дал хороший отзыв на повесть одного старого писателя, весьма слабую.

— Михаил Михайлович, неужто она вам понравилась?

— Конечно, нет... Повесть сырая.

— Почему же вы ее похвалили?

— Почему? — Он как-то даже смутился. — Старику сейчас нечем жить, денег у него нет, вот какое дело... А книга не подлая, честная, он пишет, как думает. И я подумал: в редакции дотянут. Можно ее дотянуть, и будет совсем неплохая.

Действительно, когда я снова прочел повесть старика, она мне показалась вполне достойной. Но помню, к тому ли

случаю или к другому, зашел у нас разговор о писательском возрасте. Меня давно поражало, как это Лермонтов, Кольцов, Писарев, прожив совсем короткую жизнь, успели создать шедевры, какие другим только в зрелости были под силу. Чем это можно объяснить?

— Я лично объясняю вот чем, — сказал Пришвин. — Талантливые люди делятся на скоро растущих и медленно растущих. Будто природа знает, кому недолго жить на свете, и всем их наделяет, чтобы успели исполнить, что им суждено. Вот и Есенин был такой... А я поздний сорт, я и писать начал поздно. Зато такие и живут дольше.

Но о своем творчестве рассуждать не любил, слыша похвалы, даже искренние, морщился и переводил разговор на другое. Правда, и критика печатная, в те годы нередкая, его огорчала.

— Вот ведь не видят они того, что видят простые читатели... Упрекают, что пишу все больше о природе, о птичках, о зверях. Да разве ж этого мало? Разве у меня об этом речь? Только ли об этом?

Теперь-то виднее, как слепы были критики, которые звали его к «актуальности» и неспособны были понять, что чем дальше, тем актуальнее будут его поэтичные, мудрые книги.

Охотиться с Пришвиным мне не пришлось, я поздно пристрастился к этому делу, лет тридцати, так и сравнить себя с ним не мог. Но поговорить об охоте он любил, особенно в последние годы, когда самому ему выбраться в лес было трудно. Однажды я вспомнил, как двое удачливых брянских охотников напали на такое зайчиное место, что за день убили двадцать семь русаков. Михаил Михайлович нахмурился, я решил, что он счел это охотничьим рассказом, добавил, что хоть не был при этом, но зайцев видел, а он с грустью сказал:

— Это не охота, это избиение. Я такую охоту не люблю.

— А какую же любите?

— О! Собрать человек пять хороших охотников да парочку добрых гончих, выйти в лес еще до свету, поднять белячка и гонять целый день, чтобы упариться всем, запалить по нему каждому раза по три — и не убить. Вот это охота!

До глубокой старости был он человеком увлекающимся, и охотой ли, фотографией, пчелами, мотоциклом, автомобилем увлекался по-юношески, по-пришвински. Валерия Дмитриевна до конца дней во всем помогала ему, была самым преданным другом. Она любила его и как человека, и как писателя, никто бы не сделал столько, сколько она, по приведению в порядок огромного литературного наследства Пришвина. Ведь для нее

каждая его строка была святыней, и это правда, это я должен со всей откровенностью сказать.

Последний раз я видел Михаила Михайловича совсем незадолго до его кончины и сделал неловкость, о которой жалею до сего дня. Мне сказали, что он болен безнадежно, я кинулся к Пришвиным, открыла она, а он сидел в столовой, какой-то присмиревший, ушедший в себя. Меня узнал, пожал слабо руку, но говорить не мог. Лицо у него было бледно-землистое. Валерия Дмитриевна подала скромный ужин, кашу с тыквой, он почти не ел, мы почти не говорили, я пробовал обратиться к нему, но он будто не слышал. В коридоре она наскоро стала мне говорить о его болезни, но неожиданно он сам показался в дверях, и она умолкла на полуслове.

— Что ж ты... бываешь у Киреевского? — спросил он.

Киреевский был его и мой давний знакомый, добрый охотник, живший в Подмосковье, как-то мы вместе обедали у него.

— Да, — ответил я, — бываю, но редко.

— А-а-а...

Только это и выдохнул он, подумавши, верно, что уж не бывать ему в лесу, не сидеть в кругу охотников, и снова умолк, задумался. А я — не знаю уж, как это вышло, — спросил у Валерии Дмитриевны, читала ли она сообщение, что в Париже умер Иван Бунин. Спросил очень тихо, и так же тихо она ответила, что нет, не читала, ей не до газет теперь. И тут Михаил Михайлович, хоть и не смотрел на нас и слух у него давно уже сдал, сделал шаг ко мне.

— Что, что ты сказал?

Я молчал, потерявшись, но он запрокинул голову и с невыразимой тоской несколько раз повторил:

— Бунин умер... Бунин умер!.. А-а!.. В Париже, в чужой земле. Бунин умер, а-а!

Они были ровесники, земляки, оба орловцы, даже одного уезда, ельчане, и вот один покинул белый свет, другой был на пороге этого, а я так некстати сказал при нем, никогда не прощу себе этого!

Но закончить хочу другим свиданием, не тем, когда видел его в последний раз. Было оно в тот же год, я засиделся у Пришвиных часов до десяти, и все он не отпускал, а когда я поднялся, Михаил Михайлович и Валерия Дмитриевна вышли меня проводить. Взял он с собой и двух своих собак, легашей, на прогулку. Мы простились здесь же, в Лаврушинском, и я пошел к станции метро, а они остались у небольшого скверика. Сейчас он неплохой, а тогда только зачинался и был

сильно захламлен, но легашам, видно, показался после сидения в комнатах глухой чащобой, они забегали как угорелые. Михаил Михайлович смотрел на резвящихся собак, видно, и ему представилось, что не в Москве он, а за городом, что не легавые носятся в хилом скверике, а прежние его гончие делают поиск в настоящем лесу. И охотник проснулся в его душе! Я не отошел и сотни шагов, когда услышал его порсканье, да такое залихватское, удалое, какого никогда ни раньше, ни потом не слыхивал.

— А-а-я-я-я-я!.. А-а-я-я-я-я!.. Ах! Ах! — звонко кричал Пришвин, как кричат только охотники в лесу, когда хотят поднять зайца с лежки.

И эхо его звонкого, совсем еще молодого голоса разносилось по переулку, летело мне вслед до самой Ордынки...

Ф. Е. Каманин (1897—1979) — советский писатель. Основной круг его творческих интересов был связан с жизнью послереволюционной деревни. С Пришвиным познакомился в конце 20-х годов и поддерживал дружеские отношения. В 1931 году Пришвин пишет: *«21 января.* Крестьянский писатель Каманин рассказывал о тех чудовищных антихудожественных требованиях, которые применяются к крестьянским писателям, — что, например, «аксаковщина» (вероятно, понимаемая, как созерцание природы) является преступлением. С другой стороны <...> довольно было сказать, что ведь Аксаков убивал дупелей и ел их, значит, не был только созерцателем».

[1] Имеется в виду С. Т. Григорьев (1875—1953) — писатель, известный в 20-е годы своими рассказами для детей.

[2] Речь идет о книге Пришвина «Картофель в полевой и огородной культуре», СПб., изд. А. Ф. Девриена, 1908. Изданию этой книги предшествовала служба Пришвина агрономом на опытной сельскохозяйственной станции под Лугой и сотрудничество в журнале «Опытная агрономия».

В. Г. Лидин

М. ПРИШВИН

Иные люди до конца своих дней не утрачивают дара восхищения миром. Никакие бури и трудности человеческого пути не могут повлиять на впечатлительность их нестареющей натуры.

К таким людям принадлежал Михаил Михайлович Пришвин.

Он как бы опровергал слова Шиллера, что «Des Lebens Mai blüht einmal und nicht wieder» *, сделав весну на протяжении всей своей жизни неизменным спутником[1].

Пришвин был писателем в такой степени, что его невозможно представить себе без пера в руке, а в последние годы — не склоненным над пишущей машинкой. У меня сохранились письма Пришвина, написанные в первые годы революции, когда и книги-то не выходили. Он жил тогда то под Ельцом, в Хрущеве, то где-то в Иванихе, письма шли долго, иногда доставлялись с оказией, и во всех этих письмах говорилось только о литературе[2]. То он сообщает, что закончил народную драму в одной картине и мечтает о ее постановке в Художественном театре[3], то извещает: «Я бросил все свое хозяйство и отдался писанию коренной вещи, работа идет медленно, но, верно, уже кончено и отделано около двух листов, и вся вещь уходит в беспредельность и увлекает меня с собой...»[4]

Вскоре, в те же годы, появился в Москве и сам Пришвин, в сапогах, в какой-то оливкового цвета бобриковой куртке, похожий на звеловода или лесничего, с охотничьим ягдташем в руке, который выполнял назначение портфеля; ягдташ был набит рукописями, написанными в те годы, когда мало кто из писателей присаживался к письменному столу. Михаил Михайлович писал всегда, его невозможно представить себе бездействующим. Жадность познания жизни вела его в места, где мало кто странствовал, по нехоженым тропам, и в русской литературе, вслед за С. Максимовым[5], Пришвин был одним из первых писателей, побывавших на русском Севере.

Одна из прекраснейших книг — «За волшебным колобком»,

---

* «Лишь раз цветет чудесный в жизни май» (*нем.*).

вышедшая еще в пору моего раннего детства, полна такого безграничного удивления перед красотами мира, что книгу эту и до сих пор хочется читать медленно, так она восхищает и богатством русского языка, и своей тонкой поэтичностью. Трудно представить себе, что в ту пору Пришвин был больше агрономом, чем писателем: «В специальной литературе осталось от этого времени (в 1904 году), — пишет он в автобиографии, которую когда-то мне дал, — большое сочинение «Картофель в полевой и огородной культуре» и еще несколько брошюр и статей... В 1905 году я бросил навсегда агрономическую деятельность, отправился на Север и написал книгу «В краю непуганых птиц». После этого на следующий год был написан «Колобок»...»

Прозрачный язык этих книг, какие-то свои, особые интонации сразу сделали Пришвина не похожим ни на кого из других писателей. Я вспоминаю, как в 1925 году А. М. Горький, расспрашивая меня в Сорренто о советских писателях, задумался, когда я назвал имя Пришвина.

— Вот у кого языку надо учиться — волшебник, знаете ли, в нашем деле, — произнес он, несколько раз назидательно потрясши в воздухе указательным пальцем.

И следует по справедливости сказать, что волшебства этого у Пришвина хватило на всю его долгую писательскую жизнь; выражаясь фигурально, любую его вещь можно кинуть на стол, как пробуют полноценность золотой монеты, и никогда не услышишь в ее звоне лигатуры, то есть посторонней примеси.

Мне приходилось бывать по следам Пришвина, и можно было порадоваться, как на Севере в 1924 году первым, о ком меня спросили там, был Пришвин. На далеком острове Кильдин старый капитан Михаил Клышов, обучая меня ловить на шнурок треску, осведомился прежде всего, где сейчас Пришвин, вспомнив одного из первых аргонавтов в краю непуганых птиц.

— Занимательный человек. И говорит так, что вовек не забудешь, — сказал Клышов с теплотой.

Михаил Михайлович говорил сложно, я бы сказал — дремуче. В речи его всегда было много боковых тропинок, так что не сразу разберешься, что к чему, но тропинки неизменно выводили к главному. Пришвина не раз упрекали в том, что в его книгах много места уделено природе, зверям, птицам и меньше места уделено хозяину всех этих богатств — человеку.

В какой-то мере, если смотреть на книги Пришвина однобоко, это верно. Но именно в этом неповторимое его своеобразие,

и все же все боковые тропинки в его книгах выводят неизменно к главному — к прославлению жизни человека.

В 1931 году, приехав на Дальний Восток, я узнал, что во Владивостоке находится Пришвин. Я разыскал его. В большой сумрачной комнате, предоставленной кем-то в распоряжение Пришвина, лежали на столе патроны, дробовница, рукописи, фотопленка, кассеты... Пришвин увлекался фотографией. Он снимал в заповедниках телеобъективом енотов и пятнистых оленей и по-детски радовался удачным снимкам. В этом большом бородатом человеке, в котором меньше всего было простоты, хранилось, однако, много милой и непосредственной детскости. Он умел восхищаться и удивляться даже простым вещам, иногда с опозданием узнанным им, и в его восхищении никогда не было ничего поддельного и искусственного.

На Дальнем Востоке, куда бы я ни приезжал, всюду опережал меня Пришвин. Я приехал на рыбные промыслы острова Попова — Пришвин был уже здесь. Я приехал в заповедник пятнистых оленей на полуострове Сидеми — Пришвин был уже там. В глубоководной бухте Разбойник, сидя за обеденным столом у директора шримсового [6] заводика, я увидел в окно, как по заливу движется лодочка. Полчаса спустя из лодки, довольный, что преодолел на ней глубокий залив, вышел Пришвин, и я не удивился, увидев его, а только сказал: «На этот раз я опередил вас, Михаил Михайлович», — но оказалось, что Пришвин успел уже побывать не на одном таком заводике... Здесь, на Дальнем Востоке, Пришвин нашел краски и музыку для одной своей сложнейшей, необыкновенной по чувству природы вещи — «Жень-шень».

Мне привелось присутствовать на чествовании Пришвина и в день его семидесятипятилетия и пять лет спустя — в день его восьмидесятилетия. Конечно, это был уже старый человек, но когда в его честь хор вологодских кружевниц с коклюшками в руках исполнил несколько песен, Пришвин, умиленный, сказал:

— Вот ведь как получается... я всю жизнь собирал это по крупицам, а теперь вы мне сразу все привезли, прямо даже не умею сказать, как я счастлив.

Он выразил это с обычной для него речевой дремучестью, но простые женщины поняли смысл речи старого писателя.

В мои руки попали как-то аккуратные тетрадочки зеленого цвета, в которых С. Т. Аксаков собственноручно вел счет убитой им дичи и которые, несомненно, сыграли свою роль для «Записок оружейного охотника». В одной графе я прочел слово «Гоголь» и, не разобравшись как следует в за-

писи, рассказал об этих тетрадочках Пришвину и выразил предположение, что вместе с Аксаковым охотился и Гоголь. Михаил Михайлович ничего не ответил, но позднее подарил мне свою книжку охотничьих рассказов «Смертный пробег» с весьма ехидной надписью: «На память о птице гоголь». В записи Аксакова, разумеется, значился убитый им селезень из породы уток-нырков.

На Дальнем Востоке в честь Пришвина местные охотники устроили охоту на фазанов. Один из старых дальневосточников, участвовавший в этой охоте, рассказал мне впоследствии, что был поражен неутомимостью и наблюдательностью Пришвина; что же касается количества убитой им дичи, то, по заключению охотника, это меньше всего занимало Пришвина и играло просто подсобную роль в деле его общения с природой.

Я вспомнил, как в заповеднике пятнистого оленя, на полуострове Гамова, я увидел Пришвина залегшим между кустарников на сопке. Он наблюдал за пятнистыми оленями и после многочасового отсутствия вернулся оживленный и почти счастливый.

В тот юбилейный вечер, когда Пришвина поздравляли с восьмидесятилетием, было странно думать, что это уже глубокий старик: так не шло к нему понятие старости, в таком противоречий она была с неутомимостью его духа. Восьмидесятилетие казалось только очередной сменой времени года в его жизни, богатой ежедневными радостями новых и новых находок и неутомимого восхищения миром.

Слушая музыку Чайковского «Времена года», мы как бы листаем книгу о нашей русской природе; читая книги Пришвина, мы, в свою очередь, как бы слышим музыку о всех временах года, а к этому человек никогда не перестает возвращаться.

В. Г. Лидин (1894—1979) — советский писатель. Пришвин поддерживал с ним дружеские отношения в течение многих лет.

[1] Весна — любимое время года Пришвина с ранних лет. «Второй класс. Счет годов с в е с н ы», — вспоминает в дневнике свое детство писатель. А в 1951 году записывает: «В Москве уже лет тридцать я наблюдаю чудесное время, названное мною весной света, когда первый воробей запоет по-своему в стенной печурке, желоб высунет из себя ледяной язык, и с него закапает, и поперек тротуара побежит первый маленький ручей.

После великих событий нового времени я заметил, что люди много любовнее стали относиться к весне света, и многие даже впервые поняли великую прелесть этого времени. Лет пятьдесят я уже веду пропаганду весны света».

[2] В первые послереволюционные годы Пришвин живет в глубине России: в Ельце-Хрущеве, затем в деревне Следове, селе Алексине под Дорогобужем. Он работает учителем, занимается организацией музея усадебного быта в бывшей усадьбе купцов Барышниковых в Алексине. Но, конечно, остается писателем и в этом видит смысл своей жизни. В 1920 году записывает: «А нам, писателям, надо опять к народу, надо опять подслушивать его стоны, собирать кровь, и слезы, и новые думы, взращенные страданием, нужно понять все прошлое в новом свете» (Собр. соч. в 8-ми томах, т. 8, с. 125).

[3] Имеется в виду пьеса «Базар» (пьеса для чтения вслух) (1916—1920). В авторской ремарке к ней Пришвин пишет: «Избираем место для нашего действия где-нибудь в черноземной России с бытом терпким, застойным — пусть это будет Елец» (Собр. соч. в 4-х томах. М., 1939, т. IV, с. 295—315).

[4] «Мирская чаша».

[5] *С. В. Максимов* (1831—1901) — этнограф, беллетрист. В 1885 году участвовал в этнографической экспедиции на Север по тем местам, куда позднее ездил Пришвин записывать былины и сказки.

[6] *Шримс* — дальневосточная креветка.

А. А. Литвинов

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Перебирая пожелтевшие от времени страницы своих дневников, обнаруживаю коротенькую запись: «1931 год, Владивосток, Пришвин». Что за нею?

Тогда написать времени не было. Но хотя это происходило давно, в памяти все встает четко. Во Владивостоке мы готовились к съемке фильма «Эмигранты из цветущей страны». В который раз шагаю по улицам полюбившегося мне города, живописно раскинувшегося террасами по сопкам. С их высоты — Тигровой или Орлиной — открывается глубоко врезавшаяся в берег бухта Золотой Рог. Гигантский холодильник, бесконечные причалы с пришвартованными океанскими пароходами. Мощные краны и палубные стрелы переносят локомобили, грузовики, скот, паровые котлы и осторожно ставят их на палубы или причалы.

На рейде — корабли ждут своей очереди. По бухте носятся катера и буксиры. Одни доставляют с островов, бухт и заливов в город рыбу, крабов, почту, людей. Другие везут из Владивостока снаряжение, оборудование, продовольствие. Буксиры швартуют к причалам океанские суда или оттаскивают их загруженными на рейд, и те, лениво развернувшись и набирая ход, ревут густым басом — прощаются с гостеприимным портом.

Мы тогда часто с оператором Павлом Мершиным, что потом погиб смертью героя в Великую Отечественную, сиживали на вершине Орлиной сопки, любуясь красавцем городом-тружеником.

А работы было по горло: проверяли камеры, пленку, делали пробы, ассистенты отбирали людей — типаж, нужный для эпизодов и массовок, костюмы, реквизит; художник работал над эскизами, готовил объекты съемок.

Я обдумывал эпизод, связанный со съемкой тигра в естественных условиях, когда в дверь моего номера гостиницы постучали. «Пожалуйста!...» В комнату вошел человек среднего роста, в брезентовом плаще и сапогах. Протянул руку, пожал мою крепко.

— Писатель Пришвин... Может, слыхали, а может, и читали?

— И слыхал, и читал, Михаил Михайлович! Но только вижу вас впервые... Прошу, садитесь.

Подвинул ему кресло. Пришвин сел, удобно расположился, закинув ногу на ногу, и, разглядывая меня, произнес:

— И я вижу вас впервые... Вот и познакомились.

Я тоже с интересом смотрел на знаменитого писателя: голова увенчана, как нимбом, густой шевелюрой, только макушка сверкала лысиной, борода и усы украшали крупные черты лица.

— Чем могу быть вам полезен, Михаил Михайлович? — прервал я молчание.

Из-под густых бровей глядели на меня умные, проницательные глаза. Он улыбнулся, положил свою широкополую фетровую шляпу на стол.

— Тогда, для ясности, сперва послушайте преамбулу, а уже затем просьбу. Итак, кратко. В результате моих путешествий по северным районам России написаны книга «В краю непуганых птиц» и другие. Дальний Восток для меня был неведомой землей. Но книга Владимира Арсеньева «Дерсу Узала»[1] и ваш фильм об удэгейцах «Лесные люди» произвели на меня большое впечатление, и я решил побывать здесь. Вчера в редакции газеты «Красное знамя» я советовался с товарищами, откуда мне начинать знакомство с Приморьем, и они рекомендовали прежде всего побывать на зверовой базе под Владивостоком. Правда, что там будет киносъемка тигра? Говорят, огородили проволочной сеткой часть тайги. Вот я и пришел просить вас захватить меня на эту съемку.

Конечно, я не мог отказать Пришвину.

— По случаю нашего знакомства разрешите, Михаил Михайлович, предложить вам рюмку коньяку.

— С удовольствием... Пусть эта рюмка закрепит наше знакомство, а вторая, я надеюсь, — дружбу.

Михаил Михайлович стал расспрашивать о моих кинопоходах в уссурийские дебри, о встречах с замечательным человеком, писателем и исследователем Дальнего Востока Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым. Рассказывал он о своих путешествиях и приключениях на европейском Севере. Затаив дыхание, я слушал писателя. Поражал и восхищал его яркий, образный язык. Своеобычная манера очаровывать слушателя поэтическим описанием природы меня заколдовала. Беседа наша затянулась.

Назавтра мы поехали вместе.

Зверовая база находилась в нескольких километрах от Владивостока. Пригородные леса там на редкость первозданные. Клетки с животными были разбросаны по зарослям на значительном расстоянии друг от друга. Клетку с тигром мы огородили двойной сеткой. Площадь этого загона была 18 на 10 метров. Такая территория позволяла зверю свободно прогуливаться и даже совершать, если ему вздумается, прыжки.

В 7 часов утра съемочная группа уже была на базе. Чтобы не тревожить нашего «артиста», выгружали аппаратуру из машины подальше от загона. Предупредили всех, чтоб и не разговаривали громко.

Мы с Пришвиным тихо подкрались к клетке. Тигр лежал положив голову на лапы. Крупный уссурийский тигр. Его густая ржаво-желтого цвета шкура исполосована черными поперечинами, они проходили в беспорядке и по голове, словно веселый художник, обмакнув кисть в краску, мазнул несколько раз и по морде. Его глаза с зеленоватым оттенком, не моргая, смотрели на нас, словно гипнотизировали.

— Операторы готовы. Можно начинать, — тихо сказал подошедший ассистент.

— Пусть становятся, как условились.

Сложность съемки заключалась в том, что мы не знали, да и не могли знать, в какую сторону прыгнет или выйдет из клетки тигр. Поэтому нескольких операторов расставили вокруг загона с разных сторон. На главном направлении целился своей камерой наш оператор Мершин. Таким образом, при любом прыжке в любом направлении зверь обязательно попадал в объектив.

Пришвину мы тоже определили хорошее место в сторонке. Писатель забрался в кусты, вытащил записную книжечку, карандаш, лег на живот, осмотрелся и, улыбаясь, сказал:

— Ложа прекрасная: вижу всю сцену. Спасибо...

Я обошел операторов. Все готовы. Кое-что уточнили по съемке. Ассистенту предложили устроиться возле Пришвина с двустволкой, заряженной жаканами. Чем черт не шутит! Все может случиться. Ведь наша «кошечка» была длиной в три метра, а с хвостом и все четыре, силища у нее огромная, одним ударом лапы она убивает лошадь.

— Внимание! Приготовились к съемке. Откройте клетку.

Скрипнула дверь. Тигр поднял голову, прислушался секунду, потом встал во весь рост и потянулся. Мершин с камерой вплотную прижался к сетке загона, просунув объектив сквозь ячейку. Тигр медленно прошелся по клетке и остано-

вился перед открытой дверью. Грозный рык потряс воздух. Затем хищник подобрал под себя задние ноги и выпрыгнул из клетки. Это был гигантский семиметровый прыжок. Тигр пролетел всю территорию загона и наткнулся на сетку.

Выдержав могучий удар трехсоткилограммового тела, сетка спружинила и отбросила зверя назад. Тогда он снова подобрал под себя лапы, повторил прыжок и еще раз был отброшен. Ему так и не удалось разорвать ограду загона. Эти невероятные, фантастические полеты были засняты всеми кинокамерами.

Ошеломленный тигр залег у основания клетки. Придется подождать, когда он успокоится, поднимется и пойдет по загону. Объявили перерыв. Операторы отошли, чтобы не волновать зверя. Пришвин выбрался из кустов. Он был в восторге от того, что ему пришлось увидеть. Я сказал, что это только начало работы, что, возможно, придется провозиться еще два-три дня, предложил отправить его в город. Но Пришвин категорически отказался: он решил присутствовать на съемке столько, сколько она продлится.

Наша трудная и утомительная работа длилась несколько дней. В конце концов упорство и настойчивость киноработников увенчались успехом — все кадры, необходимые для фильма, были сделаны. Отснятый неповторимый материал лежал в коробках. Расставаясь с нами, Михаил Михайлович Пришвин сказал, что обязательно напишет об этой удивительной операции. Слово свое сдержал. В 1934 году вышла его книга «Золотой Рог», посвященная людям и природе Приморья. В ней есть небольшая глава «Тигры», где Пришвин рассказывает и о нашей съемке.

В дальнейшем знакомство с писателем перешло в дружбу. Мы вместе работали над фильмом «Хижина старого Лувена». Сценарий Михаил Михайлович написал по мотивам своей изумительной повести-поэмы «Жень-шень» («Корень жизни»)[2].

А. А. Литвинов (1899—1977) — кинорежиссер. В 1935 году снял фильм по мотивам повести Пришвина «Жень-шень» — «Хижина старого Лувена».

[1] Имеется в виду книга В. К. Арсеньева «По Уссурийскому краю» (1921). В день знакомства с автором книги у Пришвина появилась в дневнике такая запись: *«3 октября 1928.* Арсеньев, между прочим, рассказал мне, как он написал свою книгу. Она вышла из дневников, которые вел он в экспедиции. Эта книга своего рода тоже реликт. Ее движение есть движение самой при-

роды». После чтения книги Пришвин пишет: *«18 сентября 1930.* Прочитав прекрасную книгу Арсеньева «В дебрях Уссурийского края», я не раз порывался поехать туда на охоту с камерой...»

В книге «Золотой Рог», появившейся после поездки Пришвина на Дальний Восток, есть глава «Дерсу Узала» (Собр. соч. в 8-ми томах, т. 4, с. 434—445).

[2] Во время работы над сценарием для фильма «Хижина старого Лувена» в 1934 году Пришвин много раздумывает об искусстве кино.

«18 марта. Сценарий как будто очень хороший, но в нем лишь один недостаток: фильм получится ниже книги: это не творчество, а приспособление к кино. Возможно ли кинотворчество, то есть начало дела и конец его исключительно средствами кино, и для кино?»

«31 марта. Надо в кино, как и в фотографии, пользоваться их собственными средствами... И если там, в этих ресурсах, нет идей, то пусть лучше будет кино без идей, как американские фильмы, чем идеи эти будут доставаться из литературы».

«*5 апреля.* Почему пьеса «Гроза» в кино как бы сплющивается? Сознание поглощается, пожирается зрением, не остается места домыслам, этическому раздумью: женщина бросается в воду, и человек выходит из кино подавленный...» И дальше: «Имеет ли право «гениальный режиссер» в творчестве зрелища — до полного забвения мотивов, которыми руководствовался писатель, создавая свою пьесу?»

Вс. Иванов

БОЛЬШОЙ СВЕТ

Несколько лет тому назад, путешествуя по горам Джунгарского Алатау, выехал я к китайской границе и остановился на погранзаставе, у начальника охотничьей команды. И сам начальник команды, уроженец Воронежа, и мой спутник — охотник-казах, подружились еще во времена гражданской войны. Они были тогда партизанами. Люди, как можете судить, не молодые. Но общеизвестно, что охота не старит. Оба по-прежнему неутомимы и неугомонны.

Хотя почти всю летнюю ночь мы предавались воспоминаниям и рассказам о прошлом и настоящем, рано утром я уже услышал за дверьми домика громкий разговор двух друзей. Начальник команды, как всегда, говорил складно и ровно. Казах-охотник прерывал его речь беспорядочными и горячими восклицаниями:

— Ах, какая сильная правда! Прямо жгет! Ах, как хорошо все раскрывается!..

— Ну так слушай же, не *прерывай*, — говорил начальник команды и продолжал свою речь.

Речь его показалась мне необычной. Я поспешно оделся и вышел.

Под объемистым котелком, где варилась каша, горели большие поленья. Но пламени костра почти не было заметно — такое сверкание и такое солнечное сияние царило вокруг. Сияли, покрытые неправдоподобно белым снегом, вершины высоких гор. Сиял внизу стрекочущий горный поток. Сияли скалы над ним. И сияло небо, казалось выгоревшее под этим могучим казахстанским солнцем. Остановившись на пороге, я невольно зажмурился и протер глаза.

Казах-охотник сказал мне с гордостью:

— Наше солнце умеет светить.

И, простерши почти с торжественной важностью руку к земле, казах продолжал:

— Но и это светит тоже очень горячо. Это тоже дает большой свет.

У ног его лежала пышная шкурка рыжей лисы, в которой

почти утопала раскрытая книга. Оказывается, начальник охотничьей команды не речь говорил, а просто-напросто читал книгу! Но чтобы так воодушевленно и, я бы сказал, вдохновенно читать — как же нужно любить и уважать эту книгу! Что это за книга?

Я поспешно взял ее.

Передо мной был том сочинений Михаила Пришвина.

Начальник охотничьей команды, уловив, по-видимому, умиление на моем лице, спросил:

— Знаете?

— И книгу знаю, и даже человека, который написал эту книгу, знаю, — ответил я.

— Ах ты какой! — воскликнул казах-охотник. — Почему ты раньше не сказал? Сколько дней вместе ездим, а он — молчит! — И, указывая на своего друга, казах продолжал: — А я к нему на один час приеду — мы три часа эту книгу вместе читаем. Большой человек писал эту книгу. Казахстан освещает своим большим светом, и я его очень хорошо вижу. Дальний Восток освещает — вижу. Север — вижу. Куда меня ни поведет — все вижу, будто свои руки! Что ж... большой человек большое и может показать. Всю Советскую страну в одной книге показывает, а?.. Ах ты, каким большим светом человек может владеть, — и как я этого человека уважаю!..

Он всплеснул руками и сказал мне:

— Ты не возражаешь, будем читать? Будем сыты этой книгой сегодня с утра, а потом пойдем в горы. — И он обратился к начальнику охотничьей команды: — Читай, Иван Григорьич, читай. Ты очень правильно читаешь: от книги большой свет идет. Любит он все это... — Казах указал на горы, скалы, бурлящий внизу поток, продолжал: — Да мало что любит! Любить это и зверь может. Очень он хорошо знает, как это все на пользу человеку направить!..

Перечитывая недавно книги Пришвина, я перечитал и письмо Алексея Максимовича Горького о творчестве Михаила Михайловича Пришвина.

«Так вот, Михаил Михайлович, — пишет Горький, — в ваших книгах я не вижу человека коленопреклоненным перед природой. Да, на мой взгляд, и не о природе пишете вы, а о большем, чем она, — о земле, великой матери нашей. Ни у одного из русских писателей я не встречал, не чувствовал такого гармонического сочетания любви к земле и знаний о ней, как вижу и чувствую это у вас».

Сопоставьте эти строки с тем, что говорил выше казах-

охотник, что горящим взглядом подтверждал русский пограничник, начальник охотничьей команды, — и вы увидите, что Горький и два простых охотника с гор Джунгарского Алатау сошлись в оценке значения книг Пришвина [1].

Вс. Иванов (1895—1963) — известный советский писатель. Дружеские отношения между писателями начались в 20-е годы и не прерывались до конца жизни Пришвина.

[1] В. Д. Пришвина в книге «Наш Дом» пишет о послевоенных годах: «В эти годы Пришвин дружески сблизился с Всеволодом Ивановым. Его внимание и, главное, понимание Пришвин благодарно берег и ценил. Запись в ноябре 1943 года: «У нас гости. Всеволод Иванов поднял вопрос об оскудении поэзии. «Какая поэзия без дружбы, — ответил я, — вспомните время Пушкина, какая тогда у людей дружба была! А вот один лейтенант приехал с фронта, рассказывал, как они обливали водой трупы, морозили и делали из них баррикады. «Там людей уже и не жалко?» — спросили его. А он отвечает: «Там-то вот и жалко... Там перед лицом смерти у людей большая дружба, вот увидите, когда кончится война, они нам ее привезут». И вот когда, — сказал я, — можно будет думать и о поэзии, будет дружба — будет и поэзия».

— А если не привезут дружбы? — спросил Иванов.

— Ну, это дело веры, — ответил я.

На том и покончили» (Наш Дом, с. 257).

О. И. Ларин

БЕРЕНДЕЕВА ЧАЩА

Одна из наиболее ярких встреч произошла у меня на Пинеге, когда с двумя товарищами я плыл на плоту. Подплывая к одной из избушек, мы увидели, что она занята. В дверях стоял человек и неподвижно смотрел на приближающийся плот. А мы смотрели на него. Это продолжалось до тех пор, пока мы не пристали к берегу, и тогда человек этот вышел навстречу.

Был это среднего роста круглолицый старик с размытыми чертами лица — во внешности ничего примечательного. Разве только глаза, излучавшие добродушие.

— Вот кстати-то, а у меня чай поспевает.

Он помог нам выгрузиться и без лишних расспросов проводил к избе. Легко и споро стал рубить дрова.

Горячий чай и избяное тепло сделали свое дело: я чувствовал, вот-вот усну. Мне хотелось порасспросить бывалого человека, но язык уже не слушался меня.

Утром старика не оказалось. Приятели, вернувшись с рыбалки, разбудили меня и сказали, что он уплыл домой.

— Смотри, сколько хариусов! — похвалились они, показывая котелок, откуда свешивались серебряные рыбьи хвосты. — Почти все Губин наловил. Отличнейший мужик!

— Губин? — Я чувствовал, как медленно покрываюсь потом. — Так его фамилия Губин? Александр Осипович?

— Точно! — подтвердили приятели и переглянулись. — А ты откуда знаешь?

Вот она, судьба! Прошлым летом я охотился за этим Губиным, разыскал деревню, где он живет, но самого старика не застал: он уехал в лес. А вчера ночью Губин будто специально поджидал меня в избушке, рассказывал о зверье, и я не только не сфотографировал его, но не спросил даже фамилии!

Губин, без сомнения, личность примечательная. Но чтобы окончательно убедить в этом моих друзей, я достал из рюкзака книжку Михаила Пришвина и отчеркнул им некоторые места из очерка «Северный лес» («Берендеева Чаща»).

Возвратившись в Москву, я решил хоть как-то поправить свою ошибку. Я знал, что будущим летом снова поеду на Пинегу, снова увижусь с Александром Осиповичем, а потому стал загодя готовиться к этой встрече.

Единственным человеком, кто знал Губина по совместному путешествию в Чащу, был сын писателя Петр Михайлович Пришвин. Как выяснилось, живет он в подмосковной деревне Федорцово и долгое время, до выхода на пенсию, работал директором здешнего охотничьего хозяйства. В 30-х годах Пришвин-младший часто помогал отцу собирать материалы, вел дневники во время их поездок по стране и конечно же не мог пройти мимо такой колоритной фигуры, как Губин.

Я назвал его фамилию, и Петр Михайлович сразу же оживился, заговорил о Губине как о старом знакомом, не напрягая памяти, так, будто он простился с ним вчера, а не тридцать восемь лет назад.

Первое время, рассказывал мне Петр Михайлович, Губин держался «букой» и свою угрюмость старался искупить беззаветным трудолюбием. Это происходило не потому, что он стеснялся Пришвиных. Просто такой уж у северян характер: сначала нужно приглядеться, почувствовать новых людей, а потом уж раскрыться перед ними, «оттаять». Впрочем, Михаил Михайлович «разговорил» его довольно быстро. В таланте общения писатель не знал себе равных, и ему ничего не стоило найти с проводником общий язык. Охота, повадки разных птиц и зверей, жизнь деревьев — разве этого мало для сближения двух людей, живущих наедине с природой? Петр Михайлович слушал их разговоры, а самое интересное записывал в блокнот.

Меня ожидал еще один приятный сюрприз. Перечитав «Корабельную чащу», я увидел, что из документального очерка Александр Губин переселился на страницы художественного произведения. Он по-прежнему выпевал свои былины с полувопросом на последнем слоге; в каждой реплике пришвинского героя — сказочника Мануйлы — чувствовалось добродушие и скромное достоинство реального Губина.

Очерк, написанный по свежим следам путешествия на Пинегу, и повесть-сказку разделяли пятнадцать-шестнадцать лет жизни писателя. Между ними пролегла война, новые поездки, новые книги. Но память о нетронутой Берендеевой Чаще и молодом проводнике была, по-видимому, столь сильна, что Михаил Михайлович вновь вернулся к теме северного леса и его хранителей.

...На этот раз все обошлось без приключений. Едва моторист причалил лодку у берега вблизи деревни Ручей, как я сразу же увидел Александра Осиповича. Навстречу мне деревенской улицей шел загорелый, ладно сбитый старик. Глаза его были детскими и ясными, цвета голубой озерной воды, как бывает у больших и добрых людей.

— Как поживаете, Александр Осипович? — спросил я, не зная, с чего начать. Ведь, в сущности, мы почти не знаем друг друга.

— А это кому как нравится, — присказкой ответил Губин. — Кому на печаль, а кому и на великую радость. — Он засмеялся, потрогал мой фотоаппарат. — Тебе дак на радость — старика приехал сымать. Мне радость вдвойне — сынам карточки пошлю. А вот моей старухе... — И он снова рассмеялся.

Мы недолго просидели в избе: Губину нужно было съездить в лес.

Плыли мы на лодке-осиновке, похожей на утлый славянский челн, и плыли очень быстро. Потом мы шли пешком по глухой тропе, среди темных колючих елок, и все это время Александр Осипович молчал.

На расчищенном от корней крохотном пятачке чернела покосившаяся в зеленых заплатах мха изба. Губин дружески похлопал избушку по спекшимся углам и засмеялся. Может быть, он вспомнил, как рубил ее своими руками, а может, просто радовался солнцу, птичьим голосам, березкам вокруг избы; радовался короткому привалу, тому, что можно поставить чайник на огонь и не спеша поговорить обо всем.

За чаем рассказал о Пришвине:

— Дотошный был старик — все деревиной любовался, годичные кольца подсчитывал. Лупу приставит — все видно! Я молодой был порато, слушался его. А охотник! Сейчас уж таких нет!

Пока плыли в Чащу, писатель все время фотографировал: природу, людей, постройки. Александр Осипович сильно сокрушался, что во время пожара сгорели присланные писателем фотографии, а также журнал «Наши достижения» с очерком о путешествии в Чащу.

— А как сейчас Чаща, что с ней? — спросил я Александра Осиповича.

— А что ей сделается? Стоит, — ответил он, жмурясь от дыма. — Порубили ее малость в войну, так без этого нельзя. Что в авиацию пошло, а что и на флот.

И снова увлекся:

— Как в Чащу шли, Михайло Михайлович все радовался. «Смотри, — говорит, — какие деревья могутные, как держатся друг за дружку! Одно дерево за всех, и все — за каждое. В добре растут». Это уж точно! — Александр Осипович посветлел, разгладил морщины на лице. — Вот возьми меня, старика. Чего я только в жизни своей не видел — и голоду, и страсти! И все перенес. А спроси — почему? Потому что в добре жизнь провел. Добро от добра родится, добром и прорастает...

Он положил поленьев в костер, и тот сразу вспыхнул, загудел.

Попасть в Чащу стало моей заповедной мечтой с тех пор, как я познакомился с Александром Осиповичем. Было это в июне 1972 года.

Спустя какое-то время я получил от него письмо: «Приезжай, когда черемуха зацветет и река задумается. Будем чаи гонять и беседы водить. Белые ночи — долгие беседы. Давай поспевай, а то, годы мои далеко ушагали...» В этом же письме он сообщал, что в Чаще не так давно был пожар, многие сосны пострадали. Но воздушные пожарники вроде поспели вовремя и задушили красного зверя в его утробе. Словом, за Чащу можно не беспокоиться.

Но вырваться на «долгую беседу» мне не пришлось. Прошли годы, и я получил известие, что Александр Осипович умер. Не болел ничем и на здоровье не жаловался, а просто лег спать и умер. Тихо ушел из жизни незаметный человек, охотник и плотник, следопыт и сказитель, верный хранитель Берендеевой Чащи.

Я понял, что, если в этом году не сумею осуществить свою давнюю мечту, на ней можно поставить крест. Ранней весной я снова отправился на Пинегу, чтобы встретиться со старожилами и разведать окончательно все подходы к Берендеевой Чаще.

Инженер Выйского леспромхоза Николай Иванович Шарапов буквально сразил меня сообщением, что всего месяц назад вернулся из пришвинского леса.

— Да, был, видел. Впечатление? Да как вам сказать: Пришвин не зря туда ходил, есть что посмотреть... Лес спелый и перестойный, высокопродуцирующий. В основном сосна за двести — триста лет. Бонитет древостоя приближается к высшей категории. Примерно одна треть массива выгорела, точ-

нее — опалена огнем где-то в семьдесят втором — семьдесят четвертом годах.

Как выглядит в целом? Представьте себе два сосновых острова с маленьким перешейком, вытянутые с севера на юг, — это и есть Чаща. Местность кругом всхолмленная, труднопроходимая, много поваленных деревьев, и кругом болота. Сосновый оазис среди болот! Черники и брусники — навалом. Дичь летает непуганая, в основном глухарь и рябчик. Но вот следов охотничьих костров и привалов я что-то не встречал...

Что вам еще сказать? Да... в центре массива стоит тригонометрический знак, и остатки деревянных фундаментов вокруг. Кое-где угадываются следы лесовозной колеи. Именно тележной колеи, лошадной, потому как трактор там не бывал. И нечего ему там делать... В тридцатых годах в Чаще клеймили спецзаказ, то есть на каждом выбранном для рубки дереве делали зачистки топором. У Пришвина в очерке об этом говорится. Потом, уже в годы войны, этот клейменый лес вывозили по дороге-ледянке на Пинегу, до избы Глубокие Воды. Кстати, в этой избе писатель ночевал вместе с сыном.

Будут еще вопросы? Тогда слушайте внимательно. — Тут, как мне показалось, голос у Николая Ивановича посуровел, и он перешел в атаку. — ...Вы турист... охотник... любитель острых ощущений? Нет. С картой работать умеете? Нет. Нодью когда-нибудь разводили? Тоже нет. Одни сплошные «нет»!.. Извините, но в Чащу вас пускать нельзя. И я первый поставлю вам шлагбаум... Да нет, я не запугиваю, поймите меня правильно, и морали читать не собираюсь. Лично я побывал в Чаще из чистого интереса, как специалист. И то лишь благодаря тому, что нашелся попутчик из лесопункта Кода. Да и лес этот давно уже не наш, не пинежский. А вы разве не знали? Он входит в лесосырьевую базу Коми АССР, и Заломская просека является как бы нашей границей. Но дело даже не в этом...

Поймите, в пришвинские времена вся Чаща была размечена охотничьими путиками: тропы вели и к нам, на Пинегу, и в Коми — на Вашку. Захочешь, а не заблудишься! Теперь же все заросло мхом и завалено буреломом. И никто туда, кроме Томаса Зеленцоваса, не ходит. — В этом месте я даже вздрогнул, услышав незнакомую фамилию, ухватился за нее, как утопающий за соломинку, но Шарапов не оставил мне никаких надежд. — Томас — парень бедовый, это правда. И охотник — дай бог каждому. Но он ведь в лесопункте работает, целый день занят. А на Чащу нужно положить как

минимум неделю. Спишитесь с ним, когда он в отпуск пойдет, — тогда другое дело. Но в этом году, я слышал, он отпуск свой уже отгулял. Вот такие пироги!.. Звоните в Министерство лесного хозяйства РСФСР, — напутствовал меня перед отъездом Шарапов. — Там вам помогут. А еще лучше — свяжитесь с управлением авиационной охраны лесов в Сыктывкаре. По Северу ходить нельзя, по Северу можно только летать.

Однако мои попытки найти людей, знающих о Чаще, в Министерстве лесного хозяйства оказались тщетными. Однажды я услышал:

— Берендеева Чаща? Первый бонитет?.. Впервые слышу.

Тогда я рассказал о Пришвине, о Губине и о том, что узнал на Пинеге несколько дней тому назад.

— А вы не допускаете мысль, что вас попросту разыграли? Пришвин — это великолепно. Мы все любим Пришвина. Из куста крапивы он мог сотворить дивное стихотворение в прозе. Но можно ли доверять писателю, пусть даже маститому, когда речь идет о продуктивности и уникальности леса?.. Первый бонитет?! Да вы хоть представляете, что это такое? В европейской части страны первая бонитетная категория давно вырублена. А новые элитные леса — если они будут? — вырастут еще не скоро.

Но все-таки он не поленился, нашел по моей просьбе телефон и адрес Министерства лесного хозяйства Коми АССР, посоветовал, к кому там обратиться. Я понял: Чаща забыта столь прочно, что ее придется открывать заново.

На мой письменный запрос в Сыктывкаре долго отмалчивались; спустя месяц я послал вторичное напоминание. И тут же получил ответ — нет, не официальный, как полагается в таких случаях, а самое что ни есть задушевное послание из поселка Благоева, без всяких министерских грифов и штампов.

«Мне, директору Ертомского лесхоза Коврижных Николаю Васильевичу, поручено ответить на Ваш запрос, ибо наше лесное хозяйство граничит с бассейном реки Пинеги. К сожалению, Вы первый за десять лет моего директорства, кто поинтересовался судьбой вековых таежных чащ. Журналистов бывает здесь достаточно, и бригадами, и в одиночку, но вот дороги в лесхоз они не знают. Пишут о том, как здорово работают лесорубы и сколько кубометров заготовили, а вот что будет на месте сведенных лесов, их почему-то не интересует... Ну да ладно, не стану тыкать своими болячками — перейду к делу.

Никаких данных о пребывании М. М. Пришвина в наших лесах нет, как не существует и самого названия — «Чаща». Я справлялся об этом у стариков-охотников с верховьев Вашки, а они народ дошлый. Поначалу подумал, что Вы ошиблись адресом, но потом развернул карту насаждений нашего лесхоза и понял, что Вы, по всей видимости, попали в точку. Подождите, подробности сообщу чуть позже...»

На удивление, ждать пришлось ровно... сутки.

«Смею еще раз побеспокоить, — писал Николай Васильевич, человек, от которого сейчас зависело буквально все. — Только что прочитал пришвинскую «Берендееву Чащу», еще раз сверил пришвинский маршрут по карте и спешу сообщить: «Чаща» — она у нас, это точно. Лес нетронутый, относится к категории эксплуатационных, но в ближайшие 5—10 лет рубиться вроде не планируется. Массив этот находится в лесосырьевой базе МВД. Местонахождение: граница Коми и Архангельской области, исток рек Поча, Порвеша, Каргавы, квартал № 275, сосновый бор с елью, средний возраст деревьев 240 лет. По южной стороне массива проходит (вернее, проходила) старая тропа с Пинеги на Вашку, где у пинежан находились когда-то сенокосные угодья.

Стыдно признаться, но я там еще не бывал. Лесхоз большой, по площади — шесть герцогств Люксембург, при всем желании везде не поспеешь. К тому же должность моя располагает к продолжительному сидению в служебном кабинете. Приезжайте! Брошу все дела — и в пришвинский лес! О вертолете позабочусь. Лучшее время — август — сентябрь. Жду ответа. Николай».

Неслыханная удача! Мало того что я окончательно убедился в существовании Чащи и получил официальное, можно сказать, приглашение побывать в ней, — за взволнованными строчками письма я почувствовал родственную душу, единомышленника, который сам рвался в заповедную Чащу. По горячим следам я отправил Коврижных телеграмму и через неделю получил ответ, что он ждет меня в первой декаде сентября.

И вот уже четвертый день, как я нахожусь в поселке Благоево. Мы с Коврижных вполне освоились друг с другом, и на рыбалку успели съездить, и в ближайшее лесничество, где директор похвастал своими чудо-саженцами, и взглядами обменялись, в которых нашли много общего, и все же каждый из нас так до конца и не представлял, какими мы будем там, в Чаще, когда окажемся с глазу на глаз с первобытным лесом.

Четвертый день за окном уныло шелестел дождь, навевая тревожную смуту, и диспетчер аэропорта на наши бесконечные запросы отвечал коротко и неумолимо: «Вылет отменяется!» И мы с Николаем Васильевичем поневоле предавались праздным разговорам.

Лес был для него первейшая радость и одновременно — неутихающая боль. Пройдя за двадцать с лишним лет всю иерархию лесного специалиста — от рядового обходчика до директора одного из крупнейших в Коми АССР лесных хозяйств, — Коврижных, кажется, уже привык к тому, что на его земле работала армада лесозаготовителей, сводя один таежный гектар за другим, и все-таки не мог смириться с тем, что они делают с этими лесами.

Однако все эти боли и утраты не убили в нем здоровое чувство протеста: несмотря на административные шишки, Коврижных упрямо гнул свою линию, коршуном налетая на злостных порубщиков, и в леспромхозах знали его тяжелую десницу...

«МИ-2» свалился на нашу голову без всякого предупреждения. Наконец-то мы летим!..

Чаща! Вот мы и встретились.

Первые шаги по Чаще — одно сплошное разочарование. Обычные сосны и ели, ничем не примечательные. Обычный хвойный лес на беловато-зеленой подстилке, сотканной из лишайников, кустиков черники, брусники, вереска. Помнится, и Михаил Михайлович, по рассказам Губина, не испытал особого почтения, увидев окраинную часть бора, и якобы воскликнул в сердцах: «Стоило ли ради этого киселя хлебать за полторы тысячи верст!» Однако уже на середине пути он запел другим голосом: «Все оказалось точно так, как и говорили о Чаще: деревья стояли одно к одному, как громадные свечи...» Но нам еще предстояло убедиться в этом.

Еле видимая тропинка петлей затягивала лесистый холм. В ней чувствовалась слежалость древних пластов. В сущности говоря, это была уже дикая тропинка, созданная зверем или охотником, в которой угадывалась своя, лесная логика. Она уводила то в чащу, то на черничную полянку, то упиралась в поверженное дерево, где следы ее совершенно терялись. Но, только оглянувшись назад, я начинал понимать, что это самый быстрый и удобный путь, который вел наверх.

Николай Васильевич по каким-то неуловимым признакам нащупывал присутствие этой древней тропы, и вело его вперед

седьмое чувство, свойственное таежникам. Как будто этот лес был знаком ему с детства.

— Скажите, как вы тропу находите? По каким признакам ориентируетесь?

Заученным движением он поправил очки на переносице и сказал с обидой в голосе:

— А вы, оказывается, не наблюдательны. И Пришвина, выходит, плохо читали, а у него там все сказано... Ну, вспоминайте, какие приметы нужно искать у начала тропы? — Николай Васильевич подошел к соседнему дереву и показал на стволе старую заплывшую смолой затесь, похожую на клинопись: два коротких удара топором наискосок и один рубыш посередине. У меня сразу же заработала память.

— Так это же «воронья пята»! Фамильный знак охотничьей династии Романовых!

— Точно! — обрадовался Коврижных. — Теперь поищем такую же отметку у дерева слева. Есть ли там знак, поглядите-ка? — Знак оказался на месте, и Николай Васильевич словно вырос в собственных глазах, голос его стал непререкаемым: — Вот теперь можно твердо сказать: мы находимся на историческом месте! Это — старый охотничий путик! — торжественно возгласил он. — Сколько ему лет — двести... триста? Одной Чаще известно. С помощью вот таких зарубок человек обозначал свою промысловую территорию. Он ставил здесь силки и капканы, рубил клети и избушки, ухаживал за токовищами. Уверен, тут каждый гектар находился когда-то под антропогенным воздействием. В хорошем смысле, конечно...

Словно подтверждая его слова, тропинка вынырнула из-под слежавшейся подстилки и заструилась среди поваленных деревьев. Чем дальше мы забирались в лес, тем уже становилась она и медленнее движение. Тропа явно не спешила, сменив штурм на долгую осаду. И наверное, самый феноменальный секрет ее в том, что она всегда безошибочна. Тайга расступилась неохотно, щетинилась и кололась ветками. Сосны и поросшие под их пологом ели сплетали над нашими головами сплошной кров. Я чувствовал себя в полной изоляции, как за семью замками. И, возможно, проскочил бы мимо, если бы корявый пень не подставил мне «ножку». Лежа на земле, я увидел краем глаза спрятавшуюся в зарослях... беседку. Может быть, ту самую, из пришвинских времен, где писатель сфотографировался вместе со своим проводником Александром Губиным. Коврижных ходил вокруг таежного приспособления и восхищенно качал головой: «Редкостная выдумка!»

Что такое «беседка»? Лучше, чем сам Пришвин, об этом не скажешь: «На тропе... срублены были деревья: из них одно большое дерево было укреплено на пнях, другое — повыше, на первом, чтобы посидеть, а ко второму — прислониться спиной уставшему человеку. И это маленькое сооружение носило название беседки, не в подражание беседкам дворянских садов, а и вправду для беседы: разные же люди идут по общей тропе, старые и малые, бывает, кто и отстанет, а тут на месте отдыха все сходятся, все отдыхают и непременно беседуют, рассказывают друг другу, кто что заметил в лесу».

Вокруг стояла тишина. Сколько людей тут перебывало, сколько разговоров погребено под этими задубелыми от ветров и морозов бревнами, кое-где источенными жучком-короедом? Люди приходили сюда чужими и незнакомыми, а расставались свояками и долго еще помнили друг друга. Сколько таких беседок рассыпано по необъятным нашим лесам, свидетельств всеобщего родства и гостеприимства! И может быть, они такое же человеческое творение, как хлеб и жилище, и, кто знает, может, они те самые зерна, пока еще не проросшие, что через сотню лет дадут всходы.

Было так хорошо посидеть здесь, впитывая эту почти мемориальную тишину.

В старину говорили: в еловом лесу трудиться, в березовом — веселиться, а в сосновом бору — богу молиться. Правильно, наверное, говорили. Ведь каждый из нас слушает и понимает лес в меру понимания себя.

Сколько тут всяких сосен, и стоит лишь одной из них поймать в свою крону ветер, как уже все деревья начинают петь, стонать и вышептывать что-то вроде молитвы. Иногда в этом шуме услышишь накат волны по песчаному берегу или же крик заблудившегося ребенка, иногда вдруг почудится перестук колес скорого поезда или же перекличка женщин, собирающих ягоды. И кажется тогда, что не лес это вовсе, а душа самой природы.

Я долго прислушивался к вою, который рвался из глубины бора. Столько всяких лесных страхов навевал этот животный полустон-полуплач, что даже Коврижных проняло и двух его непутевых собак. И оказалось все просто и совсем не страшно. Сухая береза упала между стволами двух сосен-двойняшек и терлась об их кору, как гигантский смычок. Мы так заслушались этой музыкой, что не заметили перехода от леса здорового, цветущего — к лесу-горельнику.

Прав, к сожалению, оказался инженер Николай Шарапов: в Чащу приходил пожар. Наверное, страшная была картина: горел ягель, сухая трава, кустарник, пламя выбрасывало многометровые языки, и отовсюду тянулась дымная, непроглядная, удушающая мгла. Обугленные стволы в буквальном смысле поставили крест на этом участке Берендеевой Чащи. Белые струпья гниющего валежника гнетуще выделялись среди бурого пепла и обгорелых пней. Но дальше, к счастью, огонь не пошел — его вовремя остановили воздушные пожарные. Они рубили горящие деревья, делали просеки, сдирали сухие, как порох, мхи. Коврижных определил, что пожар был погашен благодаря накладным шланговым зарядам, которыми окружили очаги загорания. Раздался одновременно взрыв, и огонь задохнулся, отступил. Теперь на этих местах поднялись березы и рябины, а под их пологом удобно приклонились маленькие сосенки со светлыми каплями смолы.

Солнце, уже закатное, протянуло длинные синие тени по земле, и мы, ступая по этим теням, рубили себе проходы в глухом чапыжнике. Нога то и дело соскальзывала с замоховевших стволов, проваливалась во влажном мху, выворачивая наружу сгустки болотного киселя. Пни, заросшие ягелем, преграждали путь, елки цеплялись иглами за одежду... И никакого намека на то, что здесь когда-либо бывал человек. Какие там тропы, даже зарубки на стволах исчезли!

Мы вышли на открытое место. Остро пахнуло смолой. Показался узкий коридор квартальной просеки, которую обступили богатырские мачтовые стволы. Готическими шпилями они пронзали густую синеву неба и угрюмо молчали в вышине. Я смотрел, задрав голову. Вот он, пришвинский бор, не знавший топора человека! Вот они, нетленные мощи Берендеевой Чащи!

Мы вступили на просеку, как в глубокий тоннель, и деревья сомкнули за нами плотный зеленый занавес. Пушистый кружевной ковер стелился, пружинил под ногами, открывая манящие просветы, и среди этого фосфоресцирующего блеска как бы присели отдохнуть былинные богатыри сосны, чудом забредшие в наши дни. Все деревья рванули явно за сорок метров, заплелись общими корнями, обнялись ветками, и все вместе представляли собой одно нерасторжимое целое. Стволы были без единой извилины, неохватных размеров, с бесформенными тяжелыми наплывами. Мы словно присутствовали на празднике красоты и мощи жизни. Мы смотрели наверх и поражались силе земного естества, исторгнувшего из себя этих гигантов.

Как выжили эти задремавшие гиганты?.. Коврижных сказал, что моренная гряда, на которой взметнулась Ч а щ а, — это работа скандинавского ледника. Прошло немало веков и сменилось несколько поколений деревьев, прежде чем природа выпестовала в своем чреве эту богатырскую колоннаду. На языке профессионала-лесовода — это самые высокопродуктивные сосновые древостои, равные элитным насаждениям, и других таких лесов в Коми нет... А что касается лесной почвы, добавил директор лесхоза, то она здесь самая что ни на есть скудная — песок с примесью подзола, и так бывает везде, где растет сосна. Именно на скудных почвах это светолюбивое дерево благодаря своим корням обретает такую силу, что стоит выше всех и живет дольше всех.

Я подумал о том, что и проза Пришвина тоже сродни этим соснам: в жизни своей ему приходилось работать над трудным материалом, мало кого соблазняющим, а корни свои опускать так же глубоко, как и сосна.

И еще одна мысль неотступно преследовала меня, пока мы брели по белоснежному пружинящему ковру ягеля, чувствуя мягкую податливость земли. Это мысль писателя о том, что, хотя сосна «и не чувствует боли, но человек иногда страдает за дерево так, что удары по дереву ложатся на самого человека». Мысль, высказанная о Берендеевой Чаще более пятидесяти лет назад.

Как же быть теперь? Ведь квартал № 275 по планам лесоустройства относится к категории эксплуатационных. Еще пять — семь лет — и...

— Ну, это мы еще посмотрим, — махнул рукой Коврижных. Какая-то невидимая пружина раскручивалась внутри него, не находя выхода, и только глаза резко обозначились на его лице.

— А тут и смотреть нечего! — запальчиво возразил я. — Полгода работы электропилой — и все.

— Драматизируете, — покачал головой Николай Васильевич и двинулся дальше...

Пройдет какое-то время, и я узнаю о том, что директор лесхоза обратится в лабораторию лесоведения Академии наук СССР с официальным ходатайством о создании в Чаще особо охраняемой территории на правах ландшафтного заказника или мемориального лесопарка. Он будет настаивать на незамедлительном отторжении квартала № 275 из категории эксплуатационных лесов, исключая охоту и сбор ягод. Он требовал сделать все возможное, чтобы пришвинский лес остался неприкосновенным памятником природы, ее эталоном.

И пусть для людей будет достаточно сознания того, что сказочная Берендеева Чаща еще существует на белом свете...[1]

Ну, а пока мы шли, спотыкаясь о сплетения корней, и густые синие тени бежали впереди нас. Старый бор-беломошник скоро окончился, и опять потянулись смешанные сурадья, елка с сосной, сосна с березой, очень трудные для ходьбы. И у каждого большого дерева Коврижных останавливался и делал зачистки топором: два коротких удара наискосок и один рубыш посередине. Это «воронья пята» — древний знак северных охотников.

По этим зарубкам он снова придет в пришвинский лес.

О. И. Ларин (р. 1938) — писатель, посвятивший свое творчество русскому Северу, автор книг «В ритме Пинеги», «Поклонись дереву», «Узоры по солнцу», «Пойдем — увидишь» и др. В своих путешествиях повторил многие пришвинские маршруты по Северу. В предлагаемом очерке рассказывает о путешествии в легендарную чащу, которой посвящена последняя повесть-сказка Пришвина «Корабельная чаща».

[1] Буквально на днях, когда я читал верстку этого очерка, Н. В. Коврижных прислал мне вырезку из районной газеты, в которой, в частности, сказано: «Постановлением Совета Министров Коми АССР № 193 утвержден ботанический заказник республиканского значения площадью 1182 гектара с уникальным участком спелых сосновых лесов». По единодушному мнению, заказнику дали имя последней повести М. М. Пришвина — «Корабельная чаща». И далее говорится, что на территории природного памятника запрещаются все лесозаготовительные работы.

С. А. Бондарин

ДВА ВЕДУНА

Слова поэта суть уже его дела.

А. Пушкин

Два старика, два ведуна встретились за общим столом: Андрей Белый и Михаил Пришвин.

Понятен тот интерес, какой существовал к личности Андрея Белого. Считали, что загадочный человек суров и необщителен. Но при встрече с ним бывало достаточно и получаса, чтобы это представление разрушилось. Вот и сейчас...

Пришвин читает по рукописи и говорит. Белый — одно внимание: рука возле уха, весь потянулся к говорящему, не хочет пропустить ни слова. Белый похож на бабушку. Рот у «бабушки» изящен. Глаза широко раскрыты, смотрят, слушают, становятся добрыми. Брови образовали резкие углы. Господствующее выражение лица — выражение скорби, то и дело просветляющейся доброй улыбкой.

Но вот «бабушка» заговорила. И говорит «бабушка» быстро, так же быстро переходя от страсти почти ожесточенной к плавным испытанным интонациям актера, изображающего скорбь, подавленность.

Но нет, нет, это только так кажется: смотрите, он бодр, этот старик, похожий на бабушку, оживлен и очень весел. Смотрите, румяный и седовласый боярин Пришвин глядит гораздо строже.

Но что же общего между ними?

Белый сам старается объяснить это, взволнованно рассказывая о своем впечатлении от пришвинских произведений. Конечно, прежде всего обоих писателей объединяет глубинность миросозерцания, философская, хотя и различная, основа творчества. Оба чувствуют родственность языковой стихии. Вот Андрей Белый заговорил о том, с каким трудом он пишет.

— Да, д а , — говорит о н , — я не пишу... я не знаю стола... я шагаю, жестикулирую, кричу, выдавливаю из себя слова и синтаксис, чувствую разнообразие интонационных возможностей, дабы закрепить фразу так, как она звучит для меня, и

потому возникают те «трудности», о которых я слышу вот уже тридцать лет... Это — мои трудности, от которых я не могу уйти... Я чувствую себя канарейкой, вылетающей из книги. Да, да! Книга — неподходящий футляр для литературы... Ведь это, послушайте, ведь это клевета. — И продолжает еще загадочней: — Послушайте! В будущем обществе произведение будет идти от ритма коллективного труда: интонация, жест, тембр... То есть литература не останется «горловой» — она станет волевая... И вот это же стремление уйти от книги я чувствую у Пришвина.

Вот оно как! Белый говорит и о «втором значении» пришвинских текстов, о ненасытном ощущении природы, о радости этого ощущения, о животворной энергии слова — мускулатуре пишущего человека.

Иногда страстная речь пересекается, и тогда в зале слышно рычание: голос рычит, держится на выжидательной интонации — мысль закончена, другая еще не схвачена.

Ведун, похожий на старушку, вдруг замирает, но и оцепенение это полно порыва. Черный шелковый галстук тоже как бы взметнулся, распустился бантом. Примятые воротнички. Черная шапочка.

Пауза. Дума. Решение.

И «бабушка» Андрей Белый, ведун, поясняющий самого себя, опять переходит в наступление — резко, сразу. И опять перед нами не бабушка, а страстный полемист, оратор. Снова высоко вибрирует голос, речь блещет богатством речений, и боярин с румяным лицом — Михайло Пришвин — слушает настороженно, спокойно, строго. Пришвин не слушает — внимает.

Внимательно слушаем все мы. Все мы есть соучастники волнующего размышления. Подумайте, согласитесь: это не только интересно, это прекрасно — слушать таких человечных, таких мудрых стариков, так много ведающих от прошлого своего века, так много чающих от будущего. Ведь и мы, каждый из нас, молодых, того и гляди когда-нибудь сумеем сказать важное для общего нашего служения слово, важное для дела настоящего, в котором уже есть звуки будущего[1].

С. А. Бондарин (1903—1978) — советский писатель рассказывает о своей единственной встрече с А. Белым и М. Пришвиным на семинаре молодых литераторов. Воспоминания относятся к 30-м годам.

[1] В дневниках Пришвина имя А. Белого встречается довольно часто. Вначале это упоминания, относящиеся к 1908—1909 гг., когда Пришвин встре-

чает Белого на заседаниях религиозно-философского общества Петербурга. Затем записи становятся все более существенными, относящимися к творческой личности и судьбе Белого. Вот некоторые из них:

«15 апреля 1915. Художник начинается там, где человек обращается в призрак — я пережил это состояние. <...> Вот откуда происходит «Петербург» Белого. Призрачность мира — это личное (субъективное) состояние души художника, из которого нет перехода к реальности (где же реальность, если «я» — не реально). Призрачность — обнажение узлов».

«20 апреля 1922. Первое слово, прочитанное мною после перерыва литературы в России, было слово Андрея Белого «самосознание». И первое, что я написал из деревенского быта — о самости. Так опять, как в 1905 году, мое деревенское пустынное жительство приводит к тем же словам, которые говорятся в столице, и немудрено: деревенская и городская курица несет одинаковые яйца».

«31 октября 1925. Когда думаю о литературе, что сделал для нее Андрей Белый, то чувствую себя совершенно ничтожным, какой я литератор! Но в то же самое время упор в жизнь у меня так велик, что в наше время равным я себе считаю только Горького и Гамсуна...»

«3 февраля 1927. Почему Белый не вынимает «леса» из своих романов (оккультизм)?»

1932 год.

«29—*30 октября.* Пленум Оргбюро. 30-го моя речь «Сорадование». Победа! Воистину Бог дал! Самое удивительное, что это вынесло меня по ту сторону личного счета со злом...

4 ноября. Каждый из ораторов личную обиду от РАППа представлял обществу под углом своего личного зрения <...> не знаю, хватит ли пальцев на одной руке, чтобы сосчитать людей, искренно выступивших за пределы своей обиды (Белый, Пришвин, Серафимович, Фадеев, Вс. Иванов).

26 ноября. 23-го поехал в Москву и вечером слушал Белого, 25-го вечером вернулся в Сергиев. <...>

Лева, прослушав Белого, сказал мне:

— Раньше я думал, что ты, папа, одинокий чудак, а теперь по Белому и по тебе вижу, что то была особая порода людей, и ты не один, было такое общество необыкновенных людей.

28 ноября. В речи Белого (краеведческая секция) было советское же дело представлено с лицевой <...> стороны. Выходило из слов Белого так, что царящее зло при посредстве творческой личности превращается в свою противоположность. Сам он своим личным примером показывает, как плодотворно можно работать и при этих условиях. Да, это верно: вот именно-то при этих условиях и надо напрягать свои силы и дать лучшее».

А. А. Ухтомский

ИЗ ПИСЬМА К Е, И. БРОНШТЕЙН-ШУР

15 августа 1928 г.

...Я вот часто задумываюсь над тем, как могла возникнуть у людей эта довольно странная профессия — «писательство». Не странно ли, в самом деле, что вместо прямых и практически понятных дел человек специализировался на том, чтобы писать, писать целыми часами без определенных целей, писать вот так же, как трава растет, птица летает, а солнце светит.

Пишет, чтобы писать! И видимо, для него это настоящая физиологическая потребность, ибо он болен перед тем, как сесть за свое писание, а написав, проясняется и как бы выздоравливает!

В чем дело? Я давно думаю, что писательство возникло в человечестве «с горя», за неудовлетворенной потребностью иметь перед собою собеседника и друга! Не находя этого сокровища с собою, человек и придумал писать какому-то мысленному, далекому собеседнику и другу, неизвестному, алгебраическому иксу, на авось, что там, где-то вдали, найдутся души, которые зарезонируют на твои запросы, мысли и выводы!

В самом деле: кому писал, скажем, Ж.-Ж. Руссо свою «Исповедь»? Или Паскаль свои «Мысли о религии»? Или Платон свои «Диалоги»? Какому-то безличному, далекому, неизвестному адресату — очевидно, за ненахождением около себя лично близкого, известного до конца Собеседника, который все бы выслушал и помог бы разобраться в тревогах и недугах. Особенно характерны в этом отношении, пожалуй, платоновские «Диалоги», где автор все время с кем-то спорит и с помощью мысленного Собеседника переворачивает и освещает с различных сторон свою тему. Совершенно явно дело идет о мысленном собеседовании, на этот раз уже несколько определенном: это спорщик, оспариватель высказанного тезиса. Тут у «писательства» в первый раз во всемирной литературе мелькает мысль, что каждому положению может быть противопоставлена совершенно иная, даже противоположная точка зрения. И это начало «диалектики», то есть мысленного собе-

седования с учетом по возможности всех логических возражений. И можно сказать, это и было началом науки. Так из «писательства» в свое время возникла наука!

...Из горя и неудовлетворенности от ненахождения живого собеседника возникло и писательство и наука!

...Впрочем, были и есть счастливые люди, у которых всегда были и есть собеседники и, следовательно, нет ни малейшего побуждения к писательству! Это, во-первых, очень простые люди, вроде наших деревенских стариков, которые рады-радешеньки всякому встречному человеку, умея удовлетвориться им как своим искреннейшим собеседником. И во-вторых, это гениальнейшие из людей, которые вспоминаются человечеством как почти недосягаемые исключения: это уже не искатели собеседника, а, можно сказать, вечные собеседники для всех, кто потом о них слышал и узнавал. Таков Сократ из греков... О Сократе мы ровно ничего не знали бы, если бы за ним не записывали слов и мыслей его собеседники — Платон и Ксенофонт.

Отчего же они не писали, эти всемирно гениальные люди?

Мне кажется, что оттого, что они никогда и не имели неутоленной жажды в собеседнике, ибо имели всегда наиискреннейшего собеседника в ближайшем встречном человеке! Вот в чем секрет! И вот отчего люди толпами шли к ним! Уметь видеть и находить в каждом ближайшем встречном человеке своего искомого собеседника! И в то же время, как писатели всех времен, малые и великие, обращались к «дальнему», пронося подчас свои гордые носы мимо неоцененно дорогого близ себя, эти великие мужи умели находить и распознавать искреннейшего собеседника в «ближнем». Вот секрет!

...Моя исходная, первая и последняя задача — в этом. В частности, в чем заключается и как воспитывается склад восприятия Зосимы, этого одинаково открытого и готового собеседника и для Федора Карамазова, и для Алеши, и для деревенских баб, и для Ивана?

Постепенно я узнал, что он создается большим, чисто физическим насилием над собой, готовностью ломать себя без жалости; затем преданием от других, прежде всего от простого народа; наконец, детским отношением к миру, как к близкому, интимно-любимому, уважаемому собеседнику и другу.

Для взрослого этот склад восприятия, если он не заложен с детства, очень труден, требует постоянного напряжения, удерживается лишь большим трудом, самодисциплиной, осторожным охранением совести. Но он необыкновенно ценен общественно: люди льнут к человеку, у которого он есть, по-

видимому, оттого, что воспитанный в этом восприятии человек оказывается необычайно чутким и отзывчивым к жизни других лиц, легко перестанавливается на другие мироощущения и вытекающие из них горя других лиц.

Такой человек обыкновенно наименее замкнут в самом себе, у него наименьший упор на себя, наименьшая наклонность настаивать на своем и своей непогрешимости. Он привык постоянно и глубоко критиковать себя — оттого он смирен внутри самого себя и не критикует людей, пока они сами не просят его помочь им в их беде! Если он критикует других, то только как врач — стараясь распутать корни болезни. Словом, это доктор Гааз, вечно преданный, как друзьям, арестантам и каторжанам из Мертвого Дома.

У Федора Павловича, у Мити, у Ивана — у каждого своя отдельность и замкнутость, что ни человек, то свой особый, как бы самодовлеющий мир, своя претензия, оттого и свое особое несчастие, свой особый грех, нарушающий способность жить с людьми!

При этом поведение каждого таково, каково мировосприятие, а мировосприятие таково, какова воспитанная наклонность поведения. Тут для каждого замкнутый круг, из которого вырваться чрезвычайно трудно, а без посторонней помощи обыкновенно и нельзя! Лишь потрясение и терпеливая помощь другого может вырвать человека из этой роковой соотносительности субъект — объекта, то есть из того, что мир для человека таков, каким он его заслужил, а человек таков, каков его мир!

...Каковы доминанты человека, таков и его интегральный образ мира, а каков интегральный образ мира, таково поведение, таковы счастие и несчастие, таково и лицо его для других людей.

В самое последнее время я познакомился с неожиданным единомышленником из «писателей», именно профессиональных писателей, то есть таких, которые хотят заглушить тоску по живому собеседнику процессом писания для дальнего. Это М. Пришвин.

В некоторых местах он поражает меня совпадением с моими самыми затаенными мыслями. «Я очень верю теперь, — пишет он, — что мои робкие шаги в журналистике, воспринятые цельным человеком с большим талантом и волей, могут превратиться в великое дело исследования жизни, недоступной самым подвижным романистам и новеллистам. Мне представляется на этом пути возможность доработаться до такой формы, которая останавливает мгновение пролетающей

жизни и превращает его в маленькую поэму...» (От земли и городов. ГИЗ, 1928, с. 7). «Путь исследования журналиста в моем опыте сопровождается все время, с одной стороны, расширением кругозора до того, что в дело пускается все пережитое, прочитанное и продуманное, а с другой — поле сужается исключительным вниманием, со страстью сосредоточенным на каком-нибудь незначительном явлении. И от этого почему-то чужая жизнь представляется почти как своя. И вот как только это достигнуто, что свое личное как бы растворяется в чужом, то можно с уверенностью приступить к писанию — написанное будет для всех интересно, совершенно независимо от темы, Шекспир это или башмаки...» (ibid., с. 320 и след.). «Оно правда — очень трудно выслушивать чужую жизнь, чтобы она проходила так близко около тебя, как будто была своя собственная. Для этого вовсе не обязательно любить человека, а надо только обладать тем чувством общественности, которое так часто прорывается у русского человека в вагонных беседах и непременно должно быть в таких странах устного предания, какой была до сих пор Россия» (ibid., с. 290).

Вот и Зосиме, и доктору Гаазу, и всем этим опытным натуралистам par exellence * свойственна эта методика проникновения в ближайшее, предстоящее пред ними, как в свое родственное, о которой говорит М. Пришвин, но только в специально воспитанной и развитой форме, *притом не для «писательства», а для самого приближающегося к ним человека.* Это и есть «доминанта на лицо другого», о котором я Вам читал 2 апреля прошлого года!

Надо очень рекомендовать опыты Пришвина на этом пути. По форме писательства он, несомненно, классик из плеяды Тургенева и Аксакова, но для меня гораздо важнее он в писательстве — открыватель нового (а для простых людей — старого, как мир!) метода, заключающегося одновременно *в растворении всего своего и в сосредоточении всего своего на другом* (на встречной реальности, встречном человеке). (Для Зосимы, для Гааза это метод исходный и основной с самого начала!)

И если уже для писателя этот метод оказывается так труден, как видно из работы Пришвина, то для человека, ушедшего в этот метод целиком, он является, конечно, делом постоянного напряжения, труда целой жизни изо дня в день! [1]

Усредненный и спокойный «интеллигент», ценящий в глу-

* В особенности (*франц.*).

бине души более всего комфорт довольства собою, вряд ли решится встать на этот путь. Он всегда будет склонен замкнуться ради своего покоя на утешительной, портативной и экономной теории.

А. А. Ухтомский (1875—1942) — физиолог, академик, известен открытием одного из основных принципов деятельности нервной системы, который ученый назвал доминантой. Учение о доминанте широко используется в психологии, педагогике, медицине.

[1] Оценка творчества Пришвина в приведенном отрывке из письма А. А. Ухтомского своей ученице знаменательна для понимания Пришвина-писателя, тем более что оценки прямо противоположного свойства общеизвестны. Начиная с З. Гиппиус, творчество Пришвина неоднократно подвергалось критике за «бесчеловечность», бегство в природу, в то время, как «вся русская мысль» решала «последние вопросы» человеческого бытия. Эти упреки повторяются в переписке Ф. Гладкова с Горьким, дневники Пришвина раздражали Соколова-Микитова «яканьем» и бесконечным «гляденьем в зеркало».

Подобное непонимание сути творчества Пришвина выразилось в рецензии Андрея Платонова на книгу Пришвина «Неодетая весна», который в 1940 году писал в «Литературном обозрении»: «Настойчивое постоянное упоминание <...> «страны непуганых птиц и зверей» — кажется нам самохарактеристикой испуганного человека; возможно, что у человека есть причина искать «непуганую страну», созерцая с раздражением, страхом или в отвращении современный человеческий род. Но, несомненно, стремление уйти в «непуганую» страну, укрыться там хотя бы на время, содержит в себе недоброе чувство — отделиться от людей и сбросить с себя нагрузку общей участи, из-за неуверенности, что деятельность людей приведет их к истине, к высшему благу, к прекрасной жизни» (Платонов А. Размышления читателя. М., 1980, с. 98).


III

Н. В. Реформатская

О ПРИШВИНЕ

В 1923 году в московском издательстве «Круг» вышел первый сборник дореволюционных очерков М. М. Пришвина под общим названием «Черный араб». Лично для меня это было открытием нового талантливого писателя, о котором я раньше только слышала, но ничего из его вещей не читала. Через год появилась повесть «Курымушка» — первая часть автобиографического романа Пришвина «Кащеева цепь», еще через год — «Родники Берендея». Возникла потребность следить за каждым новым шагом этого удивительного писателя, поглощенного темой природы и неизменно и верно служащего ей своим искусством. Привлекал и своеобразный охотничий быт писателя.

Вскоре дошли слухи, что Пришвин перебрался из своего Берендеева царства под Переславлем поближе к Москве — в Загорск и что, судя по трофеям, с которыми он возвращается через город к себе домой, — он не без успеха охотится под Загорском с гончей. Летом выезжает всем домом на подводе верст за 25—30 по Угличскому тракту и селится в какой-нибудь из деревень на пойме Дубны; там живет до глубокой осени, натаскивает собак, охотится и работает.

В журналах «Красная новь», «Новый мир», «Огонек», «Охотник» и в «Охотничьей газете» один за другим появляются его охотничьи рассказы, а в 1929 году в «Новом мире» начала печататься повесть «Журавлиная родина». Под таким названием стал известен читателю край знаменитых дубенских болот, тогда еще богатых дичью, Константиновская долина, Заболотское озеро, изобилующее утками и хранившее еще в глубине своих вод изумрудные шары реликтового растения — клавдофоры.

Повесть представляла особый интерес для читателей-охотников вроде нас, знакомых с этими местами, вдоволь находившихся в поисках бекасов и дупелей по «пришвинским угодьям», на себе испытавшим, что такое проложенная через болота Константиновская гать, на которой вязли возы с сеном, скот и люди; не раз заходили мы на Зимняк — всем известный

на тракте Углич — Москва поселок в несколько дворов, где находился знаменитый трактир Алексея Никитича Ремизова, про которого сказано в повести Пришвина: «Это ключ всей устной словесности Московского Полесья». Здесь Пришвин встретил многих персонажей своей повести и «Охотничьих былей», здесь мы как-то застали егеря из деревни Посевьево — Алексея Михайловича Шарыкова, увековеченного Пришвиным в рассказе «Ленин на охоте».

С самим Пришвиным довелось встретиться в том краю только в 1930 году, когда он жил в деревне Переславищи, дальше по тому же Угличскому тракту, в сторону Заболотья. Мы в тот раз намеревались поискать охотничьего счастья еще дальше, в районе деревни Шепелево и Туголянских озер, и, зная, что там уже побывал прошлым летом Пришвин, решили по дороге заехать к нему и расспросить о тех местах.

Но чем ближе подъезжали мы к Переславищам, тем больше я сомневалась — удобно ли это? Ведь не просто охотник, а писатель... Как на грех, мы очень запоздали и подъехали к пришвинскому дому, когда солнце уже садилось.

Из ворот вышел человек, одетый в широкий холщовый костюм, в сандалиях, на голове панама, из-под которой выбивались вьющиеся, черные с проседью волосы, седина была и в бороде. Не было сомнений, что это Пришвин.

Он смотрел то на нас, то на нашу собаку с таким любопытством и так весело, что, вместо заранее заготовленных фраз и рекомендаций, я, нечаянно для самой себя, «подкупила» его цитатой из его «Черного араба»: «Хабар-бар, Михаил Михайлович?» «Бар! — засмеялся он. — До меня уже дошли слухи, что ко мне должны заехать Реформатские».

Мы быстро нашли с ним общий язык и общих знакомых-охотников. Пришвин предложил нам переночевать у него на сеновале. «Только для порядку, — сказал он, — спросим у хозяйки, как она», — и повел нас в дом к Ефросинье Павловне. Павловна, как называл ее Михаил Михайлович, накормила нас вкусным и сытным деревенским ужином с остатками холодной дичи. Дородная, красивая женщина, родом из смоленских крестьянок, она держала себя просто, но с большим достоинством: с гордостью говорила о работе Михаила Михайловича, как об их общем деле: «Мы теперь все снимаем фотографии для его детской книжки». Ничуть не стеснялась своего диалектного лексикона и произношения.

Пришвин был очень оживлен, с увлечением рассказывал про то, как они с Нерлью открыли охоту, про ее работу, спрашивал про нашего пойнтера, слушал, поддакивал — «да, да,

да», потом не выдерживал, перебивал и опять про Нерль.

Пришвин знал в Загорске мою сестру, санитарного врача и тоже охотницу, и спросил:

— Что же это у вас, семейное?

— Да, — ответила я, — тяжелая наследственность.

— Не тяжелая, — поправил он меня совершенно серьезно, — а счастливая. Охота, если она, конечно, не превращается только в погоню за количеством убитой дичи, — это большое дело, серьезный труд и поэзия.

— А у вас, Александр Александрович, — обратился он к моему мужу, — это тоже наследственная страсть?

— Как же, от прадеда по матери, Алексея Андриановича Головачева; он был председателем Тверского комитета по освобождению крестьян, соратник Некрасова по «Отечественным запискам», его друг и товарищ по охоте

Михаилу Михайловичу, заинтересовавшемуся этим предком-охотником, было обещано показать в Москве печатный оттиск поэмы «Пир на весь мир» Некрасова (глава из второй части «Кому на Руси жить хорошо») с автографом поэта: «Доброму товарищу по литературе и охоте А. А. Головачеву на память! Н. А. Некрасов. 26 ноября 1876 года».

Оттиск — это текст поэмы, вырезанный цензурой из ноябрьского номера журнала «Отечественные записки» за 1876 год. Напечатана эта часть поэмы была только после смерти поэта.

Пришвин рассказал, как вскоре после появления в « Новом мире» его очерка «Охота за счастьем» он встретил одного «вроде как почтенного» критика и тот, хитро подмигнув ему, процедил: «Ну и ловкий вы себе, Михаил Михайлович, путь обрели в наше трудное время: ходи и постреливай!» Пришвин рассказал об этом Алексею Толстому, а он — легкий человек — захохотал и говорит: «Не обращайте внимания, что такой болван вас не понимает!» Пришвин не назвал имени этого «болвана», но в разговоре у него потом не раз проскальзывала мысль, что он «старейший писатель», а его все учат, учат, понять же значение его дела не хотят или не могут. «Спасибо Горькому, он очень помог своей статьей обо мне» [1].

Мы засиделись допоздна, пока Ефросинья Павловна не напомнила Михаилу Михайловичу, что пора вести гостей на сеновал.

Утром нас позвали пить чай. За столом Пришвин показал свои снимки, сделанные в местах, куда мы направлялись, и портрет известного кинолога и специалиста по породе континентальных легавых — М. Д. Менделеевой-Кузьминой [2]. «Это

ведь сестра жены Блока, — пояснил не без удовольствия Пришвин, — я знал его и когда-нибудь потом расскажу о нем»[3].

Настаивать было неудобно, да и подвода уже ждала. Михаил Михайлович пообещал выбраться к нам в Шепелево, но зарядили непрерывные проливные дожди, и из этого ничего не вышло.

В 1931 году осенью Пришвин, по командировке от газеты «Известия», совершил путешествие в Сибирь и на Дальний Восток. Незадолго до отъезда я случайно встретила его на Арбатской площади, и мы отправились в столовую Дома печати поговорить после долгого перерыва и заодно пообедать.

Михаил Михайлович слышал, что мы ездили в этом году на охоту в Казахстан, и потребовал отчета. Он очень смеялся, когда я ему рассказала, что в степи все время вспоминали «вас — Черного араба»: такие же всадники, издали завидя нас, мчатся навстречу и с ходу спрашивают, только не по-казахски «Хабар-бар? (Новости есть?)», а по-русски: «Чай есть?» — и, узнав, что чая нет, круто поворачивают коня и мчатся прочь.

Михаил Михайлович был очень занят предстоящей поездкой, говорил, что возлагает на нее большие надежды, едет в питомник пятнистых оленей, песцов и других зверей. «Я им разъясню, — произнес он с ударением, — зачем нужны в наше время мои собаки, звери и птицы...»

Я не представляла себе тогда, сколько сил, упорства и убежденности приходилось тратить Пришвину, отстаивая свою тему в советской литературе, отмахиваясь «от литературных комаров», недовольных тем, что «в поступках моих зверей нет генеральной линии»[4].

Весной 1932 года, 16 апреля, открылось Второе (и последнее!) производственное совещание поэтов РАППа. Оно проходило в клубе ФОСП и длилось почти неделю. Я была на первом заседании. В перерыве неожиданно увидела одиноко вышагивающего по узкому фойе Пришвина. Я удивилась, что он не на охоте — самая пора, ток, тяга. Михаил Михайлович мимикой и жестом пояснил, дескать, и тут важно быть, сказал, что заканчивает очерки о поездке на Дальний Восток и пишет повесть — «ахнете, и все ахнут». Он пообещал скоро прийти и почитать[5].

24 апреля «Правда» опубликовала постановление «О перестройке литературно-художественных организаций», ликвидации РАПП и объединении всех писателей, поддерживающих платформу советской власти, в единый Союз советских писателей. Очередной номер «Литературной газеты», где напечатано было постановление, вышел только 5 мая. Среди знако-

мых и друзей только разговору было что об этом событии.

Вскоре звонит по телефону Пришвин:

— К вам можно? Хабар-бар?

— Бар! — отвечаю я, голосом давая понять, что ясно, какие новости.

Условились, когда он придет читать. Слушателей собралось довольно много. Михаил Михайлович читал главы из очерков «Новая Даурия» («Дорогие звери»), читал с увлечением, слушали его с интересом, он был как будто доволен. Мне все казалось, что Пришвин должен тосковать по своей писательской аудитории, и я робко предложила ему позвать в другой раз кого-нибудь из писателей, из товарищей по литературе и охоте. Но в 1932 году Пришвин как-то засомневался, удастся ли кого из писателей найти и собрать. Сказал, что как-то читал, но контакта не получилось. «Впрочем, — усмехнулся он, — это было еще во времена РАППства».

В конце октября — начале ноября 1932 года состоялся первый пленум оргкомитета Союза писателей. Из старейших выступали А. Белый и М. Пришвин.

Речь Пришвина носила характер непринужденного разговора с писателями, дружественного и иногда пересыпанного шуткой. Он призывал писателей к взаимному вниманию и не без горького юмора рассказал, как он в недавнем прошлом ходил «в разъясненных» писателях: «Прихожу у себя в Загорске в педтехникум, где всегда читал для молодежи, сажусь за стол и слышу: «Это Пришвин. Он разъяснен». Не обращая внимания, начинаю читать. Вдруг голос: «Вы, товарищ Пришвин, пишете как мистик». Это критики так разъяснили меня: эпигон символизма, мистик. Теперь стало по-другому, один маленький журнал опять про собак просит написать».

Закончил Пришвин проникновенным разговором о Горьком как писателе, который замечательно умеет радоваться успеху другого писателя, а этого «сорадования» нам так не хватало [6].

Пришвин после возвращения с Дальнего Востока был на большом подъеме, и постановление о перестройке литературно-художественных организаций, несомненно, этому подъему только содействовало. Он много и плодотворно работал, создал на материале этой поездки повесть «Корень жизни», ставшую одной из его любимых вещей и восторженно встреченную рядом критиков.

Пришвин был в расцвете своего таланта, физически здоров, крепок, приближалось его шестидесятилетие. И вот эту дату он решил отметить творческим вечером в Союзе писателей. Вечер состоялся 31 января 1933 года и превратился в первый

импровизированный юбилей Пришвина, без всяких официальных приветствий и заранее подготовленных докладов, с выступлением самого Пришвина. Происходило это в Дубовом зале теперешнего ЦДЛ.

Свое выступление Михаил Михайлович начал с того, что Пришвин Михаил родился 23 января 1873 года и через несколько дней ему исполнится 60 лет; а Пришвин-писатель родился в 1905 году и ему всего 28 лет. Дальше шел рассказ отца о сыне — писателе, в прошлом «комсомольце XIX века и марксисте», о работе писателя Пришвина в либеральной газете «Русские Ведомости», о петербургской литературной среде начала века, в которую он попал, и других фактах биографии писателя. Многое перекликалось со вступительной частью книги «Мой очерк», над которой он в то время работал.

Пришвин рассказал, как на днях пришла к нему дама из «Литературной газеты» с просьбой дать статью о своей «ломке» после революции. «А я не ломался, так что же мне делать?» — спросил я ее.

Автобиографический рассказ Пришвин вел непринужденно, как разговор за чайным столом или у костра на охоте. После этого он прочел главы из своей недавно законченной повести «Корень жизни», или «Жень-шень». И когда Пришвин, воображая перед собой Хуа-Лу, произнес: «Охотник, охотник, зачем ты тогда не схватил ее за копытца?» — слушатели затихли... Потом раздались аплодисменты. Пришвин даже растерялся.

Из отдельных выступлений помню дружественно-восторженное слово старейшего литературного сверстника — Андрея Белого о когда-то вышедшем из глуши северных лесов и озер «волшебнике слова», высказывание молодого грузинского писателя Шалвы Сослани. Он говорил, что «комсомолец XX века» протягивает руку «комсомольцу XIX века» и любуется этим старым художником, как сам художник любовался красотой оленя-цветка Хуа-Лу.

Когда почти все разошлись, остались только Пришвин, Белый, Шалва Сослани и еще кто-то, я подошла к Михаилу Михайловичу и протянула ему розу. Он заохал: роза, красная, зимой, поблагодарил и, предлагая сесть, показал на стоящего рядом Белого: «Вот Борис Николаевич развспоминался». Белый вспоминал одну из сред на «башне» Вячеслава Иванова, когда они были с Пришвиным вместе, еще что-то из той эпохи; он вспоминал и двигался перед нами из стороны в сторону, не говорил, а вытанцовывал каждую фразу, всем телом и жестом отмечая каждый словесный период; глаза его бледно-синие светились, как фонарики, седые волосы на лы-

сеющей голове чуть вились. Шалва Сослани смотрел на него как зачарованный.

Мне довелось в дальнейшем быть на всех юбилеях Пришвина: в 1938 году на вечере по случаю его 65-летия, когда выступал с докладом о его творчестве В. Перцов; в 1943 году в связи с 70-летием и получением правительственной награды — ордена Трудового Красного Знамени. В этот раз собрались в одной из маленьких комнат Дома литераторов. На вечере присутствовали оказавшиеся в Москве писатели-фронтовики: помню, сидели на столах в гимнастерках веселый С. Михалков и серьезный, сосредоточенный, со спускающимся на лоб вихром А. Твардовский. Хорошо помню 75-летний юбилей Пришвина и особенно его 80-летие, широко отмечавшееся в 1953 году, вылившееся в настоящий праздник писателя. Но первый, нечаянный юбилей с вдохновенным чтением автором поэмы «Жень-шень» вспоминается с особенной нежностью.

В 1934 году «Жень-шень» вышла отдельным изданием с рисунками В. А. Фаворского. Не знаю, как они нашли друг друга, но поняли один другого — художник и поэт — прекрасно. Пришвин был очень доволен.

Фаворский жил тоже в Загорске, и, изредка бывая у Пришвина то на традиционных блинах, то еще по какому-нибудь званому поводу, мы встречали среди гостей и Владимира Андреевича. Высокий, плотный, с бородой, как у Деда Мороза, эпически спокойный, он казался много старше оживленного, разговорчивого хозяина, хотя и был лет на десять моложе его. Между ними чувствовался какой-то внутренний контакт. Пришвин не раз говорил о Фаворском с исключительным уважением, как о человеке безупречной честности и чистоты [7].

В небольшом деревянном доме Пришвина на Комсомольской, где висит теперь мемориальная доска, было все очень просто, никакой особой обстановки. На его письменном столе красовалась стеклянная банка с жидкостью, залитая воском; в ней причудливый по форме корень женьшень, привезенный с Дальнего Востока. Никакого преклонения перед писателем заметно не было, но все налаженное хозяйство в доме и особенно во дворе, где корову Машку сменила в сарае полуторка — «домик на колесах», который завел себе Пришвин для поездок на «охоту за счастьем», естественно подчинено было его интересам и потребностям.

У него были взрослые сыновья. Младший сын, будущий охотовед Петр Михайлович Пришвин, постоянно сопутствовал отцу в его охотничьих поездках на машине. Внешне похожий на отца, он унаследовал от него дар рассказчика и удивительно

живо рассказывал о различных своих наблюдениях из жизни природы. Раз он приехал по поручению отца к нам в Москву и просидел часа четыре. Михаил Михайлович недоумевал, что так долго нет Пети, а Петя, вернувшись уж поздно вечером, спокойно объяснил:

— Да мы всё разговаривали.

— Как можно так, ты же первый раз в доме. И о чем вы столько говорили?

— Да все о зайцах, папа.

В октябре 1934 года наш общий знакомый, охотовед Всеармейского военно-охотничьего общества А. В. Катынский, организовал в районе Мценска охоту на волков с гончими. Из штатских должны были ехать Пришвин и я. Но Михаил Михайлович почему-то не поехал. В январском номере журнала «Боец-охотник» появился мой очерк «По волкам». Я побаивалась одного читателя — Пришвина и, увидевшись с ним, призналась, что надеялась, может, он не прочтет.

— Как так, — подшучивал надо мной Михаил Михайлович, — я нарочно и не поехал, чтобы вы очерк написали. — Он сказал, что нашел в нем один ляпсус, — зоологический: ползущую по озими кошку, показавшуюся величиной с волка. — Это же оптический обман, сударыня Диана. Думаете, я не Пришвин — с меня взятки гладки.

Помню, была зимой у сестры в Загорске и решила навестить Михаила Михайловича. Я встретила его под вечер прогуливающегося по Комсомольской. Он шел, запустив руки в боковые карманы коричневой куртки с бобровым воротником, в оленьей шапке-ушанке, в белых, обшитых кожей валенках, шел медленно, о чем-то сосредоточенно размышляя. Я подумала про себя: какой красивый человек и сколько в нем какой-то независимости, уверенности в себе. Может быть, это только казалось? Не знаю!

Его новые рассказы предвоенных лет, особенно детские («Пиковая дама», «Старухин рай», «Изобретатель»), а также цикл «Неодетая весна» поражали сочетанием высокохудожественного мастерства с удивительной человеческой нежностью и особым мягким, добрым юмором, в котором сквозь мальчишеский задор и веселую шутку проступало высокое нравственное начало.

Поэма «Фацелия», появившаяся в 1940 году в «Новом мире», поразила удивительной, даже для автора «Жень-шеня», силой лирического накала.

Вскоре Михаил Михайлович позвонил по телефону. Он начал с того, что хочет отдать мне свои ружья, охотиться боль-

ше не будет... Я, не дослушав, перебила его: «Куда мне еще ружья. У меня маленький ребенок, и что случилось?» В телефоне послышалось сперва какое-то еканье, потом, как сейчас помню, робко и неуверенно — что у него-де теперь другая охота — «за человеком... за душой человека».

Через некоторое время Михаил Михайлович опять позвонил, спросил, очень ли он нас напугал своим последним разговором, и позвал к себе в Лаврушинский: «Тогда все разъяснится, новую вещь свою прочту и кстати квартиру покажу».

Мы приехали и познакомились с Валерией Дмитриевной. Михаил Михайлович читал отрывок из начатого романа «Осударева дорога», главу о старой поморке — «Мирская няня». Он показался немного напряженным, скованным — груз радости, нового счастья и тяжесть расставания с прошлым давались старому художнику нелегко.

Мы встречались время от времени то в Лаврушинском, то у нас, Михаил Михайлович почти всегда что-нибудь читал из нового, иногда читала Валерия Дмитриевна.

Война все смыла, всех разбросала. Мы дозвонились до Пришвиных, когда они уже уехали в знакомое Михаилу Михайловичу по прежним годам Усолье, село в 25 километрах от Переславля-Залесского.

15 августа 1941 года пришла открытка от Михаила Михайловича. Он писал, что пытался не раз звонить нам по телефону, «мечтали эвакуироваться вместе с вами в охотничьи места», и на всякий случай давал свой усольский адрес. В конце приписка: «Поохотимся».

Потом пришло письмо заказное от 7.I.1942 г. «Я все удивляюсь, — писал Михаил Михайлович, — почему не слыхать о том, что вы спасаетесь от бомб у Катынского в Слободке, и не у меня в Усолье. Куда вы девались в это тяжелое время?» Он жаловался, что «почти невозможно становится жить без связи, питаясь капризными обывательскими слухами», просил дать «весть о себе», звал: «не приедете ли к нам в Усолье отдохнуть?»

Когда Михаил Михайлович вернулся после почти трехлетнего пребывания в Берендеевом царстве, он показался физически почти совсем не сдавшим, но каким-то очень серьезным, по-новому серьезным, озабоченным, задумчивым.

Мне кажется, большой поэтической и нравственно-философской радостью была для него работа над детской повестью «Кладовая солнца». Пожалуй, после «Жень-шеня» и «Фацелии» такого успеха ни одно произведение Пришвина последних лет не имело.

Когда в Лаврушинском отмечалось в кругу друзей присвоение Пришвину первой премии по конкурсу на лучшую книгу для детей, он сказал поздравлявшим его: «Захвалили совсем. Но, по совести, — справедливо. К старости на похвалы больше реагируешь. Я с этим и дальше пойду».

Он имел в виду, очевидно, повесть «Корабельная чаща», которую задумал как продолжение этой сказки-были о двух усольских детях.

В последнее десятилетие своей жизни Пришвин никуда далеко не ездил. Маршруты его путешествий сократились и способы передвижения изменились: 50 километров за рулем «Москвича», сменившего старую «эмку», от Москвы до Дунина. Оставлена была, как это ни трудно себе представить, и охота: только в первые годы жизни в Дунине Михаил Михайлович еще выходил в луга под Мозжинкой и пускал по бекасам собаку, больше для ее тренировки и для поддержания в себе духа охотника. Охотники, вроде нас, всегда должны были ему давать отчет о своих охотничьих поездках, и это он мог слушать без конца, несмотря на то, что Валерия Дмитриевна всегда высказывала свое неудовольствие: «Опять вы про охоту».

Меня всегда поражала способность Пришвина любой, даже самый прозаический факт претворять в поэтическую легенду, открывать в нем свои привлекательные стороны.

Сколько раз, рассуждая «по себе», Пришвин уверял читателя, что у старости есть свои преимущества, и в предисловии к сборнику «Весна света», вышедшему к 80-летию писателя, пропел настоящий гимн старости, уверяя, что ничего в этом «страшного нет» и, достигнув старости, ни за что не хотел бы променять ее на молодость.

У Пришвина значительно расширился круг знакомых. Он стал иногда бывать на концертах. Помню, мы вместе были в Малом зале на концерте Н. Дорлиак и С. Рихтера. Дорлиак исполняла Брамса, Шумана, «Детскую» Мусоргского. Михаил Михайлович так очарован был всем исполнением, и особенно «Детской», что просил после концерта свести его в артистическую: «Хочу поблагодарить лично за такую радость». А на следующий день звонок по телефону: «Все под впечатлением вчерашнего. Какая чистая радость!» В доме Пришвина появился рояль, за которым можно было услышать музыкантов — посетителей Пришвина: Е. Мравинского [8], М. В. Юдину, его знакомую ученицу Московской консерватории — Н. Мутли. Появился проигрыватель и пластинки с оперой Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже». К «Китежу»

Михаил Михайлович питал особый интерес: этой легенде он сам когда-то отдал дань в очерках «У стен града невидимого».

Михаил Михайлович долго не знал серьезных недугов и любил рассказывать, как врачи, обследовавшие его, недоумевали: «Что вы, женьшень, что ли, пьете?» И, хитро улыбнувшись, Михаил Михайлович наставительно прибавлял: «Все оттого, что живу по правилу: делать только то, что хочется, и не делать того, чего не хочется».

За этим правилом лежала целая философия поведения писателя, раскрывшаяся нам позже в его опубликованных дневниках. Но вот в 1950 году Пришвин заболел воспалением легких, Валерия Дмитриевна тоже что-то была нездорова, и Михаил Михайлович просил меня выполнить поручения в Гослитиздате по договору на двухтомник его сочинений.

Когда все было сделано, я получила от Михаила Михайловича такую грамоту:

«Постановление

дома М. М. и В. Д. Пришвиных
от 25 марта 1950 г.
Москва. Дом писателя

В связи с заключением договора на двухтомник «Охота и путешествия» наградить Надежду Васильевну Реформатскую:

1. Письмом Максима Горького.
2. Книгой об искусстве Италии.
3. Связкой сушеных грибов и красным флагом с золотым шитьем.
4. Четырьмя курицами и петухом (для Маши).

Писал *Михаил Пришвин*».

На конверте с письмом Горького Пришвину от 16.VI.31 года Михаил Михайлович указал, что это письмо случайно не было отправлено вместе с другими в Музей Горького и «передается мною Надежде Васильевне Реформатской 26.III.1950 г.».

Я сразу раскрыла автограф Горького. Вот его текст:

«Простите, дорогой Михаил Михайлович, запоздал с ответом Вам.

По поводу В. С. Карасева мне уже говорили, и о нем хлопочет Ек. Павловна.

Очерк Ваш прочитал: он слишком многословен, и не выявлено экономическое значение питомника, а для нашего читателя полезно знать, что из лисьих мехов строят фабрики. В этой форме очерк для «Н[аших] Д[остижений]» — не удо-

бен ни для общего, ни для литературного отдела. Ответить Вам и повидаться с Вами не мог я потому, что очень занят: тороплюсь осуществить кое-какие литературно-издательские планы: после 20-го мне будет свободней и я Вас извещу, когда и где встретиться.

А сердиться на Вас у меня нет никаких причин, это Вы ошибаетесь!

Искренне желаю всего доброго. А. Пешков.
16.VI.31».

Что это был за очерк о питомнике пушных зверей, отвергнутый Горьким для журнала «Наши Достижения», Пришвин так и не вспомнил.

Опубликованный теперь том переписки «Горький и советские писатели» позволяет установить, что очерк этот был послан Горькому вместе с письмом Пришвина от 15 мая 1931 года. Но письмо Горького от 16 июня 1931 года — ответ не на это письмо, а на письмо Пришвина, написанное тремя неделями позднее (хранится вместе с другими письмами Пришвина к Горькому в архиве А. М. Горького, не опубликовано). Письмо начинается с просьбы похлопотать об инженере В. С. Карасеве, товарище юности, и далее Пришвин пишет: «...Я послал Вам приветствие с приездом, просил свидания, предлагал свои услуги для журнала и послал даже рассказ. Прошло три недели — ответа не получил. Или Вы сердитесь на меня, ну, с этим уж ничего не поделаешь: насильно мил не будешь. Или же некоторые письма через журнал Вам не доставляют (письмо с рассказом было передано в журнал). Но это пустяки, обиды я не понимаю...

Жму руку. *Михаил Пришвин».*

Пришвин отлично понимал, что обижаться на Горького ни за задержку с ответом, ни за то, что обещал приехать в Загорск и не приехал, — нельзя. И все-таки не раз срывалось у него: «Как ждали, а так и не повидались!» Вероятно, и Горький это чувствовал и в последних письмах просил Пришвина не думать, «что мое отношение к Вам как-либо переменилось, нет — Вы для меня один из оригинальнейших национальных литераторов, большого таланта и великого упрямства человек» (Москва, 28 апреля 1934 г.).

В 1952 году Михаилу Михайловичу пришлось лечь на обследование в Боткинскую больницу. После чего его направили в санаторий «Барвиха», откуда мы получили от него письмо, которое начиналось так:

«Из доклада с Лаврушинского в 7-й корпус Боткинской больницы: «Каждый день звонят Реформатские...»

В письме Михаил Михайлович сообщал, что вчера Валерия Дмитриевна его перевезла в «Барвиху», но «сначала меня, конечно, завезли домой для свидания с Джали и котом Василием Ивановичем. Встреча была неописуемая». Он благодарил за внимание и философствовал на ту тему, что «эта связь человека с человеком лечит больного не меньше лекарства». В заключение писал, что надеется «через месяц получить право выпить с Вами по рюмочке. Что же касается убытка в писании, то где наша не пропадала, и все равно, всего же не напишешь.

Будьте здоровы. Михаил Михайлович».

Когда я навестила Михаила Михайловича в «Барвихе», он мне показался каким-то раздраженным.

Из «Барвихи» Пришвин вернулся поправившимся, но не выздоровевшим.

Последний раз я видела Михаила Михайловича дней за 8 до смерти. Он очень похудел, глаза стали усталые, говорил слабым голосом, с паузами. Мы сидели с ним за столом. Беседа шла нелегко. Я несколько раз порывалась встать, но Михаил Михайлович останавливал и наконец сказал:

— Я хочу, чтобы вы сами знали и сказали всем, что всю жизнь я только о торфе и писал. Запомните. — И замолчал.

— В том смысле, Михаил Михайлович, как написано о торфе в «Кладовой солнца»?

Михаил Михайлович ничего не ответил мне, а я не решилась утомлять его вопросами.

Я так понимаю эти слова: природа, звери, птицы, человек — все раскрывалось ему, как раскрывался торф, вбирающий в себя лучи солнца и хранящий в себе огонь и тепло, способность творить жизнь; так, открывая тайну Блудова болота, в котором чуть не погибли дети, — Пришвин, говоря его словами, «открывал в природе прекрасные стороны души человеческой», утверждал радость жизни, победу добра над злом.

И в этой устремленности к поискам и утверждению радости жизни — одна из отличительных особенностей личности и творчества Пришвина.

Н. В. Реформатская (1901—1985) — литературовед, критик, библиограф. Надежда Васильевна и ее муж, известный лингвист А. А. Реформатский, подружились с Пришвиным в 20-е годы на совместных охотах. Дружеские отношения сохранились до конца жизни писателя.

[1] Имеется в виду статья А. М. Горького «О М. М. Пришвине», впервые опубликованная в журнале «Красная новь», 1926, № 12.

[2] 6 июля 1937 года Пришвин записывает в дневнике: «Мария Дмитриевна Менделеева прислала философское письмо, в котором называет меня очень добрым человеком, пытающимся все примирить. Интересно мне, что ее упрек «в доброте» исходит из того же источника, что и у тех, кто упрекает меня в бесчеловечности. На самом деле я не так-то «добр» и не так-то бесчеловечен. Я пишу о зверях, деревьях, птицах, вообще о природе от лица такого человека, который в жизни своей или вовсе не был оскорблен, или преодолел бы свое оскорбление, например, на то самое, что вызвало злобу. Я не беру такого человека из головы, не выдумываю, это я сам лично, поместивший занятие свое искусством слова в ту часть своего существа, которая осталась неоскорбленной. Впрочем, я тогда не думал о себе, мне думалось, что вся поэзия вытекает из неоскорбляемой части человеческого существа, и я взялся за нее, как за якорь личного спасения от оскорбления и злобы. Вот отчего в своих книгах я оптимист и совсем неисправимый, потому что всего себя отдал служению неоскорбленного существа человека. Если бы я ошибался, то, наверно, давно бы попал в дом умалишенных, но выходит напротив: у меня появляется друзей все больше и больше, даже в Англии, даже в Германии «Жень-шень» назван «мужественной» книгой. Я даже теперь настолько убедился в реальности своего «неоскорбленного ведения», что считаю себя первым настоящим коммунистом, потому что действительно новый мир можно построить только из неоскорбленного существа человека («Красота спасет мир», — сказал Достоевский)».

[3] О взаимоотношениях Пришвина с Блоком см.: Александр Блок. Новые материалы и исследования. Литературное наследство. Кн. 4. М., «Наука», 1987, с. 322—336.

[4] Об этих трудных годах осталось на страницах дневника Пришвина много записей:

«*5 сентября 1930.* «Новый мир» представленную в июле «Зооферму» предлагает напечатать в январе. Хлебнул чувство своей ненужности и в «Новом мире, и вообще в мире современной литературы: видимо, все идет против меня и моего «биологизма». Надо временно отступить в детскую, вообще специальную литературу, потому что оно и правда: или все на ликвидацию «прорывов» или художественная литература.

Меня оттирают из «Нового мира», как оттерли из «Охотничьей газеты» — расчухали окуня».

«4 декабря 1931. Читал дискуссию с РАПП попутчиков <...>. Значит, все решено свыше и правильно: писатель даровитый (попутчик) есть собственник своего таланта и находится в отношении членов РАППа как кулак к бедноте. И неминуемо он должен быть раскулачен, а вся литература должна обратиться в литколхоз с учтенной продукцией.

РАПП, или воинствующие пролетарские писатели. У попутчиков есть вера в культуру в том смысле, что литература создавалась народами всего мира и с самых давних времен, что за эти времена человечество нащупало законы литературного творчества, которые каждому писателю необходимо понять, изучить, и что без этого прошлого не войдешь в литературу современную.

У воинствующих вера такая, что настоящее вовсе не вытекает из прошлого, а есть факт небывалый, и чтобы войти в него, скорей надо забыть прошлое, чем из него исходить. В этом и состоит спор пролетарских писателей с попутчиками».

«10 декабря. Вот, положим, я дикий писатель (попутчиком никогда не был) и кое-что пишу полезное, но допустим, что я пришел в РАПП. Вначале я ничего не буду писать, я буду привыкать, и когда освоюсь с предметами в «пере-

стройке», то буду летать по-прежнему и между этими предметами, не задевая их. Но горе в том, что РАПП именно и создан для того, чтобы быть умнее писателя и направлять его полет в желательную им сторону».

«13 декабря. Что же в самой жизни? Все эти раппы шушера-мушера, и когда им об этом скажут, то они отвечают справедливо: не в нас дело, а в принципе. Так вот, значит, сила их состоит лишь в их отношении к принципу, то есть в их логически-научной вере <...> Принцип выиграли, но жизнь обыграли. В литературе это и сказалось, да и сами вопят, что нет человека-писателя, который мог бы написать в уровень событий (это значит: жизни)».

«19 декабря. Меня расстроило, что отказались печатать «Кащееву цепь» <...>. Началась тоска самая острая со сладостной мыслью о смерти <...>. Я накануне решения бежать из литературы в какой-нибудь картофельный трест».

[5] Имеются в виду очерки «Новая Даурия. Путешествие» (1932) и повесть «Жень-шень» (1933).

[6] Выступление на Первом пленуме оргкомитета Союза советских писателей (29 октября — 3 ноября) опубликовано в кн.: Михаил Пришвин. Творить будущий мир. М., «Молодая гвардия», 1989, с. 108—114.

Пришвин познакомился с В. А. Фаворским (1886—1964) в мае 1930 года и многие годы поддерживал с ним дружеские отношения. В дневнике время от времени по разным поводам появляются записи, вызванные общением с Фаворским. Вот некоторые из них:

«17 февраля 1937. Все чудесно в семье Фаворских, и чего-то не хватает — чего? Я думал долго — мне того не хватает, что есть у него, и я это свое невольно по зависти переношу как вопрос в их счастливую семью. Сегодня Мария Владимировна очень удивилась моей общественной тревоге: «Вы же пишете о животных, что вам?» И как я ей ни объяснял, так и не могла она понять, как это можно писать о животных и до смертушки волноваться судьбой своей родной страны. Мне самому на минуту показалось это моим пороком: не могу, наверно, целиком отдаться творчеству и оправдываю себя, свою лень, гражданским состоянием. С другой стороны... Это остатки прошлого — после Горького, я кончаю — потом явятся поэты, для которых народ будет как-то дальше, чем нам, мы же сольемся с фольклором. Между прочим, физическая близость (напр., нынешняя мода собирать сказки) не поможет: тут не в эстетике дело, а в тех душевных муках, перенесенных за народ, там страданье в отчем плане, здесь — в сыновнем, как долг, как тюрьма художника, но зато если удавалось вырваться из тюрьмы, то обрадованный дух творил чудеса.

Все это хорошо, но из этого никак не следует, что надо возвращать всех художников в тюрьму: нет возврата, мы прошли. Новый человек должен... нет, именно, что он не должен, а живет свободно, творит, как Фаворский, свои гравюры».

«14—15 марта. Фаворский сам не может ранней весной сближаться с природой. У него бывает разлад в это время, и с детства осталось в памяти, что все ссоры с матерью относились к этому времени. Весну он чувствует по детям, когда они ранней весной входят в дом, то от них пахнет морозом и солнцем».

«5 марта 1938. После обеда отдохнул, и снилось мне, что вот у Фаворских сын Максим делается большим художником. И ни с того ни с сего он взялся: он культурный продолжатель длительной жизни культурного рода. И, как бывало, один такой дом встретится с другим, соединяется, родится и складывается быт, общество. И это было! Я помню еще это время».

«13 июня. Фаворский и поле ржи: видел рожь давно, понял ее и что же теперь еще взять от нее: рожь и рожь, как и вся природа, другое дело — икона Рублева, тут есть на что посмотреть и Фаворскому».

«18 февраля 1940. Я из интеллигенции единственно уважаю В. А. Фаворского, которого на чистке спрашивали: «Что вы делаете для антирелигиозной

пропаганды?» И он на это ответил: «Как я могу что-либо делать, если я в Бога верую?» За эти слова Фаворскому ничего не было, а того, кто спрашивал, посадили.

Почему же других мучат за веру, а Фаворскому можно? Потому что Фаворского, как и меня, Бог любит».

И еще:

«25 сентября 1948. Сострадаю Фаворскому, но не всей душой: сострадаю как близкому товарищу, сраженному пулей. Но вся душа моя связана с тем, кто уцелел, кто победит и явится к нам в славе. Завтра, может быть, и меня постигнет участь Фаворского, но я, умирая, хочу ждать победителя славного, а не распятого».

«4 октября. Если нашему другу-коммунисту сказать о каком-нибудь отвратительном явлении нашей жизни, вроде нынешнего взяточничества, он скажет: «Ничего, вот поправимся и это пройдет: изживем!»

Если ему указать на жертвы, он ответит: «Смотря по тому, что достигалось, если цель была высока, то какой разговор [может] быть о жертвах.

Если указать ему на личность: вот хоть бы на бедного Владимира Андревича Фаворского, великолепного художника, брошенного в нужду и безделье на старости лет за «формализм», то я не знаю, наш друг ведь необразован, живописи не понимает и личность Фаворского ему недоступна, как недоступна Медному Всаднику личность Евгения».

В память о дружбе с Пришвиным Фаворский подарил ему книгу Л. Толстого «Рассказы о животных» (М., 1932) со следующей надписью: «Любезный Михаил Михайлович, эта книга попытка поучиться у Толстого простому рассказу. Вам, поклоннику простоты, судить, удалась ли она. С приветом В. Фаворский. 10/I—33 г. Сергиев» (ГЛМ).

[8] С *Е. А. Мравинским* (1903—1988) Пришвина в последние годы связывали дружеские отношения. Пришвин записывает:

«Звонил дирижер Мравинский и, совсем незнакомый мне, выражал свое признание меня как писателя, сказал даже, что «Лесная капель» — его «подподушечная книга». Такие читатели являются моим золотым фондом и даже больше — золотым без содержания лигатуры — и ложатся на душу, как сама правда природы.

Каким счастьем является для меня не полное признание моего творчества, не премии, не большой орден, не даже полноценная статья, а вот такое медленное стекание моих читателей куда-то в большую воду вечности. Вот этот огонек радостной надежды на будущее воскресение из мертвых и приносит мне в душу каждый большой мой читатель, сокровище моего золотого фонда».

«Евгений Александрович Мравинский объявился в Москве, позвонил, и вечером мы слушали в консерватории Брамса. Он как дирижер в своих приемах гак изменяется, что я в нем себя узнаю: тоже ведь и я в своих писаниях живу и расту непрерывно <...> наверно, у нас с ним есть какой-то общий секрет в творчестве. Скорее всего, этот секрет в полной и безраздельной отдаче жизни искусству».

«20 декабря 1953. Дорогой Е. А.! Благодарю Вас за письмо и желаю того же, чего Вы сами желаете: выйти поскорей и освободиться временно от «мук творчества».

Мне кажется по Вашему письму, что мы по-разному понимаем «природу». Я лично подхожу к ней готовым человеком, тем самым сыном человеческим, откровения которого «с мукой и стенанием» ждет вся тварь-«природа». Конечно, и у меня есть, как и у Вас, желанное чувство покоя. Но я этому влечению ставлю предел, делаю особое, скажем, «творческое», усилие и вывожу из бездны хаоса все разные существа, и у каких-то ворот спрашиваю у каждого отдельно пропуск. После того образуется из них моя симфония радости жизни».

В. Д. Пришвина вспоминает: «Дней за десять до кончины Михаила Михайловича приезжал Мравинский. Михаил Михайлович полулежал в своем любимом кабинете на диване. Мы двое сидели возле него. У рояля стояла небольшая елочка. Мы зажгли свечи и смотрели на живые огни. Пахло хвоей. У Михаила Михайловича ничего не болело; только слабость и сильно похудел. Мы с Евгением Александровичем знали, что приближается конец. Он этого не знал или не хотел знать... Мы тихо переговаривались. Мравинский не дотронулся в тот раз до рояля. Слушали только что вышедшую пластинку с голосом Пришвина. Это было последнее их свидание» (Наш Дом, с. 266).

Бывал Пришвин и на концертах М. В. Юдиной: «Вчера был на концерте М. В. Юдиной. Горы летающих золотых звуков — восхитительная абстракция наших человеческих печалей и радостей» (Наш Дом, с. 264).

А. Шахов

ВЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ МАСТЕР СЛОВА

Всю раннюю весну в тот год я не выезжал из Москвы, не общался с природой и до боли в сердце соскучился по ней. Вот в это время мне попалась книга незнакомого автора с рассказами о лесах, о весне, о птицах... И совсем мало о людях.

Это было непривычно. Казалось, что невозможно писать только о красоте леса, о летнем вечере на реке... И вдруг вся книга о природе и автор смело сообщает: «Героем моего рассказа пусть будет сама земля».

Прочитав книгу, я закрыл ее с волнением. Она казалась мне живой.

Мне стало радостно, словно побродил по весенней земле, и я, в порыве благодарности, написал восторженное письмо автору — Михаилу Пришвину.

Он ответил любезно и пригласил к себе. Я пошел к нему с любопытством и радостью: мне еще не приходилось встречаться с писателями. Робко позвонил в его квартиру в Лаврушинском переулке, послышался звонкий лай.

Дверь мне открыла пожилая домашняя работница с ласковым лицом. Ее звали, как мне стало известно потом, Аксюша. Не переставая лаять, около меня закрутился сеттер. Из боковой комнаты вышел Пришвин. Вместо древнего старика, каким он мне казался на фото, передо мной стоял бодрый, среднего роста, с молодыми глазами бородатый человек лет шестидесяти пяти.

Михаил Михайлович прежде всего поразил меня своей простотой. Я забыл, что он писатель с мировым именем и старше меня почти на двадцать пять лет.

Мы вошли в столовую. Разговор у нас шел о его книгах, об охоте, потом о сельскохозяйственной науке, об академике Прянишникове — его учителе и о профессоре Дояренко, с которым он был связан в молодые годы по работе в Петровской академии[1].

Рассказ о моих путешествиях по Советскому Союзу его заинтересовал. В свою очередь и он рассказал, как бродил по Северу. Беседа затянулась до поздней ночи.

Прощаясь, Михаил Михайлович подарил мне все четыре тома собрания своих сочинений, просил навещать и, не стесняясь, звонить в любое время. И дал пароль: «Аксюша, где сейчас Михаил Михайлович?» Телефонных звонков было много, на все он не откликался.

Разговор с писателем о природе вдохновил меня. Недолго думая я принялся за повесть о своем путешествии по лесным безлюдным притокам Печоры. Повесть называлась «За синими птицами». За год перед этим появилась моя научная книга о сельском хозяйстве Печорского края, следовательно, опыт литературной работы у меня был.

Я отнес повесть в журнал. Редактор прочитал ее довольно быстро. Это был известный в то время писатель — второй на моем пути. Он отозвался о повести хорошо, нашел ее даже талантливой, но сказал, что в печать она может пойти лишь после значительной доработки. Не все его замечания оказались мне по душе, да и пугала большая работа.

Я пошел к Михаилу Михайловичу за советом. Это было незадолго до моего отъезда в экспедицию — в Карскую тундру.

— А-а-а... — протянул он неопределенно, когда понял, зачем я пришел. — Значит, и вы собираетесь быть писателем? Да-а... Обычно я читаю только начало и конец рукописи. Для меня этого достаточно, чтобы судить о ней. А вашу повесть прочту всю.

— Очень прошу, Михаил Михайлович, укажите все недостатки без стеснения.

— О, об этом не беспокойтесь. Я не кривлю душой.

Через три дня Аксюша принесла мне сверток.

«Посылаю Вам рукопись и книги с благодарностью, — писал Михаил Михайлович. — В Вашем произведении нет моста между вымыслом и правдой. Этим мостом должен быть стиль, на который Вы не обращаете внимания и пишете часто, как бог на душу положит. Хорошая сторона — это бунт против биолого-очеркового письма, но, как всякий бунтарь, только бунтарь, Вы часто сами приходите к тому, против чего взялись бунтовать, например, Вы пишете всерьез такую фразу: «Печорский край — край огромных возможностей в настоящем и будущем». Таких фраз, не содержащих в себе ни зерна творческого усилия, у Вас множество.

Я не считаю удачным это Ваше произведение, пусть оно полежит, и Вы сами скоро это поймете, и когда поймете, то узнаете, что не напрасно трудились, потому что воспользуетесь работой как материалом.

В свое время я сам увлекался «Синей птицей» Метерлинка,

но уже 30 лет тому назад этот образ был публикой поглощен, и повторять его у себя я не решился, и создал свой образ «непуганых птиц». И так надо всегда писать своими словами, не употребляя их ни одного без особого художественного контроля, приводящего к своему стилю, то есть в конце концов к собственной, единственной и неповторимой личности.

Если у Вас еще есть время, то навестите меня, по телефону мы сговоримся, когда это лучше сделать.

Желаю Вам всего хорошего.

Преданный вам *Михаил Пришвин*

Москва, 3 мая 1938 г.».

И я пришел. На этот раз он встретил меня сдержанно, спросил о моих сборах в далекую экспедицию и замолк. Разговор не клеился.

Я попросил его сказать, что особенно плохо в моей повести и нельзя ли ее все-таки, после исправления, напечатать.

— Печатать можно все что угодно. Печатают и хуже. Но зачем это делать? — сказал он и сердито посмотрел на меня. Помолчав немного, он продолжал: — И как можно исправить недостатки, когда они на каждой странице? Вы хотели пропустить повесть через себя, но не сумели. Разве такие фразы, как у вас, допустимы? Например...

И пошел перечислять!..

У него было такое лицо, будто я нанес ему кровную обиду. Он все больше и больше повышал голос. Красный от стыда, я смотрел в одну точку.

Часа полтора негодовал он.

Этот «урок», вероятно, продолжался бы долго, если бы Аксюша не известила, что звонит редактор какого-то журнала.

Михаил Михайлович ушел в соседнюю комнату, откуда вскоре послышался его негодующий голос:

— Да, авторский экземпляр получил, но там не мой рассказ, хотя и стоит моя фамилия. Одну фразу вы сняли, другую изменили, и от Пришвина ничего не осталось.

После длительной паузы он гневно воскликнул:

— Да как вы смели без моего ведома? Кто вам дал право?

Возвратился Пришвин разъяренным и долго не мог успокоиться.

— Неужели я в литературе смыслю меньше, чем эта девчонка? — воскликнул он, ни к кому не обращаясь.

Я вернулся к нашему разговору и робко сказал:

— Пока вы разговаривали по телефону, меня мучил вопрос: почему *Л,* который считается видным писателем, нашел мою повесть заслуживающей внимания?

— А? — Михаил Михайлович хмыкнул и снова стал сердитым. — Да он о литературном мастерстве понятия не имеет. И видным писателем он не сам сделался, а его сделали.

Второй телефонный разговор, прервавший нас, длился недолго. Пришвин возвратился довольным.

— Насилу отделался, — сообщил он весело. — А будешь простоволосым — замучают заседаниями. Из Союза писателей звонили. Требуют, чтобы я выступил. Мое дело писать, а не заседать. Совсем забыли, что я старик. Недавно собрался рассказ написать, сел за стол, но тут звонок. На заседание! Просидел целый вечер там, а утром за работу. Мучился, мучился... Из головы весь рассказ как из трубы вылетел. Так и не написал.

Красные пятна с моего лица, по-видимому, еще не сошли. Он их заметил и прежний разговор повел извиняющимся тоном. Он стал утешать:

— Все то, что я сказал, очень близко к сердцу не принимайте. Вы должны понять, что работа писателя самая мучительная, самая неблагодарная. Никогда не бывает уверенности, что получится хорошо. Думаете, я пишу без промаха? О, сколько у меня заброшенных рукописей лежит на полке! Над одним рассказом старался всю зиму, думал, выйдет гениальный, а получился такой сусальный, что вспомнить стыдно. Запрятал его подальше, чтобы его и после смерти не нашли. Вы свою повесть с маху написали?

— Да.

— Это и видно. А литература любит пот. Бабель свои рассказы переписывал до двадцати пяти раз. Жаловался, что почти с ума сошел. И сойдешь! А вообще-то писать легко. Сел, и строчи. У нас некоторые так и пишут. На метры! А что толку? Вот пусть они попробуют написать коротенькие рассказы, да такие, чтобы их вся страна читала, тогда можно и называться писателем. А хорошие рассказы писать не так трудно, у кого, конечно, есть дар. Смотрите, вот это рассказ, — Михаил Михайлович карандашом на бумаге сделал круг, — а это главная мысль. — Он поставил в центре круга точку. — Все в рассказе должно сводиться к этому центру — главной мысли. Вот и все. Я не упоминаю о двух непременных условиях, потому что это само собой разумеется: произведение должно быть совершенно правдивым, а герои живыми.

Михаил Михайлович долго посвящал меня в тайны лите-

ратурного искусства. Строгий судья превратился в друга и учителя.

На такие беседы ушло еще три-четыре вечера. Тогда я как литератор был еще совсем молодым, не все наставления Пришвина оказались доступными моему пониманию, многое проскочило мимо. Мастерство хорошо понимаешь тогда, когда сам давно мастеришь.

Многое из того, чему он меня учил, появилось позднее в его рассказах и дневниковых записях.

Когда я его поблагодарил и сказал, что разговоры о мастерстве мне очень пригодятся, он ответил:

— Больших надежд на мои советы не возлагайте. Ни Толстой, ни Тургенев, ни Лесков литературных уроков не брали.

Я прикусил губу, покраснел, но промолчал.

— Не обижайтесь на старика, — спохватился он. — У меня к вам очень доброе чувство, и не подумайте, что мне хочется вас обидеть.

И начал рассуждать о литературе. Писателей сотни, пишут много, а хороших произведений мало. Сгоряча в них не разбираются, посредственное иногда выдают за хорошее. Настоящим судьей является только время. У писателя с дарованием каждая страница светится. Предугадать писателя можно по первым его вещам.

Я спросил, что говорит ему моя повесть.

Михаил Михайлович замялся. Подумав, он сказал:

— Литературная деятельность имеет свой возраст. Вы находитесь еще в младенческом состоянии.

И, посмотрев мне прямо в глаза, вдруг отрезал:

— Из вас не выйдет писателя.

Через три дня, попрощавшись с Михаилом Михайловичем, я поехал в тундру на побережье Карского моря.

Дорогой вспомнил суровый приговор моего наставника. Конечно, с горы виднее, но... Пролетела неделя, вторая, а я думал все о том же. Наконец мысленно сказал Михаилу Михайловичу: «Не согласен».

У меня с собой было несколько книг Пришвина. Я бросился к ним и стал изучать каждый рассказ.

Прежде всего, мне стало понятно, что все его рассказы о птицах, зверях и вообще о природе, по существу, сводятся к человеческим переживаниям. Природа для Пришвина во многих случаях предлог, чтобы выразить свое мироощущение, показать отношение к людям, высказать свои мысли...

Перечитал я и степную поэму «Черный араб», которую Михаил Михайлович наряду с «Жень-шенем» считал лучшей своей вещью, перечитал и от удивления развел руками: до чего хорошо!

Мне захотелось сделать несколько фраз по Пришвину. Опыт удался. Но у меня хватило силы только на несколько строк. «А Михаил Михайлович пишет таким слогом целые книги», — подумал я. И разговор его такой же самобытный.

Пришвин знал, что словом можно мир зажечь, и упорно искал нужные слова. «Пошепчу, пошепчу, и мысль вылепится так, как мне хочется», — рассказывал он когда-то о своей работе.

Я закрыл книгу и перестал у него учиться. У каждого должен быть свой голос.

В середине зимы я возвратился в Москву, раскрыл свои дневники и, еще не остывший от летних впечатлений, написал несколько рассказов о тундре и отнес их в «Новый мир», о чем ничего не сказал Михаилу Михайловичу. С ним мы попрежнему встречались и по телефону разговаривали довольно часто.

Не стал я говорить Михаилу Михайловичу и о том, что меня напечатали. В памяти еще жили его слова: «Печатать можно все что угодно».

Когда же мои рассказы появились в «Октябре» и других журналах, Пришвин в одном из писем ко мне обронил: «Читаю журналы, и все Шахов да Шахов».

Отечественная война разлучила нас надолго.

С Михаилом Михайловичем мне пришлось увидеться только в конце войны. Он принес мне в подарок свою «Лесную капель».

Книги Пришвина давно не издавались, и выход этих коротеньких записей о природе радовал его. Он с подъемом рассказывал, как хорошо приняли книгу на вечере у поэта Асеева Федин, Новиков-Прибой, Замошкин, Сейфуллина. Внимание гостей было приятно ему. Он вел беседу с большим оживлением. Гости попросили его прочитать что-нибудь из новой книги.

— Хорошо, — согласился он, — но читать будет жена. У нее это выходит лучше.

Валерия Дмитриевна раскрыла книгу. Капель зашумела на весь лес.

Мы поздравили Михаила Михайловича с большой удачей.

Прощаясь, Михаил Михайлович сказал мне, что в ближайшее время состоится конкурс детской книги и он собирается дать на него новую повесть.

— Получу первую премию, — добавил он. Не знаю, что было в моих глазах, но он, посмотрев в них, поспешил объяснить: — Лучше меня никто не напишет.

Года через полтора-два объявили результаты конкурса. Первую премию получил Пришвин за «Кладовую солнца».

Из рассказов о тундре, напечатанных в «Новом мире» и других журналах, я сделал очерковую повесть «По оленьим тропам». Вскоре она вышла из печати. Ее приняли хорошо.

Подарив ее Михаилу Михайловичу, я ждал, что он скажет. Однажды, разговаривая со мной по телефону, он произнес:

— Читаю вашу книгу.

Я затаил дыхание. Он заговорил о другом.

Тут я, вспомнив о забытой повести «За синими птицами» — первой моей пробе пера, подумал: «А ну-ка, проверю» — и стал читать ее новыми глазами. За восемь лет я кое-чему научился. Теперь и сам мог определить — что хорошо и что плохо.

Перелистав рукопись, я прикоснулся ладонями к лицу. Горит! Как я мог позволить себе отнять у крупного писателя время на чтение такой ерунды!

Не так давно повесть «По оленьим тропам» подготавливалась к четвертому изданию. При новом чтении мне встретились фразы настолько корявые, что от них не только Пришвину, но и мне самому стало не по себе.

О моих вещах он не высказывал мнения, отозвался только о рассказе «В пустыне».

— Много поэзии и чувства в нем. И хорошо написан, — сказал он однажды.

В литературных кругах существует мнение, что он никого из советских писателей не хвалил. Это неверно.

Правда, на похвалы Пришвин не был щедр. Требовательный к себе, он не мог быть снисходительным к другим.

Отзываясь неодобрительно о произведениях какого-нибудь литератора в целом, Михаил Михайлович иногда расхваливал его небольшие вещи. Порой он восторгался малоизвестным автором. Однажды он сказал мне, что прочитал талантливую вещь, и долго говорил о ней. Это была повесть «Открытие мира» Василия Смирнова [2].

Рассуждая о литературе, он любил говорить:

— Из всего, что сейчас напечатано, время отсеет очень много.

Отгремела война. Книги Пришвина, чего раньше не бывало, стали выпускать одну за другой. Его печатали и читали.

— Как идут дела? — спрашивал я иногда Михаила Михайловича.

— Замечательно, — ответил он весело. — Печатают и не ругают. Удивительно!

Но иногда и его постигала неудача. Он не попадал в общую линию того времени. Рукопись возвращали. Пришвин говорил на эту тему неохотно.

— Как вы относитесь к критике? — спросил я его однажды. — Очень переживаете, если вас по голове не гладят?

— Нет. Критику считаю полезной и нужной. Конечно, каждый испытывает боль, если ударят сильно. Официальная критика мне ничего не дает. А замечания читателей иногда очень и очень помогают.

В день восьмидесятилетнего юбилея писателя в Дом литераторов, где происходило празднование, пришли его почитатели: охотники, географы, писатели, краеведы, педагоги, издатели, студенты, ученые, школьники... не все могли поместиться в зале и на хорах. С приветствиями выступали без конца. Росла гора папок с адресами, подарков. В их числе было фото одного из Курильских островов, названного его именем. Был и еще один подарок: кто-то сообщил, что и на Кавказском Главном хребте малодоступный пик близ Красной поляны наименован пиком Пришвина [3].

А через год Пришвина не стало.

Раздался телефонный звонок.

— Умер Михаил Михайлович, — сказала Валерия Дмитриевна и тотчас положила трубку.

Я стоял перед портретом Пришвина и сквозь слезы долго смотрел на него.

Мысли были тяжелые, — мысли о смерти. Вероятно, они были бы менее печальными, если бы мне довелось прочитать тогда запись Михаила Михайловича: «Заря сгорает на небе, и ты, конечно, сгораешь в заре, и тысячи голосов на заре соединяются вместе, чтобы прославить жизнь и сгореть. Но один голосок или скорее шепоток не очень согласен гореть

вместе со всеми. Ты, мой друг, не слушай этого злого шепота. Радуйся жизни, благодари за нее и сгорай, как и я, вместе со всей зарей».

А. А. Шахов (1895—1957) — ученый-ботаник, писатель. Знакомство состоялось в 1938 году, когда Шахов, как начинающий литератор, подражая Пришвину, пытался описывать свои путешествия по стране. Отношения продолжались до конца жизни Пришвина.

[1] В 1904 году Пришвин работал в Петровской (ныне Тимирязевской) сельскохозяйственной академии в вегетационной лаборатории под руководством профессора Д. М. Прянишникова. А. Дояренко был его товарищем по работе, впоследствии стал крупным ученым.

[2] 14 февраля 1946 года в дневнике Пришвина мы находим такую запись: «Ночью в первый раз в жизни своей был обрадован доставленной мне рукописью В. Смирнова «Открытие мира». Пишет он так же чисто, как Чехов, а вдохновенье черпает заметно у меня. Благодаря этому Чехов без чеховского пессимизма... Нет, не только: есть и от Л. Толстого немного, вообще чудо как хорошо. Ляля (Валерия Дмитриевна.— *Сост.*), проснувшись,в электрическом свете заметила у меня слезы радости и стала меня распекать. — За что же? — спрашиваю. — Да за нервы. — Я же в восторге! — Ну и будь в восторге, а зачем же распускаешь нервы.

Она очень хорошо поняла вещь, но не смела выразить свой восторг, пока я не прочел. Сегодня справился по телефону: писал учитель из Ярославля, очевидно, такой скромный, что не решился рукопись отправить в большой журнал и отдал ее в детский «Дружные ребята».

[3] О полученных на вечере подарках Пришвин отмечает в дневнике:

«21 февраля 1951 г. Географ Юрий Константинович Ефремов сделал мне три подарка. Оказалось, что на карте с 1937 года имеется пик Пришвина в районе Кавказского заповедника. Этот пик не включен в цепь Главного хребта, но он выше всех близлежащих гор (3000 м). Там же где-то есть озеро Пришвина, и на Курильских островах есть мой мыс.

Итак, мне были подарены пик, озеро и мыс. Увы! На пик я взойти не могу, до мыса не доехать и пустынную жизнь у своего озера не осилить. А как хотелось в молодости своего озера, как страстно манила меня даль самая далекая, и там было бы у меня что-то свое. Но, хорошо подумав, я порадовался достижению такого дружеского, почти родственного отношения к себе аудитории и понял ее как осуществление мечты найти вдалеке что-то свое.

Я сказал им, что очень благодарю, что все боялся — мое движение вперед кончится улицей своего имени, а оно венчается пиком» (Собр. соч. в 6-ти томах, т. 6, с. 369).

Г. Б. Удинцев

СЛЕД ДУШИ

Я долго не решался писать что-либо в форме воспоминаний о Михаиле Михайловиче Пришвине, потому что мои впечатления о нем большей частью не были «прямыми», основанными на непосредственном общении — такое общение если и случалось, то было и коротким и пассивным — я был недостаточно смел и не решался говорить с ним. Впечатления же мои основывались преимущественно на рассказах моего отца, который часто виделся с Пришвиным и много рассказывал об этих встречах. Добавлением к этому были и рассказы Валерии Дмитриевны, бывавшей в нашем доме в первоначальный период ее знакомства с Пришвиным и позднее — уже после его смерти.

И все же я решаюсь немного написать в этой форме, потому что даже след от такого косвенного общения с Пришвиным остался в моей жизни значительным и влияние его было важным.

Впервые услыхал я имя Пришвина — к стыду своему — довольно поздно, в 1936—1937 гг., когда мне было уже 13—14 лет, хотя читать я начал давно. В 7—8 лет читал свободно и уже полюбил не только «Трех мушкетеров», но и Пушкина, и Гоголя, и Жуковского, и «Одиссею» Гомера, «Дневники» Миклухо-Маклая, рассказы и повести Сетона-Томпсона, не говоря уж о полном, не сокращенном «Робинзоне Крузо» Дефо.

В 1936 году мой отец — Борис Дмитриевич Удинцев, вернулся из ссылки, которую отбывал в Тюмени по приговору по делу «вредителей Госплана СССР», он решил избегать работы в сколько-нибудь приметных учреждениях и поступил на работу в почти никому не ведомую Книжную палату. Работа эта была скучноватой, и он стал искать иные выходы своей, тогда еще недостаточно большой, энергии.

Такой выход предложил ему старый его приятель и ученик по аспирантуре Томского университета В. Ф. Попов. Тот был страстным путешественником и каждое лето проводил в дальних походах на севере Сибири, на Алтае, по Уралу. Он-то и

увлек отца мыслью о путешествиях и пригласил его участвовать в работе туристического общества.

Начались наши с отцом путешествия, в которых сочетались его любовь к природе с еще большей любовью к литературе. Самое первое наше путешествие было по местам, когда-то описанным его дядюшкой, Д. Н. Маминым-Сибиряком: мы прошли пешком по многим местам Урала.

В туристическом обществе в результате таких путешествий было принято делать доклады — каждую неделю бывали заседания с отчетами о походах — и публиковать путевые очерки в прекрасном туристическом журнале тех лет «На суше и на море».

Вот тогда-то я и услыхал впервые имя Пришвина — о нем среди туристов говорили как о блестящем очеркисте-природоведе, мечтали позвать его на одно из заседаний. Обратиться к нему с таким приглашением вызвался мой отец. В нашем доме появились книги Пришвина и были мной с упоением прочитаны — «В краю непуганых птиц», «Жень-шень», «Колобок», «Кащеева цепь».

Михаил Михайлович выступил на заседаниях нашего общества с несколькими лекциями. Мне кажется, что после этих лекций и после чтения пришвинских книг я стал получать огромное наслаждение от самого пребывания — в особенности наедине — в природе, возник интерес и к делу, которое было бы связано с изучением природы и с работой в ней.

Начались увлечения — и парусным спортом, и походами на байдарках, лесным делом с чтением учебников по лесоводству и практикой в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, чтением «России» Семенова-Тян-Шанского, попытками писать географические очерки.

Продолжались наши с отцом летние путешествия. Продолжалось и его знакомство с Михаилом Михайловичем. В 1938 году в клубе писателей состоялся вечер памяти Д. Н Мамина-Сибиряка, на котором Михаил Михайлович выступал с докладом о творчестве Мамина. Я был вместе с отцом на этом вечере, и мне запомнился Михаил Михайлович примерно в той позе, что была очень характерна для него: слегка наклонившимся, с поднятым лицом, с сияющими глазами, с неторопливой, вдумчивой речью. В моем воображении Михаил Михайлович совмещался с «кавалером Гланом» Кнута Гамсуна, этим «Паном Скандинавских лесов», и с Фритьофом Нансеном — моим любимым героем и автором не только «Фрама во льдах», но и чудесных рассказов о природе «На вольном воздухе».

В эту пору отец рассказывал, что Пришвин переехал из Загорска в Москву и, отрешившись от забот хозяйственных, очень много работает, пишет. Появилась его книга, необычайно увлекшая меня: «Серая Сова» — о жизни индейца, поставившего своей целью изучение жизни и защиту бобров.

Мне все яснее становилось, что и в моей жизни целью должно быть изучение природы — чего именно, я еще не знал, метался между мечтой о лесоводстве и поиске полезных ископаемых, о дальних плаваниях в океане и зимовках в Арктике (это были годы «Челюскина» и папанинцев).

Не без влияния Михаила Михайловича наши летние путешествия с отцом становились все более «литературными»: мы странствовали по Заонежью, записывая былины у последних сказителей, прошли путем князя Игоря по половецким степям, собирали рассказы о Некрасове в Грешневе и Карабихе.

А тут возникло новое обстоятельство. Михаил Михайлович попросил отца найти ему помощника, который облегчил бы ему его работу над архивом. После некоторого времени поисков подходящего человека отец решил познакомить Пришвина со своей старой приятельницей — Валерией Дмитриевной Лебедевой, человеком блестящего ума, необычайно одаренной, к тому же обладающей филологическим образованием, но после нескольких лет пребывания в сибирской ссылке испытывавшей трудности в получении работы [1].

Отец с Валерией Дмитриевной отправились к Михаилу Михайловичу, кажется, это было в морозную зиму финской войны. Валерия Дмитриевна очень боялась, что произведет на Пришвина неблагоприятное впечатление, не получит столь нужной ей работы. Однако все кончилось счастливо. Михаил Михайлович почувствовал в Валерии Дмитриевне родственную душу и оценил ее знания и талант литератора. Они начали работать, и скоро в печати появились произведения Пришвина в их новой форме: очерки «Фацелия», философские заметки о жизни природы «Лесная капель».

Весной 1940 года Михаил Михайлович соединил свою жизнь с жизнью Валерии Дмитриевны. Моего отца — невольного виновника этого — он звал теперь шутливо «сватушкой».

В 1940 году я закончил школу и выбрал географический факультет университета. Михаил Михайлович одобрял мой выбор, хотя отец предпочел бы, чтобы я выбрал гуманитарное направление.

22 июня 1941 года застало меня на геодезической практике, в районе Давыдкова-Матвеевского. Практика сразу же закончилась. Я кинулся в военкомат проситься в армию. Прошел комиссию, был назначен в авиационное училище и выехал на Урал, где находилось училище. Всю нашу семью вскоре разбросало: старший брат ушел в армию и воевал в пехоте, был четырежды ранен и погиб в 1944 году под Витебском. Отец с матерью были в эвакуации в Оренбурге. Из писем отца я знал, что Михаил Михайлович с Валерией Дмитриевной жили в те годы под Переславлем-Залесским. Я закончил училище в 1943 году и был счастлив ожиданием настоящей боевой работы. Как раз в эти дни я получил подарок от Пришвина — его книжку «Лисичкин хлеб» с надписью: «Глебу-крылатому, смерти не бойся, но не умирай!» Подарок этот был мне очень дорог, а надпись я воспринял как завет. Книга любимого писателя была словно залогом на возвращение после войны к дорогим мне людям, к учебе и путешествиям.

Я вернулся с войны живым и невредимым, вернулся в университет, одновременно стал работать в Институте океанологии АН СССР, и мечты мои о дальних плаваниях начали претворяться в жизнь.

Мы с отцом бывали у Пришвиных, приезжали на дачу в Дунино. Послевоенная жизнь была благоприятна для творчества Михаила Михайловича. Его философские очерки о природе пользовались большим успехом у читающей публики. Он радовался этому, радовался жизни в Дунине. Дунино становилось местом паломничества многих поклонников его творчества. Огорчали его проявлявшиеся порой признаки нездоровья. Ему исполнилось 80 лет. Но он отшучивался: «Может, я-то как-нибудь проскочу?» Увы, не проскочил...

На его могиле чудесный памятник — подарок его старого друга Коненкова: Птица Сирин, поющая людям о красоте и мудрости Мира.

А дом в Дунине живет, к нему не зарастает тропа почитателей пришвинского таланта, кому пришвинская мысль помогает на жизненном пути.

Г. Б. Удинцев (р. 1923 г.) — морской геолог, доктор наук, лауреат Государственных премий. Участник многих международных экспедиций в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах.

Глебу Борисовичу было 15 лет, когда его отец, Б. Д. Удинцев (он приходился племянником писателю Д. Н. Мамину-Сибиряку), познакомился в 1938 году с Пришвиным, знакомство переросло в многолетние дружеские семейные отношения.

[1] *В. Д. Лиорко* (в замужестве Лебедева) родом из Витебска, из семьи военного. Окончила в Москве гимназию. В первые послереволюционные годы стала организатором детского дома «Бодрая жизнь» для беспризорных детей. В начале 20-х годов поступила в Институт Слова, где слушала лекции по философии, филологии и ораторскому искусству, которые читали известные философы Н. Ильин и Н. Бердяев, П. Флоренский, собирательница фольклора Озаровская, С. Шервинский и др., а диплом об окончании института был подписан Валерием Брюсовым. Была замужем за преподавателем вуза, экономистом А. В. Лебедевым. По ложному доносу вместе с мужем была арестована в 1932 году и сослана на три года в Нарымский край. После ссылки работала под Москвой в Дмитрове на строительстве Московского канала. Накануне встречи с Пришвиным преподавала русский язык и литературу в вечерней школе заводской молодежи.

В. Д. Пришвина

ВСТРЕЧА

Мой давний друг Удинцев Борис Дмитриевич сказал, что он был по делам у писателя Пришвина и тот ищет себе сотрудника по изучению и приведению в порядок многолетних его дневников. Он ищет человека, которому можно довериться в наше время. Мой друг рекомендовал меня.

— Пришвин... — стала вспоминать я. И тут у меня перед глазами возник затрепанный томик — вспомнился олень с человеческими глазами; камень-сердце, дрожащий от морского прибоя на берегу океана, как живое человеческое сердце; белое облако на небе, похожее на лебединую грудь... Больше я ничего не знала об этом человеке.

— А какой он? — спросила я.

— Годами почти старик, но очень бодрый, я бы сказал, моложавый человек. Он не похож ни на кого, интересный, но непонятный.

— А где он живет, этот Пришвин?

— В доме писателей, напротив Третьяковской галереи, — ответил мне мой друг. — Я дам вам знать, когда Пришвин позовет вас для переговоров.

Борис Дмитриевич Удинцев, старинный друг, зная трудную мою жизнь, хотел устроить мне работу у Пришвина над его дневниками.

И вот, после долгого молчания, Удинцев срочно вызывает меня на деловое свидание к Пришвину.

16 января 1940 года был самый холодный день самой холодной московской зимы. На улицах стояла густая морозная мгла.

На Каменном мосту при ветре калоши Бориса Дмитриевича замерзли, не сгибались и, отделяясь от ботинок, на каждом шагу зловеще стучали ледяшками о мостовую. У меня ноги начали неметь, но калоши передо мной продолжали мерно стучать, и я не решалась покинуть малодушно своего спутника.

Недавно еще я удивлялась этому новому дому, выросшему напротив Третьяковской галереи, не зная, что это дом писателей и что я туда скоро попаду. Но сейчас ни дом, ни нарядный

лифт, ни стильная «павловская» передняя, ни голубой кабинет со старинной мебелью красного дерева не производили на меня впечатления: я сидела напротив хозяина, еле сдерживая лязг зубов от озноба.

Автор «Жень-шеня» откинул назад седую кудрявую голову, коренастый, на редкость моложавый для своих лет, и, казалось, выражал уверенность и пренебрежение. Рядом сидел Разумник Васильевич [1], измученный человек, но сохранивший, несмотря на все свои жизненные катастрофы, необычайный апломб: иметь при нем свое мнение решался, как я увидала после, один только Михаил Михайлович. Впрочем, он оказался в существе своем добряком, отмеченным двумя основными качествами: всезнанием и принципиальностью. Из-под черной профессорской шапочки на лысой голове был неподвижно направлен на меня огромный сизый нос, а косые близорукие глаза меня холодно изучали: я приглашалась ему в помощь.

— Вот с чем вам придется работать, — сказал Пришвин, выдвигая огромный ящик секретера, набитый тетрадями. — Это документы моей жизни, и вы первая их прочтете.

— Но как же вы можете их доверить незнакомому человеку? — вырвалось у меня. Пришвин смотрел на меня выжидательно. А меня уже захлестнуло, и поздно было остановиться. — Надо же для такого дела стать друзьями, если приниматься за него, — сказала я.

— Будем говорить о деле, а не о дружбе, — безжалостно отрезал он.

После мы пили чай с коньяком, я пила, чтоб согреться, но не согревалась, и озноб не проходил.

Я рассказала неосторожно о своей встрече с поэтом Клюевым.

— Я ничего не понимаю в стихах. Настоящая проза может быть куда поэтичней — например, моя, — вдруг точно с нарезов сорвался Пришвин.

Тут-то мелькнула мне впервые догадка, что все в нем — нарочитая рисовка, что под ней совсем иной человек. Но его уже не было видно: мелькнул и исчез, и потому на душе у меня не становилось легче.

Я пообещала прийти работать через три дня.

— Мучаешься ты, а все этот Борис Дмитриевич, — говорила мне мама, когда я лежала у нее с обмороженными ногами. — К чему было водить тебя по такому морозу.

Во время моей болезни Михаил Михайлович звонил мне, выражая сочувствие, и непременно просил прийти.

Шла я с двойным чувством — отталкивания и надежды.

Михаил Михайлович с сыном собирался на охоту. Это был новый для меня человек: несколько рассеянный, неряшливо одетый, добродушный, весь открытый. Усадил, рассказывал про охоту, напал на любимую тему о «родственном внимании», потом вдруг по-детски застыдился и беспомощно вскинул глаза.

— Вот мы вас летом к своей компании... будем жить в палатке, научим охотиться...

Я осталась одна с машинкой и рукописями. Аксюша принесла мне почтительно на подносе чай, но на этом церемония окончилась: она уселась рядом, и я должна была выслушать ее историю. Она родственница Павловны, жены Пришвина, жила в деревне, в большой нужде, теперь выписана к Михаилу Михайловичу, когда тот задумал жить отдельно от семьи в Москве. И вот она за ним «ходит».

— За ним как за малым ребенком: у него все открыто для людей — и душа, и деньги. «Вася (прозвище дал), пойди возьми сена, где оно там!» Это значит — деньги возьми. Не запирает и не считает. Я, конечно, ни копейки его не возьму. Очень он со мной жизнью доволен.

В тот вечер я многое поняла, и мне стало не по себе...

Кто бы мог подумать, что кроется за красным деревом, ампиром и Паном!

Запись Пришвина в дневнике: *«25 января.* Я ей признался в мечте своей, которой страшусь, прямо спросил: «А если влюблюсь?»

И она мне спокойно ответила: «Все зависит от формы выражения и от того человека, к кому чувство направлено. Человек должен быть умный — тогда ничего страшного не будет».

Ответ замечательно точный и ясный, я очень обрадовался. После того мы говорили друг другу о прошлом, и она мне рассказала историю своей жизни.

Мы с ней пробеседовали без умолку с 4 часов до 11 вечера. Что это такое? Сколько в прежнее время на Руси было прекрасных людей, сколько в стране нашей было счастья, и люди и счастье проходили мимо меня. А когда все стали несчастными, измученными, встречаются двое, не могут наговориться, не могут разойтись. И, наверно, не одни мы такие...»

В тот вечер растаял лед. Голубая теплая комната, а на улице лютый мороз. Широкое небо в окне, и город глубоко внизу. В тот вечер я рассказала ему историю своей жизни.

— Никто нас с вами не видит — ни вас, ни м е н я , — неожиданно заключил он.

Я не решилась подхватить эту мысль и молчала. Он долго ждал, тоже не решился продолжить и неловкость молчания разрушил тем, что перешел на новую, «внешнюю» тему:

— Квартира эта, только чтоб редакторов обмануть: мол, у меня как у всех людей «с положением». Мне самому это чуждо. Но, признаюсь, вещи красивые меня радуют. Я жил всегда бедно, неустроенно, совсем недавно получил возможность украшать свою жизнь. Видите эту венецианскую люстру? Я сначала в нее влюбился, как в молодости влюбился в невесту. Недавно купил в комиссионном магазине тросточку с золотым набалдашником. Возможно, с ней гулял лет сто тому назад какой-нибудь Чаадаев. Поверите ли? На ночь клал с собой в постель, чтоб не расставаться и вспомнить, как только утром проснусь.

В тот вечер в ответ на мои признания он пересказал мне свою жизнь, и мне стали понятны загадки: при роскошных стенах и мебели — дешевая канцелярская пепельница; вся случайность и ненужность этого ампира «как у всех» — вся нищета этого богатого дома.

Не этим ли объясняется то напыщенность, то детская доверчивость? Это дошло до меня во второе наше свидание, когда он рассказывал, как в лесу сидит неподвижно и вызывает к жизни лесные существа: они проходят мимо, принимая его за камень. Рассказал, а после вдруг испуганно и доверчиво поднял на меня глаза: это были глаза ребенка... ребенок, а не хитрец, не юродивый и совсем уж не «Пан»!

Люди, знавшие Пришвина в молодости, говорили и писали, что он похож на цыгана (видимо, из-за его черных волос). Когда я встретила его, ничего цыганского в нем не оставалось. Это было привлекательное, открытое и очень русское лицо.

Спутники и свидетели жизни нашей быстро уходят. Фотографии остаются все такие разные... Вот почему хочу я описать, какой мне запомнилась наружность Михаила Михайловича при первой встрече.

У него был небольшой и правильный нос с тонкими ноздрями. Чистой, четкой формы рот. Рот несколько скрыт подстриженными усами. Небольшая борода. Скульптурный лоб, он переходит в открытый спереди высокий купол головы. Пришвин не знал, как это было выразительно, красиво. Есть у него в дневнике запись о том, как с годами ему «пришлось зачесывать волосы свои наперед, и кто-то открыл их однажды (то была писательница О. Форш. — *В. П.*) и сказал: «Зачем вы

закрываете, у вас такой правильный лоб, превосходная лысина». И вот я мало-помалу примирился с лысиной».

На затылке и висках круто и крупно вились густые волосы, черные с обильной сединой. Волосы были от природы тонки и потому лежали легко и подвижно: они осеняли лицо. Светлый оттенок кожи (чистота ее как у ребенка, и так до последнего дня) в соединении с блеском седины в кудрях, их легкость — все это создавало впечатление полета, свечения. Голова жила и смотрелась как-то независимо от тела, она венчала его.

И вообще надо сказать, что, чем старше становился Михаил Михайлович, тем одухотворенней было его лицо. Так воспринимали не только художники, его писавшие, но и все мы, близкие друзья.

В связи с этим вспоминается собственное наблюдение Пришвина по поводу своей матери. Он как-то записал, что мать его «только к старости стала по-настоящему красивой, привлекавшей к себе людей».

Глаза у Михаила Михайловича были серо-зеленые, менявшиеся в окраске, вероятно, в зависимости от самочувствия. Их особенность — выражение напряженной мысли и ее двойное устремление: и внутрь себя, и к собеседнику. Полная отданность внимания человеку, доверие и открытость и в то же время какая-то твердость в себе, даже неприступность: собеседник не должен был переступать через эту оберегаемую мысленную грань. Трудно передать мне это выражение словами... Видимо, это была победа над старческой естественной расслабленностью — над старением души. Мы это старение не заметили у Михаила Михайловича до его последнего часа. Что — мы! Об этом убедительней всего свидетельствует дневник писателя — сколько в нем силы и света!

Голос Пришвина был мягок, глуховат по тембру — баритональный тенор. В произношении Михаил Михайлович сохранил до старости родное елецкое смягченное «г». Речь его была речью человека не пишущего, а сказывающего, она не была связана никакими синтаксическими и грамматическими условностями и правилами. Она всецело подчинялась одному — музыкальному ритму. Поэтому в устных выступлениях Пришвин делал повторы, паузы, позволял себе иногда какие-то неопределенные междометия, вроде оханья или легкого помыкивания, перемежал рассказ обращением к слушателям или выражением личного отношения к сказываемому — прямым обращением к себе.

Это было море мыслей и чувств, игра интонаций, оттенков,

в котором рассказчик плыл вполне свободно, ни на кого и ни на что не оглядываясь.

В этой абсолютной свободе от книжных условностей и одновременно в строжайшей подчиненности музыкальному началу, и еще в ощущении родства с каждым слушающим его человеком (родства если не осуществленного, то заданного), — в этом всем был, видимо, секрет обаяния пришвинского живого слова, как интимных бесед, так равно и выступлений с общественной трибуны.

ВОЙНА

Весной 1941 года, месяца за два до начала войны, Пришвин купил в Старой Рузе под Москвой деревенский дом. Там нас и застала весть о внезапном начале войны.

«1 июля. В сельсовете предлагают купить наш дом, но я это отверг, хотя завтра, может быть, дом этот брошу... Терпеливо, честно ориентируюсь на победу, доверяя жажде жить нашего народа...»

Мало было надежды, что судьба нам остаться во вновь приобретенном доме, но тем не менее мы упрямо складывали в нем печь, а Михаил Михайлович в те же дни писал там рассказ «Моему другу на фронт», названный им вскоре поиному — «Голубая стрекоза».

Двадцать второго июля Фадеев принял Пришвина, предложил эвакуироваться в Нальчик. Пришвин отказался и избрал себе иной путь: он решил уехать в места своих давних охот, в Ярославскую область, к знакомому лесному народу...

В конце июля, измученные бессонными ночами в бомбоубежище, мы решили покинуть Москву.

Перед глазами неотступно стояло только что виденное: на месте взорвавшейся фугасной бомбы — разрушенный дом, окруженный наспех воздвигнутым фанерным забором, где стоял обезумевший от горя человек — неизвестный, жалкий, и стучал в него бессильно кулаками. Там откапывали заживо погребенных людей.

Выехав ранним утром, к вечеру мы были в большом селе Заозерье, расположенном вдалеке от магистральных дорог. Но мы тотчас же поняли себя безнадежно отрезанными от движения жизни, чувствовать которое Пришвин считал своей величайшей обязанностью.

Вот почему мы быстро снялись с места и отправились ближе

к магистральной дороге Москва — Ярославль. Мы поселились в деревне Усолье, расположенной в двадцати километрах от этой дороги и соединенной с нею ухабистым, вязким проселком. Здесь Михаил Михайлович не раз уже живал — и в 20-х, и в 30-х годах. Здесь он охотился, здесь боролся с помощью газетных корреспонденций за охрану уничтожаемого торфоразработками леса. «Я приехал в Усолье, где написанное мною в газетах в защиту леса люди еще помнят», — отмечает он [2].

Вся эта разнообразная, дикая природа и было то Берендеево царство Пришвина, которое он «создал среди болот и простого народа», описанное им в первой его после революции книге «Родники Берендея».

Мы устроились на окраине села в небольшом бревенчатом доме, сняв половину с двумя комнатами. Их объединяла старинная голландская печь, в которой я готовила еду и даже ухитрялась печь хлеб. За домом сразу же начинался огромный хвойный лес с болотами и сосновыми сухими гривами, лес грибной, ягодный, богатый зверем и птицей. С другой стороны протекала неподалеку неширокая тенистая рыбная речка Векса. За лесом разросся рабочий поселок торфопредприятия, описанный некогда Пришвиным, контора и бараки рабочих и служащих. Там шли разработки громадных торфяных залежей. Торфопредприятие так и называлось в просторечии — «Болото», разумея под этим словом и все его население, в основном «сезонное», часто сменяющееся, не получившее еще оседлости, легко нашедшее себе здесь временный заработок и кров. «Болото» в какой-то мере было повинно в порче и истреблении природы.

И тем не менее усольские места были и оставались для Пришвина Берендеевым царством. «Берендеево царство, — пишет он, — это реальный мир человека, весь мир, вся вселенная, как мы с тобой. Это мир людей равных, в котором нет насилия личностей, это мир, который носит в себе в своей сокровенности каждый мобилизованный воин, несмотря на то что он убивает другого. Это мир бедного Евгения, который бросил Медному Всаднику сокровенное «мы»... Это мир поэзии, ожидающей себе защиты и оправдания временем».

Эту запись сделал Михаил Михайлович 26 августа 1941 года в Усолье, в разгар обстрела Москвы. Мы стояли с ним на верху пожарной вышки, подымавшейся у самого нашего дома, и вглядывались в уходившие к горизонту сплошные леса. Днем в стороне Москвы небо было обманчиво мирное, а ночью с вышки видно было зарево пожаров...

Для создания и охраны Берендеева царства стоило жить,

стоило, если придется, за него и умереть. «Наступает страшное время, — пишет в те дни Пришвин, — надо собираться на борьбу самую грубую — за жизнь и самую тонкую — за смысл ее».

В московской необитаемой квартире оставался литературный архив — единственная настоящая ценность, которой обладал Пришвин и чем он дорожил. Его надо было спасти. Еще оставались немногочисленные дорогие наши друзья... Единственная связь с Москвой — это была наша порядком потрепанная легковая машина «эмка». И в каждый момент у нас могли ее взять для военных целей.

...Выехали из Усолья ранним утром (это было 16 октября 1941 г. — *Сост.*). Под рыхлым снегом гололедица делала дорогу крайне опасной.

Чем ближе к Москве, тем необычнее выглядело шоссе. На обочинах лежало так много аварийных машин, что под конец мы уже не обращали на них внимания. За селом Новым, на полпути по Ярославскому шоссе, есть крутой спуск и снова крутой подъем. Это опасное место было буквально усеяно упавшими набок и перевернувшимися машинами, вокруг которых толкались люди.

Мы не успели вовремя сообразить обстановки и остановиться. Наша машина сорвалась, запетляла, стукнулась о телеграфный столб, он затормозил в какой-то мере стремительность ее падения; машина не перевернулась, а криво объехала столб и стала, наконец, под его прикрытием. С той же точки, с которой сорвались мы, теперь мчались на нас новые и новые машины, но они спотыкались друг о друга и останавливались, не давая нас раздавить. Тем временем мы выскочили из своей машины и перемахнули через канаву. Михаил Михайлович также вышел, но не торопился и стоял еще на шоссе, когда очередная машина сорвалась и внезапно настигла его. Он отпрыгнул, но оскользнулся, упал, и огромное двойное колесо очутилось над его головой.

Михаил Михайлович погибал на наших глазах, все это видели и не могли помочь.

«Матерь божья!..» — раздался женский голос, и вслед за ним удар одной машины о другую и крик шофера из кабины: «Мать твою!» И из-под двух столкнувшихся машин жив и невредим поднялся Михаил Михайлович, только без шляпы.

Мы сели в машину и двинулись дальше в путь.

На подъездах к Москве стали попадаться нам, а потом уже

тянуться сплошными цепочками пешие люди — с санками, с узлами на спине и в руках. На санках везли детей, стариков, вещи. Люди шли суровые, молчаливые, усталые. У заставы нас встретил, по записи Пришвина, «вежливый милиционер», который нам ответил: «Пока в Москве ничего, а за дальнейшее — не ручаемся».

Мы бросились сразу разыскивать своих друзей: друга Михаила Михайловича со школьных лет А. М. Коноплянцева, нашу бывшую домработницу М. В. Рыбину, моего отчима — врача А. Н. Раттая. Мы знали: все эти люди твердо решили оставаться и никуда не бежать.

«Доктор Раттай отказался ехать с нами и остается, — записывает Пришвин. — И весь медицинский состав Москвы отказался эвакуироваться... Честный, здравый и целесообразный поступок. Помощь нужна и в осажденной Москве. Это вышло докторам по самой сущности их честного дела».

«У нас в доме не было топлива, — продолжает Пришвин, — а теперь оказались все радиаторы горячие и в ванне горячая вода. Топливо же явилось от архивов... Дворники на тележках везут домовые книги, смеются: единственный ценный продукт жизни — слово — уничтожается... А я с великим риском для жизни выхватываю свое «слово»... Пусть не Слово, пусть словечко... Спасение слова и будет темой описания путешествия в Москву».

В Усолье оставалась моя мать. Мы сделали попытку выехать на следующий день из Москвы.

У выезда на Ярославское шоссе стояла военная застава: частные машины не пропускались. Нам сурово велели выгружаться и сдавать машину. Положение казалось безнадежным. Михаил Михайлович по приказу начальника протянул ему свой паспорт.

— Писатель Пришвин! — воскликнул офицер. — Я ваш читатель. — Он отдал честь и велел пропустить нас.

После пережитого напряжения и такого неожиданного счастливого выхода мною овладело оцепенение... Ничего не осталось в моей зрительной памяти от этого возвратного пути — только один образ, казалось бы, такой ничтожный: брошенная в овраге, выбившаяся из сил и отставшая от эвакуируемого стада корова, запомнились ее глаза, смотревшие на проезжающих людей, — их выражение. Я была поражена, когда при переписке дневника Пришвина встретила у него среди скудного описания того Дня строку: «Усталая корова в овраге — одни глаза живые».

Эти позднеосенние дни 1941 года переживались нами как рубеж, за которым стояло неизвестное будущее либо не стояло вовсе ничего. Но вот диво! Несмотря на все, мы были бодры, деятельны, верили в какой-то добрый исход великой народной беды.

Пришвин записывает: «Никто не скажет теперь про себя наверно, перейдет ли он живым через Порог.

...Теперь даже один наступающий день нужно считать за все время. Никто и никак теперь не может сказать — будет ли за этой жизнью в Усолье какая-нибудь другая, благополучная, но все равно эти дни суда всего нашего народа, всей нашей культуры, нашего Пушкина, нашего Достоевского, Толстого, Гоголя, Петра I и всех нас будут значительнее всех дней».

Казалось бы, не до писательской работы было Пришвину сейчас.

И вдруг неожиданная, полная света и силы запись: «Утром, в полумраке, я увидал на столе в порядке уложенные любимые книги, и стало мне хорошо на душе. Я подумал: сколько чугуна пошло на Днепрострой, на Донбасс, и все взорвано, страна пуста, как во время татар или в Слове о полку Игореве. И вот оно, Слово, и я знаю — по Слову все встанет, заживет. Я так давно был занят словом и так недавно понял это вполне ясно: не чугуном, а словом все делается».

Михаил Михайлович стремится во всем разделять наши общие труды по хозяйству, не делая себе скидки на возраст. А забот, требовавших физических сил, было много.

«Так болит спина, что дров не мог наколоть. Пришлось смириться до уважения числа моих лет и поручить колоть дрова мальчику. Вместо колки дров, огорченный, сажусь за стол, пишу и чувствую, что много крепче мое слово теперь, чем раньше, слово мое относится к числу лет в обратной пропорции: слово мое становится все крепче в этой борьбе за жизнь всего человека».

Вот доносится к нам с улицы плач и причитания женщин: это идут проводы новобранцев на войну. На всю деревню голосила сиплым нечеловеческим голосом бабушка Аграфена: «Ой — и жизнь моя, Ванюшка! Ванюшку убили! Ой — и жизнь моя, Николаюшка! Николаюшку убили! Ой, катитеся слезы по лицу моему». Идет с причитаниями медленно через все село.

Вижу, сердце срывается у Михаила Михайловича, стыдится своего бездействия. «Тянет на войну!» — записывает он в марте 1942 года. Но понимает, что ему семидесятый год, что

это ложный стыд: «И самое происхождение этого чувства стыда несложное: это оттого, что сама гордость хочет на себя взять больше, чем может».

Подвиг его должен быть в другом — в труде над словом, самоотверженном труде для всех, кто будет творить новую жизнь после войны. Он всячески побуждает себя на этот труд: «Совершается на наших глазах злодейство... Тот злодей, кто молчал и берег свою жизнь, и, может быть, больше всех злодей ты сам, не отдавший жизнь за необходимое огненное слово». Величайший долг, по Пришвину, — быть современным. Это значит «быть с тем, кто участвует в создании нового времени, кто на это душу свою положил».

Работать ему сейчас, как никогда, трудно: одна семилинейная лампа с надтреснутым стеклом, старательно нами заклеенным пленкой сточенного бритвой асбеста. Надвигается зима. Теснота жилища. Постоянно рядом больная, напуганная старушка — моя мать. И главное — «полная неизвестность, невозможность разобраться в событиях и осмыслить их».

...А осень стояла в тот год на редкость солнечная, теплая, в странном противоречии с чудовищной бедою войны. И через год — такая же...

Пришвин не дает себе ни одной минуты отдыха или уступки. Вот наступают наконец долгожданные морозы. Валят и валят густые снега. К весне заносы были так высоки, что, когда я расчищала проезд для вывода нашей машины из-под окон на дорогу, снег был в этой траншее выше моей головы.

Ранним утром в темноте я слышу неизменно осторожные движения по комнате. Оделся, вышел на мороз протаптывать свою тропу через лес. Лес был у нас поделен с ним, и мы поддерживали каждый свой проход в его глубину. Только весной, когда началось таяние, лес стал на короткое время для нас непроходимым.

Тропа Михаила Михайловича шла к Блудову болоту. Через пять лет эта тропа со всеми ее подробностями войдет в действие повести «Кладовая солнца».

Михаил Михайлович возвращается, запушенный снегом. Быстро пьет чай и сразу садится за работу. Я ухожу во вторую, проходную комнату, где спит моя мать, принимаюсь за хозяйство. Днем начнутся другие наши общие с Михаилом Михайловичем дела: куда-то надо идти, что-то узнать, о чем-то договариваться. Во второй половине зимы, как только прибавилось на воле света, к этим нашим внешним делам присоединилась

еще фотография. Но как бы ни был перегружен день, Михаил Михайлович неизменно вечером в любую погоду снова выходит один на свою лесную тропу.

«Ночи стоят лунные, в тишине, при страшных морозах, в засыпанном снегом лесу. И когда я из тепла и в теплой одежде выхожу в засыпанный снегом лес, слышу, как даже деревья громко трескаются от мороза, как на тропу мою со всех сторон от тяжести опускают свои перегруженные ветви любимые мои сосны, и я, так мало сумевший дать людям из своих внутренних богатств, теперь смотрю на все эти богатства неподвижных при луне белых фигур и понимаю их всех, как мои же мечты за всю жизнь бесчисленные, те, которые я не сумел донести до людей».

В дровяном сарае при укладке дров мы нашли выброшенную хозяевами Библию, которую, кстати, до того ни я, ни Михаил Михайлович ни разу в жизни подряд не прочли. Сама жизнь подарила нам тогда вынужденный досуг — длинные зимние вечера, чтобы прочесть книгу, пугавшую раньше в спехе жизни своим объемом. Это необходимо здесь сообщить читателю, чтоб сделать понятными частые, непроизвольные с тех пор обращения Пришвина-художника к библейским образам и темам в последующих записях дневников и произведениях (например, в «Повести нашего времени», начатой в Усолье).

Осенью 1941 года в тревожной обстановке войны и в трудных условиях повседневной жизни Михаил Михайлович впервые почувствовал тяжесть своих лет — почувствовал стоящий перед каждым роковой порог жизни. В те дни он делает в дневнике запись — завещание другу додумать его мысль о нравственном значении совершающегося вокруг и донести эту мысль новым людям:

«Слушай, друг, я тебе уже говорил, что будто я сейчас по океану на льдине плыву и, больше того, днем и ночью, пока не сомкну глаз, я теперь слышу шорох этой льдины своей, ежеминутно теряющей твердые частицы в теплеющей воде Океана. Скоро, вот-вот, придет моя последняя весна и льдина моя сольется со всей водой, огромной водой, стихией, подчиненной совсем иным законам, чем наша мораль человеческая. Меня охватывает безумное желание создать тот Конец своим книгам, который встанет перед тобой, тоже плывущей на льдине, как Остров...»

Так жили мы, и вот уже зима стояла на переломе, и подходила новая весна. На фронте также произошел за это время

явный перелом, и прошла острая наша тревога за судьбу Родины. Что-то существенно новое произошло за пережитые месяцы и в душе писателя: там, в природе, где он, казалось, был полновластным хозяином своей радости, в этой родной природе ему чудился теперь какой-то недочет, который раньше он старался порой обходить сознанием. Он слышит теперь неизменно голос всеобщего страдания — всей твари на земле.

«Коровий рев. Каждое утро просыпаюсь, когда гонят мимо открытых окон коров и они мычат и ревут. Прежде меня просто раздражал этот коровий рев, сопровождавшийся хлопаньем кнута и окриками пастухов. Теперь при этом тупом, бессмысленно-безнадежном реве отдельных коров я содрогаюсь, мне слышится в этом реве, в глубине его, где-то заключенный человек, не имеющий возможности дать знать о себе своим голосом. А когда после этого встаю и выхожу на росу, то и все величие солнца не удовлетворяет меня, и в лучах его, и в цветах, и в траве, и в росе, и уже в том, что солнце круглое, мне чудится какой-то недочет, чего-то не хватает во всем этом, что-то пропущено или где-то заключено и скрыто, как в этом реве коровьем, слышном теперь издали, продолжает чудиться заключенный в темницу родной человек.

Хорошо, что я, хоть и поздно, а все-таки это чувствую».

Пройдет год с начала войны, год углубленных размышлений, «протаптывания» каждое утро и каждый вечер своей тропы в глубину Блудова болота, и вот Пришвин записывает уже ясный вывод на страницах дневника: «С таким же чувством благоговения, как тогда в природу, я теперь направляюсь к человеку и <...> возьму его в себя, и к этому ничтожному серпику жизни приставлю дополнительный круг всего человека. Так я начну свой новый круг жизни».

В молчаливом лесу и в молчаливом доме, занесенном в ту зиму небывалыми снегами, шла эта беседа писателя с самим собой на страницах дневника, шли наши с ним нескончаемые беседы.

Зимний вечер. Михаил Михайлович сидит в слабо освещенном углу за столом и пишет либо читает. Остальные углы большой квадратной комнаты тонут в темноте. Я стою в противоположном углу, прислонившись спиной к еще не остывшим от утренней топки кафелям, и молча наблюдаю. Я вижу его затылок в густых кудрях, вьющихся крупными кольцами, черных, с обильной проседью. Лицо его обращено ко мне в профиль, лицо мыслителя. Оно задумчиво и строго, при малейшем

отвлечении на человека оно освещается открытостью и добротой. Он сильно похудел и выглядит от этого много моложе своих лет.

Ради дневного освещения стол его расположен у окна. Окна нашего домика заклеены бумажными полосками в елочку, чтобы не выскочили от воздушной волны на случай близкого разрыва бомбы. Но одно из окон разбито по какой-то мирной причине и заткнуто подушкой — нового стекла вставить сейчас невозможно. От окна дует, и потому Михаил Михайлович в валенках, а на плечи накинута куртка-ватник. Иногда доносится издали глухая канонада. Если поднять светомаскировочную штору, сразу откроются за окном склонившиеся от снега широкие сосновые лапы и за ними вырастет сплошная стена леса. Если погасить огонь, откроется немосковское спокойное небо с зимними, ярко горящими по черному пологу звездами.

Зимой 1941/42 года взялись мы с Пришвиным за переписку дневников с момента нашей встречи, то есть с начала 1940 года. До того все дневники у Пришвина хранились в рукописях. Михаил Михайлович часто мне диктовал, либо сам садился за машинку. Я делала по ходу рассказа свои вставки в виде примечаний, то соглашаясь, то возражая, то дополняя текст Пришвина. Михаил Михайлович эти вставки прочитывал, иногда от себя дополнял. Так началась книга «Мы с тобой». Писалась она исключительно для себя. Это описание было в каком-то смысле «вариантом» нашей собственной реальной жизни. Во всяком случае, это было нечто большее, чем искусство.

Работать регулярно я не могла (или не умела) — меня отвлекало хозяйство, и болезнь матери, и разнообразные хлопоты, которых сейчас и не перечесть. Михаил Михайлович не снисходил к этим помехам, требовал от меня тех же качеств в литературной работе, какими обладал сам, полный жесткой отданности своему делу, и потому часто огорчался моими отвлечениями.

«Вчера Ляля взялась было за дневник наш, и в меня начала вливаться и трогать мою душу волна желанного мира».

И все-таки к весне Пришвин оторвется от этой нашей общей работы над автобиографией, от этого взгляда, обращенного назад, и выйдет в жизнь текущую — к людям.

Сближению с людьми послужила фотография. Каждой женщине — матери или невесте — надо было послать на фронт свой портрет или портрет ребенка. Каждому новобранцу, уходящему в бой, надо было оставить свою карточку в доме.

«Чем же плох этот мой труд — снимать карточки детей для

посылки их отцам на фронт? И так все, всякий труд, если подходить к нему с благоговением. Так я смотрел на себя фотографа со стороны, и мне нравился этот простой старый человек, к которому все подходят запросто и, положив ему руки на плечи, говорят ему «ты». Тогда мне думалось, я даже видел это, что именно благоговейный труд порождает мир на земле».

«Фотография стала моим ремеслом. И я должен снимать так, чтобы мои снимки оставались знаком внимания моего к жизни».

Той первой военной зимой Пришвин близко подошел к выражению основного смысла своего мироощущения; не раз пытался он раскрыть его в своих произведениях, но по разным причинам наиболее прямо и ярко сказал только в дневниках.

Это была тема оправдания природы и ее жизни, по его словам, «несмотря ни на что», то есть несмотря на царящий в ней трагический закон взаимоистребления и смерти. Оправдание, возможное лишь благодаря уверенности в том, что эволюция — и естественная и человеческая — ведет все живое к совершенству, к бессмертию.

Писатель принял страдания небывалой по жестокости войны в свою душу, пережил их, выдержал и не сломился в своей убежденности. Всю картину падения и возрождения мира он наблюдал как бы в отражениях через образы природы в ту суровую зиму 1941/42 гг.

«Весна света делает с тобой что-то, чего трудно понять: то представляется, будто давящий сверху на темя потолок поднялся и дымком разошелся в небесах. А то будто руки такие и дыхание такое стало, что взмахнешь руками и охватишь весь свет. Но главное — как будто утверждаешься в радости, и так отчетливо и так ощутимо было это сегодня, что я даже про молоко подумал: не оттого ли было это, что с нынешнего дня мне получать две крынки молока? Но нет, оказалось, я утверждался радостью оттого, что глядел на голубеющий снег возле сарая: в свете были мои утверждения!»

«Если бы только мог современный человек подойти к текущей воде с тем священным трепетом, с каким далекие от нас люди пустыни подходили в палящий зной к оазису и припадали страстными губами своими к холодной воде. Сколько наслаждения! Сколько благодарности! Сколько раздумья и поэзии!

А теперь не пустыню ли мы переходим, не изныл ли дух в тоске по живой воде? Я жду со всей страстью этого чуда, когда каждая шестигранная снежинка всего огромного скопленного

зимой зла превратится в радужную круглую каплю воды».

Новая природа, преображенная творческим духом человека, — вот тема Пришвина.

Весной 1942 года определилась победа России.

«Утром из желтой зари встало солнце, частые тени сосен пробежали по окну. И скоро между тенями на солнечном луче блеснул изумрудный свет — это был свет от первой капли тающих кристаллов... Это была первая роса на первой травинке страшного года...»

Пережитое и передуманное за усольские годы уединения сгущается — уже на новой ступени, на новой высоте — в радость. Радость художника впитала безмысленную природу и приникла к самому человеку. Ничто не может теперь ее разрушить — ни осень, ни зима, ни в природе, ни в судьбе человеческой.

Таково было найденное художником согласие в собственной душе, но ему противостоял весь мир, исполненный страдания и зла. Пришвин понимает, что найденный им прекрасный мир найден через себя, но для всех. Он найден через его не видимый никому подвиг жизни — через свое «искусство как поведение». И он страдает от неосуществленной потребности отдать этим плод своих усилий. Именно этой «итоговой» усольской зимой он записывает: «Забылся от горя и шел по дороге, опустив глаза. Но в лужице увидел лес, и на голубом деревья высились так прекрасно. Да откуда же такое прекрасное небо взялось? Посмотрел — и увидел небо.

Так и мое искусство, друзья, небольшие лужицы, в которые из-за нашей спины смотрится невидимый нам Весь человек с прекрасным небом... и я пишу вам, только чтобы вы обратили внимание».

В конце войны мы нашли у Пришвина запись, сделанную как будто и по частному случаю, но в существе своем — все на ту же рассматриваемую нами тему: прекрасный мир найден им через себя, но для всех. Она сделана по поводу впервые прочитанной им книги Хемингуэя: «Хемингуэй — это фронтовая душа, то есть такое состояние души, когда прирожденная человеку идея небесной гармонии втоптана в грязь, от нее ничего не остается, а между тем, к удивлению самого себя, ум работает гораздо яснее, даже чем в гармонии с сердцем.

Это у него умные записи последнего сердечного стона. Нужно ли это? Наверно, нужно на время. Но я думаю, если это только по силам, сохранить чувство гармонии и преподать его

даже в последнем стоне своем как возможность, как поддержку».

От этих записей следует прямой переход к работе для всех — работе над «Рассказами о ленинградских детях»:

«Довольно идей — все сказано и нечего повторяться. Давайте жить и в самой жизни узнавать сказанное и соединять собранное в общем строительстве».

Этой короткой и деловой записью Пришвина можно подвести итог его нравственным поискам и находкам тех лет.

А пока идет внешняя жизнь и ее события... Всю снежную зиму мы были отрезаны от большого мира, так как проезда по нашей единственной, занесенной снегом дороге до Переславля не было. Ходили мы в город пешком 20 километров либо ездили на «кукушке» торфопредприятия. И вот неожиданно проехал кустарный снегоочиститель, так называемый «клин», прорыв траншею между двумя стенами снега, и мы тут же собрались в Москву, рассчитывая вернуться до половодья.

Записи поездки у Пришвина: «На Лаврушинском вокруг нашего дома все разрушено. Флигель, в который тогда еще при нас бомба попала, когда-то так трогательно чинился под ежедневно падающими бомбами, теперь стоит недостроенный: видно, бились-бились за жизнь и бросили. Так и человека иногда бросают... Снег толстыми слоями лежит на крышах. Но коты от голода страшного — холода этой зимы — куда-то исчезли. А раньше, бывало, они на крыше жили весной света. Вот и говорят в благополучии: живуч как кошка. Теперь, наверно, у кошек в неблагополучии говорят: живуч как человек.

В квартиру свою мы вошли как в склеп. Потолок лежит на полу. В комнатах гуляет ветер, и заносится с улицы снег. Ушли ночевать в чужую брошенную квартиру в нашем же доме».

«Слух: в Ленинграде умирает по двенадцать тысяч в день и лежат штабеля трупов. Сейчас трупы начинают вытаивать. Скоро по рекам поплывут фрицы и гансы...»

«Рассказ художницы (Жени Р.) о весне в голодной Москве. Какая-то огромная мрачная очередь, полная молчанья замученных заботами и голодом людей. Вдруг крикнула по-весеннему ворона. И кто-то воскликнул в очереди: «Батюшки, ворона проснулась!» Все засмеялись, все оглянулись в направлении вороньего крика и заговорили о весне, понимая, что пусть у людей нет ничего, а в природе весна, та самая весна, которую когда-то любили, когда-то ждали...»

«Был в «Литературной газете». Перцов [3] предложил напи-

сать «от души». Я ответил, что с самого начала пробовал: «Голубая стрекоза», но Фадеев отверг, как «не остро политическое». Зовут сказать по радио на Всеславянском митинге [4]. Идти боюсь, но сказать мог бы приблизительно следующее: «С малолетства и до старости во мне, как кровно русском человеке из города Ельца, живет странное чувство, которое не встречал ни у одного народа. При встрече с представителями другой народности, будь это англичанин, или француз, или китаец, — познакомившись с каждым из них, я узнаю в них нечто лучшее, чего не знаю в своем народе... Я искренне по-детски радуюсь, что где-то на стороне у других так же много всего хорошего... И нужно было видеть теперь, в эту войну, какой отравой вливается гитлеризм (чувство превосходства германцев перед всеми народами мира) в это благоговейное чисто детское состояние души русского человека...»

Так начинает пульсировать и развиваться у Михаила Михайловича будущий рассказ его «Город света» [5].

В конце зимы 1943 года, 5 февраля, Михаилу Михайловичу исполнилось семьдесят лет. Рано утром, как только рассвело, к нам пришел неизвестный мальчик с запиской от тоже неизвестного нам монтера с соседнего торфопредприятия. Монтер узнал случайно на почте, что там лежит еще не доставленная нам телеграмма, из которой явствует, что Михаил Михайлович награжден орденом Трудового Красного Знамени. Монтеру не терпелось нам об этом сообщить.

Юбилейный вечер в Союзе писателей был назначен на начало мая. В конце апреля, как только дорога стала проезжей, мы отправились в Москву.

Мы жили в гостинице «Москва» — квартиру на Лаврушинском еще не отремонтировали. У нас запросто бывали теперь новые, милые нам люди. Мы знакомились, шли откровенные беседы, стало интересно... Федин, Сейфуллина, Асеев, Всеволод Иванов, Перцов, Замошкин, И. Ф. Попов — разные люди приходили в наш номер гостиницы и засиживались допоздна...

Мы повидали наших личных друзей. Боже мой, до чего же они были истощены! Но всех радовала весна, и никто из них не унывал.

Вечер состоялся после того, как в Кремле из рук М. И. Калинина Пришвин получил орден. Много было в последующие годы разных пришвинских вечеров, и всегда на них рождалось ощущение искренности и близости собравшихся. Но только об одном у меня осталось особенное воспоминание.

Все происходило в небольшом зале здания Союза. Зал был до отказа набит людьми. Много было военных, большинство

пришло по слуху, если не считать жалкого листка с объявлением, висевшего на лестнице Союза.

В рядах публики помню в военном А. Т. Твардовского, С. В. Михалкова, от ЦК партии А. М. Еголина, помню наркома и школьного товарища Пришвина Н. А. Семашко, С. Я. Маршака. Не найдя свободных мест, сидели на подоконнике по-молодому, как гимназисты на галерке, А. А. Фадеев и К. А. Федин. Председательствовал старик Тренев, до того никогда не встречавшийся с Пришвиным.

По окончании вечера Асеев (я его видела впервые) подошел к нам и обрадованно сказал: «Где же вы были? Почему я вас до сих пор не знал?»

Через несколько дней Асеев пришел к нам в номер, принес в подарок свою книгу «Маяковский начинается». На ней в качестве дарственной надписи были стихи, посвященные Пришвину. Они, по словам Асеева, были написаны им тотчас по возвращении с вечера. В них есть такие строки:

...Он, в глину дыхание вдунувший,
Ноги не преткнувший о камень,
Идет непогнувшимся юношей
Меж травами и облаками...

Мы задержались в Москве. И Михаил Михайлович временами ужасался, что пропускает весну «напрасно». Шла вторая половина мая, все цвело, когда мы наконец выехали домой.

«Ляля меня утешала, когда в Москве пропускали весну. Я жаловался ей: «Подумай только, ведь это в жизни моей сознательной первая весна проходит напрасно». Она меня так утешала:

— Не напрасно! Вспомни, как люди радовались весне на нашем вечере: ведь это мы им отдали нашу весну. А помнишь, как Ойстрах на скрипке играл, все вокруг себя забывая, и ты же сказал: «Мне кажется, что все наше прекрасное там, в природе, через таких людей сюда собирается, в город, страдающим людям на утешение».

— Это верно, — ответил я, — но отдать всю нашу весну для одного вечера — ведь это опустошение!

— И это неправда: так отдавать, как мы, это значит и получать. Почему непременно надо сидеть у природы недели и месяцы? Бывает одно мгновение, взгляд — и разом все получишь.

Так и случилось. Мы уехали, когда в лесах еще белел последний снег, а когда вернулись, вечером после грозы в лесу на Ботике пел соловей. Мы остановились, вслушались в песню,

и вдруг все, что было пропущено от снега до соловья, к нам вернулось.

Я сказал:

— Такого соловья я никогда не слыхал.

И она:

— Такого я никогда не забуду. Это — навсегда».

Осенью 1943 года мы простились с Усольем и переехали в свою московскую квартиру, в которой наконец удалось вставить стекла и заделать обвалившиеся потолки.

«В валенках, в ватнике вполне терпимо... Хорошо, что душа не болит о моих женщинах, они теперь на месте, устроены. Архив разобран — тетрадка к тетрадке — в стеклянном шкафу».

Через несколько дней Михаил Михайлович узнал, что без всякого его ведома в издательстве «Советский писатель» вышла «Лесная капель» вместе с поэмой «Фацелия». Ему объяснили, что во время войны понадобилась тема родной природы. Стали думать и вспомнили о Пришвине, нашли отвергнутую рукопись и напечатали [6].

Так любимые мысли Пришвина — его «Лесная капель» — получили наконец свое признание и дошли до читателя. Это была победа, но переживалась она мимолетно, бледно: мы ждали тогда большой победы — ждали конца мировой войны и томились неизвестностью.

Ведь шел еще только 1943 год.

Мы вернулись из Усолья в Москву и с головой погрузились в общий поток жизни.

Дневник Пришвина насыщен столь разнообразными темами по сравнению с дневником усольского уединения, столь чутко отражает все веяния жизни, он столь «общественен», что мне было бы трудно в дальнейшем вести тематический отбор записей. Дневник интересен до последней авторской мимолетной недописки, и чем «мимолетней», тем он правдивей и тем глубже задевает читателя за живое. Недаром сам Михаил Михайлович сделал такую лаконичную запись: «Какое это большое дело работать теперь над своими дневниками».

Иными словами, это было выполнение писательского долга перед современниками и перед поколениями, идущими нам на смену. И это было труднейшее дело, хотя бы по той ответственности, которую брал на себя пишущий в те предвоенные годы и годы первого десятилетия после войны.

Привезенные из Усолья «Рассказы о ленинградских детях»

были напечатаны лишь частично. Написанную зимой 1943/44 года «Повесть нашего времени» опубликовать не удалось. Удары возбуждают энергичную натуру к действию: Пришвин пишет летом 1945 года на конкурс повесть «Кладовая солнца» и рассказ «Старый гриб». Обе вещи имеют успех и получают издательские премии.

Но не этими мыслями и не этими темами жил Пришвин: «Кладовая солнца» была для него теперь «пустяк». Новый строй мыслей ложится в основу назревающей «Осударевой дороги», многолетней спутницы Пришвина, от которой ему уже не отступиться до конца дней.

Нравственный выход, до которого дожил Пришвин в конце жизни — об отношениях личности и общества («хочется» и «надо» в его терминологии), — в какой-то мере был открыт ему Пушкиным; над «Медным Всадником» Пришвин размышляет всю жизнь. Теперь это было связано с новой ступенью во внутреннем развитии личности художника и человека — все пережитое как бы проверялось страданием, и подвигом, и победой народной на войне.

«Опыта одного нашего не хватает, и надо много жизней связать, чтобы начальное событие могло видеть свой прекрасный конец» — вот почему книги свои Пришвин считал лишь «завещанием о душе своей грядущим поколениям, чтобы ему самому непонятное они бы поняли и усвоили себе на пользу».

Внешняя наша жизнь была теперь связана с новым пристанищем на природе: весной 1944 года мы арендовали в Пушкине под Москвой у Моссовета небольшую дачу, так как в городе Пришвину жить было непривычно и неплодотворно. Мы покинули Пушкино в 1946 году и переехали в деревню Дунино под Звенигородом — навсегда.

В. Д. Пришвина (1899—1979) познакомилась с писателем в 1940-м году и вскоре стала его женой. Этой встрече посвящена книга «Мы с тобой», над которой Михаил Михайлович и Валерия Дмитриевна вместе работали в годы войны. Она рассказывает о рождении отношений двух уже немолодых людей, самой судьбой предназначенных друг для друга (в настоящее время книга готовится к печати). Валерия Дмитриевна в течение 14 лет их совместной жизни была помощницей писателя во всех его творческих делах. Как литературный наследник, после кончины Пришвина вела большую собирательскую, издательскую и исследовательскую работу по его творчеству, стала основателем мемориального музея Пришвина в Дунине. В. Д. Пришвина — автор книг «Наш Дом», «Круг жизни», «Пришвин в Дунине», некоторые ее работы ждут своего опубликования.

[1] Известный до революции критик и литературовед Р. В. Иванов-Разумник (1878—1946), автор первых статей о творчестве Пришвина. Много лет состоял в дружеских отношениях с писателем, до войны некоторое время жил у Пришвина, обрабатывал его архив.

[2] В газете «Известия» от 10 мая 1935 года была напечатана статья Пришвина в защиту вековых сосен на берегу реки Вексы под Переславлем-Залесским, вырубка которых в это время началась. 3 августа 1935 года он записывает в дневнике: «Результат моей статьи «Переславские кручи»: бор от озера до Усолья объявлен запретной зоной».

[3] Имеется в виду литературовед В. О. Перцов (1898—1980).

[4] Рассказ «Голубая стрекоза» (первоначальное название «Моему другу на фронт») был написан в первые дни войны 28 июня 1941 года и вскоре опубликован. О встрече с Фадеевым Пришвин пишет: *«22 июля (месяц войны).* В 6 часов был у Фадеева. Он предлагает выступить на немецком языке по радио. <...> На мои слова о том, что при спасении Родины должен наступить перелом в литературе, должно вместо казенного отношения выступить сердечное свидетельство, да, литература не как в «Правде», а как сердечное свидетельство. На этот намек на участие граждан 2-го разряда, вроде меня, он ответил, что кому надо — и так поймут нашу информацию и вообще, что обойдемся без этого: весь народ хочет победы».

[5] Рассказ «Город света» был написан в 1943 году, но опубликовать Пришвину его не удалось. Впервые опубликован в 1957 г. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5, с. 284—288.

[6] «Лесная капель» начала печататься осенью 1940 г. в журнале «Новый мир», но 4 января 1941 г. в дневнике Пришвина появилась запись: «Почему нет продолжения «Фацелии»?» Записи дневника объясняют происходящее:

«16 января. Читал по радио «О чем шепчутся раки». Удивляюсь, как это писатели принимают меня за эстета по «Фацелии», не хотят заметить «Раков», не хотят видеть, что мой язык — народный язык и я могу сказать народное слово для всех».

«19 января. Я считаю для советского писателя современным не только самый факт строительства как обороны страны, но и создание в душе нашего советского человека той радости, того праздника жизни, с которым легко и строить новую жизнь, легко, если придется, и умирать за нее... Я сам убежден, что моя «природа» есть и школа жизни и праздник. Он необходим для рабочего, чтобы строить, для воина, чтобы бороться... В последние дни я получил сведения, что издание не будет введено в план вследствие несовременности моих сочинений... Переходить мне на положение рядового работника, заниматься не своим замыслом, а темой со стороны или окончить жизнь тем писателем, которым я был сорок лет и не устаю им быть?»

«19 сентября. Как встретили мою «Фацелию». Я хотел открыть мир, за который надо вести священную войну, а они испугались, что открываемый ею мир красоты в природе помешает обыкновенной войне».

А в 1943 году, узнав о выходе книги, записывает:

«4 ноября. Прихожу в «Советский писатель», там мне говорят, что книжка моя о радости, «Фацелия» напечатана. «Война на носу, — писали о ней, — а он радуется».

Теперь же понадобилась радость, и книжку напечатали, и в ней о войне ни слова, как будто она давно кончилась. Весь день я ходил радостным, и в моей душе это было концом войны, и я смотрел на улице людей, и по себе узнавал тех, у кого радость, и значит, конец войны...»

Д. П. Коршунов

НА ЖУРАВЛИНОЙ РОДИНЕ

Директор музея города Переславля и писатель М. М. Пришвин с сыном приехали в деревню Хмельники делать раскопки могил у местечка Бармазово. Остановились они у Назарова Павла. Это было весной 1924 года.

Ранним утром увидал я их, они стояли под ветлой и между собой рассуждали кое о чем. Помню слова Михаила Михайловича, которые он повторял: «Черторой, Черторой...» Чертороем звали у нас речку, которая протекает вблизи от этих могил. Михаил Михайлович сидел на бревне в короткой тужурке, черной шляпе, в кожаных сапогах. Лицо белое, круглое, волосы черные, кудрявые, борода широкая, черная. Сам плотный, среднего роста. Я искал в слове разгадок, и повторение слова «Черторой» привлекло меня к нему. Я долго смотрел на него и думал про себя, что он что-то знает о правде и разгадывает.

Спустя несколько времени Михаил Михайлович приехал на охоту и поместился в нашей деревне, в сарае Назарова Павла, со всей семьей.

Я их пригласил к нам побывать. Мы жили в новом, еще не совсем отделанном доме.

Через несколько дней вечером нас навестил Михаил Михайлович с Ефросиньей Павловной. Михаил Михайлович глядел на новые бревна, потолок и как-то издали говорил:

— Вот бы нам такую избушку построить где-нибудь в нетронутых лесах...

Он спрашивал, как мы живем, чем занимаемся. Я рассказывал, как делаю деревянную посуду. Помню, рассказывал Михаилу Михайловичу, сколько зла у нас получилось, когда делили лес, купленный в лесничестве.

Мне хотелось всегда что-нибудь его спросить.

— Почему люди мало делают добра друг другу? Пожалуй, не хватает примера.

— А вы не пробовали? — обратился он ко мне.

— Да вот, например — ответил я, — у нас в деревне у одного крестьянина пала лошадь. Мы со своим родителем ему

помогли чем могли и просили других тоже помочь, но другие отказались. Значит, примеров не хватает, чтобы ему лошадь купить.

— Да, — вздохнув глубоко, сказал Михаил Михайлович, — грош нам цена!

— А я вот так думал тогда: ну собрались, поговорили, объединились, построили общую мастерскую, и делай как можно лучше, и отдавай друг другу кто кадушку, кто стул, кто стол, и дари друг другу без денег. При таком изношенном порядке деньги ужасное зло имеют.

Михаил Михайлович усмехнулся и сказал:

— Очень скоро ты хочешь!

Михаил Михайлович часто приезжал в наши края на охоту.

Бабушка Аграфена Назарова рассказывала:

— Хороший был охотник Михаил Михайлович. Как только разрешают охоту в августе месяце, Михаил Михайлович просыпается рано утром, уходит на охоту и всегда возвращается с дичью. Глядишь иногда в окно, а он идет бодрый, веселый, шляпа немного назад, и лысинка блестит. Лицо свежее, белое, глаза серые смотрят милостиво, а на спине в сетке лежат утки, иногда и рябчики, тетерева. «Вот, Аграфенушка, и работа тебе, будешь мясо есть». Простой был человек. Встретишься — обязательно поговорит, спросит, как живешь, как здоровье, и после беседы на сердце делается веселее...

Жил Михаил Михайлович со своим семейством и на Ботике, на берегу Плещеева озера. Это примерно километрах в двадцати от нашей деревни. И там мы с Михаилом Михайловичем виделись и разговаривали до полуночи. Было мне подарено две книжечки: «Матрешка в картошке» и «Башмаки».

Потом Михаил Михайлович от нас уехал. Говорили, что он купил дом в Загорске. Долгое время мы его не видели...

Но вот обрушилась на нашу Родину война! Прошло немного времени, сказали, что немецкие войска недалеко от Москвы. Был 1941 год. Из Москвы все выезжали.

Весной 1942 года директор Гора-Новосельской школы И. И. Фокин встретил меня и радостно сказал:

— Были у Пришвина. Живет в Усолье и желает с вами видеться. Или ты к нему сходи, или он тебя навестит.

Я ответил, что лучше я его навещу, чем ему, старому, ко мне за семь верст приходить.

— Да он хотя седой стал, но очень бодрый и такой легкий на ногу, — ответил Фокин. — А знаешь, супруга у него молодая,

и видно, что хорошо образованная. Я тебе показывал книгу «Журавлиная родина», которую он мне подарил, там описано болото. Вот это наше болото, около Усолья. Ну что — болото и болото, а когда прочел, то хочется побывать на этом болоте, и полюбишь его, и оно другое.

Долгой казалась мне ночь. Я встал рано утром, быстро собрался и пошел в Усолье. Всю дорогу я думал, что ему сказать и что спросить. Но я знал, что растеряюсь, да еще война царапала сердце.

Дом, где поселился Михаил Михайлович, был в лесничестве. Он был окружен большим сосновым лесом. Сосны стояли чистые, стволы метров на шесть без сучков. Так хорошо пахло сосной в это весеннее утро, да еще слышишь песню птицы. Я остановился у этого домика и стал смотреть, не выйдет ли кто, спросить, где живет Михаил Михайлович. Немного погодя калитка отворилась и вышла Евдокия, хозяйка дома, указала мне дверь, где жил Пришвин.

Услыхав стук, жена Михаила Михайловича Валерия Дмитриевна приотворила дверь, поглядела на меня и сказала:

— Михаил Михайлович, к нам какой-то гость идет.

Я сказал, что я — Митраша из Хмельников. В деревне все, мал и стар, звали меня Митрашей.

— Да это тот самый и есть Митраша, о котором нам говорил Фокин, — услыхал я голос Михаила Михайловича.

— Войдите, — приглашала Валерия Дмитриевна.

Я совсем растерялся от ее приветливого, устойчивого, чистого взгляда. Что за сила была в этом взгляде, я и высказать не могу.

Думаю, каким хочешь будь камень-сердце, но при таком взгляде и то в нем что-то стукнет. Я встал на пороге двери и стою, уставив взгляд на Михаила Михайловича, и в эту растерянную минуту он мне казался простым детном *.

Михаил Михайлович сказал мне:

— Да сойдите с порога, так непозволительно стоять гостю, и садитесь на стул.

Валерия Дмитриевна села рядом и стала расспрашивать о жизни. Я отвечал, что живем в это трудное время войны хорошо, а самое главное — в питании поддерживает корова, говорил, смеясь, что звать нашу эту кормилицу матерью...

Валерия Дмитриевна приготовляла завтрак и чай. Сидя за столом гостем, я смотрел на Михаила Михайловича и думал:

---

* Местное: ребенком.

прошло шестнадцать лет, и он стал седым, а волосы стали реже, морщины на широком лице глубже.

— А как у вас в колхозе? — спросил Михаил Михайлович.

— Работаем, сеем хлеб, картофель убираем. Кормимся понемногу и государству помогаем, — ответил я. — Лошадей получше взяли на войну, ну, справляемся и на похужих, так вот и живем.

Валерия Дмитриевна попросила меня сделать кадочку, чтобы насолить огурцов. Я пообещал выполнить это дело, простился и пошел домой, довольный тем, что повидал писателя, он мне дал книжечку «Жень-шень» и обещал летом навестить.

Почитавши книгу «Жень-шень», я однажды в воскресенье утром решил написать письмо Пришвину и только дописал — слышу, кто-то у окна разговаривает. Посмотрел и обрадовался: под окном стояли Михаил Михайлович и Валерия Дмитриевна. Ночевать у нас в дому они не стали, им хотелось побывать в школе, где работал директором И. И. Фокин, километрах в двух от нашей деревни. Я их проводил до Константиновой горы и пожелал им всего хорошего. С Константиновой горы от Новоселок был виден Переславль, Плещеево озеро с синеющими лесами. Глядишь — и хорошо делается на душе, радостно, что ты маленький человек и так далеко видишь: видишь Данилов монастырь, Горецкий монастырь, озеро чистое, как зеркало, леса и голубое небо, и все вмещаешь и судишь о красоте вечности природы. Михаил Михайлович и Валерия Дмитриевна забрались на гору и долго смотрели во все стороны дали.

Пришла зима, насыпало снежку. Мы с Клавдией поставили на саночки кадочку с огурцами и поехали в Усолье к Михаилу Михайловичу. Встретили они нас радостно. Михаил Михайлович похудел, потому что питания был недостаток. За чаем я стал его упрашивать, чтобы он написал рассказ, в котором обличалось бы страдание русского народа. Мне сильно был по душе стих его «Птичик», и я говорил, что народ так жить должен и будет хорош. Но он отвечал: «Хорош — так пусть и будет хорош, поправлять его не надо...»

Михаил Михайлович был в тяжелом раздумье. Сосновый лес стоял под окном, и мне казалось, что и лес задумался. Сидя за столом, мы говорили о трудностях нашей родины. Михаил Михайлович в таком был раздумье и так что-то страдал, и мне казалось, он и природы не замечал.

Я просил его написать что-нибудь и говорил, что в эти трудные минуты хотя улыбку вызови у усталых страдающих людей. Он вздохнул и сказал:

— Ну что ж, я могу сделать это, но мне скажут: не так! Значит, надо молчать.

И мне жаль его было.

На воле стало темнеть, и мы с Клавой стали собираться домой. Валерия Дмитриевна спрашивала:

— Не боитесь ли лесом?

Она нам дала материи на одежину девочке, а Михаил Михайлович «Серую Сову». Мы поблагодарили и поехали домой...

Однажды Михаил Михайлович с Валерией Дмитриевной пришли пешком к нам с фотоаппаратом. На воле было тихо, снег, выпавший ночью, был так бел, что даже в глазах что-то переливалось. Они усадили нас на скамейку и сфотографировали.

Настя пошла в горницу и внесла два скатанных круга самодельной сотканной постельной новины. Валерии Дмитриевне нравилась такая самотканая материя.

Михаил Михайлович подошел к Насте, положил руку на плечо и ласково сказал:

— Молодец, Настенька. Скажи мне, как оно так делается?

Настя объяснила: деревянный стан, в него вдевается колода. Основу навивают на колоду, потом вденут в нитченки, потом в бердо, а потом притужалом к пришве, которая вкладывается в другой конец стана. Потом ткем. Есть челнок и поддоски, которые при давлении ног делают зев, а челнок ходит из руки в руку, и получается такое полотно. Основа превращается в полотно, а полотно натягивается на пришву.

Я часто думал о фамилии Пришвина, думал, откуда она взялась, и, найдя слово «пришва», на которую натягивают проработанную основу, решил, что от него и вышло слово «Пришвин».

Я сказал:

— Вот, Михаил Михайлович, вам многое в основе жизни проработать надо и открыть новое.

Михаил Михайлович и Валерия Дмитриевна улыбнулись.

Д. П. Коршунов — крестьянин из деревни Хмельники под Переславлем-Залесским, тип народного правдоискателя, читатель Пришвина и его друг с 20-х годов. О нем есть упоминания в рассказах писателя, дневниках, Дмит-

рий Павлович послужил прототипом героя «Повести нашего времени» Мирона Ивановича Коршунова; имена Митраши и его жены Насти получили главные герои сказки Пришвина «Кладовая солнца».

О нем В. Д. Пришвина вспоминает: «Звали его все согласно Митрашей. Это был редкий образец народного читателя, искатель правды со всей сложностью нравственных исканий, издавна встречающихся в простом русском человеке, — может быть, такова и есть его драгоценная и отличительная перед другими народами черта <...> Успей Митраша вовремя оглядеться, вышел бы из него отличный школьный учитель у себя же в деревне. Но он «не успел». И потому и в семье, и в деревне его не понимали, вокруг над ним подсмеивались, а то и откровенно ругали. Он был теперь кем-то вроде неудавшегося лесковского праведника на новой почве и в новой формации.

Образец Митрашиного стиля:

Приколачиваем гвозди на заборе. Митраша улыбается:

— Чего это вы?

— А вот вспомнил, как Николай Васильевич сказал...

— Какой Николай Васильевич?

— А Гоголь...»

Митраша постоянно, по словам Михаила Михайловича, попадал под длительное влияние той или иной нравственной системы — то под Толстого, то под Достоевского, то под Маркса. А когда проводилась коллективизация, то первый в деревне принес и сдал «миру» свое имущество «до последних валенок» (Круг жизни, с. 103).

В. Ф. Бурлин

В ДАЛЕКОМ 1942 ГОДУ

Это случилось в 1942 году, в самый разгар Отечественной войны. Мне выпало тогда быть по служебным делам в переславль-залесских лесах, неподалеку от Плещеева озера и близ местечка Усолье. Был ноябрьский морозный день. Проезжая глухой лесной дорогой, я вдруг увидел среди вековых сосен и елей окрашенный в голубое домик. Из трубы его курился дымок и исчезал среди мохнатых заснеженных ветвей. Я так замерз, а домик был такой уютный, что мне захотелось остановиться, войти и отогреть закоченевшие руки и ноги. Как будто для того, чтобы укрепить меня в моем желании сделать остановку на дороге, выйдя из лесу, появился человек. Я попросил шофера затормозить и обратился к встреченному:

— Чей это домик, скажите?

— Писателя Пришвина, — ответил незнакомец и — недосуг ему, видно, было — зашагал обочиной дороги, оставив меня одного.

Хотя я знал, что Михаил Михайлович недавно поселился где-то в этих краях, тем не менее сейчас был радостно удивлен такому известию. Заочно мы с Михаилом Михайловичем были знакомы, а вот теперь представлялся случай лично познакомиться с писателем, которого я любил с юношеских лет.

Вспомнились первые прочитанные книги Пришвина — «Кащеева цепь», «Северный лес».

Шел тридцатый год. Мы, «семитысячники», комсомольцы, строители Сталинградского тракторного завода, по вечерам в свободное время устраивали громкие читки. Однажды прочитали повесть Пришвина «В краю непуганых птиц». На следующий день я побежал в библиотеку разузнать, что еще есть у нас этого автора, но девушка-библиотекарь сказала, что «весь Пришвин на руках». Пришлось становиться в очередь. Ожидание мое было с лихвой вознаграждено. От корки до корки прочитал я одну книгу, потом другую. Попросил еще, но больше в заводской библиотеке не оказалось. Пришлось обратиться в городскую. Так Михаил Пришвин стал моим любимым писателем. Позже, уже рабфаковцем, в библиотеке Петроградского района Ленинграда я снова перечитал книги Пришвина. Он

открыл мне мир красоты людей и природы. Читая его «Кладовую солнца», я подумал, что Михаил Михайлович, по сути, создал великую кладовую высоких чувств и радостей...

У крыльца я остановился, не решаясь взойти по ступенькам и постучать. И тут только обратил внимание на следы, оставленные валяными сапогами. Они начинались у порога и по тропинке уходили в глубь леса, видимо, они принадлежали ему, Михаилу Михайловичу.

Я передохнул, прежде чем решиться постучаться. Кажется, оробел. Да и то сказать: надлежало переступить порог сказочного домика, в котором поселился сказочный человек!

Я слегка толкнул дверь, и она гостеприимно распахнулась. Перешагнул порог. Надо бы постучать, но дверь утеплена и обита мешковиной — все равно по вате стучать — не услышат. Набравшись храбрости, я потянул на себя ручку. Она отворилась, и на меня пахнуло теплом жилья. Сквозь клубы поднявшегося пара я увидел человека с сократовским лбом и бородой русского крестьянина.

Я еще не успел произнести ни одного слова, когда из-за двери смежной комнаты послышался знакомый женский голос, назвавший мое имя. С Валерией Дмитриевной, женой Пришвина, я был уже знаком. Михаил Михайлович заулыбался, протянул мне руку.

— Вот вы какой! Ну, снимайте шубу, проходите. Гостям мы всегда рады, особенно здесь, в глуши...

Я впервые услышал мягкий, несколько глуховатый голос Пришвина.

В домике было тепло. Но Михаил Михайлович был одет в стеганый ватник и валяные сапоги.

— Давайте-ка садитесь поближе к печке, отогревайтесь. Вижу, намерзлись. Сейчас мы вас чайком согреем. Надо бы рюмочку с мороза, да ведь где ее взять? — Придвинул мне табурет и сам присел. — Ну, рассказывайте, какие новости. Что слышно с фронтов? Мы тут как в лесу, — пошутил.

— Радости мало пока. Гитлер рвется к Сталинграду.

Михаил Михайлович помолчал, о чем-то размышляя:

— Сталинграда ему не видать. И вся его авантюра обойдется для него дорого. Да ведь сколько людей погибнет и разорение какое! — Опять задумался, сокрушенно покачал головой.

Валерия Дмитриевна позвала нас чай пить. Мы подсели к столу. На тарелки тонкими ломтиками уложен черный хлеб. В стеклянной сахарнице мелко наколотые кусочки сахара.

— Ну вот, чем богаты, тем и рады. Вы вприкуску пьете?

Придвинул мне сахарницу. Налил в блюдце чай, подул, отпил, поставил.

— Немцев я хорошо знаю. Очень хорошо — учился в Лейпциге. Трудолюбивый народ. Талантливый. Сколько миру дал выдающихся ученых, философов, поэтов! Не укладывается в сознании, как это такой народ породил вот этих головорезов! Впрочем, все объяснимо. Зараза ведь поражает и здоровый организм. Эта опухоль росла не один год. И тут никакой женьшень не поможет.

Михаил Михайлович так расположил меня своей задушевной беседой, что я даже не заметил, как перестал напряженно думать, что передо мной необычный, большой человек, а просто стал спрашивать его обо всем, что интересовало меня.

— Как я пишу? — пожал он плечами. — Каждый день понемногу. Слова, как кирпичи в кладке, требуют точной подгонки. Не все, конечно, написано одинаково хорошо. Сила писателя определяется ведь тем, насколько он знает человека. В этом — величие Толстого. В природе много еще неразгаданного, в человеке — еще больше.

Пришвин поднялся и прошелся из угла в угол. Подошел к печке, прислонил ладони к ней, согреваясь. Сейчас он мне показался похожим на знакомого егеря из костромских лесов. Или на крестьянина-сеятеля. Похожего много раз приходилось встречать и среди рабочего люда. И вместе с тем был необычен и неповторим.

— Значит, вы тоже начинаете болеть литературой? М-да, — потрогал бороду. Глаза хитро заулыбались. — Кто это сказал: «Если можете, не пишите»? А уж если невмоготу — куда денешься! Это мучительно, но и сладко. Радость такая, вроде белый гриб нашел. Фразу надо отлично строить, слитком. И так плотно, чтобы никаких щелей, а то сквозняком протянет. Читатель умен. Ему нужны мысли и образы, притом жизненные, а не надуманные. В этой войне победит не только наше оружие, но и наша культура.

Зимние дни коротки. Начало уже смеркаться. Поблагодарил я гостеприимных Пришвиных за тепло и хлеб-соль, распрощался. Всю дорогу до Переславля-Залесского я укладывал в своей памяти неповторимые моменты встречи с Михаилом Михайловичем. А потом все по порядку записал в блокноте. Даже нарисовал пришвинский домик и следы, идущие от него в дремучий лес.

После нашей встречи я всегда искал случая снова побывать у дорогого Берендея — Михаила Михайловича Пришвина. И мне, хотя и изредка, это удавалось. С каждой новой встречей

мне открывались всё новые черты этого замечательного человека. Над всеми его думами в тот период господствовали думы о тяжких испытаниях Родины, о страданиях народа.

— Знаете, часто ночами не сплю. Все думаю, как случилось, что немец дошел до самой Москвы? И хотя уверен, что победа будет за нами, но какие приходится приносить жертвы.

Спустя несколько дней после разгрома немцев под Сталинградом снова увидел Михаила Михайловича. Он выглядел помолодевшим, оживленным.

— Поздравляю с началом Великой Победы! Вот вам и непобедимая Германия! Я-то хорошо знаю этих немцев, с них надо только вовремя сбить спесь.

Он ликовал. Сказал, что такого творческого подъема, как теперь, давно не ощущал.

— Хочется переосмыслить заново многие явления жизни. Более глубоко, более сокровенно.

После этой встречи мне долго не выпадало видеть Пришвина. Лишь в сорок четвертом году, получив назначение на Украину, перед тем как покинуть любимые края, отправился я в переславль-залесские леса к Пришвину. Накопилось много вопросов. Хотелось воспользоваться его мудрым советом. Да и много радости было на душе: наши войска гнали фашистов на запад. Уже недалек был, все в это верили, День Победы.

Я точно на крыльях летел к Пришвину. Нетерпеливо распахнул дверцу машины, выскочил из кабины и вбежал на крыльцо. Вбежал и — остановился перед заколоченной досками дверью: Пришвины вернулись в Москву.

Я обошел вокруг лесного домика. Затем присел на крыльцо, задумался. Вот здесь, в этом неказистом домике, в тяжелую годину нашел себе пристанище Михаил Пришвин, здесь он страдал, терзаемый думами о тех, кто умирал для того, чтобы жила Россия, переживал радости нашей победы, тут родились произведения, которым суждено приносить радость многим поколениям.

Здесь он писал, что «в сердцах людей во время войны складывается будущий мир. И назначение писателя во время войны именно такое, чтобы творить будущий мир».

И он творил. Утверждал любовь к Родине, к жизни...

В. Ф. Бурлин (р. 1919) — экономист, писатель. Автор книги о Пришвине «Весна света» (1984). Знакомство с Пришвиным состоялось во время Великой Отечественной войны в деревне Усолье под Переславлем-Залесским, где Михаил Михайлович с семьей жил в эвакуации. После войны Бурлин виделся с писателем в его московской квартире. После кончины Пришвина продолжал поддерживать дружеские отношения с его семьей.

Ю. Е. Бирман

ТРИ ПИСЬМА И ОДНА ВСТРЕЧА

I

Моя короткая переписка с М. М. Пришвиным возникла легко, оборвалась внезапно.

Нам, студентам старших курсов, вернувшимся с войны, настойчиво внушали, что каждый писатель обращение к нему, первоисточнику, оценит как доказательство его близости к читательской массе и что тем благосклонней откликнется на призыв «молодого исследователя». Но не всякий откликался; были резкие отказы. Писатель В. П. Катаев обосновал свой отказ тем, что к услугам учащихся имеется достаточно разных библиографических пособий и что незачем ради какой-то курсовой темы отрывать человека от серьезного дела.

В числе немногих мне повезло. Пришвин на мой запрос ответил быстро, в тоне полного понимания. Он ведь всегда верил в читателя-сорадователя. Думаю, что с затаенной надеждой ждал он такого читателя — способного вырасти в умного и чуткого критика. Не раз осторожно и скупо подсказывал он будущему «желанному» исследователю то, что считал в своей работе важнейшим, но мало замеченным. Если присмотреться, то ведь не только «Мои тетрадки» — многие книги Пришвина проникнуты заботой раскрыть наглядно внутренний импульс, жизненный нерв писательской работы[1].

* * *

В тридцатых годах Пришвиным написан очерк о Дальнем Востоке «Золотой Рог». Это один из этюдов к поэме «Жень-шень», вместившей в себя художественный и идейный итог многолетних исканий. В «Золотом Роге» кратко упомянут В. К. Арсеньев как один из летописцев края[2]. Прочитав это место, студент вспомнил суждение героя «Жень-шеня» об охотнике Лувене, его учителе в деле освоения таежной природы:

«Что мне это знание дикарей-следопытов, если я могу сделать химический анализ любого вещества по качеству и выз-

нать количество его составных частей с точностью до четвертого знака! Мало того: я могу в любую область направить свое испытующее внимание, как в химии, и в короткое время обогнать любого следопыта, истратившего всю свою жизнь на личный опыт в одном каком-нибудь деле».

Из этого сопоставления само собой явилась студенту следующая гипотеза: «Почитая Арсеньева как одного из своих предшественников, Пришвин оспаривает его преклонение перед «мудрым дикарем» и прославляет могущество вооруженного наукой интеллекта». Изложив эту гипотезу в письме к Пришвину, студент почти не сомневался в бесспорности своей догадки. Но ответ гласил:

«Уважаемый т. Бирман, В. К. Арсеньев и сродные ему следопыты пользуются величайшим моим уважением. Это не только не мешает, а помогает мне продолжать поиски Жень-шеня в области современной культуры. Вы делаете обычную ошибку исследователей литературы: свои собственные догадки навязываете автору» (письмо от 29 сентября 1946 г.). «Вам, пытливому студенту, все вынь да положь. А между тем у меня и в мыслях никак не было Арсеньева, когда я то говорил. То в большом плане, а следопыты конкретные в ином и тут — я же сам по сей день следопыт» (22 октября 1946 г.).

Характерно, что Пришвин отвергал мертвенно-неподвижное употребление живого слова и превращение его в фетиш. Емкость понятия «следопыт» гибко менялось в словаре Пришвина.

По существу же предмета Пришвин хотел отвлечь студента от школьного сопоставления «героев» и направить его внимание на другую задачу: разыскание глубинных стимулов работы двух художников, из которых каждый по-своему был следопытом.

В этом же направлении смутно бродила и мысль студента. Но, не сумев терпеливо обдумать эту задачу, осложненную многообразием источников пришвинского творчества, он составил письмо-анкету, которое должно было сразу осветить генеральные пункты литературно-эстетического кодекса Пришвина, по пунктам: взаимосвязь с современниками, влияние классиков, этические вопросы и т. д. и т. п.

Была и эта просьба удовлетворена, как в сказке, щедро и обстоятельно:

«Уважаемый т. Бирман!

Вопрос 1 — о влиянии Толстого. Я рос в соседстве с Ясной Поляной, во всяком случае влияние ее доходило до нас в

Елецком уезде, влияние естественное, но не исключительное, чуть разве больше Тургенева и других русских писателей[3].

Вопрос о символистах. Влияние Ремизова, отрицательное: выбиться из-под влияния. И выбился [4]. Общее культурное влияние символистов [5].

3. Лиризм второй части. «Кащеева цепь» — поэтическая автобиография и почти все по правде (по себе). Не требует объяснения: любовь.

4. «Страдающий бог». — Рос в православной семье и как же не быть в душе «страдающего бога»? При чем тут Блок?

5. Влияние советских писателей на Жень-Шень. Персонально никто из советских писателей не влиял на меня (я их старше). Но РАПП отрицательно повлиял. Я именно от РАППа уехал на Дальний Восток, там нашел Жень-Шень, и, когда написал, Рапп распустили. Чувствую, будто я это его и прикончил сам. (Так время преломилось в себе.)

6. Как соединить два слагаемых — разум и родственное внимание? Природа вся целиком содержится в душе человека, и, разглядывая внешнюю «природу» в творческом процессе («родственное внимание»), человек догадывается о ней по себе, узнает себя, вспоминает свое прошлое. Тогда разум исчезает, как таковой, и становится в единое целое всего человека. Примеры такого творчества: 1) Сказка о мертвой воде (анализ) и живой воде (синтез): чтобы воскресить живое существо, его нужно сбрызнуть мертвой водой (анализировать, наука) и потом водой живой (искусство в его высшем назначении, искусство, как образ поведения). 2-й пример. Изобретение атомной бомбы — дело разума. Наша современная борьба за мир, наше великое творчество должно быть живой водой («родственным вниманием»), которая даст целящее направление всей атомной энергии.

О Бергсоне [6] и т. п. В молодости я читал слегка и Бергсона, но все это забылось и на пути было скорее помехой: на пути к себе самому, к той силе, которая заключена почти в каждом человеке, не исключая физических калек. Эта сила у нас называется «талантом», но это ровно ничего не говорит о природе самой силы.

Я довольно далеко отошел от «Жень-шеня» и понимаю его, конечно, больше, чем когда писал. Но я не хочу влиять на Вас, минуя Ваше личное творчество, которым Вы должны действовать. Подскажу только, что путь мой жизненный в настоящее время подводит меня к теме «искусство, как образ нашего по-

ведения». Русская классическая литература вся на этом пути, и я с ней. А дальше, подумайте!» (Письмо от 31 октября 1946 г.).

Студент был ошарашен. Он счел себя почти лично оскорбленным. Так вот они, неистребимые следы тех давних заблуждений, о которых писатель не смог умолчать в «Кащеевой цепи»! Тут конечно же и Бергсон, и разные поветрия эпохи декаданса... Нет, слишком явны здесь отклонения от материалистической философии (только что прослушан курс лекций), чтобы можно было примириться с таким документом! И все свои огорчения студент выложил в беспорядочном взволнованном послании, уличавшем Пришвина в приверженности философии идеализма, — порок, по несчастью, ранее студентом не распознанный. (Это последнее обстоятельство каким-то образом также включалось в обвинительный акт.) И тут уже терпение золотой рыбки истощилось — грянула буря, чуть не оборвавшая начисто еще не окрепшие нити общения.

«Уважаемый т. Бирман, — отвечал Пришвин, — ...я получил от Вас в одном конверте два письма и понял из них, что чего-то Вам недоговорил, чего-то сказал лишнего, и Вы не могли меня понять. Дело в том, что мои слова о «природе в душе человека», о «воспоминании» и прочем направлены к Вам не для постижения «объективной истины», как Вы пишете, а для уяснения моего только процесса творчества с ясной целью помочь Вам написать свою работу. Я глубоко убежден, что каждый художник и даже каждый человек в своем простом деле руководствуется какой-нибудь личной рабочей гипотезой, бессознательно создаваемой им в процессе труда. Вот эту личную свою рабочую гипотезу и попытался я Вам изложить не для открытия «объективной истины», а для понимания меня самого. Что же касается самой истины, то о ней надо говорить не на языке личных гипотез, а на языке совершенных творений. У меня есть среди моих произведений несколько точек, признаваемых всеми грамотными людьми за несомненные достижения. Само собой понятно, что эти точки и являются тем языком, на котором я говорю для всех. Но я своим путем шел к этим точкам, путем, никому не ведомым и никому не нужным, потому что никто другой моим путем не придет к объективной точке. Только для специальных целей исследователя творчества, психолога и — увы! — может быть, психиатра интересны эти субъективные пути. По-видимому, я высказал Вам свои домыслы несколько рано: Вы еще недостаточно разобрались в объективном языке моих достижений, чтобы я мог с пользой говорить о своих личных путях.

Вы пишете, что хотите больше ознакомиться с философией, это очень хорошо, но только, занимаясь философией, прошу Вас, не отрывайтесь от естественной личной своей философии, держите с ней постоянную связь, дабы не попасть в положение одного моего знакомого кустаря в г. Загорске. Этот кустарь показал себя таким мудрым в народном суде, что местная слава его достигла до центра и сам Генеральный прокурор (Крыленко) приехал в Загорск на него посмотреть. Убедившись в необычайном таланте судьи, Крыленко отправил его на шестимесячные курсы. И вот когда судья вернулся в Загорск, то в ученом своем состоянии бывший мудрец оказался полным дураком, и его скоро из суда выгнали. Несчастный юрист кончил тем, что спился и, кажется, замерз пьяным в канаве.

Итак, занимайтесь философией, но не давите ею очень на себя, не губите чужою мыслью свою собственную.

Всего вам доброго.

М. Пришвин.

30 ноября 46 г.
Москва».

Пришвина немало рисовали в тонах почти христианского смирения и всеприятия. Но сам он говорил о необходимом искусстве не только приласкать, но и «ударить словом». Разумеется, не легко отыскать в «Календаре природы» скрытую иронию, редко услышишь слово гнева в «Лесной капели», но все это — тоже пришвинское, нераздельное и неизымаемое. И пусть приведенное письмо не покажется инородным телом на общем фоне художественной работы Пришвина: оно может послужить компасом к разысканию некоторых «точек», обычно не замечаемых по причинам отнюдь не научного характера.

Я теперь думаю, что беда студента была не только его бедой, что его заблуждения частично были отражением ошибок его педагогов. И по сие время нередко мы читаем литературные анкеты и опросные листы — под видом научных исследований. И теперь в них писатели являются иногда в роли подследственных. Дух вульгарной социологии и поныне еще парит над водами литературной науки. Лишь в одном, пожалуй, студент был прав: он искал сущности, корня пришвинского творчества, не довольствуясь перечнем писательских «достижений» в форме нескольких традиционных афоризмов. Но это также не было его личной заслугой — такова была будоражащая атмосфера тех лет.

II

В небольшой комнате Пушкинского Дома нам было так тесно, что опоздавшим недостало стульев и они стояли тесной стеной. Из-за нее раздавался тенористый, чуть надтреснутый голос нашего руководителя. С рассчитанными паузами он говорил о том, чего ждут от нас, молодых филологов, какие имена нам рекомендуют. Чем-то собрание наше было похоже на митинг; казалось, самый воздух насыщен суровым и требовательным словом «идейность».

В одну из коротких пауз сзади, от дверей, послышалось:

— А как, например, насчет творчества М. Пришвина?

— Ну, птички, зверюшки... Это, знаете ли, несерьезно и не ко времени.

Студент фыркнул, промычал что-то в знак несогласия, но на него зашикали, и голос преподавателя зазвучал тотчас в прежнем тоне и ритме.

Это было ранней весной 1947 года. А поздней осенью в той же комнате Пушкинского Дома студент получил беспрепятственное одобрение избранной им дипломной темы под наименованием: «Пришвин и Горький».

На сей раз «зверюшки и птички» упомянуты не были.

Студенту не просто было решиться возобновить переписку. Но, взяв на себя задачу показать взаимоотношения Горького и Пришвина, он счел малодушием скрыть этот факт от одного из живых участников этих событий. И решился. В ответ пришло письмо, подписанное В. Д. Пришвиной (начало декабря 1947 г.); оно не нуждается в моих пояснениях:

«Михаил Михайлович просит Вам ответить следующее: с А. М. Горьким у него было несколько считанных свиданий, всегда по инициативе самого Горького, и переписка — гораздо больше чем 18 писем, копии с которых хранятся у нас, а подлинники переданы нами в б. Музей Горького, ныне Институт мировой литературы по ул. Воровского. Многие письма Горького, как и письма Миролюбова, Пятницкого и других деятелей того времени, связанных с Горьким, утеряны. Может быть, Вы попытаетесь затребовать от Института копии для работы через какое-нибудь важное учреждение. Неужели же для научной работы нет какого-нибудь способа пользоваться такими материалами? Иначе, подумайте, какую Вы мне хотите задать работу: скопировать наши копии, а мне дышать некогда от моей непосредственной работы, как секретаря Михаила Михайловича и как его жены и хозяйки дома.

Отношения с Горьким начались у Пришвина примерно

около 908—10 годов, когда из Италии по просьбе Горького написал Миролюбов, что Горькому очень нравится «Колобок» и что он просит Пришвина работать в его издательстве «Знание»[7].

Надо сказать, что Горький был в этих отношениях много внимательней, живей, активней, чем Пришвин. Может быть, это было отчасти потому, что он был старше, опытней, он был уже менее направлен к самому себе, чем тот, кто еще находится в периоде борьбы с самим собой. Впрочем, многое в поведении Михаила Михайловича и раньше да и теперь объясняется его совершенно необычной, на мой взгляд, и мало кому понятной правдивостью, непосредственностью, неспособностью лукавить, поэтому иногда для внешнего наблюдателя — отсутствием такта. Эта совершенно особенная черта Пришвина делает его зачастую совершенно непонятным и загадочным для людей. Поэтому некоторые считают его «хитрым», другие «путаным», третьи «грубым», и сам он из-за этого, конечно, в мирке практики и дипломатии много проигрывает. Этим-то, наверное, и объясняется, что Михаил Михайлович «не успел» вовремя откликнуться Горькому как следовало на его попытки более основательного сближения.

Михаил Михайлович вспоминает теперь о трогательном и бескорыстном внимании и сорадовании Горького, направленного к нему, и сожалеет, что не мог тогда, как хотел бы, ответить. Сейчас он особенно выделяет во всем Горьком его «Бабушку», которую считают самым замечательным и вечным, среди всего, что он сделал. Очень будет ценно, если Вы найдете подлинную художественную соприкосновенность этих двух писателей, даже и на пути их противопоставления.

Если они оба истинные художники и оба плоть от плоти народной — непременно где-то Вы найдете их прочное единство.

Спасибо за сведения о Лаврове [8], мы так и думали, что-нибудь с ним стряслось, раз молчит. Очень все это тяжело.

Не удивляйтесь и не обижайтесь, что пишу я, а не сам Михаил Михайлович. Это у нас так принято с ним: мы все время вместе, в жизни и в работе, и каждое мое слово им проверено.

Всего доброго.

В. Пришвина

Кроме того, поймите, что Горький был уже знаменитостью, а Михаил Михайлович маленьким писателем, но со своим лицом, со своим путем, может быть, ему инстинктивно

не хотелось вливаться в толпу окружавших Горького подмастерьев, может быть, это мешает художнику на том этапе, о котором я выше упоминала, — борьбы с самим собой за свое лицо, за свое художественное призвание...»

III

В конце марта 1951 года я пробыл несколько дней в Москве. Пришвин был рад моему телефонному звонку — это было слышно по его голосу — и очень точно назначил день и час свидания с ним.

Мы сидели в небольшой столовой, служившей, очевидно, и для беседы с посетителями. Неторопливо и проникновенно Пришвин говорил о том, что ученый работает над материалом действительности и познает законы жизни в пространстве, а писатель делает ту же работу — во времени; что в этом особом чувстве времени и заключается призвание художника — им измеряется его талант.

Он не повторялся — оставаясь верен себе. Это был Пришвин, знакомый по книгам, но в то же время иной. Он говорил прочувствованно. Его серые, виноградного оттенка, по-львиному широко сидящие глаза как бы излучали то, что он говорил, в далекое пространство. Речь его была красива, как он сам — невысокий, статный, с сильным широким лбом труженика мысли.

Но один гран преднамеренности, единственная повышенная нота, ненужная в личной беседе, чем-то мешала полной непринужденности. И вскоре эта помеха, как электрический удар, мгновенно передалась говорящему; каким-то простым междометием Пришвин прервал себя на полуслове, и двухминутная выразительнейшая пауза яснее слов прозвучала: «Не то?.. Где же ваши вопросы?»

Этих слов он, разумеется, не сказал; он вдруг что-то вспомнил и заговорил совсем другим тоном, превратившись в домашнего рассказчика. Был он недавно в гостях у школьников.

У них, как всегда, шумное оживление, а ему нужно было оживление тихое. Так вот, на правах званого, он начал с того, что создал на несколько минут настороженную тишину, с таинственным видом заставив их к чему-то прислушаться... Когда они истомились этой затянувшейся паузой, он сказал:

— Ну, вот что. Вы думаете, это я обязан начинать? Нет уж, сначала вы скажите: зачем позвали? Ну-ка?

Тишина.

— Ну, кто смелый?

Наконец с огромным усилием, окаменев телом (помнится, Пришвин сказал: «опрутев» — и сам превратился в жесткий, негнущийся прут), один парень встал и, весь красный, проговорил:

— Товарищ — Пришвин — мы — хотим — знать...

— Как я живу и зачем пишу, — помог ему Пришвин.

Высокий вольтаж упал, и все пошло по-хорошему.

Так случайно рассказан был этот эпизод, но вскоре, пройдя довольно сложную внутреннюю обработку, он вошел в новеллу «Друг человека» [9] в качестве ее сюжетного стержня. Этот лирико-философский этюд так насыщен содержанием, что раскрытие его потребовало бы особого разговора; внешний сюжет его, рождение которого я случайно подслушал, был гораздо проще. Однако при этом мне довелось увидеть те черты Пришвина-рассказчика, тот живой пластический жест, без которого, быть может, немыслимо рождение слова литературного, записанного.

После притчи о школьнике я сказал, смеясь, что мое положение хуже того мальчика — у меня нет никакой сформулированной задачи. Потом Пришвин молча и размеренно листал мою старую дипломную работу; минут за 15 он успел почти всю ее просмотреть и, отложив в сторону, спокойно сказал: «Юношеская работа». Раза два он осведомился, какою «службой» намерен я заняться в ближайшем будущем. К сожалению, я не запомнил всего, что услышал тогда. За полтора-два часа нашей беседы он был очень разным — и вдохновенным проповедником своих идей, и по-домашнему простым собеседником, и учителем. Но за всем этим стояло главное: все время он думал о своем деле.

Когда, на момент отвлекшись от разговора, Пришвин взял со стола мой «вечный карандаш», заметив, что им пишется слишком тонко, — было похоже, будто старый мастер берет из ваших рук рабочий инструмент, внимательно проверяя лезвие на ощупь: так ли направлено, готовы ли вы к настоящему труду.

Пришвин вскользь заметил, что обычно придают не тот смысл теме «природа» в его художественных исканиях. «Дело, — сказал он, — совсем не в этом».

В чем же? Если бы его собеседник, из желания ближе приобщиться к внутреннему миру писателя, не заспешил покивать утвердительно («да-да, понятно!») — мы владели бы весьма важными указаниями, быть может, своеобразным ключом к самой сути пришвинского творчества. Теперь же

приходится довольствоваться некоторыми домыслами. Пришвин недаром писал о своих «поисках Жень-Шеня в области современной культуры». Его биография сложилась так, что материал краеведческий, этнографический и фольклорный, подкрепленный широким естественно-научным образованием, стал его привычным органическим окружением на всю жизнь. Будучи писателем-однолюбом, он не захотел и не смог изменить этой своей искомой теме, как и другие писатели остаются верны каждый своей теме: исторической, колхозной, производственной и т. д. Но материал — это одно, а внутренняя задача писателя — другое. Раскрыть на ближайшем достоверном примере — творческая история и творческий метод писателя М. Пришвина — общие закономерности, психологию всякого творчества и, так сказать, самый механизм воспитания таланта — такова, по-видимому, ближайшая цель Пришвина как художника-мыслителя. Эти поиски можно сравнить с аналогичной работой К. С. Станиславского по выявлению объективных законов формирования «творческого самочувствия». К слову сказать, Пришвин назвал книгу «Моя жизнь в искусстве» «золотой книгой»[10].

Но мало того. Пришвин стремился наглядно показать процесс «очеловечивания» современного человека как процесс двусторонний — неотрывный от сближения человека с миром природы. Последние годы жизни писателя эта задача вытесняет все остальное. Сам он понимал ее как проявление высшей ступени искусства — «искусство как образ поведения». Размышляя об этом, Горький говорил некогда, что Пришвин предвосхищает и прозревает человека будущего, «отца и хозяина всех своих видений».

В историческом переходе к более современным социальным формам жизни, при огромных сдвигах в науке и технике, формируются и новые качества интеллекта и психики. Это долгий мучительный процесс, полный жертв и страданий. В такие эпохи нередко являются художники, будто стоящие в стороне от центрального фарватера, но зорким умом и мудрым сердцем охватывающие смысл происходящего, его благородную цель. Капля по капле, отметая горечь и грязь, копят они мед творчества жизни — и говорят строителям: смотрите, какое чудо выходит из ваших рук, взгляните же, наконец, и на себя самих! — и люди с удивлением видят то, что в буднях труда они не могли еще постичь в его прекрасном целом.

Пришвин был, прежде всего, работником на поприще человеческой культуры, культуры чувства и ума. Он сам на этот

пункт направлял внимание читателей, критиков, исследователей; но многие усердно величали его «певцом природы», полагая в этом эпитете особую похвалу. Заговорив о Михаиле Пришвине, К. Паустовский (сам отличный стилист и мастер ландшафта) дает нам в итоге прекрасные этюды русской природы, умело приоткрывая некоторые творческие ходы как своего, так и пришвинского метода. Но некоторые другие черты пришвинского художественного «объекта», отличающие его от самых тонких пейзажистов, остаются, к сожалению, в тени. Рискуя выйти из границ литературной темы, замечу, что если представители самой человечной из наук — медицины — гордятся малейшей возможностью оздоровить и направить интенсивно возрастающий процесс «сапиентации», то стремление одного из воспитателей человеческих душ поставить искусство слова на службу этому же процессу достойно серьезного и кропотливого изучения.

Ю. Е. Бирман студентом в связи с научной работой по пришвинской теме состоял в короткой переписке с писателем, один раз виделся с ним. Однако память о Пришвине, постоянный интерес к его творчеству сохранил на всю жизнь. В настоящее время работает над серией очерков «Беседы о Пришвине».

[1] Среди произведений, в которых Пришвин пытается осмыслить свой метод художественного творчества, можно выделить «Мой очерк» (1923), «Охота за счастьем» (1926), «Журавлиная родина» (1929).

[2] В. К. Арсеньеву и герою его книги «В дебрях Уссурийского края» посвящается глава «Дерсу Узала» (Собр. соч. в 8-ми томах, т. 4, с. 434—439).

[3] Один из случаев такого «естественного влияния» Толстого описан Пришвиным в романе «Кащеева цепь». Мать, Мария Ивановна Пришвина, доказывая дочери какую-то свою мысль, говорит: « Недалеко от нас живет человек всемирно известный, в его сочинениях все люди здоровые, никаких нет надрывов, и сам он устраивает школу, даже пашет землю. Почему ты не посмотришь <...> с точки зрения его идеалов?» (Собр. соч. в 8-ми томах, т. 2, с. 158).

[4] См. комментарии к статье А. М. Ремизова «М. М. Пришвин».

[5] С кругом поэтов-символистов Пришвин сошелся в 1908 году, став членом Петербургского религиозно-философского общества. О влиянии («один день — год в моем развитии») и противостоянии этому влиянию свидетельствуют многочисленные записи дневника этих лет, а также позднейшие постоянные размышления Пришвина о литературе начала века и о литературной среде Петербурга. См.: Собр. соч., т. 8, с. 163—183.

[6] *А. Бергсон* (1859—1941) — французский философ.

[7] *В. С. Миролюбов* (1860—1939) — журналист, издатель и редактор, привлеченный Горьким к работе над изданиями «Знания», в 1911 г. написал Пришвину письмо с предложением издать в «Знании» свои произведения.

[8] Лицо не установлено.

[9] Рассказ «Друг человека» (1951) см.: Собр. соч., т. 5, с. 371.

[10] О книге К. С. Станиславского «Моя жизнь в искусстве» Пришвин пишет в 1931 году в связи с работой над книгой «Журавлиная родина»: «*31 января.* Я хотел написать авторские признания, изложить свои домыслы о творчестве с иллюстрациями, чтобы этим ответить на обращенные ко мне запросы: раскрыть тайны творчества. Меня очень смущала при этой работе возможность выйти за пределы искусства и претенциозно высунуться учителем молодого поколения. Вот почему я в этой работе свои мысли высказывал не абсолютно, а только относительно их рабочей ценности в своем собственном литературном произведении, вроде как это сделано у Станиславского в его книге «Жизнь в искусстве».

О. Серова

ВСЕГДА СО МНОЮ

Голубую книжку под названием «Незабудки» прислала мне Валерия Дмитриевна Пришвина — жена писателя, с автографом: «О. В. Серовой на память о нашей встрече при жизни Михаила Михайловича. 23.II.62 г. Дунино».

«...При жизни Михаила Михайловича...»

Эти строки осветили то далекое, что долго томилось во мне, и оно запросилось на волю.

Наверное, писать о великом человеке надо как-то необыкновенно. Я же всего-навсего его робкая ученица. И все-таки пусть написанное мною будет попыткой поведать о том, что связано с именем Михаила Михайловича Пришвина. Но для того чтобы поведать по-настоящему, нужна целая поэма. О чем она?..

О девочке, которая жила у широкого, как море, озера. Девочка бродила по горным ущельям и лесам, слушала разговор деревьев и шепот трав, пение горных ручьев и речек.

Нетрудно догадаться, что эта поэма автобиографична.

Город своей мечты построила я за синими горами, у прозрачного гольцового озера и поселила возле него своего Нездешнего друга.

Какие письма я писала в его Нездешнюю страну! То были наивные строки, и назывались они «Письма Нездешнему другу». Острая тоска по общению с родной душой была в тех письмах. Всякий раз встреча с прекрасным пробуждала стремление высказать его в образе. Это неодолимое стремление и привело меня к творчеству.

Так я вышла на тропу, ведущую к Пришвину. Слово Пришвина стало мне отрадой и утешением в минуты горя и укреплением веры в себя.

Чудесное противоречие испытываешь, открывая Пришвина. Ведь знаешь, что в познании мира он — высочайшая скала и до нее идти и идти, и в то же время все сказанное им воспринимается как равное тебе. Пришвин никогда не принижает, а, доверительно, внимательно разговаривая с тобой, одновременно будто прислушивается к тебе и до глубины понимает тебя.

Мне хотелось написать благодарное письмо Михаилу Ми-

хайловичу. То было еще до Великой Отечественной войны. В войну я уехала на северный Байкал и стала работать в районной газете «Красный байкалец».

За материалами я отправлялась на баркасе вместе с рыбаками в море, полюбила этих мужественных, немногословных людей. Я научилась грести, ночевать в лесном укрытии, а порой просто под лодкой или у костра, слушать и петь песни. Впервые довелось мне сесть верхом на лошадь.

Все свои миниатюры я писала тогда только для себя.

И однажды, когда все мое существо встрепенулось от весеннего возрождения Байкала, стремление поделиться с живым человеком стало совершенно непреодолимым.

Я написала свою первую миниатюру «У окна» и послала ее Михаилу Михайловичу Пришвину.

Хотелось верить, что Михаил Михайлович непременно ответит, пусть, может быть, и не скоро.

Но ответ пришел на двенадцатый день.

Привожу ответное письмо Михаила Михайловича полностью:

«13 мая 1945 г.

Дорогая Ольга Васильевна!

Вашу маленькую поэму «Возрожденный Байкал» следует закончить словами: «То шумел прибоем возрожденный Байкал», а то величие момента возрождения Байкала снижено личным человеческим чувством.

Так и было после чтения у меня в небольшом кругу. Один из присутствующих сказал в заключительном слове:

— Это она мужа ждет?

— Нет, — ответил я, — жениха.

— Но все равно жених будет ее мужем.

— Нет, этот жених ее мужем не будет.

После этого все сошлись на том, что последние строчки надо удалить.

По этой вещице можно догадаться, что Вы обладаете хорошим поэтическим чувством и мастерством тургеневской школы. Пришлите мне еще несколько подобных вещей, чтобы можно было, соединив их в серию, под каким-либо ярким названием предложить в какой-нибудь толстый журнал.

Правда, сейчас еще очень трудно печатать вещи, подобные Вашей, но я имею надежду на то, что журналы, как Ваш Байкал, возродятся.

Желаю Вам успеха и всего хорошего.

Михаил Пришвин».

Михаил Михайлович выполнил свое обещание. В мае 1945 года я получила журнал «Смена», где была помещена моя миниатюра «Возрождение» с предисловием Пришвина — «Чувство природы».

А потом приходили письма от Михаила Михайловича, и каждое его слово было для меня озарением.

Но всегда Михаил Михайлович строго и взыскательно относился к тому, что я ему присылала.

«Москва. 22 октября 1946 г.

Дорогая Ольга Васильевна!

Отбросьте всякие сомнения и обращайтесь ко мне, как раньше, попросту, со всякими вопросами. Я столько перемучился сам в литературном угаре и столько имел дел с другими мучениками слова, что ничем меня не удивишь.

Я очень рад, что Вы поняли, насколько качество напечатанной вещи выше последующих опытов. Держитесь высокого стиля, коим написан Байкал «У окна», и все будет хорошо. Я сам всегда жил делом, выйдет что-нибудь хорошее, и я стараюсь на этом основании двигаться дальше...

...Поглядите на ручьи, бегущие в распадках берегов Вашего Байкала, и будьте ручьем.

Всего Вам доброго. Пишите.

Михаил Пришвин».

Михаил Михайлович умел сказать правду о творчестве и отрезать ненужное, как опытный садовник лишние пасынки с плодовых деревьев.

«Москва. 7 марта 1947 г.

Дорогая Ольга Васильевна!

...Сюжет, о котором Вы пишете, по-моему, не есть сюжет, то есть мыслимый костяк будущей вещи. Скорее это нечто противоположное сюжету. Сюжет — это творческое самоутверждение, творческий покой. Напротив, у Вас все в тревоге, и я это понимаю. Это было раньше давно у меня, когда я еще не имел возможности смело распоряжаться моими материалами и свое личное переживание переносил туда. Надо отделаться от этой тревоги личной, мешающей творчеству... Надо взять писательство в свои руки, а для этого мой совет: нужно самому стать в своих глазах выше писательства. Этого нужно добиться, чтобы не стать пленником неясного влечения.

Разве не замечали Вы, что умение отказаться от некоторых вещей является средством ими завладеть...

...Будьте просты, как дети, стремитесь к радости, заметая следы своих страданий. Мне иногда кажется, что надо быть очень счастливым, чтобы в искусстве заниматься трагедией.

Мы же хорошо если посредством искусства вернем себе детство, и деловые, милые, живые люди, отцы и матери, вспомнив своих кровных детей, нам улыбнутся.

Мой совет Вам: будьте просты, как дети.

Ваш М. Пришвин».

То немногое, тогда мною написанное (порой не совсем зрелое и отточенное), я отправляла Михаилу Михайловичу. Но Михаил Михайлович все посланное терпеливо прочитывал и отвечал с неизменной учтивостью, теплотой, умея как-то по-родственному похвалить или пожурить, находя ободряющие слова.

«8 декабря 1947 г.

...То, что Вы прислали мне, — писал Михаил Михайлович, — не поэзия, а мечтательная эротика. Не бойтесь этих слов: не Вы одна живете в этих чувствах, мы все их таим. Но «Песнь песней» все эти чувства открывает людям, как святое святых, и дело художника в этом именно и состоит: осветить эти чувства, как сумели Вы так отлично в рассказе «У окна»...

...Повторяю, Ваша душа поэтической природы, у Вас есть талант, но учитесь им владеть...

Будьте же здоровы, спокойны и уверенны, как белка на кедре.

Михаил Пришвин» [1].

Я как-то поведала Михаилу Михайловичу о своих письмах Нездешнему другу. И как он понял этот мой порыв, как разделил его иносказательную сущность — стремление к недосягаемой мечте!

«...Вы должны помнить и никогда не забывать, что не одна Вы мечтаете о стране за горами и Нездешнем женихе или музе, как называют этот творческий агрегат нашей души. Потому напоминаю Вам — не забывать, что каждый из нас склонен думать, что такое состояние души свойственно только ему одному.

Нет! Это состояние свойственно очень многим, но лица этих муз или женихов у всех разные, и, вероятно, эти-то разные лица и создают из всех людей каждого особенным».

Пришвин, художник и мыслитель, угадав во мне даже то

немногое, отпущенное мне природой, хотел это немногое укрепить и тем вдохновить на кропотливый и тяжкий писательский труд. Именно на кропотливый, потому что в то время терпения для такого труда было у меня немного. Но главное — я была уже не одна, со мною было понимание большого человека и писателя. Пришвин искренне хотел, чтобы я не тратила напрасно времени и сил на ненужные бессмысленные ошибки. Об этом он писал в письмах.

«23 января 1946 г.

...Вы несомненно поэтически одаренный человек, но вынуждены были заниматься практической биологией. В моей биографии было то же самое: свою любовь к природе (поэзию) я нелепо хотел реализовать в агрономии. Только в 29 лет я понял эту нелепость и, отринув от себя навсегда прах биологии, отдался всей своей личностью служению слову.

Тогда совершилось чудо: я уцелел и в свои нынешние 73 года чувствую себя целым».

Об этом же писал Михаил Михайлович в другом письме:

«...Пора бы и Вам приходить в равновесие, а то все у Вас одни огорчения. Спокойствия Вам желаю и хорошо знаю, что как только станет поспокойнее, то все само у Вас будет делаться и хорошо».

Чтобы укрепилось наше равное на равных и я была бы более доверчива и открыта, Михаил Михайлович стал подписываться: «Крепко жму Вашу руку, товарищ!» Это был дорогой подарок.

Сколько раз я мысленно видела эту встречу. И вот настал такой день. Москва. 19 марта 1948 года. Была в гостях у Михаила Михайловича.

Открыла дверь высокая, статная женщина. У нее было бледное красивое лицо, карие, внимательно глядящие глаза.

— Вы Ольга Васильевна. — И просто представилась: — А я Валерия Дмитриевна, — и протянула мне руку.

— Миша! — громко позвала мужа Валерия Дмитриевна. — Встречай гостью.

В прихожую вышел Михаил Михайлович. Он очень был похож на свой портрет, много раз виденный мною.

— Ну, здравствуйте, здравствуйте! Вот она какая, сибирячка! — воскликнул Михаил Михайлович, и его глаза блеснули из-под очков детским любопытством.

Меня провели в полукруглую комнату с темно-зелеными гардинами, с овальным столом из карельской березы.

— Куда же, куда посадить нам дорогую гостью? — как-то нараспев сказал Михаил Михайлович стоящей и улыбающейся Валерии Дмитриевне. — Посадим на самое почетное — на диван.

От этой ласковой, мне хочется сказать — округлой речи, от произношения «р», похожего на журчание ручья, бегущего по круглой гальке, мне стало как-то вдруг покойно и уютно.

Валерия Дмитриевна вышла, по-видимому, приготовить угощение, а я все смотрела и смотрела на Пришвина, и казалось мне, что вечно была с ним знакома.

— Вот вы какая, сибирячка! — вновь повторил Михаил Михайлович. — А тут, знаете, приходил ко мне один писатель, да вот Нечаев был, а я о вас у него выспрашивал, а он вас совсем не такой представил: нервная, говорит, обидчивая, а вы совсем-совсем не такая. — И рассмеялся так же раскатисто, как и говорил.

— Какая же? — осмелилась спросить я.

— Да просто милая... — И, покачав головой, добавил: — Вот ведь сочинитель какой.

И как-то сама собой пошла беседа. Михаил Михайлович щелкал кедровые орехи, а я рассказывала о добыче ореха, о том, как колотят шишку колотом и как градом она летит с высочайших деревьев и лежит в хрустящих листьях бадана.

Внимательно слушал меня Михаил Михайлович, а потом сказал:

— Вот вы бы и написали целый цикл новелл под названием «Сибирский разговор», право ведь, это превосходный пласт жизни, где природа, и люди, и история, настоящее и будущее — все так живо может быть переплетено. Уж я бы на вашем месте так расписал все это, — как-то подзадоривающе и с лукавинкой произнес Михаил Михайлович, — все бы расхвалили... Подумайте над этим и начинайте писать не откладывая.

— Ну, а за ягодами хаживали? — спросил меня Михаил Михайлович.

Я всегда увлекалась сбором ягод и стала рассказывать о том, что у нас, в Прибайкалье и Забайкалье, сбор лесных ягод — это целый промысел.

— Вот-вот, — говорил Михаил Михайлович, — обо всем этом и надо писать, это и есть бесконечная и неисчерпаемая тема «Сибирского разговора». А потом, какой редкостный ландшафт, какое чудо открытий. Ну где еще теперь можно встретить в естественных условиях заросли дикой смородины, да еще такой необыкновенной, о чем вы как-то мне писали.

Ведь смородина у нас растет только в садах, а у вас она в тайге у лесных речек и на горах. Да... мало кто знает о том, в каких первозданных местах растут сибирские ягоды и орехи и какие силы, сноровку, умение нужно иметь, собирая их. Все это надо живописать.

Тема нашего «московского разговора» быстро менялась. Я спросила:

— А находите ли вы время, Михаил Михайлович, писать только для души?

— Как вам сказать, я все пишу для души, — доверительно произнес Михаил Михайлович, — но, правда, бывают только мои минуты. Они, как письма вашему Нездешнему другу, обращены только к мечте, к которой каждый из нас стремится, и чем она дальше, тем ты больше борешься и стремишься к ней. Все, что льется из-под пера в те ранние утренние минуты, пока только для себя. Пока, потому что еще не отстоялось. Потом, если жив-здоров буду, непременно выберу из этих мечтаний интересное для всех, а пока же это как любовное признание, оно только мое.

Знаете, все это как сны, а они ведь бывают прекрасны и сумбурны, значительны и мелки, а что-то окажется со временем очень нужным и неповторимым. Одно знаю, раз ты на что-то обратил внимание, что-то запало в душу семенем, то когда-нибудь оно взойдет, пусть и пролежит долгое время...

Валерия Дмитриевна накрыла стол клетчатой скатертью и принесла пахнущие ванилью творожники и дымящееся какао.

— Вы любите какао? — спросил меня Михаил Михайлович.

— Спасибо, мне очень хорошо у вас, — призналась я, — а потом как-то в гостях все всегда вкусно.

— Да, это верно, — согласился Михаил Михайлович, — знаете, я с детства такое приметил.

Темы для беседы возникали как-то сами собой. Я уже не помню теперь, в какой связи мы заговорили о приятии жизни в молодости и в старости.

Говорили и об одухотворении природы.

— Одухотворение природы — как это органично для человека, — сказал Михаил Михайлович и вдруг спросил: — А могли ли вы и приходилось ли вам рассказывать о наших деревьях, сравнивая их с нами? — и испытующе блеснул глазами из-под очков.

И я высказала свое понимание.

— Так в чем же дело?! — воскликнул Михаил Михай-

л о в и ч. — Так-то мы все вместе и создадим поэтический пейзаж и оставим его для потомков н а ш и х. — И с грустью добавил: — Ведь может статься, что этот пейзаж в живых они не увидят...

...Когда я вышла от Пришвиных, уже вечерело. Мне все казалось каким-то обновленным, особенным.

Вспыхивали интонации его голоса, взгляд, в задумчивости куда-то устремленный, сосредоточенный на чем-то своем...

...И еще была одна — последняя встреча, через год после первой.

В выходной день, заранее уговорившись с Пришвиным, я должна была приехать к ним на дачу.

Нас встретили Пришвины. Был февраль. Стоял он холодный и снежный. Все деревья были в пушистых хлопьях, в Сибири их называют кухтой. Обилие снега создавало такое впечатление, что дом был им задавлен.

...Решено было стряпать сибирские пельмени, ответственность за их изготовление легла на меня.

— Я никогда не едал таких пельменей, лучше не придумать, ну и п е л ь м е н и, — нахваливал Михаил Михайлович,

Кому из стряпух не бывает приятна похвала...

Обед продолжался долго. Михаил Михайлович рассказывал о своей поездке по Дальнему Востоку.

После обеда все, кроме Валерии Дмитриевны, пошли во двор стрелять в мишень из мелкокалиберной винтовки.

И снова Михаил Михайлович показался мне большим ребенком. Он был не по летам оживлен, смеялся, когда попадал в цель, первым бежал к мишени, кто бы ни выстрелил, подсчитывал очки и оказался победителем в состязании.

Потом мы все направились в столовую, отогревались горячим чаем.

А время неумолимо двигалось... Предстоял отъезд.

И снова Михаил Михайлович напутствовал меня:

— Вот если бы вы действительно по-настоящему взялись за «Сибирский разговор» — это было бы то, что надо. Это совершенно необъятная тема, и я представляю ее себе в некотором подобии с моим «Колобком».

Со двора слышен был шум мотора. Надо было прощаться.

...И тут какое-то непреодолимо-горестное чувство печали охватило меня. Нет, никогда я не увижу этого человека и не смогу более сказать того, что хотела.

Предчувствие мое оправдалось. Судьба сложилась так, что

больше мне никогда не удалось повидаться с Михаилом Михайловичем.

Смерть разлучила нас, оставив навсегда со мною.

О. Серова — читательница Пришвина, родом с Байкала, писатель поддержал ее первые шаги в литературе, состояла в переписке с Пришвиным и несколько раз виделась с ним.

[1] В дневнике сохранился черновик письма:

«6 декабря 1947 г.

Ольга Васильевна! Вы не одна мечтаете о нездешней стране за горами и не у одной Вас нездешний жених или муза, как чаще называют этот творческий агрегат нашей души. Свойство этого агрегата, что он имеет личный характер и как таковой непонятен и странен для другого лица, исключительность должна тщательно укрываться от других людей. Вот почему мы эту музу или нездешнего жениха одеваем в обычную одежду всех людей, и в таком реальном виде не стыдно бывает выпустить и музу и жениха в люди. Вы это отлично сделали в рассказе «У окна».

После того вы бросились писать свою книгу не поэтическим методом, а не знаю, как назвать эту растрату поэзии, которая называется «очеркизмом» и проч. Эту помесь поэзии с арифметикой.

Теперь возвратимся в присланной вещи снова к поэзии. Но Вы не прячете своего жениха в одежды ранне-весеннего Байкала, как в рассказе «У окна», а прямо-таки голеньким, вполне Вашим личным выпускаете в свет. Начало — первые страницы очень хорошо написаны. Я повторяю — Ваша душа стоит на поэтической природе, у Вас есть талант, но Вы им совсем не владеете. Но, что Вы написали, есть не поэзия, а мечтательная эротика. Спрячьте же ее в форме, но только не в очерковой, как хотели сделать в книге «О рыбе».

Посвятите свой досуг этой трудной и целомудренной работе. Благодарите судьбу, что она дает Вам возможность спрятать свою поэтическую душу от людей в какое-то честное дело (рыбное).

Поздравляю Вас с освобождением от обязанностей учить других людей делу, которое сами не умеете делать. Не учите, а работайте не спеша для себя в часы отдыха от своего повседневного труда для дела хлеба насущного. Вся беда, о которой Вы пишете, есть следствие некультурности Вашей среды: они, мучая Вас, не знают, что творят.

Но талант редко находит для себя прямой путь, и Вы сами виноваты, что неодетая вышли на улицу и позволили улице узнать Вашу музу в каком-то «враге». Благодарю Вас за орешки, я целый вечер сидел и щелкал их, обретая совершенно душевное равновесие. В руках у Вас такие могучие средства борьбы: как только случится беда, садитесь за орехи и отщелкивайтесь. При случае каждый раз непременно присылайте мне эти орехи. Еще раз: соберитесь в себя, работайте с омулями на одной стороне и боритесь за свой истинный мир с помощью кедровых орешков».

А. Макарова

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ

К Михаилу Михайловичу Пришвину меня привели литературные дела ранней весной 1939 года. Трудясь на поприще детской и юношеской литературы, я узнала, что вышла в свет очень интересная повесть для детей под названием «Саджо и ее бобры». Ее автор — индеец племени оджибуэй, получивший прозвище Серая Сова (Вэша Куоннезин) за свои ночные охотничьи странствования. Я подумала, что если бережно перевести эту книжку на русский язык, то сделаешь хороший подарок для наших детей.

Я перевела пробные отрывки из повести и с волнением пришла в Детиздат. Выслушав меня, редактор Гершензон сочувственно сказал, что я опоздала, что над пересказом книги Серой Совы уже несколько месяцев работает М. М. Пришвин.

Гершензон тут же позвонил по телефону Пришвину. На мое счастье, оказалось, что Михаил Михайлович работает над автобиографией Серой Совы, вышедшей в Америке под названием «Странники лесной глуши».

Скоро мой перевод повести «Саджо и ее бобры» был включен в план издательства. Одновременно Гершензон посоветовал мне поместить статью о своей находке в литературно-критическом журнале «Детская литература».

С легким сердцем я села за работу и вскоре принесла в редакцию свою статью. Несмотря на то что она понравилась, что-то тормозило и мешало выходу ее в свет. Мне посоветовали поехать к Михаилу Михайловичу Пришвину и попросить его прочесть мою работу и высказать свое мнение.

С волнением сняла я телефонную трубку, чтобы договориться о встрече.

— Да, да, это Михаил Михайлович, — раздался по телефону приветливый голос.

Не зная, как представиться, я сказала, что говорит автор перевода «Всадник без головы».

— Ах, вот вы кто! Очень рад, очень рад. Чудесная книжка, с детства ее люблю. Зайдите, пожалуйста, поговорим.

Я волновалась. На душе было какое-то двойственное чув-

ство: с одной стороны, я была под приятным впечатлением приветливого приглашения, с другой — не могла забыть предупреждения редактора о том, что у Михаила Михайловича непреклонный характер.

С этими мыслями я вошла в ворота дома № 17, поднялась на лифте на шестой этаж и остановилась перед дверью квартиры М. М. Пришвина. В руках у меня был голубой томик: «Всадник без головы» в моем переводе, недавно изданный Детиздатом.

Не раз я видела Пришвина на писательских собраниях, но только издали. Он всегда напоминал мне русского богатыря — олицетворение духовной и физической силы. Он был строг на вид, когда сидел за столом президиума. Но теперь, в домашней обстановке, я увидела перед собой радушного хозяина, очень простого и милого человека. И через несколько минут почувствовала к себе то «родственное внимание», которое так согревает и радует в книгах Пришвина.

Мы прошли по длинному коридору с книжными шкафами в кабинет Михаила Михайловича. Это была большая светлая комната с ярко-синими обоями, на фоне которых красиво выделялась старинная мебель красного дерева. На стенах висели художественные фотографии из охотничьей жизни Пришвина. Большинство, как я потом узнала, были сняты самим писателем.

Я рассказала Михаилу Михайловичу, что меня волновало, из-за чего я к нему пришла. Стоило мне произнести имя Серой Совы, как лицо его засияло радостью. Он мне сказал, что очень увлекся работой над биографией индейского писателя и что история знакомства с ним — правда, только книжная — произошла, как в сказке. «В детстве я уже было собрался бежать в неведомую страну, где живут индейцы, — ведь многих мальчишек увлекала эта романтика, но тогда ничего не вышло. А вот теперь, на старости лет, детская мечта сбылась, — я подружился с индейцем».

И Михаил Михайлович подробно рассказал мне, как он напал на след Серой Совы. В Англии была переведена и издана поэтическая повесть Пришвина «Жень-шень». В заметке, помещенной на суперобложке этой книги, рецензент высказал мнение, что есть поразительное сходство между творчеством русского писателя Михаила Пришвина и творчеством индейского писателя Вэша Куоннезина — Серой Совы.

— Я написал в Лондон, — продолжал Михаил Михайлович, — и мне прислали книжку Серой Совы «Pilgrims of the

Wild» — свежая, искренняя книга. Вот так и вошел индеец в мой дом, в мое сердце.

Михаил Михайлович порадовался и моей находке. Прочитав статью, Михаил Михайлович сказал мне, не сделав никаких критических замечаний, что он напишет небольшое предисловие к ней и что это, наверно, поможет выходу в свет не только статьи, но и книги.

Я была счастлива. У меня было такое чувство, словно я еще раз в своей жизни выдержала государственный экзамен. И я была бесконечно благодарна Михаилу Михайловичу за доброе слово, за внимание.

На прощанье мы обменялись книжками. Михаил Михайлович подарил мне изящный томик «Жень-шеня» с автографом: «На память об общем друге Серой Сове». Я была очень тронута этим подарком и рада была, что захватила с собой «Всадника без головы», и особенно потому, что Михаил Михайлович любил эту книгу, и мне приятно было ему подарить с надписью: «Дорогому учителю...»

Так произошло наше первое знакомство с Пришвиным, так началась наша дружба, которой я очень дорожила до последних дней жизни этого чуткого человека и замечательного писателя.

Одна за другой стали появляться восторженные статьи и рецензии писателей и критиков на книги Серой Совы. В период с 1939-го до мая 1941 года на автобиографию Серой Совы в пересказе Пришвина и на мой перевод повести «Саджо и ее бобры» появилось, насколько мне известно, 11 рецензий и статей в наших журналах и газетах.

Прошло 10 лет.

23 сентября 1950 года в «Литературной газете» была напечатана статья профессора Зимана под названием «О Серой Сове».

Зиман с удивительной развязностью называет Серую Сову «наемным писакой», «литературным гангстером», «разбойником от пера». Я прочла эту статью в Киеве, мне пришлось срочно вернуться в Москву, чтобы протестовать против недостойной статьи, так как имя Серой Совы мне было дорого.

Дома в Москве меня ждала взволнованная открытка от Пришвина с просьбой повидаться. Надо сказать, что статья Зимана была напечатана в связи с выходом в свет сборника избранных сочинений Пришвина «Зеленый шум», в котором была помещена пересказанная писателем автобиографическая повесть Серой Совы.

В моей библиотеке был английский текст — оригинал

автобиографии индейского писателя, я читала ее много раз, но прежде чем ехать к Михаилу Михайловичу, я снова перелистала эту книгу. Я просто терялась в догадках, как могла проникнуть в нашу печать такая нелепая статья.

Зиман в своей статье высказывает удивление, «как мог Пришвин — один из любимых советских писателей, глубоко знающий жизнь, так легковерно отнестись к стряпне американского «разбойника пера».

Элементарная этика требует: раньше чем написать о книге, надо ее прочесть. А Зиман не читал автобиографии Серой Совы в подлиннике, хотя пишет так, как будто бы он ее прочел. Он пишет: «Примером такого рода «литературы» может служить изданная в Америке еще перед второй мировой войной книга «Серая Сова». Книга эта представляет собой якобы биографию индейца».

Такая книга в Америке не выходила, под этим названием вышел пересказ Пришвина, а подлинная автобиография вышла под названием «Pilgrims of the wild» («Странники лесной глуши»).

Но Зиман не только не прочел автобиографии Серой Совы в подлиннике, но он не потрудился прочесть внимательно и ничего не понял из глубоко прочувствованного пересказа Пришвина. Чем же еще можно объяснить те ужасные искажения, на которых построена вся статья?

На Пришвина статья произвела удручающее впечатление. И он никак не мог понять, как могла «Литературная газета» напечатать такую несправедливую оскорбительную статью, даже не поставив в известность его, старейшего писателя.

Что делать? Позвонить в «Литературную газету»? Было бы тяжело с ними говорить после такого поступка. И мы решили с Михаилом Михайловичем, что надо написать в Союз писателей письмо — каждый со своей стороны — с протестом против статьи Зимана и с опровержением ее.

Михаил Михайлович был доволен, что у меня было твердое решение бороться. Прошло немного времени, и мы подали в секретариат Союза писателей свои протестующие письма. Вот текст письма Пришвина: «23 сентября сего года «Литературная газета» под заглавием «О Серой Сове» напечатала статью Зимана, рассчитанную на диффамацию славного писателя индейца и превосходного человека, умершего за несколько лет до войны.

Я имею полное основание утверждать, что Зиман не читал сочинений Серой Совы в оригинале и позорит писателя угне-

тенной нации в то время, когда именно нам в Советском Союзе и нужно его защищать.

Переводчица его книг Алла Юльевна Макарова, знаток его сочинений, уже представляла свой доклад в секретариат, и я не буду повторять ее аргументы.

Меня бесконечно возмущает поведение «Литературной газеты», печатающей неграмотную статью, ошибочно рассчитанную на дешевую политическую сенсацию. Неужели нельзя было, прежде чем печатать против моей книги (переложение книги Серой Совы) статью, запросить меня самого?

Обращаюсь с просьбой в секретариат отнестись к диффамации индейского писателя со всей строгостью нашей советской морали.

Михаил Пришвин».

Как ни старался Пришвин отогнать от себя неприятную мысль о недостойном выступлении Зимана, она, как назойливая муха, не оставляла его. Он пробует уйти с головой в творчество — это испытанное верное средство. С удивительной настойчивостью писатель работает над своим новым произведением «Заполярный мед».

Я познакомилась у Пришвина с героем рассказа «Заполярный мед» Константином Сергеевичем Родионовым, научным работником института пчеловодства, о котором так хорошо сказал Пришвин в своем рассказе.

Я впервые слушала «Заполярный мед» и удивлялась творческой энергии Пришвина, обладавшего бесценным даром увлекаться и гореть в своем творчестве, а на сердце ведь было тяжело, обида не была забыта.

За неделю до отъезда в санаторий Михаил Михайлович записался на прием к А. А. Фадееву — секретарю Союза писателей, и пригласил меня пойти вместе с ним. В ответ на наши письма в Союз писателей мы получили от А. А. Первенцева, на чье имя мы адресовали письма, ответ о готовности ускорить рассмотрение нашего вопроса в секретариате.

А тем временем издательства (Детгиз и «Молодая гвардия»), с которыми у нас была договоренность о переиздании книг Серой Совы, приостановили работу, поставив непременным условием для возобновления работы над переизданием дать опровержение на статью Зимана в печати.

Все это и заставило нас обратиться к Фадееву. Свидание состоялось 2 января 1951 года, насколько помню, в 4 часа дня. Александр Александрович принял нас очень внимательно, но он не читал статьи Зимана и ничего об этом деле не знал.

Трудно было в короткое время рассказать обо всем обстоятельно. К счастью, я захватила с собой злополучный номер «Литературной газеты», так что Фадеев смог бегло просмотреть статью[1].

Фадеев посоветовал нам обратиться к заместителю главного редактора «Литературной газеты» Б. С. Рюрикову и поговорить с ним об опровержении. Вечером этого же дня Михаил Михайлович написал мне открытку. Вот ее текст:

«2 января, вечером.

Дорогая Алла Юльевна!

Помните? — Фадеев назвал Рюрикова. Я ему звонил в «Лит. газ.». Он ничего не знает. Прошу Вас ознакомить его с нашим делом и дать прочесть Вашу статью. Если у вас нет статьи, то возьмите у меня, она сохраняется. Рюриков, повидимому, способен вникнуть в дело, и помочь. Направьте его к Аплетину для информации. Телефон Рюрикова: К5-00-00 («Лит. газ.»). Можете сказать, что идете по моему поручению.

Будьте здоровы.
М. Пришвин.

P. S. Действуйте срочно, а то через 2—3 дня он обещал дать ответ, а его могут неправильно информировать. Получите открытку — позвоните».

Свидание с Рюриковым состоялось без задержки. Я ему рассказала подробно о Серой Сове, и его творчестве, и о тех восторженных рецензиях, которые появились в наших газетах и журналах после первого знакомства в нашей стране с книгами Серой Совы, и выразила удивление, как такая статья могла прорваться в «Литературную газету».

Статья Зимана лежала на столе, и Рюриков ее прочел. Я положила рядом свою статью, чтобы он ее тоже прочел и сопоставил обе. Рюриков обещал над всем серьезно подумать и известить нас.

Перед самым отъездом в санаторий Пришвин написал Рюрикову письмо следующего содержания:

«6 января 1951 г.

Уважаемый Борис Сергеевич.

Статья Зимана настолько невежественная, нечестная и совершенно бездарная, что, если я буду отвечать по ее заслугам, напечатать будет невозможно. Вот почему я и обратился с

этим делом к Фадееву, что сама газета не хочет одуматься, а я сам не в состоянии успокоиться до мирного тона. Больше скажу Вам, с тех пор как была напечатана эта мусорная статья, газета мне стала чужой и я в ней до тех пор не буду писать, пока не прочту опроверженья от самой газеты.

В нашем распоряжении имеется отличная работа А. Ю. Макаровой о Серой Сове, вполне спокойная и обстоятельная. Мне кажется, она способна и написать в газету корректно и удовлетворительно для нашей и Вашей стороны. Кроме того, наверно, что-то сделано и в Иностранной комиссии.

В настоящую минуту я уезжаю для лечения в санаторий, и к тому времени, когда я вернусь, следует Вам это дело закончить, напечатать опровержение и тем самым дать мне и Макаровой возможность печатать наши книги о Серой Сове, а также писать и в «Литературную газету». [1 нрзб.] Фадеев в спешке забудет мою просьбу, то по выходе из санатория я буду своего добиваться, и поверьте мне: когда дело идет о правде, я своего всегда добиваюсь.

Вы должны понимать, что диффамация лучшего представителя угнетенной нации в советских условиях есть безусловно преступление и Вы должны найти виновника. Я убежден, что Зиман в подлиннике Серую Сову не читал, и могу это доказать. Но почему же газета печатает сомнительную статью и не запросит по телефону автора перевода Серой Совы, старейшего русского писателя?

Очень прошу Вас закончить это дело миром и поскорее. Помните — я не уймусь, не забуду, не успокоюсь и не прощу!

Михаил Пришвин».

Пришвин уехал в санаторий, а я продолжала переговоры с «Литературной газетой» относительно опровержения, которые никаких результатов не дали. В конце концов Рюриков сказал, что нужно, чтобы сам Пришвин написал бы эту статью для газеты, и что надо подождать его возвращения из санатория.

После месячного пребывания в санатории в Барвихе в начале февраля Пришвин вернулся домой. Я навестила Пришвиных на следующий день после возвращения Михаила Михайловича. В кабинете стояла красивая корзина с цветами, как сейчас помню — белая сирень и розовые цикламены, — это был подарок ко дню 78-летия писателя, преподнесенный ему в санатории.

Я рассказала Михаилу Михайловичу о моих переговорах

с «Литературной газетой», которые не дали никаких результатов. У Михаила Михайловича этот разговор вызвал раздражение, он не мог спокойно говорить на эту тему. Но все же обещал позвонить Рюрикову.

Через неделю состоялось свидание на квартире у Пришвина.

«Вчера был у меня Рюриков от «Лит. газеты», обещал твердо кончить дело о «Серой Сове», и я обещал дать в газету статью о мире» (из дневника Пришвина, запись 18 февраля 1951 г.).

Пришвин был рад любому обещанию, чтобы только не думать о мелких ссорах, отравляющих жизнь. Его мысли были заняты большими заботами. Вот запись 17 февраля 1951 г..

«Memento mori! *

1) Бросить все замыслы больших идей, требующих многолетней работы.

2) Писать автобиографию от третьего лица. Цель книги: спасти свои книги и личность автора от забвения, зарастания, искажения. Дать правильную оценку некоторым вещам, неумело законченным, напр. «Кащеева цепь».

3) Использовать биографические свои записи в архивах».

7 ноября Пришвин тяжело заболел. Состояние его было настолько тяжелое, что врачи поместили его в палату, в которую обычно кладут безнадежно больных.

21 ноября смертельная опасность миновала. Пришвин записал в дневнике: «От пережитого остается чувство какой-то необычайной простоты в отношении к смерти, и в то же время кажется теперь в этой простоте что-то очень значительное».

Но выздоровление проходило медленно. Из Боткинской больницы больного направили в санаторий «Барвиха», где он лечился полтора месяца.

Теперь, когда Михаил Михайлович так тяжело болел, а Литгазета бездействовала, оправдываясь, что они не могли договориться с Пришвиным о тексте статьи, а издательства продолжали требовать от нас опровержения, я решила, что единственное, что я могу еще сделать, — это обратиться за помощью в ЦК ВКП(б).

Посоветовавшись с Валерией Дмитриевной и получив ее согласие писать и от имени Пришвина, я написала письмо с просьбой помочь нам в этом сложном и таком важном для нас деле.

---

* Помни о смерти (*лат.*).

Мы с Валерией Дмитриевной пошли вместе и передали письмо в экспедицию при ЦК, веря, что в ответ придет добрая весточка. Это было 21 декабря 1951 г. — со времени опубликования статьи Зимана прошел уже целый год и три месяца.

В начале февраля 1952 года и к нам пришла радость долгожданная. Я получила открытку, на которой было написано всего лишь несколько слов: меня просили позвонить по указанному телефону в ЦК. Когда я сняла трубку и стала набирать номер, я очень волновалась. И как радостно мне было услышать о том, что мы поступили правильно, когда так горячо защищали книги Серой Совы, и что обе книги заслуживают того, чтобы их снова переиздали. Мне сказали также о том, что соответствующие письма будут направлены в Детгиз и «Молодую гвардию», которые планировали переиздание этих книг.

Большая тяжесть упала с моего сердца, и я спокойно вздохнула. Я никак не могла привыкнуть к мысли, что из-за ошибки, которую сделали каких-нибудь два-три человека: один неправильно написал, а другой принял эту статью к печати — сотни тысяч читателей, главным образом из подрастающего поколения, были лишены возможности читать талантливые, искренние книги Серой Совы, имеющие большое воспитательное значение.

И я поспешила поделиться этой чудесной новостью с Михаилом Михайловичем, зная, как он обрадуется, что Серую Сову не дали в обиду.

Когда я рассказала обо всем, Михаил Михайлович весь просветлел и сказал торжествующе: «Помните, я вам говорил, если у нас хватит выдержки, мы победим, — правда всегда побеждает!»

А. Ю. Макарову, переводчицу художественной литературы с английского, свел с Пришвиным общий интерес к творчеству канадского писателя Вэша Куоннезина (Серой Совы). Макарова перевела на русский язык несколько его произведений, а Пришвин стал автором художественного авторизованного перевода книги «Серая Сова» — одной из самых популярных детских книг писателя.

Об этом посещении в дневнике писателя осталась горькая запись: «*2 января 1951 г.* Был у Фадеева с Аллой Макаровой и успел только мало-мальски рассказать о «Серой Сове», в чем дело. Рассказать, чтобы он мог стать на мою сторону, было невозможно из-за спешки. Такая спешка! Нужна особая сигнализация в этой спешке; я чувствовал себя неграмотным мужиком в городе» (Собр. соч. в 6-ти томах, т. 6, с. 335).

И. Френкель

ПАМЯТНЫЙ РАЗГОВОР

Когда я был маленьким и еще не умел читать, я все-таки знал, что чтение доставляет особую радость. Я понял это благодаря моему отцу. Семья жила в зауральском уездном городе. Каждую зиму мама подолгу гостила в Москве у своих братьев. Мы с братишкой оставались на попечении отца. Он был очень серьезным и занятым человеком: много времени проводил в своей химико-бактериологической лаборатории. Впоследствии он рассказывал, что ему привозили на анализы зерно зараженное какими-то бактериями. Свое дело он любил, хотя умел делать и совершенно другое: зная три иностранных языка, переводил научные и художественные книги (известен его перевод романа «Спартак» Джованьоли, произведение, которое отец подготовил к печати уже в наши дни, а начал в молодости). Но в годы нашего детства бактериолог главным образом занят был подпольной большевистской деятельностью, хорошо законспирированной сельскохозяйственными анализами.

Очень я любил стоять между коленями папы, смотреть в открытую дверцу печки на огонь и слушать голос, спокойный и негромкий:

О поле, поле. Кто тебя
усеял мертвыми костями...

Кроме «Руслана и Людмилы» мне нравился «Генерал Топтыгин» и «Сказка об Иване-дураке», о котором я уже знал по «Коньку-Горбунку».

Может быть, у всех детей так: им кажется, что все сказки сочиняет кто-то один. Да это и неважно в твои четыре года. Потом успеешь разузнать об авторах. О Толстом говорил отец в 1910 году, потому что в России всех взволновала тайна смерти писателя. Тогда же я спросил: а кто сочинил Руслана, Топтыгина и Конька-Горбунка?

Удивительные творения Михаила Пришвина я прочел уже взрослым. И каждый раз, когда выходила новая пришвинская книга, обращаясь к ней, я испытывал детское чувство любви к героям, безотносительно к образу автора.

Но, будучи взрослым и любопытным на взрослый манер, я интересовался самим Пришвиным, хоть и не лез и не навязывался на знакомство: мешало чувство особого почтения.

Только один раз Михаил Михайлович сам заговорил со мной. Об этом стоит рассказать, потому что я никогда не забуду того, что было сказано.

Я пришел в Союз писателей по какому-то делу. В коридоре перед комнатами секретарей на диване ждал приема Пришвин — я его, конечно, сразу узнал. Он достал из жилетного кармана большие толстые часы, открыл крышечку и посмотрел. Потом обратился ко мне:

— Скажите, молодой человек, теперь употребляется слово «благородный»?

Я, несколько смутясь и не понимая, к чему клонит Михаил Михайлович, отвечал — да, конечно, это слово и понятие не устарели. И наивно добавил, что я, мол, лично люблю слово «благородный».

— Да? Значит, употребляется? — Он помолчал, а потом с некоторым лукавством взглянул на меня сквозь выпуклые стекла очков. И возразил мне: — А по-моему, говорят по-другому...

— А как, Михаил Михайлович?

Пришвин отвернул в сторону свое большое лицо и после паузы сказал:

— Говорят — неплохой. А благородный — нет, не говорят.

Он снова посмотрел на часы, которые все время держал в руке, покачал головой:

— Трудно ждать, а надо. Видите ли, в «Огоньке» я прочитал рассказ незнакомого мне писателя. Никитина. Как бы мне его найти, хочу написать ему... Уже и в редакции сегодня был, а там сказали, что редактор уехал сюда...

Сегодня, когда Пришвина нет с нами, я часто о нем думаю. Особенно общаясь с самыми молодыми писателями. Никитин сейчас вполне зрелый художник — мне почему-то кажется (я не проверял), что Михаил Михайлович в конце концов написал тогда молодому автору.

Еще хочу засвидетельствовать, что знаком с целым рядом литераторов, которых громадный талант Пришвина привел к собственным шагам в литературе — прозе и поэзии. Считаю большой своей ошибкой ложную скромность и робость, преодолеть которые не мог и в результате не приобрел возможность общаться с Пришвиным-человеком. С оттенком раскаяния я и

читаю теперь и перечитываю многие пришвинские страницы и его мудрые выводы и наблюдения над жизнью. Наверно, надо чаще пользоваться такими понятиями, как благородство, и отказаться от трусливого и дешевого слова неплохой. Во все это стоит вдуматься, чтобы лучше понять душу большого писателя.

И. Л. Френкель (р. 1903) — советский поэт, сосед Пришвина по московской квартире.

С. Никитин

ВЕЛИКИЙ ТРУЖЕНИК

Однажды в Литературном институте ко мне подошел Н. И. Замошкин и сказал, что мои рассказы читал М. М. Пришвин и хочет со мной познакомиться. К. Г. Паустовский, слышавший это, посоветовал:

— Конечно, сходите к нему. Обязательно! Только смотрите, чтобы он не запутал вас. Начнет колдовать, берегитесь. Колдун.

К Пришвину я шел в один из дней «весны воды», шел с чувством смущения пред ликом этого лесного колдуна и прозорливца, опасаясь, что придется держать ответ за всю свою жизнь, которая вдруг показалась праздной, ленивой и мелкой. Словно укор, звучали мне тогда его слова: «Творчество как поведение».

— Это и есть вы? Вот вы какой! — сказал он, улыбаясь светлыми глазами. — Садитесь.

И сам сел напротив в кресле, сложив на большом животе красивые руки. Несмотря на значительную полноту, его тело, даже облаченное в просторную пижаму, казалось очень ладным и пропорциональным. А лицо, обрамленное сединами, с широким благородным лбом мыслителя, было поистине прекрасным. Говорил он много, охотно, спокойно, с сознанием полного права учить и наставлять. Я ничего не прибавлю к тому, что он сказал в тот вечер, сохранив все противоречия, которые, по-моему, всегда отличают натуру глубокую и мыслящую, и опущу только то, что со временем забыл.

Говоря об искусстве, он настойчиво возвращался к одной мысли:

— Проходите мимо временного.

— Шекспир говорил: «Время проходит, и вместе с ним проходит все временное».

— Душа человека — вот что не временно, и только она предмет искусства.

Это он повторял в продолжение всего вечера и это же крикнул через порог, когда я уходил.

— Развитие рассказа пошло по двум линиям — по линии

Чехова и по линии Пришвина. У меня очень много подражателей. Они присылают мне книги и рукописи, которые, говоря по совести, меня раздражают. Подражатель пишет в одной плоскости. А мысль — это многогранный кристалл. Случай на охоте — для них самоцель. От этого случая у них нет выхода к большой мысли, к обобщению, к выводу.

Посмотрел на меня с живым, озорным блеском в глазах и сказал:

— Вы тоже идете по моей линии. Но вы очень самостоятельны. Поэтому я не боюсь за вас.

Хвалил он рассказ «Дожди» С. Антонова.

— Этот писатель идет по линии Чехова. Прочитав «Дожди», я почувствовал себя обязанным написать о нем. Так не напечатали, потому что кому-то где-то рассказ не понравился!

И, помолчав несколько секунд, заговорил:

— Вот Н. умеет отделить политику от художественности. Он типичный приспособленец. Когда считалось, что нужна драма без конфликта, он писал именно такие драмы. Когда же решили, что конфликт в драме необходим, он стал писать драмы с конфликтом... Вообще же настоящая жизнь без конфликта немыслима. Есть солнце, и есть земля, есть огонь, и есть вода...

Очень настойчиво расспрашивал, как живу, требовал подробных ответов.

Снова заговорил об искусстве.

— Чтобы описать ребенка, мне не нужно наблюдать его. Любого ребенка я нахожу в себе.

Сказал не совсем ясное мне:

— У каждого человека есть душа. И все эти души сольются в одну прекрасную душу.

Произнес это тихо, бормоча, и я, подумав, что он говорил это для себя, оформляя какие-то свои, нужные пока ему одному мысли, не стал просить разъяснения.

Рассказывая ему о газетной работе, я упомянул о том, что в редакцию поступает огромное количество стихов, но, как правило, стихи эти малограмотны и бесталанны. Он длинным сравнением по-своему объяснил это явление.

— В лесу, в трудных условиях борьбы за существование, дерево тянется кверху, к свету — и вырастает исполином. А на поляне, где хорошие световые условия, лес растет вширь, но мелкий.

И добавил весьма двусмысленно:

— Вот я — в лесу вырос.

Заговорил про охоту. Я спросил, где он собирается охо-

титься нынешней весной. Он быстро взглянул на меня и радостно воскликнул:

— Как хорошо вы спросили! А вот несколько лет назад в санатории на прогулке меня встретили инженеры, узнали и спросили: «Ну как? Все еще охотитесь?» Они были тоже молодые люди... Неужели они думают, что я могу без охоты! Я им сказал, что охотился, охочусь и буду охотиться. Я еще сказал, что писал, пишу и писать буду до самой смерти.

Неужели кто-нибудь и вправду думает, что он мог без охоты?

Об «обыкновенной» охоте он сказал:

— Моя охота — перепела, тетерева и поздней осенью — вальдшнепы и дупеля.

Запомнился он мне и негодующим, сердитым. Он выпрямился в кресле и резким голосом заговорил:

— Умирает писатель, и Венеру Милосскую в вестибюле Союза писателей закрывают. Раньше простыней закрывали, а теперь — куском бархата. Почему же так стыдятся плоти?! Это той-то, которая воспета в «Песне песней»? Неужели нужно закрывать Венеру, когда умирает писатель!

И еще раз как напутствие прозвучали мне его слова:

— Проходите мимо временного!

Их крикнул он, высунув из двери свою крепкую седую голову, когда я уже был на лестничной площадке.

В этот вечер (17 апреля 1952 года) тронулась Москва-река. Не хотелось возвращаться домой, и я долго стоял на Каменном мосту, дивясь полной иллюзии его полета над неподвижными льдинами.

Еще раз я видел Пришвина в день его 80-летнего юбилея. Можно не сомневаться в искренности поздравительных речей, потому что, мне кажется, не любить Пришвина нельзя.

Когда закончились официальные поздравления, я подошел к нему. Было очень шумно, он стал что-то быстро говорить невнятно и тихо — и я услышал только два четких слова, повторенных несколько раз:

— Хорошо... писать... хорошо.

Я пожал его руку — в последний раз.

В маленьком рассказе «Кукушка» он спрашивал, стоит ли собираться для большого дела, если жить осталось считанные дни, и думал: не стоит!

«Но, встав, бросил последний взгляд на березу — и сразу все расцвело в душе моей: эта чудесная упавшая береза для последней своей, для одной только нынешней весны раскрывает смолистые почки».

В жизни своей он оправдал эти слова. Великий труженик, он работал до рокового часа, успев поставить точку под новым произведением.

С. Н. Никитин (1926—1973) — писатель. Встреча с Пришвиным произошла весной 1952 года в связи с горячим откликом старейшего мастера слова на опубликованный в «Огоньке» рассказ начинающего писателя, тогда еще студента Литературного института.

В дневнике писателя осталась об этой встрече запись:

«18 апреля 1952 г. Молодой писатель Н., студент Литературного института, из Владимира, женат уже три года, есть сын. Мать в разводе с отцом, работает в прокуратуре в Коврове. Отец инженер во Владимире, сына не забывает. Итак, семью надо понимать не как обязательную совместную жизнь, а как место соприкосновения настоящего с прошлым и будущим. Такое соприкосновение в человеческом обществе неминуемо. Это воспитательное соприкосновение поколений есть материя семьи, и дальше можно говорить только о форме.

Семья — это стык времен.

Никитину, как старший, я сказал так, что первая задача писателя — это быть современным, а это значит быть хозяином своего времени, а не рабом его. Пожимая руку, на прощанье я сказал ему:

— Желаю время свое взять в свои руки так же, как хотят теперь взять в свои руки природу и ею управлять. Так и временем своим мы управляем сами, мы современники между собой, как современны в семье четыре поколения, наша же писательская семья должна включить все поколения людей на земле» (Собр. соч. в 8-ми томах, т. 6, с. 572).

Г. С. Верейский

ПОРТРЕТ

Мне удалось встретиться с Пришвиным несколько раз, когда в 1948 году я по просьбе редактора журнала «Мурзилка» делал с него рисунки пером, после чего мною был сделан (также с натуры) литографический портрет, отпечатанный в небольшом количестве экземпляров.

Я сейчас уже не помню хорошо, о чем мы тогда говорили. Одно это показывает, что мы не затрагивали в разговоре значительных тем.

Но каждый раз, уходя от Михаила Михайловича, я думал о том, какой это замечательный, какой своеобразный человек.

За его словами, иногда только жестами или короткими восклицаниями, чувствовался ни на кого не похожий большой человек, человек с необычным оригинальным умом.

Рисуя Михаила Михайловича, я не пытался осмыслить логически, какой психологический облик его я стремлюсь передать, но, конечно, интуитивно сквозь оригинальную форму его лица нащупывал то трудно уловимое, что характеризовало эту яркую личность. Мне легче было уловить это в рисунке, чем описать словами [1].

Но об одной черте Михаила Михайловича, о которой у нас был с ним разговор, мне хочется сказать.

Он говорил мне, что если в руки ему попадет какой-нибудь предмет, какое-нибудь изображение, он способен изучать его во всех деталях в течение целого дня, стремясь не пропустить ни одной мелочи. Мне очень запомнились эти слова. Они говорили о том, какая у Михаила Михайловича была пытливость ума, какая страсть к изучению всего, что попадало в поле его зрения. И какое понимание людей и искусства сказывалось во всех самых отрывочных замечаниях Михаила Михайловича.

Г. С. Верейский (1886—1962) — известный художник, график. Знакомство с писателем было коротким — во время сеансов, когда художник работал

над литографическим портретом Пришвина, по признанию самого писателя, лучшим из всех, сделанных при его жизни.

[1] А Пришвин в эти дни пишет:

«19 января 1948. Старый художник Георгий Семенович Верейский хорошо нарисовал меня и сам мне очень понравился: вдумчивый человек».

«12 февраля. Портрет Верейского дает меня в рисунке без моего, привлекающего художников «цвета лица». Но он дает единство моего образа, то, что называется душой. И это единственное изображение меня, на которое не противно смотреть, в том числе изображение в зеркале».

М. Поляновский

ВОДИТЕЛЬ МАШИНЫ № 01—92

Резкий сигнал автомашины заставил меня остановиться. Дверка автомобиля приоткрылась, бородатый водитель окликнул меня:

— Садитесь, подвезу, если по пути...

За рулем своей «эмки» сидел Михаил Михайлович Пришвин.

Фотокамера позволила мне запечатлеть его в морозный день 29 января 1948 года. Мы ехали вдвоем по Тверскому бульвару. Маршрут был мне безразличен. Побыть наедине с Пришвиным, послушать его разговор — я готов был отдать сколько угодно времени.

— У меня для долгих странствий была оборудована грузовая машина. Одно издательство ее списало, а я приобрел в счет гонорара. Там у меня кузов был превращен в «квартиру» из четырех «комнат». Рабочий кабинет — раз, спальня — два, фотолаборатория — три и закуток для собак — четыре. Пешком бродяжничать по лесам трудновато мне стало...

Я вспомнил, что спустя неделю Пришвину исполнится 75 лет, и заранее его поздравил. Потом, как бы невзначай, спросил, не было ли затруднений в автоинспекции при выдаче ему водительских прав.

— Нет, ничего. Выдали беспрепятственно. Сказали, что я — самый старый шофер по всей Москве и области.

Михаил Михайлович говорил, что его седобородая внешность иногда смущала милиционеров и инспекторов ОРУДа: подчас они останавливали машину, проверяли его водительские права.

— Был и такой случай: возвращались мы после долгого бродяжничества по лесам и проселочным дорогам домой. Близ Москвы забарахлил мотор. Выхожу из кабины, беру инструмент. Собаки, почуяв близость дома, дружно завыли. Начинаю чинить мотор, а псы воют. Тут ко мне подходит милиционер, спрашивает: «Ну как, дед, хороший у тебя нынче улов? Много бродячих собак подобрал!» Он, понимаете, меня за гицеля, за собаколова, принял. Тем более — машина с будкой...

...Мне захотелось ко дню рождения Пришвина рассказать о нем читателям не как о писателе (об этом было уже много написано), но как о неутомимом путешественнике и старейшем автолюбителе.

И в день рождения писателя появилась моя корреспонденция «Водитель машины № 01—92».

— Занятный подарок вы мне сделали к семидесятипятилетию, — сказал Михаил Михайлович, когда я поздравил его по телефону.

К одному из сделанных мной снимков он написал:

«С благодарностью за паспорт старейшего шофера («Водитель машины № 01—92»). Переплету в сафьян и буду носы утирать милиционерам. Михаил Пришвин. 15 февраля 1948 г.».

Когда ему исполнилось восемьдесят, он продолжал оставаться старейшим шофером Москвы. Только к тому времени писатель пересел на «Москвича».

До последних дней своей большой, интересной жизни Пришвин, певец родной природы, радовался, что мотор, послушный его рукам, помогает ему осуществлять не только охоту к перемене мест, но и просто охоту.

М. Л. Поляновский (1901—1970) — писатель, фотожурналист. Очерк о Пришвине взят из сборника «Остановись, мгновенье...». М., «Советская Россия», 1968.

Г. А. Ершов

ВСТРЕЧИ С ПРИШВИНЫМ

«ВЕДМЕДЬ»

Было это зимой 1937 года. Я задержался в редакции. Задернул шторы, включил настольную лампу и продолжал свою работу, отвечая на многочисленные письма, присланные на конкурс рассказов наших читателей «По дороге в школу». Конкурс этот был задуман членами редколлегии журнала «Юный натуралист» профессором Александром Николаевичем Формозовым и Михаилом Михайловичем Пришвиным.

Увлекся письмами, самые интересные откладываю, чтобы показать профессору Формозову, на иные отвечаю, подсказывая в них, что бы хотелось нам получить еще от наших юных натуралистов-следопытов.

Слышу, стукнула дверь. Обернулся. Стоит в дверях бородач исполинского роста. На нем кудлатая меховая шапка-сибирка с длинными ушами. С могучих плеч до пола спускается медвежья доха. Крепко винцом от него попахивает, а в руках у старика большая сучковатая, на костре опаленная палка. С левого уха свисает огромная серебряная серьга на длинной цепочке.

— Вы к кому? — спрашиваю.

— Не узнаешь? — отвечает. — Ну, здоров будь. А где Михайло?

— Вы о ком?

— Да ты что, мил человек. Иль не знаешь Пришвина? У вас он тут, в журнале, сказывал мне внук.

— Откуда же ваш внук об этом знает?

— Рассказики по дороге в школу свою сочиняет и ему шлет. Вот и знает. Когда он придет? В городе, что ли? А ты не его помощник будешь?

— Вы-то почему к Михаилу Михайловичу? — не унимаюсь я со своими вопросами, а сам соображаю тем временем, к чему бы все это.

— С меня он книги свои пишет, про нашу тайгу уссурийскую, медведей, оленей и охоту.

— Но кто же вы такой?

— Да берендей я лесной. Ну читал, есть у него книга такая.

— Вы говорите о пришвинских «Родниках Берендея»?

— Ну и о родниках, а что?

— Так это ж его дневники, когда он жил на Плещеевом озере, а не у вас, на Дальнем Востоке.

— А я, брат, тонкостей этих не знаю. Медвежатник я и старый партизан. Ездил с Михайлом Михайлычем в тридцать первом на Дальний Восток. «Ведмедем» меня величал он. Смекаешь? Читал небось. Что ж, ведмедь так ведмедь. Я не обижался. Медведь я и есть. Да вот ходил по весне нынче и промашку дал, поломал меня миша. Нет, не те уже силы во мне стали к старости. Еле отбился. Как прижал он меня тушей своей, веришь, ни дыхнуть, ни шелохнуться! Хорошо, падая под ним, успел-таки нож выхватить. Теперь вот болею. Надо ногу сломанную лечить, и в легких непорядок, видать, ребрами вмятыми прижало.

— Ну а Михаил Михайлович знает об этом?

— Вот и пришел помощи просить. Небось вместе книгу эту работали.

— Как вместе? — удивился я.

— А так вот и вместе. Сколько я ему всего нарассказывал! Он хорошо грамотный: что на память брал, что в тетрадь записывал... Да не разорю я его. Вылечусь, с первой охоты и отдам.

Сколько я ни пытался объяснить старику, что это редакция, куда приходят на работу те, кто служит в аппарате журнала, что Пришвин — это писатель, что его рабочее место не здесь, а дома, за письменным столом, у себя в кабинете, Ведмедь ничего и слышать не захотел.

— Мой внук врать не станет, прямо в самом журнале вашем означена пришвинская фамилия. Здесь я, однако, и останусь, покуда он ко мне сам не придет.

Сбросил дед свою доху прямо на пол, стянул огромные меховые рукавицы и, не снимая шапки, как был в коротком полушубке и оленьих унтах выше колен, грузно лег и вытянулся во весь свой богатырский рост на диване. Жалобно и безнадежно скрипнули диванные пружины.

Пришлось беспокоить Михаила Михайловича. Позвонил к нему. И отсюда проборку получил. Попал я и впрямь между молотом и наковальней.

Через полчаса пришла за дедом пришвинская машина, и, с трудом растолкав Ведмедя, проводил я его к Михаилу Михайловичу.

Вот там-то и произошла встреча, которой ждал старик.

Обнялись, словно братья, расцеловались. И забыли обо всем и обо всех. Пошли разговоры, начались расспросы, воспоминания. Мне ничего не оставалось, как тихо, что называется, по-английски, не прощаясь, незаметно удалиться...

Прямое упоминание о старике нашел я потом в одном из пришвинских очерков. Но почему-то после того в любом пришвинском образе бывалого охотника, будь то Мануйло из «Корабельной чащи» или Федор Иванович из новеллы «Одинокий журавль», Филат Антонович Кумачев из рассказа «Как заяц сапоги съел» — словом, в любом таком хозяине леса виделся мне таежный Ведмедь, так нежданно-негаданно нагрянувший из тайги уссурийской к нам, в скромную городскую редакцию детского журнала.

ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ

Михаила Михайловича Пришвина пригласили выступить перед участниками 2-го Всесоюзного совещания молодых писателей. Он знал, что с молодыми уже встречались Константин Федин, Петр Павленко, Александр Твардовский, Мариэтта Шагинян, Виктор Перцов и другие.

Пришвин выступал одним из последних. Дело было ранней весной, на переломе весны света и весны воды. Он вышел на трибуну, оглядел аудиторию, широко улыбнулся и сказал:

— Сегодня грачи прилетели. Поздравляю вас с наступлением весны.

После нескольких дней словопрений, обсуждения в душных аудиториях с плотно заклеенными окнами, когда самым привычным стало сидеть и в полудреме выслушивать потоки мыслей, связанных с понятиями «образа», «технических средств языка», «композиции произведения», «необходимости творческого осмысления современности», вдруг как сама жизнь прозвучало: «Сегодня грачи прилетели». Это было так необычно, так свежо, так вещно выражало самое главное — повседневную взаимосвязанность искусства и жизни, что зал на секунду замер, переживая это свежее и необычное, а затем будто весенний ливень прокатился по залу — все рассмеялись и дружно зааплодировали.

Я спросил Михаила Михайловича позже, готовился ли он к своему выступлению.

— Да, — ответил он, — готовился, и очень долго.

И действительно, в дневниках, уже после смерти писателя, мы обнаружили целую папку записей, связанных с подготовкой к этому выступлению.

— Шутка ли, — сказал Михаил Михайлович, — ведь предстояло выступление перед своей, *своей*, — подчеркнул он, — сменой, да еще открыть секреты своего творчества. Здесь надо было готовиться, кропотливо и тщательно отбирая самое важное, самое нужное *молодым*. — А потом, помолчав немного, он лукаво улыбнулся и добавил: — Только вот выступал-то я экспромтом. Жалко мне стало ребят. Сколько всего на них обрушилось за эти дни. Да и тетрадку со своими записями я дома забыл. А как, ничего получилось? — И его немного грустные и усталые глаза повеселели в улыбке[1].

ГЛАВНОЕ ПРИЗВАНИЕ

Нудный, мелкий осенний дождик моросил не переставая третьи сутки. А ехать надо. Гранки уже готовы, но главного еще нет — к каждой части огромного литературного куска надо получить авторские краткие введения, не хватает автобиографии, которая была обещана и также до сего времени не представлена: автор долго и тяжко болел почти все лето и только недавно начал понемногу работать.

Надо ехать. В издательстве меня пожалели. Дали легковую машину. И вот мы спешим в Звенигород, взяв прямой курс по узким, но хорошо содержащимся асфальтированным дорогам. Не доезжая Звенигорода, свернули на булыжный тракт, пробираемся под непрерывным дождем к деревеньке Дунино. Неожиданно и булыжная дорога кончилась: перед нами узкая, глубокая глинистая колея деревенского проселка. Тащимся со скоростью пешехода, иной раз колеса буксуют, брызги уже давно заляпали и машину, и боковые стекла. Но вот машина встала перед колеей такой глубины, что даже грузовой «МАЗ» сядет на диффер — куда там нашей «эмке»! Выхожу в дождь в туфлях, в одном пиджаке. Простился с шофером и начал месить глину ногами.

Пришел в деревню по колена в грязи, промок до нитки, но автора своего застал дома и был счастлив.

Началась сушка одежды, меня облачили в теплый свитер с белыми оленями на груди и синюю охотничью телогрейку, ноги сунул в предложенные мне валенки. Потом сели ужинать. Вот здесь-то и состоялся разговор о деле, ради которого я приехал.

— Мы ляжем пораньше и встанем утречком, чтобы заняться тем, ради чего вы, дружок, так нынче намучились из-за собственной недогадливости. Надо было дать телеграмму, я бы встретил на своем «вездеходе». Все было бы как надо.

Я встал рано. Небо прояснилось, я успел увидеть, как рас-

сыпались по комнате, по лугу, по Москве-реке солнечные лучи, и стало радостно на душе.

До 10 утра мы работали с писателем, а потом он, утомленный, ушел в свою комнату. На веранде мы с Валерией Дмитриевной разбираем заготовки к главам «Весны света» [2], обсуждаем, группируем по частям будущей книги, вносим свою правку. Затем садимся за отрывки из дневников разных лет. Это подобранные Пришвиным материалы к его автобиографии, которая еще не написана.

Сначала работаем над текстом вступлений. С каждым Валерия Дмитриевна уходит к Михаилу Михайловичу и возвращается с листочком, испещренным его правкой, пометками.

Мы творим свой суд, и чаще всего мой автор с нами соглашается. Тогда Валерия Дмитриевна перепечатывает весь этот кусочек вновь, начисто.

Этот и два следующих дня работали вот так, втроем. Он — у себя в кабинете, лежа высоко на подушках, в постели. Мы — на веранде. К концу третьих суток был готов и текст автобиографии, которая стала, увы, самой последней прижизненной автобиографией писателя.

Когда работа, ради которой я и приехал, была нами завершена, мне осталось распрощаться с хозяевами.

Связал я в сверток драгоценную рукопись, нахлобучил кепку на голову и зашагал по деревне в сторону станции.

На околице я услышал позади себя рокот мотора. Обернулся. Меня догонял пришвинский «Москвич». Хозяин сидел сам за рулем.

— Михаил Михайлович! Что вы делаете, ну разве можно так? Только-только три дня лежали — и вдруг за руль.

— Ну так что? Я и лежал три дня, чтобы прокатить вас на этом, как вы изволили выразиться, «стареньком «Москвиче». Пожалуйста, пожалуйста, не стесняйтесь. Тут недалеко Николина Гора, а там еще немного, и мы в Жаворонках. Вам — на поезд, а мне — домой.

Сел я позади Михаила Михайловича, и мы поехали. Только не по дороге, а напрямик через лес. Чудом каким-то объезжал он еле заметные пеньки, лавировал между деревьями.

И нате вам, оказия! Выезжаем на поляну, а там несколько грузовых машин. Тянут одна другую на тросе через огромную глинистую лужу. И плохо у них что-то получается. А одна из машин прочно засела посередке в грязи. И шофера не видно. Не иначе отправился в колхоз просить трактор. И никакого объезда. Надо возвращаться назад.

Машина наша остановилась. Ее водитель открыл дверцу. Вышел. Осмотрелся. Шоферы ему кричат:

— Не суйся, дед! Вертай обратно. Тут грузовым могила, куда на «Москвиче». Вертайся!

А мой автор и не спорит. Молча садится за руль, молча прибавляет газу и подкатывает к непролазной лужище.

Шоферы высунулись из кабин. Наблюдают за свихнувшимся старцем, который явно лезет сломя голову в это погибельное месиво.

А шофер в «Москвиче» схватился одной рукой за ручной тормоз, ногой сцепление выжимает, другая на ножном тормозе. Левая рука на руле. Медленно и, как мне показалось, удивительно размеренно-плавно начал сползать «москвичок» наш в лужу. Мотор работает четко, ровно, без натуги.

Нет, мне показалось, что машина сползает. Она катится. Каким-то шестым чувством ее водитель слегка повертывает руль, выбирает для нее под водою, в глинистой кашице, грунт. Катятся колеса, идет «москвичок». Но вот мы спустились. Теперь назад пути нет. А впереди — месиво, за ним — подъем. И что бы вы думали! Машина не остановилась, не сбавила и не увеличила ход. Она так же размеренно-деловито прокатывала под себя твердь. Да, да, не месиво, а именно твердь.

Я не специалист-шофер и не смогу передать всех технических тонкостей этого поединка. Видел, правда, что Михаил Михайлович напрягся, повторяя, упорно и методично повторяя один маневр. Он то прибавлял газ, то нажимал сверх ножного еще ручной тормоз. И машина словно медленно плыла, но ни на секунду не теряла связи с землей, она катилась по грунту, а глина и жижа расплывались вокруг.

Так она преодолела лужу. Начался подъем. Переключив скорость, Михаил Михайлович так же плавно и ровно вел машину вперед, как делал это, когда совершал на ней спуск.

И вот старенький пришвинский «Москвич» выскочил на дорогу. И понесся себе вперед.

— Михаил Михайлович! Что вы не остановились отпраздновать свою победу? Это же чудо какое-то!

— Я же говорил вам, что дело мастера боится.

— Но почему же вы парням не рассказали, как из этой лихоманки им выбраться?

— А вот этого сразу не расскажешь. Тут надо поездить, как я, старый водитель. Я-то ведь еще на одной из самых первых машин, которые прошли по Москве, шофером был. Машину свою надо знать, как себя.

— Это вы опять о Мануйле и о его «путике»?

— Да, и о Мануйле. Каждый таежный охотник-промысловик знает свой путик, и в этом путике все секреты его побед. И каждый человек должен свой «путик» иметь, как мне думается.

Дальше дорога шла сухая, ровная. Михаил Михайлович с удовольствием вел машину, чуть ли не в последний раз в своей жизни.

Я молчал, понимая состояние человека, который имел право в такие-то годы втайне от других порадоваться и своей юношеской дерзости, и своему не ушедшему умению, и своей выдержке, и тому, что у него на все это еще достало сил.

Но ему надо было еще и вернуться домой. Поэтому я решил не утомлять его беседой. Он отдыхал физически и душевно. Это рождало в нем новую энергию — и на дорогу домой, и, может быть, на те последние главы его замечательной повести «Корабельная чаща», которые он в те дни спешил закончить.

И успел. И закончил. И опять принес людям большую радость. А это и было, наверное, главным его призванием.

Г. А. Ершов был знаком с писателем с конца 30-х годов как редактор издательства «Молодая гвардия», где печатался Пришвин. Лично общался с ним во время подготовки юбилейного сборника «Весна света», который вышел к 80-летию со дня рождения Пришвина. Ершов — автор книги «Михаил Пришвин. Очерк жизни и творчества». М., Гослитиздат, 1963.

[1] Вот что записывает Пришвин в дневнике после выступления: «Вчера на выступлении и хорошо было, что хорошо принимают, и плохо, что один из всех пришел с качеством, а все — с количеством «грамотных мастеров». Но мои слова о поведении против мастерства были сказаны крепко.

На мгновение мне было так, что будто я все слова позабыл и сказать мне теперь нечего. Но так бывает постоянно со мной при переходе с записанной речи к устной, к тому языку, каким мать мне говорила и учила меня его первым словам.

Каждый раз, когда я, забыв на мгновение все, чему меня учили, берусь за эти родные слова, мне кажется, будто не слово приходит ко мне, а прилетает крылатое существо с гибкой шейкой, со сверкающими глазками, с острым носиком, как у синички, и это — я сам. Потому, видно, и называется устная поэзия сказкой, что сказка эта сказывается. И потому она мне кажется, эта сказка, крылатой и свободной, что я всю жизнь трудился, учился так же свободно писать, как она сказывается, и все-таки не мог обратить родное слово в ту музыку, какая мне слышится в речи простых людей на полях и в лесах, на улицах, на берегах и у простых деревенских колодцев.

Надо не забыть: какая дружная, восторженная и возвышенная была эта аудитория молодая, когда я выступал.

Почему вместе выходит у них так хорошо, когда я им сказал:

— Поздравляю с новой весной, грачи прилетели!..

...Не надо искать опору себе в людях отдельных: друг живет не в отдельности, а в целом человеке, когда он, собираясь, слышит живое слово, и кричит, и хлопает руками от радости, или когда-то и где-то шепнул вам задушевное слово, или выглянул глазком из толпы...

Нечего, нечего загадывать выкладывать кирпичные домики будущего — будущее само о себе позаботится. Надо чувствовать и ловить в себе прафеномен нашей русской нравственной жизни; и я думаю, что его можно даже назвать: это друг — в этом всё. И тем самым определяется и недруг.

Друг наш придет не за страх о своем роде-племени, а по решению нашей совести, не за страх, а за совесть» (Пришвин М. Творить будущий мир. М., «Молодая гвардия», 1989, с. 158—159).

[2] Книга «Весна света» вышла в декабре 1953 года.

«*9 декабря.* На днях выйдет роскошно изданная книга для юношества «Весна света», и один человек об этом сказал так, что в двух словах — «Весна света» — содержится весь Пришвин и все, что он людям дал от себя.

29 декабря. Просидел без выхода даже на балкон и без записей. Зато редакторы привозили показывать сигнальный экземпляр «Весны света» и порадовали меня. Такая книга — событие в моей жизни. Узнал, что во всем издательстве повторяют: «Со своим путиком».

30 декабря. Мало ли чего в нашей жизни было разбито, но я спас и вывел к людям весну света (Собр. соч. в 6-ти томах, т. 6, с. 789, 794).

На экземпляре книги «Весна света», который хранится в библиотеке мемориального дома-музея писателя в Дунине (ГЛМ), надпись рукой Пришвина: «Экземпляр Валерии Дмитриевны Пришвиной — моему другу, во многом и соавтору, полностью сотруднику, жене и чуть-чуть шоферу и охотнику: шоферу без езды, охотнику без чего-нибудь убитого. Михаил Пришвин. 1 января 1954 г. Москва».

В. С. Молчанов

ХУДОЖНИК СВЕТА

Однажды в журнале «Советское фото» я встретил небольшую заметку М. М. Пришвина о фотографии. В ней говорилось о том, что фотография может стать замечательным искусством, объединяющим множество художников, и о том, что настоящее искусство не связано «практическими» целями, а является источником живого творчества.

На меня эта заметка произвела огромное впечатление. Фотография природы в те годы уже была моим наиболее серьезным и любимым занятием, но я почему-то не встречал поддержки в окружающих меня людях. Голос известного писателя, выступившего в защиту моего увлечения, нашел во мне глубокий отклик.

Я как-то сразу полюбил Пришвина, почувствовал родственную близость к нему и начал читать его книги. С этого времени Пришвин делается моим любимым писателем. Еще в начале 1941 года, весной, снимая нераспустившиеся березки посреди талых луж, я носил в себе образы его «Неодетой весны» и находил в природе то, что читал в его книгах.

Началась война, оторвавшая меня от любимого искусства почти на пять лет.

Вернувшись из армии, я поступил на работу в Литературный музей и снова стал заниматься съемкой пейзажей.

В ноябре 1952 года наш музей отмечал 100 лет со дня рождения Д. Н Мамина-Сибиряка. Выставка и юбилейный вечер были устроены в Доме ученых. Я, как всегда на таких вечерах, снимал собравшихся. И вот, неожиданно для меня, на этот вечер приехал Михаил Михайлович Пришвин.

Пришвина пригласили в президиум вечера. Он сидел рядом с писателем Н. Д. Телешовым и Е. Д. Удинцевым и казался намного моложе и как-то красивее их обоих.

После перерыва, когда началась художественная часть вечера, оставшись один в опустевшем фойе, я заметил, что Михаил Михайлович с Валерией Дмитриевной смотрят выставку Мамина-Сибиряка. Преодолев застенчивость, я

подошел к ним, представился и попросил разрешения снять их.

Михаил Михайлович отнесся ко мне сразу очень хорошо, просто, вся моя застенчивость сразу пропала, я успел снять его с Валерией Дмитриевной. Мы вместе пошли до метро «Кропоткинская».

Был ясный, морозный вечер, и Михаил Михайлович, радостно удивляясь, говорил: «Вот редко так бывает: в ноябре стоят морозы без снега уже вторую неделю. И почти весь ноябрь — солнечные дни...»

Наступил 1953 год. Наш музей готовился к 80-летнему юбилею Пришвина. Я ездил к нему в Лаврушинский переулок для отбора негативов к его выставке.

Пришвин встретил меня радушно, и у нас сразу же завязался оживленный разговор. Много говорили с ним о фотографии. На мой вопрос: «Как вы относитесь к цветной фотографии?» — он ответил: «Я не люблю ее. Цветная фотография передает все цвета одинаково, а вот художник видит по-своему и передает их по-своему. Цветная фотография дальше от настоящего искусства, чем обычная».

Я не нашел тогда, что возразить ему на это. А он продолжал: «Фотография очень помогла мне в работе. Снимаешь природу — заставляешь себя больше видеть. Но сделать хороший снимок очень трудно, легче карандашом, словом описать. В фотографии есть одно, только ей присущее свойство — документальность. Это свойство и нужно использовать и на этом строить фотографическое искусство».

Я предложил Михаилу Михайловичу устроить показ его снимков на экране и спросил его, как он смотрит на возможность создания фотоиллюстраций к литературному тексту [1]. Он охотно согласился с этим и сказал: «Создать единый образ слова и фотографии очень трудно. Можно, но очень трудно. На скорую руку не сделаешь ничего хорошего. Ведь чтобы и фотографию хорошую сделать — работать нужно и любить ее нужно. Когда любишь, то не жалеешь затраченного времени.

...Молодые писатели просят научить, а как его научишь? Мало одной способности — любовь нужна».

Я мог бы без конца слушать Пришвина, так близко было мне все, что он говорил. Мы отобрали с ним фотографии для выставки, наметили программу вечера в музее.

Я сказал ему, что хотел бы сделать снимок его за письменным столом: Он согласился, но попросил: «Вы снимите меня с Валерией Дмитриевной, мы с ней очень дружно живем».

Мне довелось еще несколько раз встретиться с Михаилом Михайловичем в его московской квартире. Каждый раз я уходил от него глубоко взволнованный. Он как будто угадывал мои собственные мысли. Его слова укрепили меня в моих взглядах на искусство, в основе которого лежит любовь. Любовь к природе, к жизни, к людям.

Знакомство с Пришвиным оказало на меня большое влияние. Михаил Михайлович рассеял мои сомнения в серьезности моей любимой темы — русской природы.

Он одобрил выбранный мною путь и утвердил меня на этом пути как раз в тот момент, когда я в этом больше всего нуждался, и не случайно пришвинская тема с тех пор стала основной в моем творчестве.

Пришвин был первым большим писателем, видевшим мои, тогда еще робкие, попытки соединить изображение на экране со звучащим словом, и разглядел в них «трудное, но нужное и хорошее дело». Творчеству Пришвина я посвятил потом многие свои диафильмы, ряд журнальных и книжных статей.

Для меня Пришвин не умер. Я встречаюсь с ним, как только попадаю в природу, а особенно в его любимое Дунино, под Звенигородом, где о нем и его словами говорит каждая елочка, каждый лист, каждая дорожка в его саду, и солнечный луч после дождя на мокрой траве, и туманное небо над пришвинским домом.

В. С. Молчанов (р. 1910) — фотохудожник, многолетний сотрудник московского Литературного музея.

Часто общался с Пришвиным при подготовке вечеров и выставок, посвященных творчеству писателя. Пришвинская тема неизменно присутствовала в замечательных слайд-фильмах Молчанова, посвященных литературным местам Подмосковья.

[1] В дневниках писателя сохранилось много записей об искусстве фотографии, которой Пришвин страстно увлекся в 20-е годы и занимался ею до конца своих дней, сделав фотографию своеобразной «записной книжкой» в своей творческой лаборатории. Эти записи интересны не только с профессионально-фотографической точки зрения, но и с точки зрения свободного взгляда писателя на искусство, творчество, свою собственную жизнь. Вот некоторые из них:

«До того увлекся охотой с камерой, что сплю и все жду, поскорей бы опять светозарное утро».

«Смотрел и дивился формам сосен и елок, засыпанных снегом. Сколько я посвятил времени их фотографированию из-за того, чтобы установить факт,

что вот так бывает. Я будто фотографировал чудеса. Чудо же состоит в самородном явлении формы».

«Конечно, настоящий фотограф снял бы лучше меня, но настоящему специалисту в голову никогда не придет смотреть на то, что я снимаю: он это не увидит».

«К моему несовершенному словесному искусству я прибавлю фотографическое изобретательство, чтобы на вопрос наивного слушателя — «было это или нет» — не уверять его в действительности, а показать».

«...Беру фотоаппарат и снимаю. Искусство это? Не знаю, мне бы лишь было похоже на факт!»

«Если уцелеют мои снимки до тех пор, пока у людей начнется жизнь «для себя», то мои фото издадут и все будут удивляться, сколько у этого художника в душе было радости и любви к жизни» (Круг жизни, с. 218—238).

В. Инбер

ПРОГУЛКА

В 1952 году один из зимних месяцев я провела в нашем подмосковном Доме творчества, где в то время находился и Пришвин.

Когда я видела, что общество не докучает Михаилу Михайловичу, я отправлялась вместе с ним на прогулку: через мостик на круговую лесную дорожку, опушенную снегом[1].

Пришвин шагал не слишком медленно, но и не быстро, в каком-то очень ровном, неутомительном ритме. В руке у него была палка, но не простая, а такая, которая по желанию раскладывалась в походную скамеечку. Присаживаясь на нее, Михаил Михайлович вынимал тетрадку и, не снимая теплых перчаток, что-то записывал. Я была свидетельницей того, как он записал высказывание большой синицы, сидевшей на сосне.

Синица коротко просвистела какую-то фразу и стукнула клювом по стволу: поставила точку. Пришвин записал.

Но, перелетев на ель и смахнув с нее снежок, синица повторила сказанное, однако уже по-другому: длинным, разветвленным предложением. Пришвин, закинув голову в меховой шапке и блестя очками, прислушался, зачеркнул написанное и тоже записал по-другому, видимо, более подробно, после чего сложил скамеечку, и мы отправились дальше. Голубая большая синица смотрела нам вслед.

Чтобы сделать запись в своей тетрадке, Пришвин должен был сосредоточиться, углубиться в себя, побыть в неподвижности. Нужна была тихая минута [2].

Не такое ли ощущение природы было и у Шекспира? Вспомним «Сон в летнюю ночь», где эльфы разыгрывают лунное представление.

У Пришвина в его «Временах года» мы находим «Бал на реке»: «Желтые лилии раскрыты с самого восхода солнца, белые раскрываются часов в десять. Когда все белые распустятся, на реке начинается бал».

Мне скажут, что это неповторимо. Но учиться — не значит подражать.

В. М. Инбер (1890—1972) — советская поэтесса.

[1] В дневнике писателя остались записи о пребывании в Доме творчества в Малеевке: *«10 февраля 1952 г.* Скоро после восхода небо очистилось, и после бурана открылся самый чудесный день с голубыми тенями на свежем, нетронутом снегу. Мы сидели на лавочке против солнца, облучались. Где-то в лесу пела синица брачным голосом. Мимо нас проходили писатели и поэты. Антокольский прошел, поклонился: «Какой чудесный денек!» Вера Инбер: «Какой!» Молодые незнакомые поэты, молодежь, все кланяются, все повторяют: «Какой!» — и один даже по традиции спросил: «Вы, конечно, с ружьем?» (Собр. соч. в 6-ти томах, т. 6, с. 538).

[2] Собр. соч. в 6-ти томах, с. 566—567.

Л. Малюгин

«ВЕСНА СВЕТА»

С М. М. Пришвиным мне посчастливилось познакомиться года за два до его смерти — это было в Малеевке, в Доме творчества[1].

Пришвин приехал в Малеевку из больницы — он перенес тяжелую болезнь, по Москве даже прошел слух, что положение его безнадежно. Едва оправившись от тяжелого недуга, Пришвин каждый день в любую погоду выходил на прогулку. С этого начинался его рабочий день. Его не останавливали ни метели, ни морозы. Он выходил на прогулку как художник, который не гуляет, а работает — выбирает натуру или пишет ее. Пришвин выходил с палкой, которую можно было превратить в походный стул. Он показывал ее с гордостью, так гордятся мастеровые хорошим инструментом. Время от времени он присаживался — не для отдыха, а для работы. Вынимал записную книжку и записывал — на морозе.

Я не подходил к Пришвину на прогулках как к занятому, работающему человеку, но мы почти ежедневно виделись с ним в часы отдыха.

Пришвин занимался тогда приведением в порядок своих дневников. Он читал отрывки из этой, может быть, самой увлекательной своей книги, где наблюдения художника соединялись с размышлениями мудреца, где в коротких рассказах, картинах природы проходила перед нами богатая жизнь художника.

— Вы это готовите к печати? — спросил я его.

— Да, но вряд ли это нужно печатать при жизни.

Он показал на множество толстых папок — дневники были разложены по годам — и сказал:

— Вот справиться бы мне с этой *громадой*. — И добавил: — Но мы счастливее многих — после смерти живут наши книги... У нас много говорят о *мастерстве*, — продолжал *он*, — меня это несколько раздражает. У нас, охотников, когда говорят, что собака мастерит, это значит, что она не имеет чутья, делает всякие стойки, а что толку?! Конечно, мастерство нужно. Это

похоже на работу столяра, столяр хочет сделать вещь лучше другого столяра.

Раньше слово «писатель» было очень возвышенное, мы называли себя литераторами. А сейчас говорят «писатель» как «инженер».

Как-то Блок сказал о моем «Колобке» — это поэзия и еще что-то... Вот ради этого и стоит работать. Конечно, необходимо мастерство, художественность. Если я, прочитав 15—20 строк, не узнал автора, — значит, он не художник. Но одной художественности мало, в книге должна быть личность писателя, его поведение. Нужно что-то важное сверх художественности. Это особенность нашей русской литературы. Лев Толстой это делал лучше всех.

Я спросил его, виделся ли он с Толстым, была ли у него потребность встретиться?

— Конечно, была, но я стеснялся...

Заговорили о романе «Кащеева цепь».

— Роман этот неоконченный, — сказал Пришвин, — он автобиографический. Он, вероятно, и не может быть окончен. Вообще я не понимаю — как можно написать два романа, это все равно что прожить две жизни.

Я не стал ему возражать, ибо сам Пришвин прожил каждую свою книгу.

В каждом разговоре, рассказывал ли он о себе или о других, он возвращался к своей любимой теме — личности художника.

— Вот, говорят, у Шаляпина был превосходный голос. Но дело не только в голосе, а в его личности. Это была артистическая натура, он все делал артистически. Я помню — во время первой мировой войны в Петрограде Горький повез меня на какой-то банкет в «Асторию», кажется, по случаю выхода «Летописи». Там было шикарное общество, меня заставили рассказать про охоту. Рассказывал я, наверное, интересно — слушали внимательно, но Шаляпин терпеть не мог, когда кто-нибудь долго занимал общество. Он начал рассказывать, как он в детстве гонял голубей. Подумаешь, большое дело — голубей гонять, но его заслушались, я и сам заслушался. Это и есть талант. Потом мы с Горьким и М. Ф. Андреевой поехали к Шаляпину и сидели всю ночь.

Ему здесь уже не надо было отличаться, зрителей не было: он слушал, а не рассказывал. Он и слушал замечательно, непосредственно, восторгался, как ребенок. Вот это и есть художник. Вообще в настоящем художнике должно быть что-то детское, в любом возрасте детское.

...Весна приходит к каждому человеку по-разному. Для одних она начинается капелью и темнеющими дорогами, для других — проталинами на косогорах, журчанием ручьев, для третьих — подснежниками и прилетом жаворонков, для многих она начинается просто переездом на дачу. Раньше всех весна приходила к Пришвину. Она начиналась для него в середине зимы прибавлением дня. Он звал ее «весной света».

Я видел Пришвина в последний раз недели за две до смерти — в новогодний вечер с 1953-го на 1954 год. Редактор привез ему экземпляры его книги «Весна света». Он рассматривал отлично изданную книгу. Особенно он радовался тому, что книги привезены не только ему, что сегодня они поступили в продажу.

Он оживленно говорил о новых книгах и замыслах:

— Федин прочитал мою «Корабельную чащу» и сказал: есть в ней что-то *новое*, — он озорно *улыбнулся*, — смотрите, девятый десяток пошел — и новое!

Я хочу написать книгу об *искусстве*, — продолжал он свою излюбленную *тему*. — Я готовлюсь к ней много лет, по существу, всю жизнь. Это будет книга об искусстве как образе поведения, отношения к миру, видения мира. Но это будет книга не для избранных, а для каждого, ибо каждый человек причастен к искусству. В каждом человеке есть талант, но далеко не у каждого хватает воли и умения осуществить свой талант.

Он, видимо, понимал, что не всем его замыслам суждено осуществиться, и сказал задумчиво:

— Как крестьяне говорят — помирать собирайся, а рожь сей.

Пришвин встретил 1954 год, но, увы, не сумел проводить его.

Он умер в дни начала весны света. В середине января, когда ударить бы лютым крещенским морозам, природа неожиданно подобрела, даже выглянуло солнце. Земля, которую Пришвин так любил и которую исходил по дорогам и тропам, оттаяла и приняла его...

За эти годы вышло много пришвинских книг, вышли собрания его сочинений. Мы открываем эти тома в зеленых, цвета травы, переплетах и наслаждаемся поэзией пришвинской прозы. Мы еще много раз будем перечитывать их. К ним будут обращаться новые поколения читателей.

Л. А. Малюгин (1909—1968) — советский драматург, автор пьес о жизни молодежи, сценической повести, посвященной последним годам жизни А. П. Чехова, и др.

[1] Короткая дружба, родившаяся в 1952 года в Доме творчества, осталась в дневниках Пришвина добрым воспоминанием:

«4 марта. Вчера позвал к себе Л. А. Малюгина, Юлию Друнину, пришел сын Чуковского, Яшин. Я читал им свои маленькие рассказы и праздновал свою старость».

«13 марта. В санатории люди меняются: одни уходят, другие появляются, и некоторые остаются, немногие остаются с нами. Среди остающихся чудесная пара венгерцев: Гидаш и его Агнесса, тоже понравился нам Малюгин Леонид Антонович, будем помнить Юлию Друнину» (Собр. соч. в 6-ти томах, т. 6, с. 548).

Ольга Лепешинская

ОН ПОМИРИЛ МЕНЯ С САМОЙ СОБОЙ

В мою жизнь Михаил Михайлович Пришвин вошел как очень близкий, очень дорогой человек. А дело было так.

7 ноября 1953 года я танцевала балет «Красный мак» и сломала ногу. И из-за того, что я не могла уйти со сцены, потому что с моим уходом кончился бы всякий смысл происходившего, мне приходилось дотанцовывать со сломанной ногой. Это был очень тяжелый перелом.

Меня сразу привезли в больницу, поместили в отдельную палату. Наутро я узнаю, что в этой же больнице, на этом же этаже находится М. М. Пришвин. Он тоже узнал о том, что... ему сказали, что привезли старую балерину со сломанной ногой.

Мне было действительно за тридцать... Он записал в своем дневнике, что, узнав, кто это, потерял всякий интерес. Потом он как-то мне объяснил, что не любит знаменитостей, у него был такой прищуренный глаз, хитрый...

А мне было очень плохо. Врачи... там был замечательный хирург Розанов, он очень осторожно, издалека готовил меня к тому, что, вероятно, мне придется менять свою профессию. И мне кажется, что Михаил Михайлович это понял, почувствовал. Он приходил ко мне каждый день, этот уже очень и очень пожилой человек, ему было восемьдесят лет. Он был болен неизлечимой болезнью, мне кажется, что он знал об этом.

Михаил Михайлович приходил ко мне, садился у изголовья, мы беседовали, то есть не беседовали — говорил он. Что я могла ему рассказать интересного? Говорил он со мной о природе, об искусстве, как о любви.

Как-то он помирил меня с самой собой. Я точно ему не могла ответить, что я больше всего люблю — природу, музыку или танец.

И вот он мне сказал: «А вот представьте себе, что вы сидите на веранде (я думаю, что он сразу представил себе веранду, дом в Дунине, который так любил, вы помните — «нет

ничего краше моего Дунина»), и вот, сидите вы на веранде, прошел дождь, вышло солнышко, пригрело. Капельки стали, как бы танцуя, с ветки на ветку, с листика на листик падать вниз, и вы бы слышали, как капельки падают на землю. Вот вам — природа, музыка и танец».

Он очень много интересного рассказывал.

Мне повезло. К счастью, я довольно хорошо знала творчество Пришвина. Дело в том, что мой отец был энциклопедически образованным человеком — и ему казалось, что то образование, которое я получила в балетной школе, может быть недостаточно, хотя, в общем, нас учили неплохо, и он всегда в каникулярное время, летом, нас с сестрой заставлял писать диктанты. И выбирал материалы из Тургенева и Пришвина. И я с детства была влюблена в его «Фацелию»... вы помните, птица ночевала на лугу, и вот птица улетела, обронила синее перышко, и луг расцвел голубым цветом.

Или у него еще есть чудесный такой рассказ: вот шел Михаил Михайлович по тайге, было очень жарко, его мучила жажда, и он увидел огромный куст, и в этот куст влетали и вылетали птицы. И когда он раздвинул ветки, он увидел там большой-большой гриб... природа сделала его похожим на глубокую тарелку, у него загнуты были края, и туда набиралась вода, то ли от дождей или, может быть, от росы, и птицы залетали, чтобы пить воду. Михаил Михайлович пригубил, выпил воды и оставил, потому что птицы тоже хотели пить[1].

Когда я уже стала старше, я читала много Пришвина, и меня потрясали некоторые вещи у него. Ну вот, скажем, он писал, что гений человека похитил с неба не огонь, а музыку, и он мне как-то напомнил о том, что Толстой говорил, что если бы погибла вся цивилизация, то было бы больше всего жалко музыку.

А потом Валерия Дмитриевна взяла Михаила Михайловича домой, и, когда я уже стала ходить, я к нему приходила.

Я помню, как вводила меня Валерия Дмитриевна в кабинет, Михаил Михайлович сидел за письменным столом, около него его дивная, чудесная собака, которая почему-то была со мной очень дружна, может быть, потому, что я «собачница», как называют таких людей, которые любят собак, — и всегда говорил:

— Ну, старая балерина, маскирующаяся под молодую, здравствуйте! — Или наоборот: — Ну, молодая балерина, маскирующаяся под старую, здравствуйте!

Валерия Дмитриевна возмущалась, она была шокирована, «как он говорит такие вещи!». А мне это очень нравилось.

Вы спросите меня, как отважилась я рассказывать о Михаиле Михайловиче, когда, в общем, узнала его в последний год, в последние месяцы его жизни.

Позвольте мне привести записи из его дневников: «Приезжала Лепешинская (ну, тут много эпитетов)... Сама — капелька, а глаза сверкают издали, как ледники в горах, а в душе, как увидишь, начинается оттепель, и кажется, будто сам знал ее и она была всегда» [2].

Вот и мне кажется, что Михаил Михайлович был, есть и будет всегда — этот замечательный русский писатель, удивительный человек.

Народная артистка СССР, балерина *О. В. Лепешинская* (р. 1916) познакомилась с Пришвиным незадолго до его кончины. Родившаяся дружба оставила в душе актрисы светлое чувство на всю жизнь. Раздумья о судьбе балерины, о творческом поведении, о сущности искусства сохранил навсегда дневник писателя.

[1] Имеется в виду рассказ «Старый гриб» (1945). Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5, с. 288—292.

[2] В дневнике 1953 г. мы находим и другие записи:

«*15 ноября.* Познакомился с Лепешинской, сломавшей себе ногу на балете «Красный мак». Сначала я не знал, что это старая балерина, и в полумраке принял за девочку, сломавшую жизнь свою на танцах. Еле-еле удержался от слез, потом много ей говорил об искусстве и о природе, как о любви. После того уже в своей палате узнал, что это была Лепешинская, и почему-то перестал жалеть и потерял интерес.

17 ноября. Лепешинская прислала хорошее письмо.

Познакомился с Ольгой Васильевной Лепешинской и болтал с ней, как будто давно знакомый. Я рассказал ей о своем насильственном внедрении в Кремлевку и сам подивился тому, что со мной произошло.

18 ноября. Долго болтал вчера с О. В. Лепешинской. Впервые понял, что в отношении любви Дон-Жуана балерина менее доступна, чем монахиня. И это оттого, что у монахини плоть ее сдерживается, а у балерины преобразуется. Монахиня, отказывая Дон-Жуану, поступает по общему закону монастыря, а балерина в своем ослепительно прекрасном прыжке успевает показать Дон-Жуану шиш. «Поздравляю!» — встречает его Командор на кладбище, кивает головой и улыбается. Оказывается, Командор был первым, законным и единственным, наивным и честным мужем балерины и пробовал сам танцевать. Далее следует повесть о балерине как о женщине лунного света, исчезающей в свете наступающего дня.

В связи с катастрофой у Лепешинской вернулся к мысли своей о творческом поведении. Есть одно-единственно неверное движение, от которого рушится все дело балерины (у Лепешинской треснули четыре маленьких косточки).

И есть одно такое движение, от которого вырастает балерина, и у нее рождается свое единственное поведение в жизни. Мало ли как мы все ведем себя в жизни, и это называется поведением. Это не поведение, а повторение механическое диктата своей среды. Напротив, поведение наше настоящее исходит из того, что лежит за душой и находит себе выход в творчестве. Но этот закон личного поведения встречает условия всеобщего движения точно так же, как встречает их пешеход, переходящий широкую улицу, заполненную машинами.

А. И. Пузиков

ПТИЦА СИРИН

Двадцать пятого февраля 1963 года в конференц-зале Литературного музея состоялся вечер, посвященный девяностолетию М. М. Пришвина. К этому вечеру оказался причастен и я, как представитель издательства «Художественная литература», которое только что осуществило первое посмертное издание Пришвина в шести томах. Валерия Дмитриевна попросила меня председательствовать на вечере и сказать вступительное слово.

Трудная выпала на мою долю задача. Валерия Дмитриевна дала наказ: не надо вообще о Пришвине, а вспомните что-нибудь из ваших встреч в издательстве. В том-то и дело, что встреч таких было мало, были они мимолетны, официальны и не оставили следа...

Но вдруг я вспомнил о последней встрече в кабинете директора А. К. Котова, которая происходила незадолго до кончины Михаила Михайловича и была связана с подготовкой собрания сочинений, о котором я упомянул выше. Об этой встрече я и решил рассказать в своем вступительном слове. Было это так.

Деловая часть беседы подходила к концу, и, когда все детали нового издания были уточнены, Анатолий Константинович Котов обратился к Михаилу Михайловичу с вопросом:

— Михаил Михайлович! Хочу купить собаку. Посоветуйте, какой породы?

Пришвин улыбнулся, но отнесся к вопросу со всей серьезностью.

— Видите ли, — сказал он, — если вы купите охотничью собаку, а сами не охотник, то заставите собаку страдать, подавляя в ней охотничьи инстинкты. Если купите служебную, сторожевую собаку, овчарку например, и будете держать ее дома, то проку будет мало. Собаки эти умны, сильны, незаменимы в работе, но в городских условиях воспитывать их трудно, собака нервная и может даже покусать хозяина, если тот несправедлив к ней или не посчитается с ее настроением. Не советую! Купите комнатную собаку, таких тоже много... Но какую бы со-

баку ни завели, при правильном к ней отношении она доставит вам много радости.

Был ли удовлетворен Котов ответом Михаила Михайловича — не знаю. Мечтал он как раз о сеттере или овчарке, помню только, что собаку он так-таки и не завел.

Мы спросили у Пришвина: а какая собака у него сейчас?

— Жалька (Джали), — ответил Михаил Михайлович. — Собака охотничья, ирландский сеттер, мой большой, настоящий друг. Вы представить себе не можете, как мы понимаем друг друга. Вот что недавно случилось со мной.

Написал я рассказ и отнес в «Новый мир». В редакции меня встретили замечательно, наговорили кучу приятных вещей, оставили рассказ для прочтения и заверили, что через неделю-другую дадут знать, в каком номере он будет опубликован.

Прошла неделя, две, три, месяц... Ни слуху ни духу. Подумал и решил наведаться в редакцию.

Мой приход поверг сотрудников в настоящее смятение. Рассказ не прочли и куда-то задевали. Ссылаясь на какую-то спешную работу, на нездоровье кого-то из товарищей, обещали решить теперь это дело скоро и известить немедленно.

Огорченный, я побрел домой, и, чем ближе был мой дом, тем более и более я огорчался. Ну, было бы это в пору моей молодости, а ведь мне уже восьмой десяток, вроде бы и читатель у меня есть, и какая-никакая известность. Как же так, почему же такое равнодушие и такая необязательность?..

У порога дома решил, что не след портить своим огорчением настроение домашних. Подтянулся, принял довольный вид и на вопрос: «Как дела?» — ответил почти победоносно: «Все в порядке!» Мне удалось обмануть близких, но Жалька! Она одна разгадала обман, прильнула ко мне, лизнула, жалостно заскулила, пытаясь заглянуть в глаза и по-собачьи как-то утешить.

Вот и все, что запомнилось мне из этой беседы. Конечно, в своем вступительном слове я рассказал и о только что завершенном собрании сочинений, и о том, как отбирали дневниковые записи, как решились на публикацию «Осударевой дороги» в ее первом варианте...

Вечер продолжался, выступали поэты, читали стихи, вспоминали о встречах с Пришвиным. Было тепло и уютно на этом вечере, мало походившем на официальную церемонию. Очередь дошла и до Александра Яшина. Он был соседом Пришвина по дому в Лаврушинском переулке, часто с ним встречался, беседовал.

Яшин задушевно говорил о своем старшем друге. В заключение, весь напрягшись, сказал:

— А теперь мне остается поведать о моей последней встрече. Из моих окон виден балкон квартиры Михаила Михайловича. Я часто смотрел на него, гуляющего по этому балкону. Но вот уже много дней балкон был пуст. Михаил Михайлович тяжело болел... — Голос Яшина дрогнул, но он продолжал: — И все же однажды я увидел из моего окна, как на балконе Пришвина в канун Нового года появилась стройная елочка, а вскоре появился и Михаил Михайлович, укутанный в теплую шубу. Он стоял перед этой елочкой... — Голос Яшина дрожал все больше и больше, но он продолжал: — Хотел бы я знать, что думал Михаил Михайлович в эту минуту, а думал он... — Но тут голос Яшина сорвался, и он заплакал, не в силах продолжать свое выступление...

В зале было тихо. Председатель объявил перерыв.

В перерыве я спросил Яшина:

— Ну, что с тобой?

— Ах, Александр Иванович! Знали бы вы, чего я только не натерпелся из-за своих «Рычагов», а теперь из-за «Вологодской свадьбы». Да знали бы они, что в «Вологодской свадьбе» я рассказал половину правды...

Не могу не рассказать об истории надгробия, установленного на могиле Пришвина на Введенском кладбище в Москве.

Однажды Валерия Дмитриевна попросила меня и редактора шеститомника К. Ф. Платонову посетить мастерскую С. Т. Коненкова, осмотреть и принять надгробие писателя, работу над которым скульптор только что закончил.

В холле мастерской нас усадили в примечательные кресла, выполненные из корневищ деревьев. Коненков задерживался, и у нас было время полюбоваться креслами и другими достопримечательностями, а также обменяться предположениями о том, как решил свою задачу скульптор. Мне, например, представлялось, что это будет мраморный бюст писателя — мудрого и красивого старца, устремившего свой взор вдаль, в необъятные пространства, в будущее.

Но вот появился Коненков. Был он, несмотря на возраст, подвижен и скор. Нас повели в мастерскую. Среди многих начатых скульптур обращала на себя внимание огромная статуя Маяковского, а на одном из рабочих столов стояло нечто, прикрытое холстиной.

— Ну, вот вам и надгробие! — Коненков сдернул покры-

вало, и перед нами оказалась птица из раскрашенного белого мрамора, восседающая на каменной глыбе.

Удивленные, мы застыли, не зная, что сказать. Так это было неожиданно. Прошло несколько минут, прежде чем мы смогли постичь замысел художника и выразить свое восхищение.

— Птица Феникс? — спросили мы.

— Нет! Это Птица Сирин из древней русской мифологии — символ счастья!

Друг и почитатель Михаила Михайловича, Коненков своим творением дал высочайшую оценку писателю, его вдохновенному поэтическому труду.

А. И. Пузиков (р. 1911) — литературовед, писатель, автор книг о французских просветителях, Э. Золя, О. Бальзаке и др. Больше тридцати лет был главным редактором издательства «Художественная литература», лауреат Государственной премии.

С. Т. Коненков

СИМВОЛ СЧАСТЬЯ

«На старости я сызнова живу, минувшее проходит предо мною...» и удивляет меня своей величественной новизной. Както в разгар лета меня потянуло навестить знакомые места под Звенигородом[1].

В знакомом доме я застал писателя Михаила Михайловича Пришвина. Редкостный знаток природы, поэт, Пришвин давно был дорог мне.

Пришвинская философская проза на всех действует благотворно, она очищает, осветляет душу. Встреча с живым писателем оставила по себе впечатление тихого солнечного утра. Михаил Михайлович был великим тружеником, человеком, одаренным абсолютным зрением и тонким слухом, был художником.

Для того чтобы не «заржаветь», художник должен как зеницу ока хранить свое нравственное здоровье, всю полноту чувств. Художник должен быть окрылен. Таким был Пришвин.

Встретившись в Дунине, мы говорили с Михаилом Михайловичем о жизни, о современности. Помню, замечательно метко он сказал: «Этика социализма в том, чтобы маленькому вдунуть душу большого».

На могиле Пришвина стоит изваянная из камня Птица Сирин. Птица Сирин в древней русской мифологии — символ счастья. Когда я думал о памятнике поэту природы, то ясно представлял себе: ведь каждая строчка Пришвина вечно будет дарить людям счастье[2].

Известный скульптор *С. Т. Коненков* (1874—1971) подружился с Пришвиным в последние годы его жизни. В 1948 году Коненков навестил писателя в Дунине, с тех пор они часто виделись в Москве и летом на даче. После кончины Пришвина скульптор сделал на его могиле на Введенском кладбище в Москве надгробный памятник «Птица Сирин» — символ радости в русской мифологии.

[1] В книге «Мой век» Коненков вспоминает: «Летом 1905 года по приглашению Дмитрия Кончаловское (брат художника Петра Кончаловского. — *Сост.*), который служил в Звенигороде и жил в находящейся поблизости от города деревеньке Дунино, я приехал к нему погостить» (Коненков С. Т. Мой век. М., Политиздат, 1971, с. 134).

[2] В дневнике писателя есть записи, связанные с Коненковым. Приведем некоторые из них:

«*1 октября 1922 г.* Был у Сергея Тимофеевича Коненкова, и очень он мне полюбился. Это настоящий художник; о религиозной философии, когда говорит об этом, то совсем как религиозные люди из народа, и чувствуешь, что народ наш религиозен. О воскрешении отцов Федорова он сказал, что это очень хорошо, но по Христу все-таки должно быть, что не мы, а Он сам в конце концов их воскресит.

Отчего у Коненкова в скульптуре нет человека, а только лес и стихия? Ищите женщину (не собрал себя в любви к одной) — да! Но отчего же он не собрал? Его статуя женщины заросла грибами-поганками».

«*6 сентября 1948 г.* Вчера приезжал Коненков, который, оказалось, в 1905 году жил здесь... Встретились как родные».

«*21 сентября.* Мое преимущество перед Шаляпиным — Горьким — Коненковым — все бы дворцы свои отдал Шаляпин, чтобы перед концом своим погонять в Казани голубей, а Горький — повидать бы «бабушку», а Коненков — какую-то елочку в Ельне: детство, природа, родина у них как «невозвратное время»...

Пусть нет у меня славы Горького, мировой аудитории Шаляпина, нет статуй в Третьяковке, как у Коненкова, но в чем-то этом таком я выше их, больше и дальше и глубже. Итак, мои современники и братья и боги по духу: Шаляпин, Горький, Коненков. Это объединение требует большой мысли.

Замечательно вышло, что я вошел в это созвездие: Шаляпин, Горький, Коненков. А ведь сколько их было, звезд: Блок, Ремизов, Розанов, Мережковский, и мало ли их? А вот разобрались, и оказалось...

Из всех людей, когда отсеялись во мне декаденты, марксисты, народники, богоискатели, остались близкими Шаляпин, Горький и Коненков: они были не близки мне в жизни, Коненкова чуть ли даже я и видел всего только два раза: раз на Пресне у него, другой — недавно у себя. Но они были мне близки по чувству родины и разрешению этого чувства в природе, в детстве и вытекающему отсюда таланту. Парижская любовная история в этом отношении сыграла во мне большую роль: утрата невесты мне равнозначила утрату родины, как это пришло долго спустя Коненкову и Шаляпину. Вот почему среди них я один пришел к своим перепелкам: я раньше их потерял родину, и у меня было больше времени сознательно искать ее и восстанавливать.

Шаляпин, Горький, Коненков — какие могучие таланты, какой я в сравнении с ними! Но я, думая о них, совсем не чувствую себя умаленным, а ими удивленным».

«*16 июля 1951.* Коненков — типичный сектант, живой пример того несчастья, какое разбираю я на примере Л. Толстого. Эти великие таланты не удовлетворяются художественным творчеством, принуждающим к творческому материнству, находят себе короткий логический путь к Богу, и у них получается не молитва, а рассуждение, не награда, а вывод. В существе своем это какой-то тупик темперамента, у великого художника тупик почти комический, вернее, лучше бы ему быть комическим. Это Дон-Кихот в клетке».

«*22 мая 1952.* Вспомнилось, что два художника Кустодиев и Коненков могут быть примером выхода из болота в море: Кустодиев выходит в родном сарафане, Коненков больше национален, чем Кустодиев, но с самого начала у него нет следа сарафана».

[2] Об истории создания памятника в своих воспоминаниях пишет В. Д. Пришвина:

«Как родился у Коненкова образ Птицы Сирин? Я была молчаливым и единственным свидетелем и рада возможности сейчас об этом рассказать.

Михаил Михайлович скончался, не дожив до больших физических страданий. В последние месяцы жизни я не замечала в нем и тени прямого страха, а скорее трепетное ожидание чего-то нового, неиспытанного. Однажды, незадолго перед кончиной, он сказал мне:

— Как ты думаешь, если я умру, Коненков за хочет сделать мне памятник на могиле?

— Рано думать об этом... Конечно, захочет, — ответила я и перевела разговор на другое.

Это был вопрос человека, не собирающегося умирать, как бы в шутку заданный, и мне передалась неизбывная душевная бодрость Михаила Михайловича, мужество, не оставлявшее его до смерти.

Он умер 16 января 1954 года, а в начале февраля я поехала к Сергею Тимофеевичу и рассказала ему о том недавнем разговоре. Я не просила ни о чем.

Сергей Тимофеевич помолчал немного и сказал мне почти сурово, как приказ:

— Съездим на кладбище.

— Когда? — спросила я.

— Сейчас, — ответил Сергей Тимофеевич.

Был снежный и тихий день. На Введенском кладбище мы шли по занесенным — еще не успели расчистить — дорожкам, и так не похоже было среди этой белизны, свежести и тишины, что мы находимся в центре большого, напряженно живущего города. Мы сели на скамейку у соседней могилы — художника Виктора Михайловича Васнецова. Прошло сколько-то времени в молчании. Вдруг Сергей Тимофеевич обернулся ко мне и, явно улыбаясь (вся суровость куда-то ушла), сказал мне:

— Я сделаю памятник обоим моим друзьям, вместе! Надо же, рядом легли!..

Я не посмела спросить тогда у Коненкова, каков его художественный замысел. Мне стало радостно и покойно на душе, что желание Пришвина будет осуществлено» (Пришвина В. Д. Скульптор и писатель. В сб.: С. Т. Коненков. Встречи. Воспоминания современников о скульпторе. М., «Советский художник», 1980, с. 108—110).

IV

В. Д. Пришвина

В ДУНИНЕ

В марте 1946 года мы получили путевки в санаторий Академии наук «Поречье» под Звенигородом.

Живя в «Поречье», гуляя по окрестностям, Пришвин влюбился в соседнюю деревеньку, в дом над рекой, в местную природу. Это было то самое Дунино, в котором мы побывали в поисках дачи осенней распутицей 1940 года. Тогда Дунино показалось Пришвину неприглядным. Теперь же он ни разу даже не вспоминает той осенней унылой поездки. Михаил Михайлович восхищается разнотравьем дунинских лугов, богатством леса.

За истекшие с тех пор военные годы дом был разрушен, фруктовый сад начисто порублен. Оставались на участке только дикие деревья — липы, ели, сосны, израненные гвоздями и колючей проволокой. Макушки у многих деревьев снесены снарядами. Сохранились в неприкосновенности лишь две центральные пирамидальные пихты, похожие по форме на кипарисы, — краса участка.

Дело в том, что во время войны в доме этом стояли наши русские солдаты, а на противоположном берегу реки — солдаты противника. На участке дачи мы застали земляные укрепления, окопы, щели, оставшиеся от дней, когда деревня обстреливалась.

Дом был до крайности разорен. Сожжены все перегородки, двери, частично полы и потолки. Зияли проемы окон, уже без рам. Крыша во многих местах была содрана, снег и дождь падали в комнаты. Кирпичи из фундамента понемногу растаскивались, дом еще держался на опорных угловых столбах. Это было невеселое зрелище. Победоносно и нерушимо возвышалась в доме лишь печь — старинная, умно придуманная для быстрого обогрева дома: она была трехгранная и выходила в три комнаты.

Больше всего восхитила Михаила Михайловича веранда. Она была построена лет сто тому назад каким-то неведомым нам хозяином, по преданию финном, и по оригинальному образцу: семигранник с незастекленными проемами, разде-

ленными лишь тонкими столбиками. Каждая грань открывает вид на сад, на деревню, на реку, на заречье.

Одноэтажный этот дом стоит на крутом склоне, и потому веранда, расположенная на нижнем конце дома, образует второй этаж. Это было место, незаменимое для работы и общения с природой и ночью и днем. Михаил Михайлович впоследствии подолгу на ней гулял при звездах, здесь он часто встречал и солнечный восход.

31 марта Пришвин записывает: «Дом очень соблазнителен. Сегодня Ляля едет в Москву уговаривать каких-то старушек продать его нам». Пришвин понимает — это будет его последний дом, в котором надо успеть закончить ему, писателю, все задуманное, все порученное жизнью; в выборе ошибиться больше нельзя: этот дом — последний.

И вот после долгих колебаний через два месяца наконец-то появляется в дневнике следующая запись: «Около вечернего чая пришли девушки: предсельсовета и агроном. Они поставили печать на заготовленные нами бумаги, и двухмесячная борьба и колебания были закончены; развалины дачного дома стали нашим владением.

Я подарил Критской книгу с надписью: «Н. А. Лебедевой-Критской на память о счастливом хомуте. Я счастливо влез в хомут счастливого 13 мая 1946 года, она счастливо из него вылезла».

Удивительна и прекрасна была жизнедеятельность и бодрость Михаила Михайловича, как будто хлынувшая в тот год внезапно и щедро из каких-то запасных источников его души.

Тем летом Пришвин ухитрялся еще и натаскивать собаку на болоте под Пушкином. И писание, и охота, и автомобиль, и общение с людьми, и постоянное уединенное общение с природой на далеких прогулках и поездках, причем это последнее ему было насущнее всего — как дыхание. Короче говоря, жизнь была наполнена до краев своим делом, и на поверхностный взгляд могло казаться, что Пришвин успевает жить только собой. На самом деле происходило обратное: он делал будто для себя, а выходило непременно для других — для всех.

Для нас же, близко стоявших к нему и любивших его людей, от его усилий как можно лучше делать свое дело всем становилось тоже хорошо, и интересно, и весело.

Михаил Михайлович не перелагал на меня в тот момент ни инициативы, ни осуществления практических дел по ремонту. После устройства Дунина он как бы перешел на новую ступень физической и духовной жизни. Это отразилось и на

нашем дунинском хозяйстве: я взяла все хозяйственные хлопоты на себя.

В Дунине теперь следил за ремонтом один наш добрый знакомый, и Михаил Михайлович появлялся там лишь в необходимых случаях: «В доме одна печка наполовину готова. Ставят ворота. Расчищена дорога для машины. Вечером дом светится. Сделаем!»

В июле Пришвин работал уже без срывов. «Расцвели все цветы. Поспели садовые ягоды. Показались на деревьях яблоки. Ух, какая работища нависла надо мной и тоже, как яблоко, показалась из моей зелени. В Дунине с великой силой взялись белые грибы. Всего трясет — так хочется пособирать, и в то же время думаешь, что все такое не ко времени. Теперь мне не до грибов, не до охоты, не до рыбы, даже и не до природы».

Идет август, ремонт движется к концу, нам не хватает денег, чтоб расплатиться с плотниками. С вечера выясняем сроки расчетов, свои средства...

«17 августа. Вечером после дождя потеплело и от земли повалил пар. Подумал о грибах и сегодня поутру, очень хорошему, пошел. Но я был смущен и расстроен вчерашними подсчетами строительства, не мог войти в радость леса и вернулся с двумя грибами».

«23 октября. С деньгами плохо. Спина ужасно болит, ходить почти не могу. Надо собирать силенки, зажечь огонь и разогнать наступающих волков».

Михаил Михайлович бросился в Государственное издательство художественной литературы за помощью. Там работал директором П. И. Чагин, благодарную память о котором хранят писатели не одного поколения. Он был страстным любителем литературы, чутким и бескорыстным помощником писателей во все трудные их минуты. От Чагина Пришвин с великой радостью узнал, что в Лейпциге напечатан его сборник. Этот сборник, выпущенный без ведома автора, и выручил нас при расчетах за ремонт.

Теперь станет понятной читателю без всякого переносного смысла запись в дневнике, относящаяся именно к тем дням борьбы за свой желанный дунинский дом: «Мой дом над рекой Москвой — это чудо. Он сделан до последнего гвоздя из денег, полученных за сказки мои или сны».

Ремонт дома шел все лето, к концу которого, осенью, Пришвин пишет: «Вчера первый раз переночевал в своем доме. Начинаю пожинать урожай своего весеннего сева: посеял, все лето боролся, растил — и вот мой дом, как ябло-

ко, как мысль, поспевает, и звезды небесные, как обстановка души моей, появляются над моими сенями.

Вечером на короткое время вызвездило, и я с веранды увидел Большую Медведицу и другие звезды, с детства так знакомые и родные.

И вся небесная обстановка моего домика была как мебель собственной души моей, и даже сама душа, казалось, досталась мне от первых пастухов».

Запись эта станет понятной, если читатель узнает, что дом, в котором Пришвин тогда ночевал, еще стоял без полов, спал Михаил Михайлович на сколоченном наспех топчане, устланном свежим сеном. Вместо мебели вокруг стола стояли пни. Для работы плотники тут же сколотили первый грубый стол.

Наступил 1948 год. Все хозяйственные хлопоты для Михаила Михайловича были уже позади. Он живет и работает в Дунине: «Я встаю до солнца и гуляю на балконе. И мне кажется, эта прогулка, это жадное чувство жизни началось во мне с Балахонского хутора... Значит, иду я кругом сорок пять лет!»

Да, можно нам, друзьям Михаила Михайловича, надеяться: та звезда, которую он ждал, ради которой «дорожил жизнью», — эта звезда «опустилась» к нему в Дунине.

Шли первые послевоенные годы. Вот почему мы скромно, временами скудно жили с Михаилом Михайловичем в Дунине. Достаточно сказать, что забор был нашей неосуществимой мечтой. Тем не менее относительная ограниченность в средствах ни в какой мере не отражалась на нашем трудном и деятельном счастье.

Не для отдыха или здоровья жил он свои последние годы в Дунине. Он жил в природе, как ученый живет в лаборатории, — это была его мастерская. И не о самой природе писал он, а о природе человека. В Дунине шла ежедневная работа Пришвина над дневником.

Пришвин вел дневники безо всякой мысли о печати. Они были кладовой, из которой он черпал материалы и заготовки для своих профессиональных целей. Там собиралось все: темы, философские записи, записи художественных деталей, подслушанного народного слова. И все это — на фоне и личных переживаний и общественных событий — записывалось изо дня в день с точностью летописца и неутомимостью непосредственного участника — творца и художника собственной жизни.

Вызывает удивление и величайшее уважение неуклонная

ежедневная работа над впечатлениями прошедшего дня ранним утром последующего. Пришвин не позволял себе никаких скидок на обстановку, настроение, здоровье. День, не попавший в дневник, в каком-то смысле был для него только черновым наброском для еще не написанной картины. Часто он ложился спать пораньше для того, чтобы скорее наступило утро, когда он запишет минувший день: вечером он, по его признанию, был «не работник» — он не верил своему вечернему восприятию и, по-видимому, к вечеру не сохранял необходимых рабочих сил. Но раннее утро — «заутренний час» — Пришвин не устает прославлять как время величайшего настроя человека в унисон с природой. Его «знобит» от восторга в этот час пробуждения к деятельной жизни отдохнувшей природы, омытой ночным молчанием и сном.

С дневником Пришвин не расставался ни днем, ни ночью. Трудно вспомнить такую ночь, которая не прерывалась бы осторожно зажигаемым огоньком настольной лампы. Иногда мы встречаем запись, сделанную на ощупь в темноте. Днем мы постоянно заставали Михаила Михайловича с записной книжкой. Среди разговоров, за рулем машины, во время прогулки в лесу Пришвин неожиданно вынимал свою записную книжку и с характерным выражением сосредоточенного внимания к посетившей его мысли делал короткую отметку карандашом. На следующее утро эти заметки с присоединением всего незаписанного, лишь хранимого в памяти, переносились в дневник.

Это происходило за письменным столом, а очень часто и за ранним утренним одиноким чаем в обществе одной только неразлучной с ним собаки. Вот как отмечаются в дневнике эти рабочие утра: «Работаю с утра на веранде; петух начинает мой день. Земля приморожена и слегка припорошена по северным склонам. Пью спокойный чай на темнозорьке. Солнце выходит золотой птицей с красными крыльями, над ним малиновые барашки».

В Дунине на природе Пришвин пережил свои последние радости телесного здоровья, которые давались ему в первые три года без чрезмерной борьбы. Выразительны короткие отметки в дневнике:

«Сбегал в лес по грибы... Едва донес корзину».

«Сегодня утром в тумане стрелял перепелов. Жулька была на высоте высот. Ходил на болото Николиной Горы. Итого

ходил 7 часов. Было жарко, солнце мучило. Шел из последних сил, боялся кончиться. Но добрался до реки, вымыл голову и после того подобрался».

Было бы ошибкой думать, что Пришвин жил в Дунине отшельником. К нему тянулись люди, они приходили в дом ненавязчиво, считаясь с занятостью хозяина. Он радовался им. Так, он записывает, что вокруг его усадьбы собирается общество и это напоминает ему, как бывало некогда в детстве, в Хрущеве. Но теперь это не «люди, оторванные от дела, похожие на растения, выдернутые прямо с землей». И в таком смысле это не просто «гости», а каждый со своим лицом, со своим делом, и этим делом в первую очередь характеризует Пришвин каждого нового гостя.

В Дунине рядом с нами жили в разные годы поэты А. Я. Яшин и В. В. Казин, известный литературовед В. О. Перцов. Вскоре после нас в Дунине поселилась писательница Л. А. Аргутинская. В трудную минуту своей жизни приехал к Пришвину В. Ф. Боков, появлялась время от времени Ксения Некрасова. Михаил Михайлович о ней записал: «Была поэтесса Ксения Некрасова, невзрачная, нелепая, необразованная, неумеющая, но умная и почти что мудрая. У Ксении Некрасовой, у самого Розанова, и у Хлебникова, и у многих таких души не на месте сидят, как у всех людей, а сорваны с места и парят в красоте».

В Дунине бывали у нас и работали в разные годы художники: писали портреты Пришвина, дунинскую природу. Это Ф. Антонов, Ф. Шурпин, Р. Зелинская, В. Панфилов, Лина По, А. Кириллов, В. Никольский, Г. Шегаль.

В это время Пришвин много работает над романом «Осударева дорога». Летом 1949 года роман в новой редакции читает по просьбе Пришвина К. А. Федин.

Получив от Федина письмо с одобрением, оценкой и деловыми советами по поводу прочитанной им рукописи романа, Пришвин записывает в дневнике: «Вышло в моей жизни это письмо большим событием... Я почувствовал, что существую как художник, что труд мой не пропащий. Сразу выросли крылья и явилась уверенность в заветной мечте своей написать для всех классов, образований и для всех возрастов на одном языке понятную вещь».

Пришвин подразумевает уже начатую им повесть «Корабельная чаща». Тут же он записывает, что этой новой повестью он скажет свое «спасибо» Федину — «единственному, высказавшемуся за мою вещь».

Тем временем жизнь наша домашняя шла и шла своим чередом, и в ней проходили свои, только нам одним заметные беды. Так, в 1949 году умерла от чумки наша Жулька. Михаил Михайлович пережил ее смерть как расставание с любимым другом, хотя внешне особенно не показывал нам этого. Потом появились у нас другие собаки, пойнтер Кадо, добродушный и огромный. Он был слишком силен и груб, недаром Михаил Михайлович всегда предпочитал охотничьих собак-самок. Он передал Кадо Петру Леонидовичу Капице, который, чтоб справиться с собакой, перед охотой поил ее бромом.

Наконец, появилась у нас Джали, или Жалька. Мы раньше выбрали имя при чтении «Собора Парижской богоматери» (так звали козочку Эсмеральды), а после уж приобрели щенка.

Так прошел еще один дунинский год, и тут, осенью 1950 года, пришла беда, которую пережил Михаил Михайлович нелегко и непросто: ударом была статья некоего экономгеографа Л. Зимана о повести «Серая Сова», напечатанной еще в 1939 году и благополучно прожившей с тех пор целое десятилетие.

Пришвин начинает борьбу за себя и своего индейца.

В 1949 году Михаилу Михайловичу пришлось сделать уступку своему возрасту: болеть и лечиться; но болел он на редкость бодро. Выздоравливает, возвращается в Дунино, начинает работать. В Москве зимой снова простудился. Но с апреля 1950 года мы переселяемся в Дунино. Михаил Михайлович находится на подъеме: «Роскошное утро. Везде блестит роса на траве. Окапывали малину, яблони, вырубали колья для малины. Вычистил и привел в порядок гараж, инструменты. Но ничего, даже весь цвет, вся радость весны не могут мне дать сами по себе удовлетворения, если я сам не отвечу записью своих образов и мыслей».

В мае выступает в школе большого соседнего села Успенское.

В конце 1952 года Михаил Михайлович впервые в жизни попал в больницу. Оправился... снова работает. В 1952 году неотрывно пишет «Корабельную чащу».

«Доктор требует умерить усилие с работой с расчетом на академические четверть часа. А работа требует усилия без расчета, того усилия, от которого умер Фауст».

В начале 1953 года Пришвин заболел как никогда тяжело, и снова воспаление легких. Во время болезни он меньше всего сосредоточен на себе, весь обращен к миру, к человеку — к общему. Достаточно вспомнить: к нему приходила делать

уколы медсестра. Она внезапно катастрофически умирает: сегодня была — молодая, веселая, а завтра нам сообщили о ее смерти. И Пришвин тут же в постели, совсем еще слабый, пишет в ее память рассказ «Золотая рука». А в дневнике записывает: «На днях умерла Клавдия Ивановна, милая медсестра. У нее глаза всегда улыбались».

И наконец, была борьба за «Корабельную чащу» — последняя борьба в его жизни.

«8 июля. Передал Ляле для доставки в «Новый мир»... Я вдруг освободился совершенно от работы, и вместе с тем исчез прежний трепетный интерес к судьбе книги, и это значит, что я кончил. Я все сделал, всего себя, какой я есть, сложил в эту повесть, и если выйдет плохо, то это будет значить, что я сам плох. Может ли это быть? Конечно, может. Все может быть плохое, но я сделал все, чтоб его не было, и совесть моя совершенно спокойна. Как хорошо!»

1 сентября 1953 года:

«Слово правды», оказывается, требует переработки.

...Я б ы , — сказал Т в а р д о в с к и й, — напечатал Пришвина: пусть. Пришвин отвечает сам за себя. Но время очень тяжелое, спустят всех собак на него, а я его люблю, мне его жаль...

Нашел выход из тупика литературного: вернусь к агрономии, как Фет вернулся в свое хозяйство на 20 лет. Буду прочищать дорожки, а когда нечего есть будет, стану за коровой ходить. Всем буду заниматься, только останусь на воле. В отношении повести не буду спорить и постараюсь сделать все, чтобы напечатать.

Надо пережить неудачу и собраться на каком-то твердом месте в себе».

Через несколько дней Михаил Михайлович перестал видеть одним глазом. Он заклеивает бумажкой стекло очков, чтоб не проверять себя в ожидании улучшения, и продолжает работать. Находит в себе силы даже шутить: «Правым глазом плохо вижу, но до Фауста еще не дошел».

В конце октября мы переехали в город. Уезжали вдвоем из Дунина и не знали, что это в последний раз. Михаил Михайлович сам вел машину.

Еще летом Пришвин составил для издательства «Молодая гвардия» сборник «Весна света» с новыми вводами к каж-

дому разделу. Редактор книги Г. А. Ершов знал о моих подозрениях в отношении здоровья Михаила Михайловича. Он сделал так, чтобы книга вышла поскорее и была нарядной. За три дня до Нового года он принес Пришвину сигнальный экземпляр. Книга в прекрасном оформлении была для Михаила Михайловича подарком.

С этих пор, то есть в последний месяц жизни, Михаил Михайлович отказался от работы «на производство», однако болезни не уступил и главное свое дело — дневник — вел ежедневно до конца...

П. Л. Капица

ЧИТАЯ ДНЕВНИК М. М. ПРИШВИНА

Валерия Дмитриевна мне передала выдержки из дневника ее супруга Михаила Михайловича Пришвина, в которых он пишет о наших беседах с ним. Эти выписки интересны, они замечательны своей искренностью, и в них хорошо отражается прекрасный образ Михаила Михайловича.

В связи с этими выписками из дневника Валерия Дмитриевна просила меня написать о Пришвине к 100-летию со дня его рождения. Сделать это, хорошо и образно, трудно. Михаил Михайлович наш крупный писатель, но, кроме того, он еще чрезвычайно своеобразный и интересный мыслитель. Чтобы писать о Пришвине, нужно быть самому Пришвиным.

Мы познакомились с Михаилом Михайловичем 8 июля 1949 года, когда он приехал на Николину Гору, где я жил тогда на даче. В 1946 году из-за несогласия со Сталиным я был полностью отстранен от моей научной работы и мне пришлось покинуть Институт физических проблем, где я не только руководил научной работой, но и сам работал в области физики низких температур. На даче я постепенно организовал для себя маленькую лабораторию в обычной комнате, в сторожке.

Там, работая своими руками, я все же мог решать небольшие проблемы сперва в гидродинамике, потом и в электронике. В своем дневнике Михаил Михайлович называет меня «опальным бояриком советской власти».

Возможно, что положение ученого, академика в таком необычном состоянии сначала и заинтересовало Пришвина. Если даже наше знакомство началось у Михаила Михайловича с любопытства, то оно продолжалось уже как дружба. Оказалось, что нам было интересно беседовать и обсуждать окружающую нас жизнь, природу, людей, социальные процессы и основное, что интересовало Михаила Михайловича, — философско-этические проблемы человеческого общества. Главное, что было нам обоим интересно, это то, что почти ко всем вопросам мы с Михаилом Михайловичем подходили с разных точек зрения. Он так пишет в дневнике об одной из наших дискуссий: «...Легче верблюду пройти сквозь иголь-

ное ушко, чем ученому освободиться от своей специальности. «Да, я материалист! — сказал о н . — А кто же вы — идеалист?» — «Н е т». — «А кто же?» Подумав немного, я ответил: «Я спиритуалист». И улыбнулся».

После смерти Сталина и ареста Берии я получил возможность вернуться к нормальной научной работе, прерванной на 7 лет. Мы продолжали часто встречаться с Михаилом Михайловичем до его смерти, в 1954 году. Накануне его кончины мы были у него на квартире в Москве. Я знал, что Михаил Михайлович неизлечимо болен, но в тот вечер он был, как обычно, разговорчив, говорил о музыке, которую очень любил, он приобрел патефон с только что поступившими в продажу долгоиграющими пластинками, и мы слушали классическую музыку. Смотрели только что выпущенные в Англии книги с переводами на английский рассказов и повестей Михаила Михайловича.

Был ужин, распили бутылку сухого вина. Необычайным было в тот вечер только о д н о , — когда Михаил Михайлович провожал, то в прихожей, где перед расставанием, как всегда бывает, возникают самые интересные разговоры, Михаил Михайлович сел на стул. На следующее утро Валерия Дмитриевна нам по телефону сообщила, что ночью Михаил Михайлович скончался.

Наши встречи и беседы с Михаилом Михайловичем, приведенные в его дневниках, отражают образ Пришвина не только как писателя, но и как мыслителя и философа. Известно, чтобы быть большим писателем, надо быть наблюдательным человеком, уметь выбирать наиболее характерное и существенное, найти интересную фабулу и хорошим языком ее ярко изобразить. Даже если в произведении люди живые и фабула интересная, все это еще не делает писателя достаточно большим, чтобы его произведения могли его пережить. Для того чтобы остаться писателем на долгие времена, нужно быть еще философом с самостоятельным творческим мышлением. То же, конечно, требуется и от творцов в других областях искусства. Время показывает, что этого достигает очень небольшое число писателей и художников.

Жизнь также показывает, что это самостоятельное мышление у писателя неизбежно сопряжено с возникновением противоречия с существующим укладом жизни. Причина этого просто объясняется. Всякое творчество, как в науке, так и в искусстве, рождается у человека из чувства неудовлетворенности действительностью. Ученый недоволен существующей теорией и уровнем знания в его области науки; у писателя это

обычно недовольство существующими условиями жизни людей, этикой во взаимоотношениях между ними и, часто, общественной структурой. У художника это еще усугубляется неудовлетворенностью общепризнанными и существующими способами отображения окружающего его мира.

Так как большое творчество связано с философией преобразования мира и оно неизбежно зиждется на недовольстве существующим, то это ведет к тому, что произведения писателей-мыслителей, таких, как, например, Толстой, Достоевский, Горький, рассматривались установившимся социальным укладом как факторы, мешающие спокойному течению жизни, и обычно вызывали активное неодобрение со стороны общественных и государственных аппаратов.

Это неизбежное противоречие творческих исканий с существующим жизненным укладом является диалектикой прогресса человеческой культуры. В той или иной форме эти противоречия творчества с действительностью часто ставят ученых, писателей, художников, философов и вообще творческих деятелей во всех областях, связанных с умственным и духовным ростом человечества, в положение борцов. А борьба обычно связана с лишениями, огорчениями и другими испытаниями. Но если бы эти противоречия между творчеством и действительной жизнью отсутствовали, то остановился бы рост человеческой культуры. Поскольку закон диалектики всегда справедлив, поэтому противоречия в той или иной форме будут неизбежно существовать при любой развивающейся социальной системе.

В дневниках Михаила Михайловича эти противоречия между его этическими и социальными концепциями и существующим миром ярко выявляются. Все, о чем писал Михаил Михайлович, всегда заключало в себе вопрос об этическом взаимоотношении человека как с окружающей его природой, так и с окружающим человека обществом. Здесь он основным мерилом человеческого счастья считал «радость личной свободы», обретенной, по Пришвину, в преодолении своего эгоистического «хочется».

После разговора о современном представлении о природе человека вот что пишет Михаил Михайлович в своем дневнике:

«...Говорили о братьях Хаксли, что оба они живут в области сенсации и теперь брат Олдос выпустил сенсационный роман о сущности обезьяны в том смысле, что обезьяна в человеке остается неизменной, а на фоне обезьяньем выделяются отдельные люди, выросшие из хромосомы милосердия.

— А я об этом думал, — сказал я, — еще во времена декадентские, и когда падала Империя Российская, как теперь падает Англия, то явился у нас писатель Андрей Белый, — куда там Хаксли! Он подавлял нас своим индивидуализмом бесконечного углубления.

— Как же вы из этого вышли? — спросил физик.

— Вместе с вами, физиками, — ответил я. — У вас раньше думали, что атом есть просто конечно-малая величина материи, а теперь вы нашли, что атом — это целая маленькая вселенная. Так и мы теперь, инженеры душ, поняли, что атом человеческого общества является такой же маленькой вселенной и на каждое духовное ядро приходится какое-то большое число обезьяньих сущностей, с которыми духовное ядро связано долгом.

Атомная энергия — в человеческой душе называется свободой, и революция вполне отвечает освобождению внутриатомной энергии. Но, по-видимому, соотношение свободного ядерного духа и подчиненного ему обезьяньего, называемого у нас порядком, есть высшая идея атомного бытия и предшествует всякому творчеству и, развиваясь в сознании, образует, с одной стороны, наше сердечное чувство гармонии и, с другой, идею пространства и времени.

Вот почему каждому духовно одаренному человеку в обществе надлежит не взрываться индивидуально и обнажаться в сенсации, как Хаксли, а организовать свою ячейку с обезьянами в чувстве гармонии, в идее пространства и времени, как это сделал с собою Шекспир и как я, совершенно простой русский человек и страстный любитель свободы и гармонии русского слова, пытаюсь провести личных своих обезьян, и это дело свое называю поведением человека.

В этом смысле я утверждаю, что подсознательное поведение в этом глубоком смысле у каждого настоящего художника и настоящего творца предшествует его творчеству...»

«Вспомнил, что физик поставил лично мне вопрос о том, совместима ли наша свобода — это наше высшее благо — с социализмом. «Совместима, — ответил я — и развил этот цикл мысли и чувства, нажитых в революцию, с заключением: — Вот картина нашего внутреннего свободного строительства, а социализм — это внешний двор».

В наше время, когда революция требует интенсивного социального строительства, есть стремление к объединению сил. Поэтому противоречия канонам, даже если эти противоречия направлены вперед, огульно отвергаются. После революции все было направлено на укрепление социалистического

строя, на рост благосостояния народа, на ограждение его безопасности, и все, что противоречит единству в этой борьбе, обычно оценивается как чуждое времени. Тут тоже есть своя диалектика, так как это единство может только существовать, если есть факторы, его нарушающие.

Неизбежное противодействие творческим начинаниям, о которых я только что говорил, у нас поэтому нередко сильнее, чем это имело бы место, если бы в стране не происходило развитие новой социальной формации. Но прогрессивные законы социального развития всегда возьмут верх, и все здоровое и передовое войдет в нашу жизнь. Но часто сейчас у нас творческим работникам приходится вести за свои идеи гораздо более тяжелую борьбу и тратить на это много своих духовных сил. Мы забываем, что благодаря прогрессивным основам, вложенным революцией в развитие нашей социальной структуры, здоровое развитие нашей культуры неизбежно само по себе, без административных мер, жизнь сама отберет все, что нужно для нашего роста.

Михаил Михайлович глубоко переживал, что некоторые его произведения не печатали, и не мог понять причин, так как он считал, что его творчество содействует развитию достижений революции и его этические взгляды необходимы для нашего здорового социального роста. Конечно, приспособиться к лакировочной литературе он не мог. Вот отрывок из его дневника, это короткий рассказ о самом себе. Я до сих пор помню, как он его рассказывал, когда мы были у него в Дунине:

«15 сентября. Вечером приезжали Капицы с Ливановым. Я удачно рассказал о поганом грибе.

20.IX. ...Вижу, гриб стоит поганый и чудесный, очень похожий на самый причудливый минарет, и такой самостоятельный, такой независимый.

— Кто ты такой? — спросил я в удивлении. По-своему гриб мне что-то ответил, и я понимал его так, что он гриб единственный в лесу независимый. — Так почему же ты поганый?

— Только потому поганый, — ответил мне гриб, — что меня есть нельзя.

Тут-то вот я и вспомнил себя самого и ответил поганому грибу:

— А я сам такой, тоже поганый, за то, что меня тоже съесть нельзя».

Обаятельный образ Пришвина-мыслителя прекрасно вырисовывается в его дневниках. И я надеюсь, что они когда-нибудь будут напечатаны целиком.

Знакомство М. М. Пришвина с известным ученым-физиком, лауреатом Нобелевской премии *П. Л. Капицей* (1894—1984) состоялось в 1949 году и перешло в тесные дружеские отношения, сохранившиеся до конца жизни писателя. Их общение было диалогом глубоко расположенных друг к другу и на первый взгляд разных людей — Ученого и Художника, проявлением двух типов современного мышления — образного и логического.

Вот записи дневника, которые В. Д. Пришвина сделала для П. Л. Капицы:

«8 июля 1949. Прошлый год <...> Анна Алексеевна Капица прислала мне письмо с приглашением. Только сегодня мы решили поехать к ним на Николину Гору и познакомиться с Петром Леонидовичем Капицей, «опальным боярином советской власти». Она — брюнетка средних лет, он пятидесяти пяти лет блондин со светящимися голубыми глазами. Разделив всех людей на две породы: сеттеров и пойнтеров, Капиц мы причислили к высокопородным пойнтерам. И скорее всего он просто упрямый хохол по природе и, конечно, с блестящими способностями физика. Но что нам физика? Нам важно знать, куда она направлена: важно знать, что Советский Союз направляет эту силу к добру. Мы не могли решиться пустить разговор в эту сторону и ограничивались либеральными экивоками. <...>

Нравственное заключение или вытяжка из этого визита: Друг мой! Ты дерзнул прикоснуться к таким вещам, которые можно обратить одинаково в добро человеку и во зло, поэтому ты должен принадлежать тому, кто контролирует добро или зло. Мы уверены, что контролируем жизнь в пользу добра, и потому брось охоту и личную жизнь и отдайся целиком службе добра. Если же ты сознаешь, что внешние способности привели тебя к непосильному бремени, то откажись и начни жизнь незаметного деятеля, какого-нибудь агента качества без всякой претензии на признание, уравновешенного сознанием ответственности за радость личной свободы.

10 июля. Мне мелькнуло в Капице близкое мне чувство гнева на подхалимскую бюрократическую среду, тайная вера в то, что своим талантом, своим удальством можно эту среду победить, и что если будут все, как я, то идеалы будут достигнуты.

12 июля. Вероятно, мысль о праве на помощь в труде мелькнула у Капицы, который сам себе и лаборант. А когда обрадовались этому «сам себе», он возразил мне тем, что сколько у него на это пропадает драгоценного времени. И мы перешли на Толстого, который, очевидно избегая необходимости саморазделения в труде, пахал.

1 октября. Кадо куплен Капицей.

4 октября. Приезжали Капицы, привезли деньги за Кадо: они довольны собакой, и я очень рад, что сбыл.

5 октября. Капица, обеспокоенный горячностью Кадо, стал давать ему перед охотой бром.

15 октября. Назначили ехать в Дунино в 8 утра. Выехали в 9 утра и по дороге заехали к Капице. Мелькнула мысль о Робинзоне и Пятнице в условиях социализма.

Капица показал свои книги, полочки, ружья — и все у него в таком порядке разумном, ничего не имеющем общего с мещанским порядком безделья, что вслух подумал:

— Откуда такой порядок, не от солнца ли?

23 октября. Понял Капицу и вывел его из К. и Замятина. К. — немец, Замятин и Капица — выученики Англии, а что-то есть общее у всех троих. Все трое — хозяева. Даже Кадо на глазах у Капицы сразу занял свое место собаки... Но Жульки такой, как выросла она у меня, у них не могло бы сделаться, потому что у тех хозяев все сотворенное, а не рожденное.

23 марта 1950. Епископ Лука в Симферополе, хирург и профессор, сана не снимает, и никто его не трогает. Когда приходят больные, он спрашивает:

«Православные? — И если да, говорит: — Помолимся!» И после того начинает лечить.

Такого же характера и Капица, и если не я сам, то мой двойник. Но есть другой характер советского человека: рассчитывать каждый шаг, каждое слово, как будто если только он ошибется, то его схватят невидимые руки. (Продумать в сопоставлении оба характера.)

31 мая. С Капицей у нас отношения осторожные, но раз он сказал: «Я не согласен с тем, что одного человека можно заменить другим, что вообще человек заменим». И по этой одной реплике я его понял всего. Мы все сейчас тут у нас разделяемся на верующих в незаменимость человека (личность) и на знающих то, что один человек заменяется другим, как запасная шестерня.

Свидетельство о моей незаменимости дает мать моя, для которой я есть единственный, и сам я, рожденный матерью моей, продолжаю ощущать себя, свое «я», как единственное и незаменимое. Таким образом, происхождение личности генетическое.

Напротив, теория заменимости одного человека другим имеет логическое происхождение: все люди представляют собою один рабочий коллектив: я — рабочий, значит, я заменим, как одна шестерня заменяет другую.

В царское время общество было построено на генетическом основании, теперь — на логическом. То и другое в своей односторонности неверно. Действительность жизни требует гармонического сочетания генетического основания (личности) и логического (общества). В этом направлении теперь и происходит борьба живого человека с логическим. Ни то, ни другое победить не могут, как это бывает на простой войне частностей. Эта война потому великая и единственная в истории человечества, что борется весь человек во всем своем единстве, и каждый про себя это знает.

1 августа. Капица сказал, что в поэтическом произведении не допускается ни малейшей доли лжи. Он прав, но надо выяснить, что же есть в поэзии правда и что есть ложь, и в связи с этим, что есть поведение автора, о котором так давно я думаю и не прихожу ни к чему.

27 августа. Ученый, вроде Капицы, и писатель, вроде Пришвина, мнят о себе, что если таких честных людей, таких советских людей, заставить отказаться от себя и делать, как приказывают глупые люди, то это будет вредом обществу и против этого надо стоять.

Но так, наверно точно так, чувствовали себя благороднейшие из бояр, когда их поджимал под себя Грозный.

20 сентября. Капица говорил, что сделал большое открытие и ездил с ним к Вавилову. Не знаю и не интересуюсь «открытиями», они теперь везде и находятся в полном отрыве от мира нравственного. Но я завидую семье Капицы, например, что огромную лодку они делали всей семьей и сделали, как не сделать настоящим мастерам; чему-то я завидую и, глядя на это, чувствую, что жизнь меня обошла, как и Лялю, и мы тем и зацепились друг за друга, что каждого из нас в этом жизнь обошла. А впрочем, этот божественный лад (и семейный), о чем я мечтаю, связан с каким-то «дворянским гнездом», и Капица тут ни при чем. Я с этой тоской по семейной гармонии родился, и эта тоска создала мои книги. А с Капицами я чувствую себя неловко, потому что они не совсем понимают меня и уважают авансом. Слишком уж сильно. Боишься не оправдать этих авансов, и это стеснительно. Капица говорит, что Фадеев, конечно, прочел мой роман (Осударева дорога), но не хочет говорить. «Почему же не хочет?» — спросил я. Он ничего не сказал.

2 октября. В 12 дня мы приехали с Оршанками к Капице, и он показывал нам свой [1 нрзб.] с динамическим центром маятника: при усиленном дрожании маятника центр его тяжести перемещается по высоте, и маятник держится вверх головой, а не вниз, как обыкновенно. «Вот и л ю д и , — сказал Ка-

п и ц а , — при большом напряжении духовном перемещают свой динамический центр».

19 июня 1951. По пути в Дунино с большим визитом заехали на Николину Гору к Капице. Петр Леонидович — человек большой, не позволяющий себе пребывать ущемленным человеком или обиженным. В этом его борьба похожа на мою, но языки у нас разные, как и у жены его Анны Алексеевны с Лялей: обе женщины устремлены больше к мужу, чем к детям, но у Капиц это выходит по-английски, а у нас по-русски. Это и надо заметить: обычные браки бывают в смысле: брак есть могила любви, т. е. что родители сами по себе в родах своих опустошаются и живут в детях. А тут они остаются друг с другом, а дети отходят в «хорошие отношения».

23 июля. Семья Капицы. Жена его детей вырастила, воспитала, но это было у нее делом вторым. Первое было у нее: помогать мужу в его творчестве, главное — это его дело.

27 декабря. ...Самое дорогое у великого человека оказывается не то, что он кого-то победил, или сделал новые законы, или что изобрел небывалое, а в том, что он, будучи в этом чем-то великим, в то же время среди людей был «простым», обладая среди простых их лучшими качествами, то есть был... человеком (а не только сверхчеловеком).

Вот взять П. Л. Капицу, академик всех академий по физике. У него есть свой физический сверх-язык, которого мы не понимаем, так же как он не понимает моего литературного сверх-языка. Но за столом, за стаканом вина мы с Капицей понимаем друг друга.

3 июля 1952. Приехали Капицы и были до вечера. Говорили о том, что в детстве у нас была книга примерно «Мученика науки» — и вышло из этого: мы-то остались мучениками, а вокруг началась «зажиточная жизнь».

— Мученики мы, я не знаю, творчество всегда выше мук, и со стороны, кому нравится, видят наши муки, а нам лично в этих муках рождается счастье. Что же касается зажиточной жизни, как теперь ее понимают: машина, телевизор, квартира, то чем это плохо?

— Это не п л о х о , — ответил я, — но это не все. К этому надо прибавить народный фон, вроде чувства правды истинной, и зажиточная жизнь в правде истинной даст нам Диккенса.

16 июля. Вчера Капица в своей манере после анекдота какого-то о Ньютоне или Фарадее и яичницы с поджаренным хлебом спросил меня: «Когда вы были счастливы и как?» Я ответил, что счастлив каждое утро каждого дня, и что ни день, то мне лучше, и новое утро моего 80-го года умнее, добрее и лучше всего моего прошлого. Впрочем, люблю все дни моей жизни, но каждый новый день почему-то люблю больше.

Так я бы должен был ответить, но ответил какую-то глупость, вроде того, что счастье мое в Валерии Дмитриевне, а он испугался: «Нет, нет! Я не о том, я о творчестве». А я растерянно: «В творчестве, да, конечно, да, в творчестве, конечно, счастье, и в женщине тоже: в творчестве и в женщине мое вроде счастье, я все это люблю». «И к о н е ч н о , — помог о н , — независимо ни от кого». «Вот, в о т , — подхватил я, — счастье в независимости, в преодолении времени».

Одним словом, мы с ним были как два студента. Начинаю понимать, однако, что он отстаивает какой-то добродушный материализм на английский манер с русскими поправками.

Капица настолько талантлив, что ему хочется связать концы своих стремлений. И он связывает их по-английски, практично, оставаясь инженером, но не философом.

Тут, однако, около его высказываний близко лежит та мудрость, о которой я сейчас думаю («правда»).

25 июля. Почему технического человека Капицу тянет ко мне? Потому что он не просто техник, а творит свое, и это свое приводит его к Слову.

5 августа. Капица при людях спросил меня, кто теперь у нас первый писатель. Я ответил: «Конечно, Фадеев». А самому было неловко, как всегда бывает у меня до сих пор, когда соврешь. Я даже еще, мне кажется, могу покраснеть. Так сказал я о Фадееве, думая, конечно, что первый — это я. Мне бы лучше было ответить, что артисты все первые, и плох тот, кто себя считает вторым. Надо было бы ответить, что чувство своего первенства, единственного и неповторимого, есть именно то, что делает человека артистом, что перед Богом артисты все равные и все первые, что Бог любит всех, но каждого больше.

Может быть, это чувство первенства есть счастливый момент верного выхода на светлый путь единства человеческой личности, бессмертного существа человека, Сына Божия.

И так понятно, что, бессознательно соприкоснувшись с божественным образом, наивный артист переживает эту радость свою как свое личное первенство и, обращая потом иногда это священное первенство в собственность, объедается жизнью и умирает, как купец на блинах.

Так что все артисты приходят к нам как первые, но редчайшие, великие первыми уходят и остаются в истории разные в лицах и единые в существе человека.

3 сентября. Вчера Капица демонстрировал свой материализм совершенно такой, как было у меня в 20 лет. Я понял, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем ученому освободиться от своей специальности.

— Да, я материалист! — сказал о н . — А кто же вы, идеалист?

— Нет.

— А кто же?

Подумав немного, я ответил:

— Я спиритуалист. — И улыбнулся.

2 февраля 1953. Вечером приехали Капицы, навезли еды, вина. И так начался мой юбилей. Капица говорил о Христе, вроде того, что ап. Павел был «умнее» Христа. И тон был точно такой, как бы он критиковал двух физиков. Я не выдержал и наговорил глупостей, пытаясь ими защитить и Христа и себя. А надо бы спокойно сказать так: «Вот если бы вы отдали себя не на то, чтобы с какого-то конца какой-то уголок покрывала атомной энергии приподнять, а взялись бы понять чудо появления у себя в доме вашей жены, ангела-хранителя вашего Анны Алексеевны, то вы бы сейчас иначе говорили о Существе нашего спора.

22 июня. Жена Капицы Анна Алексеевна сказала, что когда угощаю их музыкой (замечательный приемник «Рига-10»), то я похож делаюсь на вождя африканского племени, которому подарили граммофон. Я бы сказал это о себе не в отношении одной музыки, а и вся жизнь в основном для меня как подарок, и в основных своих началах отношение дареного граммофона вождю африканскому остается таким же.

9 июля. В двенадцатом часу поехали поздравлять Капицу. Узнали «новость», что арестован Берия.

10 июля. За столом у Капицы я сказал маленькую речь о том, что пора бросать арифметику нашей жизни и радоваться какому-то грузину, прожившему 140 лет. Пора бросить детское упование на количество лет и опираться на качество дней наших. Все за столом мои слова поняли и обрадовались.

21 августа. Мы были у Капиц. Он очень хотел мне что-то сказать, увел меня, мы сели на лавочку с видом на луг у реки, где пасутся кони с завода. Засекреченный со всех сторон физик удерживался что-то сказать. И можно думать, как чувствует себя собеседник в молчании таком напряженном.

Он так и не решился о чем-то сказать, а я, спасаясь от тяжелого молчания, прибег к болтовне, которую он рассеянно слушал.

В моей болтовне было место о возможности сближения с Германией.

— Только не знаю, — сказал я, — немцы от младых ногтей питаются государственным молоком и потому только и кажутся нам ограниченными. Мы же сидим, каждый на своем месте, чтобы когда-нибудь, как Илья Муромец, проснуться и встать. Наше дело все в будущем, у них все готово.

— Нет, — ответил он, — мы уже сейчас дали культуре больше, чем немцы.

— Вы забываете Гёте, — сказал я.

— Что же Гёте, — ответил он, — только что «Фауста» написал?

— «Фауста»! — воскликнул я. — А Бетховен, а...

Не знаю, для чего мы встречаемся. Мне кажется, что он дорожит людьми честными и в добре хочет меня понимать.

27 августа. Вчера с Капицей и Оршанко осматривали дворец Юсупова в Архангельском. С Капицы снята опала, и первый раз за семь лет «академик Капица» у ворот музея прозвучало не одиозно.

28 августа. С Капицы совершенно сняли опалу, и он после семи лет борьбы за себя в домашней клетке занял положение свое знаменитого ученого.

Всю жизнь слышал «честь» и ни разу не задумался: что это? А сейчас борьбу Капицы и свою борьбу понимаю как борьбу именно за честь, и значит, честь — это свое личное достоинство, без которого человек превращается в государственную тряпку.

1 сентября. Ляля была в «Новом мире» у Твардовского. «Слово правды» (имеется в виду «Корабельная чаща»), оказалось, требует переработки. <...>

Хотел отказаться от переделки и уйти от всей этой «литературы», вроде Пастернака, в подполье или принять все, как опалу, и воевать из своего угла, как воинственный Капица, но так подумал. У Капицы высшая физика, которую никто не понимает, у меня же искусство слова, его тоже мало кто понимает, но судить автора позволяют все. Мое положение много труднее, и едва ли в мои годы хватит сил выдержать борьбу».

П. С. Оршанко

О ДРУЖБЕ

В 1946 году моя жена Вера Павловна подарила мне книгу М. Пришвина «Избранное». На обложке художником было изображено три сосны. Я принял подарок, перелистал. Из-за болезни врач уложил меня в постель, лежать было скучно. Мне хотелось развлекательного чтения, а подаренная книга требовала размышлений, писатель был мне незнаком, и я отложил книгу в сторону.

Жена, увидев это, сказала: «Оставь на время своего Конан Дойла и почитай все же Пришвина. Поверь, не пожалеешь».

Я снова взял книгу. Случайно она раскрылась на повести «Жень-шень». Первые же строки увлекли меня. Ведь как здорово: человек бросает бессмысленную войну, берет ружье и уходит бродить по тайге. Не всякий способен на такое решиться. Я с интересом, как говорится, на одном дыхании прочел всю вещь до конца. Решил, что герой повести — это сам автор, и, должно быть, в жизни очень интересный, необыкновенный человек.

В те годы я увлекался охотой, но собаки не имел. А какая охота без собаки? Стал подыскивать себе щенка. В поисках познакомился с известным в Москве кинологом А. А. Чумаковым. Он заведовал распределением контрактованных щенков по охотничьим организациям. После долгих просьб (это было в начале 1947 года) Александр Александрович написал мне записку: «Лаврушинский переулок, дом 17, кв. 65. Валерии Дмитриевне. Прошу одного щенка-спаниеля от помета Нерли выделить такому-то».

На радостях я тут же отправился по адресу. Выйдя из лифта, я заметил человека, стоящего ко мне спиной, в стеганке, без головного убора, загородившего мне путь в нужную квартиру.

Я принял его за мастерового, ремонтирующего дверь. Поздоровавшись, я спросил, могу ли пройти. Человек обернулся, кивнул в знак приветствия, продолжая прижимать пальцем латунную пластинку к двери, и не спеша спросил: «А вам кого?» Я ответил: «Валерию Дмитриевну».

Передо мной стоял пожилой человек среднего роста, полный, с привлекательным лицом, умными глазами, с добрым взглядом. На висках пышные седые волосы, такая же седая бородка и усы... Мне подумалось, что это, пожалуй, хозяин квартиры, а не мастеровой. И тут я заметил на латунной пластинке гравировку «Пришвин», другие слова были прикрыты рукой.

— Простите, а вы не тот Пришвин, который написал «Жень-шень»?

Он добродушно улыбнулся и сказал:

— Да, тот самый, Михаил Михайлович Пришвин.

Я тоже представился и в смущении сказал:

— О, я принял вас за мастерового.

Лицо его стало серьезным:

— А разве писатель не является мастеровым?

— Всякому делу присуще мастерство, но дела-то бывают разные. Вашему делу есть соответствующее звание, очень подходящее: писатель, — ответил я.

— Ну что ж, с таким толкованием я, пожалуй, согласен, — сказал Пришвин и позвал Валерию Дмитриевну: — Ляля, вот капитан-лейтенант за щенком пришел от Чумакова.

Я взял щенка и спросил, как за ним ухаживать.

— Да просто, как за ребенком, — ответила Валерия Дмитриевна.

Тот мартовский день оказался для меня счастливым. Судьбе было угодно, чтобы случайная встреча превратилась в близкое знакомство, переросшее в дружбу с Пришвиным. Продолжалась она до самой кончины и Михаила Михайловича и Валерии Дмитриевны.

К этому знакомству прибавилось скоро еще не менее приятное знакомство с семьей академика Петра Леонидовича Капицы.

В один из моих приездов в Дунино Михаил Михайлович попросил меня по пути в Москву отвезти к Капицам пойнтера Кадо. Я выразил недоумение решением Пришвина расстаться с Кадо, оставшись без собаки.

— Дело в том, — сказал Михаил Михайлович, — что Кадо появился у меня взрослой собакой. Не я его делал охотником. Когда я сам выращиваю щенка, натаскиваю, то на охоте мы как бы сливаемся в одно единое целое. Собака и я делаем общее дело. Когда на охоте я вижу работу своей собаки, я вижу как бы со стороны себя в работе, а вот с Кадо этого не получается.

Я забрал собаку и повез ее на Николину Гору к новому

хозяину. Приехал, поставил машину у ворот и направился к калитке, но ворота тут же распахнулись, и Петр Леонидович Капица подал команду: «Капитан, заезжайте во двор». Я понял, что предварительное заочное знакомство уже состоялось по рекомендации Пришвина и меня поджидали. Капица впоследствии так и продолжал часто обращаться ко мне: капитан. Однажды Михаил Михайлович спросил:

— А почему Капица зовет вас капитаном?

— Да потому, наверно, что звание «капитан» с указанием рангов, если не получу когда-нибудь адмирала, вечно будет присутствовать в моем воинском звании.

— Вечное у вас будет без рангов — просто Павел Семенович, — сказал Пришвин.

В то время Петр Леонидович был в опале. Мы много беседовали, слушать его было всегда интересно. Он охотно знакомил нас и со своими мыслями, и со своими смелыми, резкими посланиями в высшие государственные инстанции. Например, Сталину он писал, что пока у пульта науки стоит Берия, держащий дирижерскую палочку, но не знающий партитуры, советская наука двигаться нормально вперед не сможет.

Пишу о Капице в воспоминаниях о Пришвине, потому что общение этих двух необыкновенно интересных личностей сыграло определенную роль в творчестве писателя. Беседы их были интересны и содержательны. Мне посчастливилось часто присутствовать при их свиданиях.

Чаще говорил Петр Леонидович. Он был интересным рассказчиком. Михаил Михайлович слушал сосредоточенно, в раздумье, иногда подавал реплики, смеялся редко, негромко, не всегда разделял точку зрения Петра Леонидовича. Тогда как-то робко высказывал свою мысль, утверждая и отстаивая ее каким-нибудь убедительным примером.

В это время Пришвин работал над романом «Осударева дорога». Трудно давался ему этот роман, он все не мог «попасть в точку», как он выражался[1]. Когда эта работа была отложена на неопределенное время, Михаил Михайлович задумал новую повесть. Он попросил меня привезти ему воинские уставы, они ему нужны были для работы.

С Михаилом Михайловичем мы встречались довольно часто, на даче в Дунине, в московской квартире Пришвиных, бывал Михаил Михайлович у меня дома, вместе встречали Новый год.

В тот период у меня шла ожесточенная борьба с моим непосредственным начальством. Естественно, что эта борьба

не могла не встревожить мою семью, моих друзей. Однажды Михаил Михайлович сказал: «Я завидую и Капице и вам, что вы смело можете вступать в бой. Порой бывает страшно за вас. Вот я так не могу». [2]

Михаил Михайлович не был бунтарем, но глубоко переживал все общественные события, происходившие в стране. Помню, как однажды говорили о Сталине, приводили слова Ворошилова о том, что хорошо, что в такое трудное время он с нами. А Михаил Михайлович сказал: «А вот поставьте Павла Семеновича, думаю, что дела бы шли не хуже, а может быть, и лучше, человечнее».

Общение с Михаилом Михайловичем было просто и доступно, никакой дистанции не существовало, но он всегда вызывал у всех почтительное и глубокое уважение.

Пришвин любил одиночество и тишину в работе. Любил писать рано утром, после своего утреннего чая, без всяких помех.

В другое время, свободное от писательства, любил общение с людьми. Однажды мы сидели за садовым столиком под липой в саду. Пришел председатель дунинского колхоза Федор Иванович Панфилов. Разговорились о колхозных делах. «Сев еще не начинали, земля еще не воспаряется», — сказал Федор Иванович. «Не воспаряется, говорите, давно это слово знал, да забыл», — сказал Пришвин и сучком нацарапал на столе: «воспарялась».

Однажды, в то лето, когда Пришвин натаскивал свою собаку Жульку, нам сказали, что в соседней деревне дети держат дома под печкой птенца тетерева. Мы отправились в эту деревню. Дети охотно подарили нам тетерку. Михаил Михайлович очень обрадовался и заявил, что собака теперь получит высшее образование. Тетерку назвали Фимой и привезли в Дунино. Она стала совсем ручной. Повзрослев, Фима оказалась Фомой. Жил Фомка на чердаке, а гулял свободно по саду. Михаил Михайлович шутил: «Начнет токовать, скажут, Пришвин токует».

Скоро Фома стал улетать в лес и однажды не вернулся обратно. А Михаил Михайлович объявил нам, что Жулька получила высшее образование, и позвал меня на поле за рекой, где водились перепела.

По рекомендации врачей и по настоянию Валерии Дмитриевны Михаил Михайлович обязан был соблюдать разгрузочный день один раз в неделю. Делать это ему страшно не хотелось, и он капризничал — должно быть, не чувствовал в этом необходимости. Валерия Дмитриевна вызвалась про-

водить разгрузочные дни вместе с ним. В этот день полагалось съесть два килограмма яблок — и больше ничего. Валерия Дмитриевна честно выполняла свой обет. А Михаил Михайлович пробирался в кабину моей автомашины и с аппетитом поедал оставленные для него бутерброды, выпивая стопку водки и выкуривая папиросу «Беломорканал».

Вечером же, в час ужина, подавалась последняя порция яблок, и Валерия Дмитриевна говорила: «Я рада, Миша, что ты выдержал». Михаил Михайлович в смущении решительно заявлял: «Да, Ляля, я привыкаю», — и лукаво при этом подмигивал мне.

Мне не приходилось наблюдать, чтобы Михаил Михайлович и Валерия Дмитриевна ссорились, хотя конфликты между ними возникали. Их взаимное согласие и уважение друг к другу избавляли их от ссор.

Валерия Дмитриевна сердилась, когда Михаил Михайлович по рассеянности что-либо терял, а это случалось не редко. Однажды он вернулся из лесу без берета, который я ему только что подарил. Он был очень к лицу Михаилу Михайловичу. Ему говорили: «Вы похожи на француза». «Нет, — отвечал Михаил Михайлович, — я похож на себя, на Мишу-индивидуалиста». Так же он переводил на номерном знаке своей машины литеры «МИ».

И вот этот самый берет он потерял. Встретив его возвращающимся с прогулки, Валерия Дмитриевна спросила:

— А где же берет?

— Ляля, с беретом целая история. Берет я потерял, а где, не знаю. Стал искать. Ищу час, другой. Силы покидают меня. Вдруг вижу, на луговине лежит мой берет. Стал ползти, ползу, ползу...

— Не стоило, Миша, из-за берета так мучиться, — не выдержала Валерия Дмитриевна.

— Дело не в берете, дело в тебе, Ляля. Не хотелось огорчать.

— Ну и что же с беретом? — спросила Валерия Дмитриевна.

— А это оказался не берет, а лепешка, оставшаяся от коровы на луговине.

У каждого была своя «программа»...

Удивительно счастливым был брачный союз Пришвиных. Они обожали друг друга. Несмотря на большую разность в возрасте, жили одними общими интересами, понимали друг друга с полуслова. Валерия Дмитриевна была надежный друг и помощник Пришвину, проявляла к нему прямо материн-

скую заботу. Михаил Михайлович все это очень ценил и оберегал Валерию Дмитриевну.

Как-то состоялась поездка на машине из Москвы на дачу в Дунино с Валерией Дмитриевной. Когда мы выехали на безопасную дорогу, я предложил Валерии Дмитриевне сесть за руль. К этому времени она кончила курсы шоферов и получила права, но ездить ей почему-то не приходилось. Вела она машину не очень уверенно, по-ученически, но доехали мы благополучно. Я поставил машину на место и зашел в дом поприветствовать Михаила Михайловича. Он встретил меня не столь приветливо, как обычно. Мне показалось, что он чем-то встревожен. После недолгого тягостного молчания Михаил Михайлович сказал:

— Только что Валерия Дмитриевна похвасталась, что вела машину сама. Я предпочел бы, чтобы этого не повторилось, Павел Семенович.

— Я полагал, что вы будете довольны. Ведь вы были за ее учебу.

— Все правильно, но в учебе нет той опасности, которая таится в вождении. Попробуй я возражать против учебы, Валерия Дмитриевна обиделась бы, а это совсем незачем. А вот езда — это дело опасное. На езду я согласия не даю. Против езды у меня придумана целая программа, секретная для Валерии Дмитриевны. Сегодня вы мою программу нарушили.

Михаил Михайлович очень любил появление в доме чего-то нового: будь то радиоприемник, охотничья куртка или коза дойная, он радовался появлению нового, как радуются дети покупке новой игрушки.

Все, что бы он ни делал, он делал по-своему, ни на кого не похоже, по-пришвински. Так он жил, так работал, рассказывал, мыслил, охотился, общался с людьми, радовался и сердился. И всегда был интересен.

Расскажу два запомнившихся случая.

— Вы любите футбол? — спросил я у Михаила Михайловича.

— Не приходилось в с т р е ч а т ь с я, — ответил он.

И я предложил ему встретиться с футболом.

Мы поехали на финальную игру ЦСКА — «Динамо» (Москва) на звание чемпиона страны. К нам присоединилась Валерия Дмитриевна.

Дорога к стадиону была забита сплошным потоком медленно двигающихся автомобилей. Подобного зрелища Михаил Михаилович не видал. Его интересовало все: движение по улице множества машин, зрители на трибуне стадиона, игра

команд. И вдруг неожиданное: защитник ворот команды ЦСКА забивает гол в свои же ворота. Стадион ахнул. Михаил Михайлович растерялся. И вдруг неожиданно спросил:

— А могу ли я после футбола пригласить армейскую команду к себе домой в гости?

— Миша, подумай, к чему это? — испуганно спросила Валерия Дмитриевна.

— Да поговорить интересно. Это же современные гладиаторы... — И разочарованно добавил, сам себе отвечая: — Но это, пожалуй, нереально...

Второй случай такой.

Михаил Михайлович был человеком общительным. Он охотно вступал в разговор с людьми, слушал всегда внимательно, к словам собеседника относился всегда с доверием. И бывали случаи, когда из-за этого попадал впросак. И часто что-нибудь интересное в рассказе собеседника становилось основой будущего рассказа.

Однажды при встрече с директором Московского зоопарка Мантейфелем Михаил Михайлович спросил его, как дела в зоопарке.

— Плохо, — ответил Мантейфель. — У меня беда: меняли трубы водопровода и все перепутали: вместо холодной воды пустили в бассейн, где находились крокодилы, кипяток. Крокодилы немедленно покраснели, как раки. Они сварились.

Михаил Михайлович поохал, выразил сочувствие и жалость, а придя домой, сел за рассказ для журнала «Мурзилка» о сварившихся крокодилах и плохих работниках. Хорошо, что, зная Мантейфеля как человека, который любит привирать (говорили: «Врет, как Мантейфель), он позвонил в зоопарк. Конечно, все оказалось очередной шуткой. Михаил Михайлович искренне обрадовался, хотя рассказ не получился.

К писательскому труду относился Пришвин серьезно, профессионально. Значительную часть своего труда он отдавал дневнику, который вел полвека. В этой работе он чувствовал себя свободно, вольно и счастливо, то есть независимо.

Другое дело, когда работал для печати. Переделывать не любил, сопротивлялся, а если что-то переделывал «как надо», по требованию издателей, то был не в духе, как говорят в таких случаях, вставал не с той ноги.

С большим страданием перенес злобную статью Л. Зимана о повести «Серая Сова», но и к хвалебным статьям относился со свойственным ему юмором, особенно к тем, где открывались авторами явления в произведениях Пришвина, о которых он и думать не думал, когда писал. Но когда

его сочинение принималось к печати без переделок и сам Михаил Михайлович был доволен удачей написанного, он говорил: «Попал в точку, в самое яблочко». «Попал в точку» — было его любимое выражение.

Пришвин не был модным писателем, а конъюнктура ему была чужда. Финансовые дела часто беспокоили Пришвиных.

Как-то отправились вдвоем с Михаилом Михайловичем на заячью охоту по чернотропу. Охота не удалась. Ходили много. Устали. Присели отдохнуть у стога сена. Разговорились. Я спросил у Михаила Михайловича, какой период, кроме Великой Отечественной войны, был для него тяжким. «Пожалуй, годы гражданской войны. Я старался не жизнь свою, а архив спасать. Слова свои я считал своим богатством, потеряешь — пропадешь».

Много рассказывал в тот раз Пришвин о своей жизни, а в заключение, шутя, сказал:

— После моей смерти можете опубликовать мой рассказ.

— Хорошо, что зайца мы не подняли. Кто знает, если бы подняли, был бы ли этот *рассказ*, — ответил я.

— Спасибо, что мою историю предпочли *зайцу*, — уже всерьез сказал Михаил Михайлович.

Мне запомнилось общение с Пришвиным, когда я ездил в Дунино прощаться с Михаилом Михайловичем перед отъездом на службу на Камчатку в Петропавловск. Шел разговор о моем отъезде. Говорили об Арсеньеве, о его Дерсу, потом разговор перешел на другое.

К разгрому генетиков и ботаников — учеников и последователей Н. И. Вавилова, в 1948 году Михаил Михайлович, как тогда казалось, относился без особых эмоций, а вдруг в прощальный вечер он заговорил об этом событии [3]. Я сказал, что все это дело рук академика Лысенко.

— Почему, Павел Семенович, вы так думаете?

— В беседе с Петром Леонидовичем Капицей, когда я спросил, что из себя представляет Лысенко, Капица не задумываясь сказал: «Лысенко — это бандит от науки».

Михаил Михайлович призадумался; я спросил:

— Вы что, не согласны с этим?

— Согласен, но не сполна: Лысенко не только бандит, он главарь шайки бандитов, говорю это как бывший агроном. Он творит преступное дело. А тех, кто против Лысенко, кто за науку, тех просто расстреливают.

— А что же Академия наук? — спросил я.

Михаил Михайлович отмахнулся рукой, произнеся безнадежный протяжный звук: «Э-э-э...» Мне показалось, что

Михаил Михайлович как-то сник в этом разговоре и устал.

Я предложил ложиться спать. Михаил Михайлович не возражал. Мы легли, пожелали друг другу спокойной ночи, но сон не шел, и разговор возобновился. Михаил Михайлович спросил:

— Моя родина под Ельцом, а ваша, Павел Семенович?

— Я родился в Райволо под Петербургом, в дачном поселке на территории Финляндии.

— А какие у вас отношения с вашим отцом? — спросил Михаил Михайлович.

— Я его уважал, он был лучший мастер в городе, строил мосты, дома, мебель, мастер на все руки.

— Вот где истоки вашего мастерства, — сказал Пришвин. — А вот у меня все чувства были отданы матери, об отце я этого сказать не могу.

Я спросил у Михаила Михайловича, что много мест жительства поменял он за долгую жизнь, какое из них было самым любимым?

— Дунино, — не задумываясь ответил Пришвин, — на его покупку и ремонт пошла моя книга. Моя дача состоит из слов моих, как каменный дом из кирпичей [4].

В разговорах ночь прошла без сна. Наступившее утро подняло нас, и пришло время прощаться. Это была грустная минута расставания. Михаил Михайлович вынес из кабинета свой фотопортрет с надписью: «На счастье радостного свидания через три года (е.б.ж.). Михаил Пришвин. 25 октября 1949 г.».

П. С. Оршанко, офицер Военно-Морского Флота, был дружен с Пришвиным в послевоенные годы. Для писателя Оршанко воплощал в себе лучшие стороны коммуниста — творца общественной правды. «Бесстрашие и находчивость в правде» восхищали Пришвина в его молодом друге. Оршанко стал прототипом главного героя повести «Корабельная чаща».

[1] История создания романа «Осударева дорога» (1948) была очень трудной. При жизни автора роман опубликован не был — от Пришвина требовали бесконечных поправок, над которыми он и работал до самого конца. Кроме того, сама тема — строительство Беломорско-Балтийского канала, и философский подтекст романа — разрешение борьбы личности и общества на труднейшем материале современности, требовали от художника предельных усилий. Пришвин пишет: «Эта работа моя является проверкой мне самому и покажет, кто я такой, дерзнувший без Вергилия странствовать в аду. Если выйдет только из этой работы книга, остающаяся надолго, я завещаю в посмертное издание к «Осударевой дороге»: «Аще сниду во ад — и Ты тамо

еси». Пусть эти слова и будут вести меня вместо Вергилия, вести и охранять. Я буду повторять их, пока не кончу романа» (14 мая 1948). С этим эпиграфом роман до сих пор опубликован не был.

Приведем несколько записей дневника 1947 года — к этому времени относится замечание П. С. Оршанко о романе.

«6 марта. Фауст под конец задумал устроить земной рай, и в высший момент его восторга — «Прекрасное мгновение, остановись!» — его мечта о канале превращается в факт могилы: творчество и действительность распадаются. Однако, несмотря на положение Филемона и Бавкиды, Фауст находит себе высшее оправдание точно такое, как в «Медном Всаднике» находит себе высшее оправдание Петр: «Красуйся, град Петров!» Там и тут проблема исключительно благодаря скачку авторов: Гёте скачет через Филемона и Бавкиду, Пушкин — через Евгения».

«23 марта. Был цветочек чудесный (какой?). Пришла коса на него: это Царь природы косит сено для своей коровы. Этот цветочек в «Медном Всаднике» — Евгений, в «Фаусте» — Филемон и Бавкида. Достоевский — за цветочек, за елку ребенка, за Евгения, за Филемона. В наше время велят закрыть на это глаза: Царь природы косит сено для своей коровы. Библия в отношении к крови (жертва Авраама Богу: заря костер зажгла). Да! Весь этот страшный вопрос для истории и морали в религии определяется жертвой и разрешается Христом.

Так все было решено в отношении своего времени.

Вопросы вечные решаются для своего времени. Новое время требует нового решения тех же вопросов. Как же в наше время решается вопрос о жертве?

Чувство природы, чувство женщины и чувство Бога в разных формах есть одно и то же чувство в своем существе, и все это образует цветень (луг). Но приходит сюда «царь природы» и начинает косить луг для своей коровы — вот тут уже действует что-то другое».

«25 марта. Чувствую, как в глубине души совершается работа мысли на тему: личность и общество (цветок на лугу и коса).

Вспомнилась формула юности «я маленький» <...>. И цветок — он маленький, коса большая. У них такие разные назначения, и вся беда, что маленький выражает претензию на положение или осознание большого. Сталкиваются, как Евгений с Медным Всадником».

«10 апреля. Возвращаюсь и не могу вернуться к своему «Каналу», к этому вопросу о выходе из давки, из этой необходимости давить друг друга, к личной свободе и миру. Чувствуешь, что никакими домыслами тут не возьмешь, и сознание необходимости требует поступка (в данном случае поступком будет создание книги). Хочется и Надо — это у меня с первого сознания, между этими скалами протекла вся моя жизнь, и выходом всегда был поступок <...> выход на волю заключается не в самом поступке, который приводит сначала к необходимости и после того к свободе. Не поступок только решает вопрос, а явление (образование) личности. Умирение («да умирится же с тобой...») происходит в рождении личности, как в физическом рождении человека мать после мук приходит к радости через явление нового существа.

Медный Всадник (Надо) есть образ надличный, образ человеческой необходимости, через который должен пройти каждый человек и сама стихия. Он прав в своем движении, и не он будет мириться, а с ним будет мириться «стихия» путем рождения личности.

Итак, «да умирится же с тобой и покоренная стихия» означает рождение личности. И значит, Евгений (как тоже и еще сильнее Филемон и Бавкида) является нам как вестник наступающих родовых мук. И окончательное решение этой борьбы Хочется и Надо в пользу Хочется с воскрешением Евгения и Филемона с Бавкидой есть рождение Христа, есть явление света в темной борьбе, выход свободной личности из недр необходимости.

Примирение состоит в том, что личность приносит с собой новое измерение всех ценностей, создаваемых Медным Всадником. Примирение в том, что то прошлое измерение было необходимо. Примирение заключается в улыбке личности и, может быть, в осторожно, шепотом и любовно сказанных словах: «Мы говорим на разных языках». И окончательно: «Любите врагов своих».

«19 мая. Личность Евгения в «Медном Всаднике» и все другие бесчисленные подобные случаи возбуждают в нас чувство жалости к личной судьбе людей, приносимых в жертву «большому делу».

«22 мая. Вчера начал читать «Царя» («Осударева дорога». — *Сост.*) — хорошо.

Вот, наверно, за то и призн*а*ют потом мою жизнь, что в эпоху неистовства принудительной добродетели я умел заступиться за радость жизни и говорить: будьте как дети! И вот это я должен сказать тоже в «Царе», делая на все четыре стороны реверансы принудительной добродетели. Боже, помоги мне сделать это труднейшее дело!»

«4 июня. Маленького преступника судят за то, что он переступил черту закона, ограждающего право другого человека, имея в виду свой личный интерес. Если же преступник не для себя перешел за черту, а чтобы создать новый лучший закон, отменяющий старый, и победил, то победителя не судят: победитель несет с собой новый закон. Маленький человек старого закона или несправедливо погибает (Евгений из «Медного Всадника») при этой победе, или, широко открыв глаза, прозревает будущее и становится на сторону победителя (апостол Павел). Евангелие и есть книга о Величайшем Преступнике старого закона, охраняющего естественное размножение. Законы природы — это законы размножения, а законы человека — это законы личности.

Евгений жил, как природа, в естественных законах размножения (у него была невеста). Пришел Медный Всадник, строитель, и его вода затопила невесту Евгения. Жили милые люди Филемон и Бавкида, пришел Фауст строить канал, и невинные люди погибли».

«*15 июня.* Мой путь был <...> путь жертвы: идеалом было отдать себя для общества. И вот эту мечту «отдаться» — перенес на «Ину». Оказалось, что женщина сама ищет, чтобы кто-нибудь взял ее в «жертву», и так вышло, что две жертвы друг у друга просили своего поглощения: костер просил у Авраама огня, как Авраам просил у Бога, и он ему ответил зарей. Так вот теперь это состояние жертвы, просящей огня, стало не удовлетворяющим всех, как будто Авраам, увидев эти сырые поленья, не захотел для них просить у Бога огня, не захотел и отвернулся. И каждое сырое полено задумалось, как быть ему теперь, чтобы стать достойным костра для жертвы Авраамовой.

Вот именно это чувство своей личной недостойности костра Авраамова заставило меня взяться за личное дело...

Самое главное, самое необыкновенное в моей жизни было, что я, рядовой, необразованный, претенциозный русский парень, мог выйти из состояния жертвы для общего дела и подготовиться к той заре, которой зажигается костер Авраамовой жертвы.

Если не забылось, то в Евангелии выражена любовь так: «...нет большей любви, как отдать душу свою за други свои». Но мы все сейчас чувствуем, что это не вся мораль, что этого теперь мало.

И вот пришло время — хочу жертвовать собой, но сырые поленья моего костра такие сырые, что явись сам Авраам и помолись — так и то не взошла бы заря, от которой когда-то загорался жертвенник костра.

Друг мой! Просуши сначала свои поленья, а потом и подходи к жертвеннику».

«11 июля. Кончаю «Царя». Остается немного, и четырнадцать лет труда оправдаются. Нет — так пропадет, никто не разберет, о чем я писал и чего я хотел» (Собр. соч. в 8-ми томах, с. 491—497).

[2] Пришвин пишет: «Павел Семенович когда с негодяем вступает в борьбу, то это все равно что с самим собой начинает борьбу. Его задача — скрутить негодяя и заставить его делать то самое, чему он служит. Он везде милостив к своему врагу после победы, потому что враг как бы уже соединился с ним самим.

Правдотворчество дает бесстрашие самому себе, а со стороны становится страшно за правдолюбца: кажется, вот-вот он погибнет. Правдолюбец плывет в обществе как корабль, рассекая лоно вод на две волны: на одной стороне друзья героя, на другой стороне — враги его... Вера в правду, ощущение ее и правдотворчество мгновенно показывают фальшь слов обыкновенных людей и мгновенно рождают неожиданный ответ, острый, пронзительный, как укол шпаги» (Наш Дом, с. 99).

«Веселкин выйдет из Павла Семеновича (капитана)».

«К прототипу капитана академик Капица. Всякое творчество требует честности. Особенное свойство Капитана и Академика — они честные, даже и взахват честные» (Наш Дом, с. 235).

[3] В дневнике 1948 года Пришвин пишет:

«12 августа. Лысенко взял на себя роль палача свободной мысли. Не нужно много разбираться в биологических теориях, чтобы понять сущность дела. Флаг Мичурина означает первого человека не в Боге, а в себе, не царя природы, а диктатора. «Случай» Менделя есть лазейка к Богу. Значит, нет и не может быть случая, всё в человеке, а не от воли Божьей.

14 августа. Тревожит не биология и положение ученых, кто больше: Дарвин или Мичурин, во всяком случае, не положение наших ученых. А что эта рубка лесов сплошных образует пустыню духа.

Переживая последовательные катастрофы в литературе, искусстве, музыке и, наконец, теперь в науке, мы в конце каждой катастрофы делаем заключение: это еще не все, это не главное, можно дальше работать, рассчитывать на это главное.

Теперь, после этой катастрофы, хочется спросить: а что же это главное? И хочется ответить: сам человек. Но тут является возражение: если ценой всех этих разрушений является сам человек, то почему же после каждого разрушения человек от нас становится все дальше и дальше? Отвечаю: потому что самое главное в человеке есть Бог, и это именно после каждой катастрофы нас и успокаивает: мы очищаемся от привязанности к человеческому, к его дарвинизму, менделизму, троцкизму, марксизму и всякому литературному, живописному, музыкальному и всякому «изму», приближаясь к самому главному в человеке, к его Богу.

18 августа. Биологи летят со своих мест. И так выходит, что не Дарвин, не Мичурин, не Мендель (поймешь тут разве что-нибудь), а как хороший человек, достойный ученый, так, значит, в оппозиции, и к кому? К Лысенко. И говорят, будто Лысенко обещался оросить казахские степи, дать много хлеба, за что и получил право хулы на Духа. Так говорят, а там уж кто разберет.

27 ноября. Один большой ученый-англичанин отказался от звания почетного академика СССР. В письме своем он ссылался на исчезновение Н. И. Вавилова, на смещение своего друга Орбели, на заключение науки в границы догматов марксизма, на Галилея, на все попытки догматической борьбы с наукой — все эти попытки, включая попытку недавнего Гитлера, кратковременны. Он же отказывается от положения академика из опасения, что он своим отношением к науке может повредить кому-нибудь. Недобрым словом помянул он и Лысенко».

[4] В дневнике Пришвина дунинский дом осмысляется им как «дом в полном смысле слова» и получает поистине необычайные характеристики:

«12 июня 1947. Мой дом над рекою Москвой — это чудо! Он сделан до последнего гвоздя из денег, полученных за сказки мои или сны. Это не дом, а талант мой, возвращенный к своему источнику. Дом моего таланта — это природа. Талант мой вышел из природы, и слово оделось в дом. Да, это чудо — мой дом!

18 августа. Кроме литературных вещей в жизни своей я никаких вещей не делал, и так приучил себя к мысли, что высокое удовлетворение могут давать только вещи поэтические. Впервые мне удалось сделать себе дом, как вещь, которую все хвалят, и она мне самому доставляет удовлетворение точно такое же, как в свое время доставляла поэма «Жень-шень». В этой литературности моего дома большую роль играет и то, что вся его материя вышла из моих сочинений и нет в нем даже ни одного гвоздя несочиненного. Так мое Дунино стоит теперь в утверждение единства жизни и единства удовлетворения человека от всякого рода им сотворенных вещей: все авторы своей жизни и всякий радуется своим вещам.

3 октября. Поэзия, погуляв на людях, может вернуться к себе, в свой дом, и служить себе самому, как золотая рыбка. Тогда все, что было в мечте, как дружба, любовь, домашний уют, может воплотиться: явится друг, явится любимая женщина, устроится дом и все выйдет из поэзии, возвращенной к себе. Я могу об этом свидетельствовать: в моем доме нет гвоздя, не возникшего в бытие из моей мечты...»

К. К. Лупандин

ОБРАЗ ПИСАТЕЛЯ

1946 год. Хорошо жилось летом в академическом доме отдыха «Поречье» под Звенигородом. Война была позади, страна праздновала Победу, с полной силой отдалась труду восстановления и нового строительства. Но «Поречье» — это отдых, которому предавались шумно и весело. Подобралась компания научных работников — молодых и пожилых, сдружились, не было конца прогулкам, шуткам, играм, выдумкам.

Но один угол большого старинного дома был заповедным. Шуметь там считалось неуместным. В этом углу, наверху, в мезонине, жил Пришвин, по утрам было там тихо, безлюдно — писатель работал. Попал он в академический дом отдыха случайно, на короткое время — дача в Дунине только отстраивалась, и Пришвин поселился поблизости. Старый, разваливающийся дом надо было капитально восстанавливать. Вот Академия наук и предоставила писателю скромное помещение.

Иногда среди деревьев мелькала крепкая, массивная фигура Михаила Михайловича, за ним неразлучный спутник — Жулька, собака.

Случилось однажды побеседовать с ним и с женой его Валерией Дмитриевной о звенигородской старине, о ближнем урочище Мозжинке, о древнем Саввинском монастыре, о еще более древнем памятнике — Успенском соборе на Городке, о Рублеве. Любил старину Михаил Михайлович, эти рассказы заинтересовали его, растопили ледок сдержанности и замкнутости...

Близ дома стоит маленькая дряхлая «эмка» — личная машина писателя, а из-под нее торчат ноги, больше ничего не видать. Слышатся удары какого-то инструмента, а еще громче слышно сопение, временами сердитое ворчание. Сломалось что-то, и дело не ладилось. Но терпение монтера поневоле наконец увенчалось успехом, непокорная гайка встала на место, и из-под кузова вылез Михаил Михайлович, перепачканный, но веселый — ремонт удался и можно ехать.

— Поедем смотреть ваши памятники, вы нам все расскажете, что знаете о них, видно, вы их любите.

Михаил Михайлович оказался ловким и умелым шофером, удачно объезжал канавы, а овраг проехал лихо, не выключая мотора.

— Однако вы неплохо лазите по горам, — сказал Михаил Михайлович, когда мы, задохнувшись, влезли на Городок, забывая, что он сам шел все время впереди, быстрее всех и был лет на двадцать старше того, кого хвалил.

Успенский собор на Городке в Звенигороде, построенный при князе Юрии Звенигородском в 1400 году, старше соборов Саввинского монастыря, знаменитого Троицкого собора в Загорске, кремлевских соборов Москвы. Его гармоничная форма, фрески Рублева, которые тогда начали раскрывать из-под позднейших записей, — эта красота пленила Михаила Михайловича.

Выспрашивал и слушал Михаил Михайлович собеседника необычайно внимательно, никогда не перебьет и сердится, если более порывистая Валерия Дмитриевна невольно собьет говорящего вопросам или замечанием. «Дай человеку сказать, Ляля», — скажет он.

А вот и сам заговорил. Высказывания Михаила Михайловича в последние годы его жизни напоминали бой старинных, благородных башенных часов. Наступило время пробить, и часы сначала пошумят глухо, а потом раздается мелодичная музыка курантов и бой молотка по колоколу. Так и у него сначала какое-то глухое ворчанье, это созревала мысль и отыскивалась ее форма, потом — слово, всегда яркое, образное, горячее, иногда парадоксальное, даже сразу непонятное, пока не подумаешь и не раскроешь его глубину и правду.

Радость давал этот необыкновенный человек, — чем ответить, чем порадовать? И вот осенила мысль — буду снабжать его хорошими долгоиграющими пластинками, пусть послушает дома то, что любит. Я дарил ему симфонии Бетховена, Дворжака, неоконченную симфонию и экспромты Шуберта, опусы Чайковского. Каждое приношение писатель встречал веселой шуткой, беспокоясь только о том, как бы принесенные пластинки не дублировали то, что у него уже есть. Сначала проверит, а потом уже примет подарок[1].

Он и сам сделал несколько записей своих коротких рассказов. Техника сохранила живую речь писателя навсегда.

Чайный стол в Лаврушинском переулке. На стене туманный снимок «мыса Пришвина» где-то далеко на Востоке.

Валерия Дмитриевна заботливо угощает гостей, а за столом два старых годами, но молодых духом художника — Пришвин и профессор живописи Г. М. Шегаль [2]. Они только недавно познакомились, но уже сошлись вкусами, полюбились друг другу. Пришвин посмотрел его мастерскую, а теперь пригласил к себе. Оба всем своим существом, всеми помыслами живут в своем искусстве. Вмешаться в их диалог нет никакой возможности. Слышатся профессиональные термины и формулировки, а на говорящего, сквозь очки, устремились зоркие, пристальные глаза. Интересно! Никак нельзя перебить и этого человека, ведь он носитель чего-то значительного, важного, творческий человек, знает хорошо то, что и Пришвин знает и любит, но выражает это иными, какими-то своими средствами. Уже позднее прочитал где-то у Пришвина:

«Мое общение с человеком происходило в силу того, что хочется с человеком поговорить... никаких подходов и загадов, все само собой должно выходить, внимания ждет человек...»

Так писал и думал Пришвин, таким он был в жизни, таким он навсегда запомнился.

И теперь, когда Пришвина уже нет, смотрят его глаза с прекрасного портрета, рисованного и гравированного академиком Г. С Верейским. Это лучший портрет писателя, это одно из лучших произведений Верейского. Пришвин внимательно, любовно и страстно смотрит на мир, на природу, на людей, которых встречал, и взор его глядит с этого поразительно схожего портрета, со страниц его книг и живет в воспоминаниях о нем.

К. К. Лупандин, инженер-экономист, страстный меломан и любитель-скрипач, часто бывал гостем в доме Пришвина в последние годы, был постоянным его спутником в консерваторию.

[1] На протяжении всей жизни музыка значила для Пришвина очень много, но проявлялось это в разные годы по-разному. В юности он играл на мандолине. В студенческие годы в Германии огромную роль в становлении его творческой личности сыграло увлечение Вагнером. В конце жизни мы находим в дневнике такую запись об этом: «Тридцать лет не слышанный «Тангейзер» открыл мне широкие горизонты жизни, и в то же время я, русский Михаил, был у себя.

Как будто это я сам шел с пилигримами и бунтовал за радость жизни на Горе Венеры. Так что выходило ясно как день: я недаром отдал юность свою Вагнеру» (Наш Дом, с. 262).

В последующие годы жизнь вне города, трудный быт отдалили его от

музыки. Но все же появляется и такая запись: *«18 марта 1937.* Вечером слушал по радио хорошую музыку — взлетал на волнах в иные миры, а то и просто оставался на месте, истекая кровью по швам старых ран».

В последние годы жизни записи о музыке появляются очень часто:

«Начинаю чаще и чаще уходить в музыку: вот область, куда можно уходить, уезжать, путешествовать там без огорчений от грубого вмешательства нового в старое: вынь да положь!»

«Сегодня у нас по радио играли ноктюрны Шопена, я сидел на диване и, слушая, глядел на тополь через оконное стекло. То был, конечно, ветерок, и листики тополя танцевали в воздухе. Но, слушая Шопена, я забыл о ветре, и мне казалось, будто невидимыми пальцами невидимо сам Шопен играет на листиках тополя.

А когда радио кончилось, я все глядел на движение листиков и по-прежнему слышал Шопена».

«Я стою и расту — я растение.

Я стою, и расту, и хожу — я животное.

Я стою, и расту, и хожу, и мыслю — я человек.

Я стою и чувствую: земля под моими ногами, вся земля. Опираясь на землю, я поднимаюсь: и надо мною небо — все небо мое.

И начинается симфония Бетховена, и тема ее: все небо мое».

«Вчера вечером в кресле сидел против вечерней зари и слушал Первую симфонию Скрябина, и это останется на всю жизнь. Это не соловьи объясняли зарю, а человек во всей сложности; и человек без всякой «человечины», а сам, как соловей, оставаясь в природе» (Наш Дом, с. 262).

А о самом К. К. Лупандине, страстном любителе музыки, Пришвин записывает: «Один любитель музыки попал в собрание экономистов и, раздраженный чем-то, сказал: «Вы судите, как будто все знаете, а по-моему, вы ничего не знаете, коли не слыхали... симфонии Брамса».

[2] 26 апреля 1952 года в дневнике Пришвина появляется такая запись: «Был на днях художник Шегаль и с ним музыкальный дилетант Лупандин. Я читал им «Весенние рассказы», и Лупандин сказал: «Я слушаю, как будто это было пятьдесят лет тому назад: до того это не похоже на то, как пишут теперь в «Комсомолке» (рассказы направлены туда). А Шегаль возразил: «В том, что пишут плохо и как один, виноваты сами писатели: они, как галька, несомая водой, друг о друга окатываются. Сама река вовсе не стремится к этому».

А в последний год жизни Пришвина в связи с его восьмидесятилетием Г. М. Шегаль подарил Пришвину свой пейзаж с надписью: «Дорогому Михаилу Михайловичу на юбилейном вечере. 5 февр. 1953 г. «Вечер в Дунине». Шегаль» (ГЛМ). На следующий день запись в дневнике: «Вчера были у художника Шегаль (замечательный пейзажист). Он рассказывал о том, как дорого ему досталось его искусство. «Оно, — сказал он, — мне слишком дорого досталось, чтобы я теперь стал приспособлять его к чьим-то требованиям». А я к этому прибавил: «Может, настоящее искусство тем и держится, что дорого достается своим хозяевам» (Собр. соч., т. 8, с. 623).

В. Никольский

НЕ ЗАБУДЬТЕ ДЖЕКА!

Майским утром в лесу недалеко от Дунино (было это в 1950 г.) я писал этюд. На эту лесную полянку приехал я из соседней деревни Сальково на инвалидной моторной коляске вместе с другом своим, дворнягой Джеком. Джек до страсти любил кататься и всегда ездил со мной. Он был обучен по моей команде из любого места возвращаться в деревню с запиской в ошейнике (это было необходимо для связи). И с ним я себя чувствовал всегда гораздо уверенней и спокойнее.

Где-то за деревьями послышался рокот подъезжающего автомобиля, хлопанье дверцей, и на поляну вышел грузный пожилой человек в широкой серой блузе. Он остановился невдалеке и внимательно оглядел лежащую собаку, меня и начатый этюд на мольберте.

Я глубоко страдал от любопытствующих, мучительно стыдился и своих неходячих ног, и всей своей внешности, несовершенства живописи и даже того, что езжу на инвалидном транспорте.

Боковым зрением я видел, что старик не собирается уходить, а наоборот — палку свою превратил в упор для сидения и, воткнув острием в землю, присел на нее, широко расставив ноги.

— Я не помешаю тут вам? — спросил он глуховатым голосом.

Я, конечно, заверил, что нисколько, а сам с раздражением продолжал тайком наблюдать. Он вытащил небольшой блокнот и стал что-то писать.

На нем был берет, сделанный из обычной кепки, только с отрезанным козырьком, из-под него по сторонам плотными кольцами выбивались пряди серебряных волос, а лицо было удивительным в сочетании интеллигентности с чем-то очень народным, даже древним, очень русское и родное. Тем временем незнакомец кончил писать и, встав со своего оригинального седалища, сказал:

— Боюсь, что нарушил вашу работу. Здравствуйте, давай-

те знакомиться. Я — Пришвин, живу тут рядом, в Дунине. И я что-то не пойму, на чем вы ездите, никогда не видал таких мотоциклеток.

Я объяснил, что это трехколесный мотоцикл, предназначенный для инвалидов Отечественной войны, а мне он достался случайно. Пришвин признался, что ему уже стало тяжеловато ходить по лесу пешком, а автомобиль «Москвич» мало приспособлен к лесным тропинкам и он уж думает менять его на что-то более облегченное — может быть, и на нечто подобное.

Пришвин пригласил приехать к нему в Дунино — любой в деревне укажет, как его найти.

Так произошло знакомство с Михаилом Михайловичем Пришвиным, влияние которого определило во многом всю мою дальнейшую жизнь.

В год встречи с Пришвиным мне было 27 лет. После перенесенной в детстве болезни позвоночника я навсегда утратил способность ходить, поэтому в школе не учился, а готовился к экзаменам самостоятельно, сдал экстерном за все десять классов, получил аттестат зрелости. Этот документ мог бы остаться приятно-бесполезной бумажкой, если бы не счастливая случайность, позволившая мне купить «драндулет», благодаря которому я смог передвигаться. Я поступил на художественное отделение Московского полиграфического института, одновременно работал консультантом на заочных курсах рисования и живописи и, будучи членом Московского товарищества художников, зарабатывал деньги, сдавая пейзажи и натюрморты на Малый совет. Я был «кормильцем» в семье, которая состояла из мамы и младшей сестры.

Оттого что воспитывался и образовывался я в большей мере самостоятельно, меня меньше коснулась пропаганда, обязывающая видеть мир через розовые очки казенного оптимизма. Но меня постоянно мучило сознание того, что, занимаясь искусством, я буду лицемерить и выражать не то, что хочу. А как же остальные, думал я, неужели все лгут и лицемерят? Встреча с известным писателем давала надежду ответить на этот вопрос. Из того немногого, что я знал тогда о нем, мир его представлялся мне безмятежным и гармоничным и являл собой резкий контраст с состоянием смятения во мне.

Было лестно и радостно получить приглашение от самого Пришвина, но я понимал, что внутренне совсем не подготовлен к близкому знакомству с писателем. Ехать. Не ехать.

Постепенно вызрело решение не позориться и не ехать до тех пор, пока не прочитаю все, написанное им. Наверно, такой по молодости максималистский план так и не осуществился бы и столь желанное знакомство так бы и не состоялось...

Только однажды возле нашего дома в Салькове остановился пришвинский «Москвич» и жена Михаила Михайловича — Валерия Дмитриевна, войдя на террасу, сказала:

— Что же вы, молодой человек, заставляете искать себя по всей деревне?

Мне было стыдно, и в свое оправдание я признался, что не решаюсь показаться потому только, что не подготовлен, мало читал и плохо знаю творчество Пришвина.

Валерия Дмитриевна весело рассмеялась:

— Или вы полагаете, что Михаил Михайлович желает увидеть в вас литературного критика? Приезжайте, и непременно с ним! — добавила она, указав на лежащего под столом Джека.

На следующий день мы с Джеком приехали в Дунино, и я, волнуясь, остановился перед воротами пришвинской дачи. Дом со стороны деревенской улицы почти не виден, он стоит на горе и закрыт деревьями. На шум мотора сверху сбежала сухонькая старушка — домашняя работница Мария Васильевна, которая проворно открыла ворота и весело сообщила, что меня ждут.

Глядя на круто забирающуюся вверх тропинку, я понял, что подъем не одолею. Видя мое замешательство, Мария Васильевна сказала:

— Не бойтесь, я сзади подтолкну, и поднимемся в лучшем виде!

Мы с трудом достигли верха горы, и я очутился перед столиком, за которым под огромной липой сидел улыбающийся Михаил Михайлович.

— Здравствуйте, — сказал о н , — вот уж воистину лучше один раз увидеть! Вот теперь вижу, что не годится мне ваш транспорт — меня-то он уж и подавно не потянет.

Джек тем временем заинтересовался пришвинской Жалькой-красавицей — английским сеттером, и они затеяли бурную игру, гоняясь по саду. Я рассказал историю Джека, и Пришвина поразило умение собаки возвращаться домой с запиской.

— Ляля, послушай, что художник про свою собаку говорит! — позвал он жену.

Из дома вышла Валерия Дмитриевна. Выглядела она

моложаво, а лицо поражало какой-то просветленностью и излучением доброты и покоя.

Глядя на резвящихся собак, Пришвин с лукавой улыбкой спросил:

— А вы знаете, что они ведь сейчас друг перед другом хвастаются нами. Жалька ему говорит: «Что у тебя за хозяин? Одна мотоциклетка, и та даже в гору не тянет, а у моего и дом какой, и настоящий автомобиль, и сад с яблоками!» А Джек ей отвечает: «А что толку-то, зато мой хозяин молодой и все это у него будет».

Этот диалог насмешил всех, а я понял, что импровизация была доброй акцией Пришвина: он видел мою одеревенелую застенчивость и пытался снять ее.

За годы знакомства с Пришвиным я не переставал удивляться его способности располагать к себе людей самых различных. В нем было так много доброжелательства и подлинного интереса к людям, что незнакомые, случайные люди открывались и доверялись ему с первой же встречи.

В этот свой приезд я осмелился и попросил разрешения написать с Михаила Михайловича этюд. Он неожиданно легко согласился. Так начались наши почти ежедневные послеобеденные сеансы. Я приезжал к четырем часам, мы располагались в нижней части сада под елью, начинался сеанс, и начинались долгие, нескончаемые разговоры. Это общение было мне так жизненно необходимо, что живопись отступала на второй план.

Пришвин не был связан определенной позой, свободно двигался, много рассказывал или вспоминал, часто размышляя вслух, что-то записывал в свой блокнот, иногда забывая про меня, надолго замолкал. В эти минуты я пытался уловить нужное мне выражение.

Голова Пришвина была монументальна и величественна, высокий лоб обрамлялся по сторонам орнаментальными завитками волос, черненое серебро было в бородке и усах. Центром всего были глаза, широко расставленные, они каждый раз удивляли новым выражением. Более выразительных глаз я больше не встречал ни у кого: боль и сочувствие, радость и гнев, одобрение или неприятие — все это можно было прочитать в глазах, и их эмоциональный настрой зависел от сути и смысла беседы.

Зимой наши встречи продолжились в Москве. На основе летней работы я задумал большой портрет Михаила Михайловича. Пришвины были радушными и гостеприимными хозяевами.

Иногда в гости приходил живший в этом же доме Борис Леонидович Пастернак, охотно читал по просьбе Михаила Михайловича свои стихи. Он читал их своеобразно и неповторимо: ровным, на одной ноте, почти без интонаций, низким рокочущим голосом, от этого стихи становились особенно ощутимыми, образными и выразительными. Забегая вперед, скажу, что по наброскам в момент чтения пастернаковских стихов я и написал тот портрет Пришвина.

В дневнике от 24 ноября 1951 года Пришвин записал: «Художник Никольский пробился в больницу и продолжает писать мой портрет. Кругом говорят: «Как похож!» Но он гораздо больше, чем просто похож: это первый портрет, который мне нравится, и кажется, будто это я сам его написал». Если бы портрет сохранился! Но я стал доделывать его и не сразу даже заметил, как утратил то схваченное тогда состояние его д у ш и , — портрет умер.

Каждая зима была для меня тяжелым и суровым испытанием, ведь ездить на занятия приходилось в мороз и ветер на открытой машине, которая к тому же была весьма капризна в работе. И однажды в сильный мороз, возвращаясь из института, я оказался на ночной дороге с заглохшим мотором, простудился и долго проболел.

Михаил Михайлович с тревогой и сочувствием следил за моими зимними поездками, сокрушался по поводу болезней и как-то решительно заявил, что надо искать более безопасный вид передвижения. Но искать было негде, а выбирать — не из чего.

Но вот случайно в руки попало интересное сообщение. Какой-то популярный журнал сообщал, что для инвалидов Отечественной войны завод в Серпухове начинает выпуск новой, более комфортабельной модели с более мощным мотором и закрывающимся брезентовым верхом.

Я начал хлопотать перед Министерством соцобеспечения о разрешении на приобретение новой модели. На сбор бумаг ушла уйма времени, но в конце концов все поддержали, был собран толстый пакет, который был отправлен самому министру. Месяца через два я получил ответ. Это был решительный и категорический отказ — всего три строчки на машинке.

Узнав об отказе, Михаил Михайлович расстроился, долго смотрел на казенную бумагу, а затем неуверенно произнес какие-то ободряющие слова.

Понемногу и вожделенная модель, и снимок из «Огонька» стали забываться, как вдруг снова письмо и из того же собеса.

На сей раз бумага гласила, что мне дано разрешение на получение за наличный расчет мотоколяски из фондов завода.

Я терялся в догадках и, конечно, меньше всего подозревал Пришвина в причастности к этой истории. Оставалось выяснить, сколько стоит эта новая модель.

Названная по телефону сумма мгновенно охладила мой восторженный настрой: шесть тысяч... Вновь все стало нереальным и отодвинулось за порог доступного. Однако на семейном совете решено было не отказываться от льготы, перейти на режим строгой экономии и собирать деньги на покупку.

С доброй новостью и радужным планом отправляемся к Пришвиным, и с первых же слов все открывается. Оказывается, узнав тогда о полученном отказе, Михаил Михайлович решил, никому ничего не говоря, пробивать бюрократическую стену своими средствами. Он составил прошение от группы деятелей искусства и науки: там был академик Н. Д. Зелинский, поэт С. Я. Маршак, народный артист И. С. Козловский — не помню всех имен, но такого созвездия было бы достаточно, чтобы одарить по их ходатайству человека благами более высокими, чем получение разрешения на покупку инвалидной коляски.

В наши дни стали много говорить о милосердии, а я всегда с благодарностью вспоминаю эту историю и всех людей, в ней участвовавших.

Когда поутихли первые страсти удивления пришвинской победой над бюрократией и мы уселись за чайный стол, я рассказал о заминке с наличным расчетом и о плане режима экономии.

Михаил Михайлович переглянулся с. женой и сказал:

— А вот тут уж Ляля рассудила, и у нее есть план более верный и скорый.

Валерия Дмитриевна положила передо мной небольшой сверток и объявила, что это деньги на покупку новой мотоколяски.

Неловкость от сознания незаслуженности такого подарка вместе с чувством благодарности переполняли меня, и, прерывая меня, Пришвин возразил:

— А ведь еще неизвестно, кому больше радости это доставило. — И, лукаво сверкнув из-под очков, с улыбкой сказал: А на новой, глядишь, и на выставку пропустят. Или нет?

Я не сразу понял, что Михаил Михайлович вспомнил, как

меня не пропустили на сельскохозяйственную выставку, куда я приехал на «драндулете» делать наброски по договору со студией «Диафильм». Стоящий при входе милиционер после долгих переговоров со своим начальством решительно заявил, что не может пропустить на такой мотоколяске, потому что я инвалид и буду портить общий вид, нарушая праздничную обстановку. А день был обычный, будничный. Узнав об этом, Пришвин долго не мог успокоиться:

— И это в стране, которая перенесла тяжелейшую войну, где тысячи покалеченных и инвалидов. До какой степени бесстыдства можно дойти!

Ко дню восьмидесятилетия в 1953 году Михаила Михайловича известили, что готовится его выступление по радио. Приехала группа молодых людей с ящиками и чемоданами и стала располагаться в кабинете. Перед тем как начать работу, перед Пришвиным учтиво склонился старший группы и в осторожной форме сообщил, что они подготовили небольшой текст выступления, но он необязателен: можно от него отойти или к нему что-то добавить, полная свобода, но хотелось бы, чтобы в концовке сохранился ее основной смысл. А смысл, конечно, заключался в благодарственных излияниях в адрес гениального «отца народов».

Михаил Михайлович не торопясь прочитал предложенный текст и раздельно сказал, глядя перед собой: «А не зазорно ли мне, ребята, при моих-то сединах попугаем повторять чужие слова?..»

Дом Пришвиных невозможно было представить без веселой и приветливой домработницы Марии Васильевны Рыбиной. Человек редкой доброты, она всегда искала любую возможность приложить свою энергию, часто в ущерб службе Михаилу Михайловичу. Например, посланная в редакцию за срочным материалом, она могла по дороге случайно узнать о какой-нибудь одинокой и больной старушке, нуждающейся в помощи, и, бросив все, остаток дня посвятить ей, забыв о задании Пришвина. Конечно, дома ее ждала гроза, но и неприятности свои она воспринимала весело, без обиды, ясно понимая свою вину, хотя завтра же могло все повториться снова. Такой в ней жил оптимизм. Михаил Михайлович шутя называл ее «птицей радости».

У Михаила Михайловича можно было увидеть людей самых различных по профессии, социальному положению. Однажды встретившись, подпав под обаяние его личности, все тянулись к нему, и возникали долгие и прочные связи. У Пришвина было много друзей, его любили, с ним одинаково было инте-

ресно всем: колхознику Митраше Коршунову и академику Капице, ученому Родионову и поэту Пастернаку. В нем были и народная мудрость и тонкий юмор, философская глубина и поэтическая лирика.

Обстановка сердечности и бережной любви, царившая в доме, создавала тот нравственный микроклимат, в котором легко дышалось всем.

Умея подмечать смешное, Михаил Михайлович часто рассказывал комичные случаи из жизни. Так он мастерски передавал замешательство официанта в ресторане, который, представляя шефу Пришвина, мучительно искал слова и все повторял: «Этот, который, ну, который на лоне природы!» Или рассказ о милиционере, зашедшем в благоухающий дунинский сад с каким-то поручением, который восторженно говорил: «Как хорошо у вас в саду и пахнет даже одеколоном!»

Если Михаил Михайлович был душою дома, то Валерия Дмитриевна — его организующим началом. Она старалась оградить писателя от всех бытовых забот и мелочей повседневности, взяв на себя не только все хозяйственные дела по московской квартире и даче, но и секретарскую работу, издательские дела и прочее. Было что-то материнское в той нежной заботливости, которой она окружила Михаила Михайловича. Было радостно видеть их вместе.

Новый, 1954 год мы встретили в доме Пришвина, и это была последняя встреча. Михаил Михайлович тяжело болел, в кабинет заходили его друзья. Только что из типографии привезли авторские экземпляры вышедшей в «Молодой гвардии» книги «Весна света», которую он с нетерпением ждал и был чрезвычайно доволен и прекрасными иллюстрациями Ф. Глебова, и портретом работы художника А. Кириллова. Всюду, на креслах, стульях, лежали книги в голубом переплете, стопками возвышались возле сидящего за столом Пришвина, и он, как именинник, счастливо улыбался и дарил книги, делая дарственные надписи. Он заметно похудел, осунулся, но от этого выглядел даже помолодевшим.

Ближе к полуночи перешли в столовую, где был накрыт праздничный стол. За столом Михаил Михайлович вспоминал свое детство. Он говорил, как многое в детстве было страстно желанным, но, увы, недоступным и как с возрастом, осуществляясь, теряло свою привлекательность. И только его детская любовь к природе никак не изменилась и не потеряла своей «детскости» до сих пор.

С надеждой и опасением говорили о том, к каким послед-

ствиям приведет недавняя смерть Сталина. Михаил Михайлович заметил, что настоящее творчество не может зависеть от таких перемен.

В двенадцать часов радостно и торжественно сдвинули бокалы и от всего сердца пожелали друг другу здоровья и благополучия...

Вскоре после полуночи по-соседски пришел Борис Леонидович Пастернак[1]. Меня удивило, что одет он был не по-новогоднему, а в какой-то выгоревшей ковбойке и в старом пиджаке. Он был грустным, смотрел на Пришвина влюбленными глазами и маленькими глотками пил сухое вино. Он тихо говорил Пришвину заздравные слова и пожелания долгой жизни. Мы попросили его почитать стихи. Крутя в пальцах рюмку, он медленно и монотонно, своим удивительным голосом прочитал:

У людей пред праздником уборка
Вдалеке от этой суеты...

Эти стихи я впервые услышал в ту новогоднюю ночь, и до сих пор они звучат во мне чарующим голосом Бориса Леонидовича.

Вскоре мы уехали из Лаврушинского, увозя с собой тепло гостеприимного дома и подарок: «Весну света» в голубом переплете с дарственным автографом. Такую надпись сделать мог только Пришвин. Крупным размашистым почерком написаны поперек листа добрые пожелания всему семейству поименно, перечисление заканчивалось подлинно пришвинским наказом: «Не забудьте Джека!» [2]

В. М. Никольский (1923—1988), художник с трудной личной судьбой, своей преданностью любимому делу всегда вызывал у Пришвина искреннее уважение. В. М. Никольский до конца хранил память о дружбе с Пришвиным, много писал Дунино и окрестности. Смерть прервала его работу над последним портретом Пришвина. Несколько пейзажей было подарено им Дому М. М. Пришвина в Дунине.

[1] Это было 7 декабря 1953 года. Пришвин записал: «Пастернак спустился к нам, читал стихи, совершенный младенец в свои 60 лет. И делается хорошо на душе не оттого, что стихи его, а что сам он такой существует».

[2] С В. М. Никольским дружеские отношения сохранялись у Пришвина всю жизнь. О нем он много пишет в дневнике:

«*13 августа 1951.* Безногий художник Валентин Михайлович Никольский заканчивает мой портрет. Его художественную энергию понимаю по себе: что-то отнято самое ценное и оттого в этом хочешь возместить то».

«15—16 сентября. Художник Никольский пишет мой портрет и очень похоже, что сделает. Сомнение только в том, что Пришвин изображается «в процессе созерцания».

«13 февраля 1952. Из всех убогих признаю и уважаю только художника Никольского и себя самого: по существу, я тоже убогий, но держу себя, до того укрывая убожество, что некоторые принимают меня за великого Пана».

«4 мая. Думаю о «Бедных людях» Достоевского, вчера прочитанных. И вспоминаю современных бедных, вроде художника Никольского, и балерину По, слепую, заменившую себе потерю зрения внутренним зрением (скульптура). Те «бедные» люди от «Шинели» переходят в Ничто вместе со своим временем, эти наши бедные, без ног, без глаз, овладевают своим временем, делаются современными».

Н. П. Рождественская

МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ВСТРЕЧАХ С МИХАИЛОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ ПРИШВИНЫМ

Удивительно красиво наше Подмосковье! Звенигород, Дунино, Николина Гора... Ведь всего 35—50 километров от Москвы, а такая нетронутая природа, такая тишина...

Несколько лет подряд мы жили в деревне Дунино на даче у наших друзей. Рядом была дача Михаила Михайловича Пришвина. Мы были знакомы, но как-то так само собой сложилось, что мы, добрые соседи, очень ценили возможность самоуединения и встречи бывали или на речке, или в лесу. Мне часто приходилось встречаться с Михаилом Михайловичем во время его прогулок по окрестностям Дунина. Видела, как он сидел с удочкой на берегу Москвы-реки, и так приятно было смотреть на него: он наслаждался этим увлекательным отдыхом — рыболовством.

Но чаще я видела Михаила Михайловича в лесу. Как-то очень отчетливо и ярко запомнился мне один летний день, даже не день, а утро. Тепло, но ветерок прохладный и влажный, ни души кругом... Пахнет листвой, хвоей и еще чем-то очень дорогим и приятным — землей. Издали увидела, что Михаил Михайлович входит в лес. Я замедлила шаги — не хотела, чтобы он меня заметил. Боялась нарушить мир его уединения.

Я видела, как впереди, на довольно далеком от меня расстоянии, шел Михаил Михайлович по тропинке и иногда останавливался. Я шла в том же направлении и заметила, что при повороте тропинки он особенно долго задержался, наклонился к земле и потом постоял около недавно спиленной большой, старой сосны. Мне было интересно — что привлекло его внимание? Я тоже остановилась около этих мест. Оказалось, что в траве у тропинки выросли три маленькие розовые сыроежки, но их росту мешали упавшие листья, хвоя и травинки. Михаил Михайлович расчистил землю около них, чтобы свободно росли три розовые шапочки. Дальше — спиленная сосна. Пенек еще кругом весь засыпан опилками, но Михаил Михайлович сбросил их и, наклонившись, вероятно, подсчитывал по кольцам на пне возраст старого дерева.

Потом он вышел на опушку леса. Ему открылся широкий горизонт и ярко-голубое небо с кипой белых облаков. Он заложил руки за спину, поднял голову и замер...

На этом можно было бы и закончить мое повествование, но у него, у повествования, было продолжение.

Зимой отмечалась какая-то дата в клубе писателей на Поварской. После заседания состоялся концерт, я принимала в нем участие — пела романсы Чайковского. В первом ряду сидели незнакомые мне слушатели, а прямо передо мной — Мариэтта Шагинян и Михаил Михайлович Пришвин. В этом зале не было эстрады, и рояль стоял на том же уровне, что и стулья публики, — они были совсем рядом со мной.

Мариэтта Шагинян плохо слышала и держала в руках маленький микрофон, который она направляла в мою сторону. Михаил Михайлович очень внимательно слушал и не отрываясь смотрел на меня. Обстановка концерта была домашняя, мне очень хотелось петь, и публика сердечно принимала.

Когда концерт окончился, многие подходили ко мне, были и знакомые мне писатели. Среди них, сначала стоявший где-то в сторонке, потом потихоньку приближаясь, ко мне подошел Михаил Михайлович Пришвин.

Он был взволнован, взял меня за руки и сказал четыре слова — это одна из самых коротких и очень дорогих для меня рецензий: «Хорошо, как в лесу!»

Теперь, очевидно, будет понятно, почему я описывала и природу Подмосковья, и розовые сыроежки, и опушку леса, и небо... Михаилу Михайловичу так же хорошо было на концерте, как в лесу!

Н. П. Рождественская, певица, народная артистка РСФСР, была из круга дачных дунинских знакомых Пришвина.

[1] В этом частном случае проявилась одна из тем творческой биографии писателя. Взаимодействие двух сторон бытия — природы и культуры — становится предметом размышлений Пришвина, когда он впервые получает квартиру в Москве (1937) и начинает жить в городе.

«б/д 1937. Когда вспомнишь о сближении своем с природой, то вспомнишь, сколько этому счастью помогла бедность моя: нищенское существование до революции обрекало на деревенскую жизнь; после революции долго комнату не давали <...>. Между тем при других обстоятельствах я мог бы так же, как природу, полюбить в городе искусство и книги.

Когда будет квартира, я непременно сделаю опыт в этом отношении: попробую пожить в городе «эстетически», то есть свободно, как в лесу» (Наш Дом, с. 31).

«23 мая. О том, чего хочется, нигде не прочтешь: больше времени истратишь

на поиски в библиотеках чужих работ, чем сам, собственными ногами, руками, умом, дойдешь до всего, ежедневно посещая лес».

«*26 мая.* Какая скорбь в душе! Какая бесконечно ужасная перед глазами картина падения человека, и в то же время какая ничтожная причина, игрушка, вечное перо какое-нибудь вдруг почему-то обрадуют: велосипед, автомобиль, лодка — все такое привлекает к себе, и часто не только забываешься в этом, но даже прямо бываешь счастлив. Можно себе легко представить, что если все эти детские вещи заменить предметами искусства, картинками, операми, симфониями, статуэтками, изящными книгами поэзии, то вот и получается то обычное состояние души образованного человека, в котором он постоянно пребывает...

И если я перееду в Москву и устроюсь в своей квартире, и буду иметь возможность заниматься искусством, то мерзости окружающей жизни будут загонять меня в эстетизм, а птички мои, трясогустики всякие, будут заменяться картинками. Но, может быть, через эти картинки я почувствую дыхание истинной культуры человечества, как чувствовал через своих пташек дыхание матери-земли? По правде-то говоря, как же мало в своей жизни я пользовался для своей души силой искусства. И если — земля давала мне так много и любовь эта к земле вызывала так часто желание приблизиться к человеку и «человек» этот выходил из революции и человеческие дела показывались в машинах и мостах, то почему бы не показаться истинному человеку в искусстве?»

Г. Г. Лахути

ДВА БЕРЕГА У ОДНОЙ РЕКИ

Ивановка, Козино, Аксиньино, Грязь, Сальково... Деревни, раскинувшиеся среди полей и лугов на низком берегу Москвы-реки. Здесь с 1947-го по 1957 год прошло мое детство. Теперь-то сюда от Звенигорода ходят рейсовые автобусы, проложены асфальтовые дороги, стоят телефоны-автоматы... А тогда ничего этого не было. Зато были чудесные травяные луга, опьяняющий воздух, жаворонок в небе, чистая вода... Когда по телевизору показывают старый фильм «Сердца четырех», я узнаю все места. Снимали здесь, уже прямо при мне, и фильм «Повесть о настоящем человеке».

Дороги в этих местах тогда были только проселочные, весной и осенью подолгу стояли глубокие лужи и грязь, давшая название одной из деревушек, живописно раскинувшейся на горбатом лесистом холмике. Соседняя деревня Ивановка была совсем маленькой, в ней было всего сорок изб, расположенных вдоль единственной улицы. Один из домов был двухэтажный, и первый этаж был даже кирпичным. Там был единственный в деревне хрипучий телефон, откуда можно было заказать Москву. Слева примыкала высокая одноэтажная изба, три окна переднего фасада которой были украшены резными наличниками в форме лир. Родители мои восприняли эти лиры как перст судьбы. Таких наличников не было больше нигде в округе.

Мой отец — иранский поэт и революционер Абулькасим Лахути, ставший известным советским поэтом. Дружеские отношения связывали его с А. М. Горьким, Роменом Ролланом, Назымом Хикметом, С. М. Михоэлсом, Е. Ф. Гнесиной, многими другими писателями, учеными-востоковедами, людьми искусства. Стихи он писал на языке фарси.

Четверть века совместной жизни и творческой работы провел он с мамой, поэтессой Цецилией Бан*у*, которая была основным переводчиком его поэзии на русский язык. Вместе участвовали они в работе Первого съезда Союза писателей СССР в 1934 году. Их членские билеты подписаны Горьким. У отца би-

лет был № 4. На съезде он был избран одним из ответственных секретарей Союза писателей.

В 1937—1938 годах волна репрессий докатилась и до писательской организации. Треть членов Союза была так или иначе репрессирована. Отец был человеком бесстрашным, вся его молодость прошла в революционных битвах. Многих из репрессированных он хорошо знал и любил. Ему удалось, не останавливаясь при необходимости и перед обращением лично к Сталину, помочь и даже спасти от гибели целый ряд писателей, среди них Садриддин Айни. Пытался он спасти Осипа Мандельштама, помогал Соломону Михоэлсу. В конце концов случилось то, что должно было случиться: такая деятельность навлекла на себя гнев Сталина. Отец был снят со всех официальных постов, имя его исчезло со страниц печати, издавать его почти перестали. К счастью, его не арестовали. Опала длилась до самой смерти «отца народов». Жить мы стали более чем скромно. Родители зарабатывали в основном переводами.

Тем временем подросли четверо детей. Отец начал болеть, и ему требовался свежий воздух. Встал вопрос о покупке домика под Москвой. Денег у нас было мало, и купить что-то поближе к Москве нам было не под силу. Наконец, в 1947 году по рекомендации поселившейся по соседству писательницы Л. Аргутинской родители набрели на домик с лирами. В саду — навес. Плита самодельная. В конце навеса крохотная комнатка. Неструганая скамеечка. Циновки на полу, а на двери восточная занавеска-хлопчатка. Маленький столик в углу. В этой комнате отец работал, тут и счастлив был радостью творчества.

Эту комнату с навесом мы так и называли — «папин домик».

И вот однажды отец появился там с необычным гостем. Борода, очки, свободная блуза. Умное, внимательное лицо. За плечами двустволка. Рядом — чудесная вислоухая охотничья собака Нора.

Увидев, что я, одиннадцатилетний, как вкопанный смотрю на нее, Михаил Михайлович сказал:

— Она у меня умная, все понимает. Нора, почеши у меня за ухом!

Нора тут же вспрыгнула на диван, зашла сзади и лапой скребнула у Михаила Михайловича за правым ухом.

— А за левым? — не унимался Пришвин.

И Нора тут же «почесала» и за левым ухом.

Отец сразу подружился с Михаилом Михайловичем. Ходили в гости друг к другу по качающемуся висячему мостику через Москва-реку. Ивановка расположена как раз напротив

Дунина. Мостик этот зимой сносило, а после ледохода его всякий раз восстанавливали. Делается это и теперь.

Лахути и Пришвину, мне кажется, импонировала друг в друге внутренняя независимость. Она была неотъемлемым свойством их душ и привлекала к себе других людей. В то время люди внутренне свободные выделялись на общем фоне.

Лахути писал:

Поднесут все блага мира за покорность —
Прочь отбрось их, благ таких копить не надо!

Михаил Михайлович отказался подписать Стокгольмское воззвание[1], которое тогда все должны были подписывать. Конечно же он был за мир и против атомной бомбы, но ему не понравилось, что все решили заранее за него. Разговоров тогда вокруг этого было много. К счастью, дело решили не раздувать, по-видимому отнеся его к причудам старика, пишущего о природе, то есть человека не от мира сего. Так перед войной Сталин «помиловал» Б. Л. Пастернака, сказал: «Оставьте в покое этого нэбожителя».

Приходя к нам, Пришвин всегда любил сидеть под навесом «папиного домика», слушая рассказы отца об Иране. Ему нравилась небольшая клумба перед навесом, густо усеянная красными маками. Большая вишня залезала своими ветвями под навес, так что спелые ягоды падали прямо в рот, и два взрослых ребенка их ловили.

— Иногда мне кажется, что у меня в доме слишком благоустроенно, — сказал вдруг однажды Михаил Михайлович.

Жизнь была нелегкой, с едой трудно. В то время все еще держали скотину, завели и мы корову Зорьку. Рано утром ее надо было выгонять в стадо, а после обеда загонять в сарай. Издалека раздавалось разноголосое мычание и блеяние, а потом крик: «Скотину заг*а*нивать!» Все выбегали за ворота и «заг*а*нивали». Глядя на эту процедуру, Валерия Дмитриевна однажды спросила Михаила Михайловича: «Может быть, и нам завести корову?» Тот помолчал, потом сказал задумчиво: «А не превратимся мы с тобой тогда и сами в коров?» Мы все долго потом хохотали, вспоминая эти его слова [2].

У нас все эти годы жил Джек, большая немецкая овчарка. Мы все очень любили его, но «у семи нянек дитя без глаза». Учили его и отец, и брат, и я, он все понимал, но не всегда изволил слушаться. Однажды он долго лаял

на невозмутимо сидевшую на заборе кошку, отец ругал его и грозил палкой. Такому «собачнику», как Пришвин, это, конечно, было смешно, и Михаил Михайлович смеялся до слез.

Отец, который был моложе Пришвина на тринадцать лет, пережил его всего на три года. Он скончался весной 1957 года в санатории им. Герцена, недалеко от Звенигорода. С любимым домом в Ивановке пришлось вскоре расстаться. Мы все выросли, кто начал уже работать, кто еще учился.

Весной 1989 года «вновь я посетил» родные места. Дом наш пока цел, а вот «папин домик» сгорел, фруктовый сад замерз и погиб... Зато в Дунине ласково встретили меня в Доме-музее М. М. Пришвина. Приятно было видеть симпатичные лица школьников, занимавшихся в доме Мастера в литературно-художественном кружке, таких же, каким был и я в те уже далекие, но незабываемые годы.

Гив Лахути — сын иранского поэта Абулькасима Лахути, с семьей которого дружил Пришвин в 50-е годы.

[1] Имеется в виду воззвание Постоянного комитета Всемирного конгресса сторонников мира ко всем людям доброй воли о запрещении атомного оружия. В послевоенные годы Пришвин много размышляет в дневнике о сущности войны и борьбы за мир.

«10 декабря 1949. Что же касается войны, как о ней понимают в газетах, то разговор тут идет о форме войны. И скорее всего эту форму преодолеют, как временно у нас на глазах сменилась форма атомной горячей войны на холодную. А сущность холодной войны только в том, что одна сторона ждет промышленного кризиса в другой, а другая — нравственного кризиса в первой, и всеми возможными средствами это проповедуют, бросая словесные утверждения или даже формулы злобы и лжи друг на друга, как атомные бомбы. А люди в народах страдают в созидании этих формул, может быть, не меньше, чем в обыкновенной войне.

Так что сама формула войны скорее всего дело полезное, нужное и бороться за новую форму нужно всеми силами. Но только не надо обманываться и думать, что мы боремся с самой нравственной сущностью войны. В лучшем случае борьбою против войны мы только подготовляем лучшие условия для вековечной борьбы людей за любовь».

«23 февраля 1950. Не забывайте, что на знамени нашего Союза написано слово «мир» и что от каждого из нас зависит поближе идти к знамени или подальше. Если вы поближе к знамени или, может быть, его сами и держите, то у вас не может быть никакого раздумья о размежевании добра и зла, о быть или не быть. Если подальше, то можете, конечно, попасть в такую точку движения, где, как на спорой воде, одни пузырьки идут вперед, другие назад. Мне представляется, что знамя Мира сейчас в моих руках, и мои слова, как писа-

теля, образуют одно большое и видное слово Мир всего мира. И моя «природа» есть мир, и что Горький признает меня хозяином природы, это значит, что в моих руках знамя Мира».

«29 марта. В борьбе за мир, принятой на себя Советским Союзом, некоторые не принимают участия ввиду того, что, по их мнению, войны и так не будет, а другие — что война все равно неизбежна. Мы принадлежим к тем скромным деятелям в творчестве самой субстанции мира, которые не имеют времени на политическую оперативную деятельность. Мы верим, что наша деятельность необходима в деле создания мира еще более, чем политика, потому что без субстанции мира политику нечем и оперировать. Но мы так думаем про себя и для себя, и мы вообще не забегаем вперед движения к миру, а просто стоим на своем». (Написано после выступления Постоянного комитета мира в Стокгольме.)

«*7 июля.* На днях очень пожилой священник сказал нам, что он всю свою долгую жизнь читал известную молитву о мире всего мира, читал с верой, надеждой, любовью, но чего-то не понимал.

При всем усердии в деле своего служения, этому старому человеку не хватало, очевидно, самоопределения в общественной современности, и момент подписи воззвания о мире всего мира пролил яркий свет на все дело его жизни и был новым решающим звеном его сознания.

А не то ли самое в большей или меньшей мере происходит и со всеми нами, кто честно и целиком отдается своему любимому делу, но в общественном сознании своем по какой-нибудь причине не мог точно определиться и руководствовался только смутными чаяниями лучших людей человечества. Я знаю таких людей, кому подпись воззвания является завершающим этапом своего нравственного сознания, и я сам принадлежу к числу этих людей. <...>

Наша подпись должна быть этим самым звеном утвержденного сознания, и в этом смысле я и подписываюсь, я, писатель, за себя, за всех, для кого я писал: за друзей».

«10 июля. Мария Васильевна сдала мое воззвание в Радиокомитет и в ЦК. Скорей всего не будут передавать, потому что в нем упомянут старый священник и все написано от себя, а не как у всех, не как пишется. Неприятное в этом, что не могу преодолеть обстановку и через это, чувствую, меня ругают стариком, а я сам себя чувствую молоденьким.

Когда моя попытка пристать к движению не удается, мне тогда кажется, что вот и слава Богу, что, может быть, это мой ангел-хранитель удержал мою рукопись и меня с нею над пропастью».

«14 июля. Сегодня дойдет моя очередь подписывать воззвание. Вот если бы во время самой патриотической войны допустить бы политических агентов в армию на подписи против войны и за мир — взлетел бы от подписей весь патриотизм пуще, чем город от атомной бомбы. И вот эта самая сила теперь у большевиков. Вспоминается борьба Керенского на фронте с распропагандированным солдатом. О Боже мой! Сколько и каким грузом на памяти лежит пережитое, и разве кто-нибудь может поднять его в одиночку и вывести в свет».

«2 августа. В конце концов, думаю, люди выйдут из нынешней беды, пусть даже и большими жертвами. Но кому удастся увидеть новый свет, то первое, что ему представится, это быстрота движения человечества в деле преодоления пространства и времени. Давно ли войны и радости мира происходили на пятачке, а теперь весь мир человеческий кругом стоит в войне двух половин и произносит цель войны: мир во всем мире. Такой великий прогресс в преодолении пространства и времени.

Второе, что откроется будущему человеку и поразит его совершенно, это, что очевидно существует какой-то мир, независимый от пространства и времени, и в нем человек остается таким же неизменным, как и тысячи лет тому

назад. У нас сохранились памятники, свидетельствующие о том человеке, и мы видим в них нечто неизменное, и в них поклоняемся вечности независимого духа, заслоненного от нас страшно быстрым движением внутри пространства и времени».

Пришвин почувствовал не только внешние материальные трудности семьи Лахути, но и более глубокие, внутренние:

«18 июля 1950. Вечером ходили на ту сторону к Лахути. Прекрасная восточная семья, и сад у них прекрасный, и умение устроиться. Всё. Но страх родителей за семью подавляет все радости».

Есть и такая запись:

«19 августа 1952. В детстве у нас в саду самые нам вкусные яблоки назывались «бель». Таких яблок, у кого я потом в других местах ни спрашивал, нигде не было, и название «бель» никто не слыхал.

Вчера же пришел поэт Лахути и принес мне в подарок яблок. Я попробовал и говорю:

— Это бель!

— Да, это белый налив, — сказал Лахути.

А мне теперь подходит к восьмидесяти, и, значит, лет семьдесят пять прошло, чтобы я догадался: бель, мол, и есть белый налив.

И так очень много сего каждый день, каждую ночь теперь мне открывается.

Так, может быть, и вся загадка жизни когда-нибудь раскроется, как раскрылось, что бель есть просто белый налив». (Собр. соч. в 6-ти томах, т. 6, с. 618—619.)

А. Мутли

МОЕ ДУНИНО

«Нет такого писателя, он придуман!» — мнение талантливого молодого специалиста по русской литературе XIX века. «Какой он вам «друг детства»! Он же был старый человек, вы — маленькая девочка».

С тех дивных дунинских дней прошло больше сорока лет.

Лето 1945 года. По вечерам, стоя по колени в воде, папа ловил пескариков для переметов. Однажды мама послала меня позвать отца к ужину, и я уж увидела его за кустом возле родника, как вдруг по тропинке с Верхней дороги вышел ко мне большой человек. Поздоровался и представился: «Дядя Миша, а полное имя — Михаил Михайлович. — И стал рассказывать мне «Белый ожерёлок» — от первого лица, от лица медведя: — Погналась за мной однажды стая волков. Вот-вот бы и конец медведю... бегу я прямо к избе, в сени, дверь сама и закрылась, а я на нее лапу и сам привалился. Старик-сторож, поняв это дело, снял винтовку со стены и говорит: «Миша, Миша, подержи!» А весной надел на меня белый ожерёлок и всем охотникам наказал, чтобы никто не стрелял». И в доказательство показал венчик белых волос вокруг лысины — белый ожерёлок, известный всем охотникам.

Я этим же рассказом представила его папе, и мы вместе пошли к нам ужинать. Через много лет я узнала, что мой отец и Михаил Михайлович были знакомы еще с каких-то агрономических курсов «году в 18-м» и встретились в Лунине случайно[1].

Забора вокруг этого необыкновенного дома не было, и дети там играли часто, в особенности в дождь. Зайти можно было в нижнюю комнату с дверью под верандой. Вокруг был дикий малинник и много крапивы. В хорошие дни мы играли с дунинскими ребятами в казаки-разбойники с жутким наказанием для проигравшего: надо было пройти через крапивные заросли.

Помню придуманную нами каверзу, которой мы поделились с дядей Мишей, и он с восторгом договорился принять в ней участие. Дело было вот в чем: все мы, дети, старались вылезти интересно, а крикнуть или зайти за кем-нибудь в дом недопустимо.

Как вызвать друг друга? И вот каждый из нас, укладываясь спать, привязывал к ноге или к руке веревочку и спускал свободный конец в окно. Кто первый удерет из дома, тот обходит все дома по очереди и вызывает остальных. Помню, что под окно кабинета дяди Миши мне пришлось пройти через мокрые картофельные грядки. На дерганье веревочка исчезла, и вскоре из дома вышел дядя Миша. Обычно мы шли на Верхнюю дорогу. Дядя Миша или неторопливо прогуливался, или сидел на пеньке с блокнотом. Место это замечательное: сверху на горке лес и вниз к реке тоже густо, а середина насквозь солнечная, просторная.

За короткое время он научил нас тайному языку. Каждое слово делится на две части: первый слог и вторую половину. К ним прибавляется слово «шициме» — тоже разбитое. К первому слогу прибавляется -циме, к остатку спереди ши-. Получается: Мациме-ширия, Вадиме-шисильевна — Мария Васильевна. И так все слова. Получалось здорово! Никто вокруг ничего не понимал, а мы могли сказать друг другу любые самые секретные вещи. С нашей легкой руки у нас дома стали называть легендарную Марию Васильевну Шицавацимой. Только в 1987 году я узнала, что это «лагерный язык» Валерии Дмитриевны[2].

Мария Васильевна была существом сказочной приветливости, доброты, умиления и терпения! В пришвинском доме она воспринималась добрым охраняющим духом. Все у нее было «замечательно».

Гроза Дунина — единственный человек, часто ходивший по деревне пьяный. Появлялся со стороны «Поречья», спускался с горки и шел вкривь-вкось от забора к забору по пустой улице — все от него прятались.

Помню, как-то на нашей терраске сидели за столом папа, дядя Миша и я. Мимо палисадника кренделями прошел Иван Дешевый. Дядя Миша, прервав разговор, сказал: «Жалко, человек самый важный инструмент не бережет», — и показал на голову.

Зимой в Москве родители обставляли наши поездки в Лаврушинский, будто они меня только сопровождают к дяде Мише в гости. Его уважение и внимание ко мне не оставляли в этом никакого сомнения. Как-то я присутствовала при священнодействии отрубания хвостов у новорожденных щенков Норы прямо в комнате. Старая Нора была собачка не из приветливых. Часто она подводила нас с дядей Мишей: только что-нибудь задумаем, как она тут же и брехнет, привлекая внимание Валерии Дмитриевны.

Я обратила внимание на то, что в разговорах появилась новая фамилия, которую произносили проглатывая, потише: Капица. Когда я спросила, кто это, мне было сказано: «Не смей повторять то, что ты слышишь дома!» Фантазия и любопытство разгорались от частых упоминаний, сопровождаемых словами: «Гений! Непостижимо!» То, что он работает в сарае, мне показалось нормальным.

Помню, как по дунинской улице прошел человек в парусиновых, как у папы, туфлях, в свободной рубашке с косым воротником и вышивкой, в панаме. Потом я видела его на участке Пришвиных, прогуливавшегося с дядей Мишей. Сказали, что это и есть Капица. Его обыкновенность, знакомость навели меня тогда на мысль: может быть, на Николиной Горе так же шелестят: «Пришвин, Мутли, непостижимо!»

О чем мы могли долго беседовать, что читали в тот холодный май, когда из дунинских дачников были только мы с дядей Мишей и Марией Васильевной?

Меня вывезли в Дунино после экзаменов в ЦМШ и оставили на нашу дачную хозяйку Макриду Егоровну. Было холодно и дождливо, но я уже умела быстро читать и не скучала. Тесное общение наше не допускало назойливости, и с дядей Мишей мы сговаривались заранее, кто за кем зайдет. На прогулках устраивали прятки, а собаки — Жалька и Нора — нас собирали вместе. Жалька иногда демонстрировала охотничью стойку. Для Норы отсутствие ружья, видимо, делало подобную работу бессмысленной.

Потом дядя Миша приболел, лежал в своем кабинете на железной кровати и весь сиял, когда я приходила. Пили вместе чай с прошлогодним вареньем. Мария Васильевна все подкладывала угощение и всегда совала что-то с собой. Заботило нас троих только одно — чтобы Мария Васильевна не спалила дом. Пока дядя Миша болел, за топкой смотрела я.

Однажды в лесу мы нашли ежа то ли со сломанной, то ли с перекушенной лапкой. Дядя Миша прибинтовал к лапке кусочек фанеры. Поселили ежа в доме, что не очень нравилось собакам, но они довольно быстро стали демонстрировать полное равнодушие к новому жильцу. Когда вдруг в коробке появились маленькие ежата, выяснилось, что это ежиха. Лапа подживала, но требовалась еще повязка — лубок. И тут произошло невероятное: дядя Миша всю компанию выселил в лес на Верхнюю дорогу. Подобрали мы вместе хорошую норку под большой елью, сделали мягкое гнездо с бортиком и стали регулярно посещать — кормить ежиху и продолжать лечение: нельзя ежам расти в доме, потом в лесу они могут погибнуть.

Большие концерты игрались у Ульмеров, соседей Пришвиных, где в сарае с высоким полом стояло пианино. Часы занятий на нем были расписаны между детьми — Геней Рождественским, моей сестрой Натальей, а остальные — как повезет. Помню, в четыре руки Наташа и Ира Савина [3] как-то играли Первую симфонию Бетховена.

Для дяди Миши звучащая музыка сливалась с обликом исполнителя. После исполнения Ирой Савиной сонаты Скрябина дядя Миша поцеловал ей руку и, встречая ее, говорил: «Ах, какая пианистка! Как красиво играла!»

Мне, после какой-то пьески на скрипке, он сказал: «Вот ты какая бываешь!»

После московской тесноты большой радостью были частые многочисленные гости. В Дунино приезжали ученики отца разных поколений и — ученики учеников. Часто бывал Владимир Сергеевич Белов [4] — деликатнейший человек, прекрасный тонкий пианист. Приезжал любимый отцовский ученик Боря Чайковский...[5]

Фотографии семейного альбома сохранили обстановку наших праздников. Характерно, что на них все что-то или кого-то слушают. Действительно, мы, дети, устроив «концерт», показав взрослым шарады, убегали на улицу играть в крокет, в лапту. Взрослые же, как я понимаю, в наше отсутствие были слушателями пришвинских страниц. Вообще чтения были часты и в слушателях оказывались и дунинцы и их гости. Не раз мы с Федей, устроившись под террасой, пробовали подслушать, что читает дядя Миша. Но становилось непонятно, и мы, соскучившись, убегали.

Валерия Дмитриевна появлялась всегда эпизодически, присаживаясь к краю, на ходу. Мне трудно вспомнить ее в Дунине иначе как согнувшуюся над грядками, с ведром, с граблями [6]. Помню свое удивление, когда я услышала, что она была из первых красавиц в Москве. В туго завязанном платке, в длинном простом фартуке, с уставшими, изъеденными работой руками — такой она выглядит и на фотографии, которую родители мои называли «Тристан и Изольда», где дядя Миша стоит рядом с нею, с лицом, полным сосредоточенности и нежности.

Горе сроднило мою маму с Валерией Дмитриевной — они овдовели в один год и, поддерживая друг друга, много и тесно общались. Третьим человеком, который часто бывал у Валерии Дмитриевны и вносил особое душевное спокойствие, мудрость и удивительную доброжелательность к людям, был Николай Сергеевич Родионов [7], сам бесконечно много переживший.

В кабинете дяди Миши на Лаврушинском мы собирались на памятные вечера. Мне, четырнадцатилетней девочке, было тяжко отсутствие хозяина. Сидя под большим с мраморным абажуром торшером, напротив тяжелого резного письменного стола, слушая трагического Шумана — играла Мария Вениаминовна Юдина, — я впервые почувствовала, как сжалось нутро перед необратимостью потерь, выпавших на нашу долю.

Только спустя годы я оценила то беспокойство, ощущение бесконечного долга, которые не отпускали Валерию Дмитриевну до ее последнего часа. Она охраняла Пришвина каждую минуту его жизни, каждую минуту его работы, зная одна, что ему отпущено совсем мало. Невероятна была и напряженность жизни после его кончины — ее трудами для нас возникли многие страницы дневника Пришвина, его неопубликованные произведения. Валерия Дмитриевна и ушла от нас с ее характерным напряжением мысли на лице.

Самыми близкими друзьями Пришвиных была семья музыкантов Мутли. *А. Ф. Мутли* (1894—1954) — преподаватель Московской государственной консерватории, автор «Сборника задач по гармонии», который до сих пор регулярно переиздается. Личность Андрея Федоровича, его полная отданность делу, творческая атмосфера семьи, в которой росли дочери, привлекали Пришвина.

Наталья Андреевна и Анна Андреевна Мутли навсегда остались близкими дому Пришвина.

[1] С тех пор в дневнике писателя появляются записи, так или иначе связанные с новыми знакомыми:

«16 августа 1946. Все ясней и ясней вижу свою неприспособленность слу-

жить ближнему (что за семья у меня!) и обреченность моей жизни на дальнего. И в этом горьком с одной стороны и радостном с другой сознании начинаю различать людей и дело их: нет никакого сомнения, что оба эти нравственные направления, к ближнему и к дальнему, в нашем жизненном кругу противоречат друг другу и сходятся в одно за предельной чертой его, там, где не женятся и не выходят замуж, где нет печали и воздыхания, но жизнь бесконечная.

Явление Красоты есть не что иное, как свидетельство о Дальнем, и нет ничего неразумней, как рассматривать эти явления с точки зрения морали в отношении наших близких. <...>

Моя жизнь была посвящена служению Дальнему, который милостиво теперь возвращает мне ее через ближних (читателей).

Андрей Федорович Мутли, владелец двух чудесных девочек, мне прямо сказал: «Вы и не знаете, что вы сделали для наших детей». Доктор Артемьев прочитал нам письмо, в котором сын его из лагерей пишет, что книга Пришвина «Жень-шень» вынула его из петли. И много таких свидетельств, вплоть до появления Ляли, выразившей собою величайшее выражение любви ближнего.

19 августа. Вечером ели уху у Мутли, сваренную возле моего дома. Записываю сюжет для рассказа о девочке, которая у своей бабушки съела всю гомеопатическую аптеку.

23 августа. Лариса Леонидовна Мутли сказала вчера, что ее «женское» вмешательство в дела никогда не ссорит ее с мужем, потому что он всегда стоит выше этого и улыбается. Я ответил, что в литературе у нас с Валерией Дмитриевной то же самое, но автомобиль нас ссорит, потому что я Москвы не знаю, а она лучше знает и пытается овладеть мною как шофером. И тут у нас происходят ссоры.

Так несомненно есть круг чисто мужского действия, за черту которого нельзя пускать женщину, и это н е л ь з я Ницше дал в образе кнута: идешь к женщине — не забудь кнут.

Между тем женщина всегда жаждет этого «кнута» в смысле служения и не простит мужчине, если у него кнут слаб. Формы же кнута могут быть прямой его противоположностью. Например, если женщина имеет страх перед насилием, кнут мужчины выразится в особой нежности и формальной уступчивости, вплоть до бытия под башмаком до тех пор, пока башмак не поднимется просто от скуки быть в одном положении».

«*9 июня 1947.* Я подумал, что в кутерьме внешних событий с войной, с голодом, с атомной энергией и раздвоением в пути человека — один к внешнему богатству и счастью, другой — к гибели чуть ли не всей планеты, мы-то сами, наша сокровенная личная жизнь находится разве не в <...> положении умирающей? Тогда вспомнился мне преподаватель музыки Мутли, как вчера я его видел с огромным мешком вещей, который он тащил на себе с вокзала в хижину Макриды Егоровны. Он-то мне и сказал вчера, что он достал в Москве грузовик и привезет рояль, чтобы Наташа его летом могла играть свои упражнения. «Где же поставить рояль?» — спросил я. «Снял сарай в даче Ульмера». И это делает бедняк, существующий на гонорар от своих учебников музыки. Выход из мировой кутерьмы ... меня увлекает пример нищего героя-музыканта, переправляющего для своей любимой девочки рояль из Москвы. Вот это да — это путь».

[2] См. коммент. к воспоминаниям Г. Б. Удинцева.

[3] *И. А. Мутли и И. И. Савина* — ныне преподаватели Музыкального педагогического училища им. Гнесиных. *Г. Н. Рождественский* — дирижер.

[4] *В. С. Белов* — пианист, в то время преподаватель Музыкального училища при Московской консерватории.

[5] Ныне композитор.

[6] Об этом вспоминает В. Д. Пришвина так:

«При жизни Михаила Михайловича я много времени отдавала саду, огороду, цветам. Пожалуй, сад и огород для меня не разделялись по радостному чувству удовлетворения при уходе за растениями. К работе на земле я пристрастилась с войны, с Усолья <...> мы всерьез кормились тогда огородом. Дело развилось вначале по нужде, а потом уже шло у меня по страсти. Так я и завязла в этой увлекательной работе. Увлекала она меня, по-видимому, тем, как молчаливо, скромно и благодарно отвечают растения малейшей заботе человека, проявленной к ним.

В последние годы жизни Михаила Михайловича, как только я выходила в сад работать, он коршуном бросался на веранду, и я слышала гневный окрик: «Бросай лопату!» Он бранил меня не только за переутомление, но и за отвлечения от его литературных работ. И опять как не вспомнить тут обратное — Михаил Михайлович сам радовался саду:

«Человек семидесяти пяти лет, жизнь его висит на волоске, а он сам сажает сирень! И мало того, он не один, а может быть, не было времени, когда так страстно не хватались бы люди за растения: все, кто может, сажают сады. Это значит, во-первых, что люди живут как бессмертные, презирая свое знание смерти; во-вторых, это значит, что лучшее у человека есть действительно рай (сад)».

И еще: «Я пользуюсь всяким случаем сказать, что люблю свой сад за то, первое, что он дался мне самому без труда <...> второе, радует меня, что над садом трудился самый дорогой мне человек» (Наш Дом, с. 138, 141).

[7] *Н. С. Родионов* (1889—1960) — старший редактор Гослитиздата по 90-томному академическому изданию Л. Н. Толстого, которым он занимался с 1928-го по 1958 год. Затем помощник В. Д. Пришвиной по работе над литературным наследием Пришвина, редактор шестого тома посмертного собрания сочинений писателя.

М. В. Рыбина

РЕЖИМ ДНЯ

Михаил Михайлович строго придерживался определенного режима всю свою жизнь. Это доходило до того, что если обед вовремя не был готов, он брал стакан молока, кусок черного хлеба — лишь бы было вовремя. Вставал очень рано, когда все в доме еще спали. Летом с восходом солнца. Сам ставил свой маленький самоварчик. Пил чай, ел хлеб с маслом и под дружеские песенки самовара писал свою работу. Самовар шумел, а он писал. Жалька тут же у ног. Так он просиживал до 8—8.30 или в столовой, или у себя в кабинете. Затем часов до 9.30 наслаждался в саду утренней природой. К этому времени вставала Валерия Дмитриевна. Тут был настоящий завтрак: яйца, каша, кофе, хлеб с маслом. За этим 2-м завтраком он собаку не кормил, потому что Валерия Дмитриевна этого не любила, а за первым, когда он был о д и н , — он готовит бутерброд собаке, она делает вид, что не знает, что будет, голову отвернет в сторону, а глаза заводит вбок и так и следит за тем, что Михаил Михайлович делает, но сама не двигается, и только он скажет: «Хоп», ловит на лету. Михаил Михайлович это очень любил.

Поработав еще немного, Михаил Михайлович часов в 11 или 12 шел в лес, один. Гулял и думал. А иногда это была охота. Берет машину, собаку и отправляется на перепелов. Привозил по 5 штук (хоть и маленькие, да очень жирные). В 1 час — обед. Супы бывали разные: бывал мясной, а то и грибной или гороховый. 2-е — или мясо отварное, или, например, котлеты. Михаил Михайлович очень любил, как я делала котлеты, он говорил: «Вот это хорошо — ровные и тонкие». 3-е делали или желе, или компот, или кисель, или ягоды.

Он кончал есть раньше других и, бывало, скажет: «Ну, вы кончайте без меня, а я отдыхать пойду». И уходит к себе отдыхать до 4 часов. Ведь вставал-то он рано-ранехонько! Если за обедом бывали гости — он рассказывал что-нибудь, да так интересно, что гости забывали есть. В 4 часа у нас был чай. Потом он шел в лес или у себя работал до ужина; ужин — в семь часов. Делали часто гречневую кашу с маслом и крутыми яйцами. Ложился Михаил Михайлович рано, потому что рано вставал и в городе и на даче.

Мария Васильевна Рыбина с 1940 года была бессменной помощницей по хозяйству в семье Пришвиных.

В. Д. Пришвина пишет о М. В. Рыбиной: «Она вышла из городской среды московских просвирен. Отец ее был краснодеревщиком, дед — дьячком, и жили они несколько поколений в одном и том же районе, и хоронили стариков на одном и том же кладбище...

Тонкая, белокурая, с фиалковыми глазами на удлиненном худом лице, она всегда улыбалась, если некому было, то самой себе, и не допускала ни в чем никогда сомнений в худую сторону.

«Все в порядке!», «На 105 процентов!» — это были ее любимые и неизменные присказки по любому поводу.

Пришвин пишет о ней: «Марья Васильевна, девушка в 57 лет, определилась как счастливая птица: она не знает времени, не считается с людьми, со своими силами, возможностями, долгом» (Наш Дом, с. 230).

И в другом месте: *«21 апреля 1951.* Наша Марья Васильевна патологический тип, но только тем она и патологический, что тип древнерусский попал оттуда сюда, в быстрое точное время, и не может с ним справиться».

А. Я. Яшин

ПОДАРКИ ПРИШВИНА

Дунинская дача — на крутом склоне горы, который, по всей видимости, был когда-то берегом реки. Спереди — деревня, садики, заливные луга, открытые солнцу дали, а сзади, на высокой гриве, — густой темный лес. Заливные солнечные луга и темный ельник — это как два мира, два континента. Ходим по сверкающему берегу реки — одни разговоры, ходим по лесу — и разговоры другие. Даже и погода в этих разных местах словно бы всегда разная. Может быть, это преувеличение, но сейчас мне кажется, что среди цветов и трав Михаил Михайлович ходил бодрее, больше улыбался и шутил чаще; во всем его облике и в его словах было больше света.

На Михаиле Михайловиче просторный полотняный костюм. Пришвину полотняный костюм шел, как шла длинная вельветовая рубаха к облику Льва Толстого.

Палка у Михаила Михайловича — складной стульчик. Воткнет он палку в землю — ручка раскроется, и он сядет на этой ручке, как на стуле, отдыхает. Кажется, точно такая же палка была и у старого Льва Николаевича, оба они были такие русские.

С годами палка не всегда выручала Пришвина. Он не мог ходить с нами на реку по узкому, шаткому мостику-лаве в дальние села, на заречные сенокосы. Но, возвращаясь, мы рассказывали ему о местах, где были, и оказывалось, что он все эти места знал, все помнил и понимал нас с полуслова. И получалось так, будто он был вместе с нами повсюду.

Однажды Злата Константиновна подарила Михаилу Михайловичу двух птиц. Случилось это так. Впереди нас на деревья уселись ворона и сорока. Сорока-непоседа перепрыгивала с ветки на ветку, а ворона как опустилась на сучок, так ни разу и не передвинулась на нем, только сучок от ее грузной посадки раскачался, и ворона показывалась то в тени, то на солнце да изредка для равновесия чуть взмахивала хвостом: вверх-вниз, вверх-вниз. Пока ворона раскачивалась на одном и том же суку из света в тень, из света в тень, сорока на своем дереве пять или шесть ветвей переменила.

Злата Константиновна пригляделась к ним и сказала:

— Михаил Михайлович, примите от меня в подарок этих птиц, они не простые.

Пришвин поддержал игру, принял подарок и начал внимательно осматриваться вокруг. Когда мы уже выходили из леса к полю и за бугорком дороги показалась крыша амбара с двумя скрещенными над коньком жердочками, как с усиками, он обрадовался:

— А я вам дарю этого жука! — и указал на выдвигающуюся из-за холмов крышу с усиками, в которой мы, приглядевшись, действительно признали сходство с каким-то большим сказочным жуком.

Ликовала Злата Константиновна, и довольно улыбался в усы Михаил Михайлович. Той порой ворона и сорока снялись с деревьев и улетели, а жук стал амбаром. Но подарки уже были сделаны друг другу, поэзия посетила нас.

— А мне? — ревниво взмолился я. — Ну хоть что-нибудь, Михаил Михайлович!

Пришвин подошел к толстой березе с поперечными черточками на коре, словно строчками стихов, разбитыми лесенкой, осмотрел ствол с одной, с другой стороны и сказал:

— Тут записей разных немало. Поэзии на целую книжку хватит. Сколько разберете — все ваше.

Потом выбрал на стволе место почище, огладил его — на землю полетела белая шелуха — и добавил:

— Вот вам и обложка для книги стихов.

Я вынул перочинный нож.

— Маловато будет для книжки, ну ладно, попробую.

— Уберите нож, — сказал Михаил Михайлович. — Сфотографируйте крупным планом и дайте художнику, все остальное сделает он.

Я понял, но возразил:

— Темно, ничего не выйдет.

— А вы утром приходите, солнце с дороги подсветит...

ЯБЛОЧНАЯ ДИЕТА

Яблоки я увидел и отведал впервые в жизни, когда мне было уже лет шестнадцать-семнадцать. До той поры перепадали, как и всем моим сверстникам-односельчанам, лишь дикие кислые и мелкие, как грецкие орехи, плоды с единственной яблони, раскинувшейся на нашей деревенской улице.

Тем больше мечтал я о яблоках настоящих, культурных,

южных. И когда впервые испробовал их — тем вкуснее, тем сказочнее показались они мне.

Редким, божественным, царским лакомством остаются они в моих глазах и по настоящее время.

И вдруг Михаил Михайлович Пришвин — царь зверей и птиц, бог русских лесов, заявляет, что ненавидит — ненавидит! — яблоки.

Мы пришли к Пришвиным на квартиру в зимний день. Уже в коридоре обдало нас, как теплом, запахом яблок. В столовой стали угощать яблоками.

У Михаила Михайловича раз или даже два в неделю по строжайшему предписанию врачей были дни, когда он имеет право есть только яблоки, и ничего больше. А он — русский человек и покушать любил плотно, основательно. Что для него это яблочное меню?

И вот ради Михаила Михайловича в эти разгрузочные дни все в доме ели только яблоки. Случайных гостей и знакомых, забредших на огонек, угощали тоже яблоками, только яблоками. Яблочный запах стоит даже в кабинете Пришвина.

Михаил Михайлович предлагает гостям отведать яблок и сам смущенно чмокает губами — ему неудобно, он извиняется, но что ж делать, приходится мириться с медициной и обстоятельствами.

— А я люблю яблоки! — говорю я. — Очень люблю.

Михаил Михайлович взглянул на меня сначала сбоку, потом еще более внимательно поверх очков, ну, думаю, сейчас что-то скажет особенное, и сказал очень простое:

— Я тоже любил, пока они не стали для меня обязательными.

В ту пору я любил спорить, праведность моя не давала мне покоя.

— А положение об осознанной необходимости? — сказал я. — Все обязательное перестает быть тягостным, если воспринимается как осознанная необходимость.

Пришвин спорить уже не любил. Особенно с безусыми праведниками. Он просто смотрел из-под очков и, видимо, обдумывал своего собеседника. Но на этот раз он ответил мне:

— Есть люди, любящие природу, луга, перелески, любящие жить в лесу. Но если такому человеку сказать, что он должен жить в лесу, он сочтет это за высылку и приятная жизнь в лесу станет для него наказанием.

— Да, но...

— Кушайте яблоки. Старость ведь тоже осознанная необ-

ходимость. Но когда вы состаритесь, вы поймете, что не со всякой необходимостью человек мирится охотно и легко. Кушайте яблоки, пожалуйста!

ПОСЛЕДНЯЯ ТРОПИНКА

Квадратный двор многоэтажного дома по Лаврушинскому переулку, в котором мы живем, неширок, но глубок. Такие дворы обычно называют колодцами.

Под окнами почти всех квартир внутри двора — балконы, узкие, но достаточно длинные — по ним можно прогуливаться. Зимой редко кто выходит на них ради прогулки. Балкон Пришвиных в эту зиму очистили. В любую погоду в середине дня Михаил Михайлович, одетый в шубу и валенки, выбирался на балкон и ходил по нему из конца в конец, изредка останавливаясь, отдыхая. Пришвин заболел и никуда не выходил из дому, кроме как на балкон — до чего же укоротились пришвинские тропинки!

С балкона открывается только небольшой кусочек Москвы — несколько железных крыш в просвете колодца, Баженовская недавно отремонтированная церковь, да вдали шпили высотного дома на Котельнической набережной, и еще голуби в небе. Вот и все.

А в каких только краях не бывал этот неутомимый следопыт, сколько дорог исходил он за свою жизнь! И вот из всех дорог осталась одна, и не дорога, а тропинка, да и та за решеткой балкона, вдоль стены, от угла до угла, в колодце сумрачного двора.

Пришвин ходил по балкону неторопливо, держа голову высоко, и смотрел на стены домов, на окна соседских квартир, на крыши и в небо, главное — в небо. Иногда по старой привычке он пытался сцепить руки за спиной, но это ему не удавалось — может, из-за болезни, а может, потому, что на нем было слишком много теплой одежды. Порой он останавливался и клал руку на перила либо брался за металлические балясины, а однажды на ходу по-озорному провел по балясинам деревянной палочкой, как по клавиатуре ксилофона.

Как-то выглянуло солнце, мы открыли свой балкон, напротив пришвинского. Я крикнул:

— Как здоровье, Михаил Михайлович?

Он поднял палочку к небу:

— Солнце-то какое, а весны еще нет и в помине!

Мне показалось, что он не чувствует себя за балконной ре-

шеткой и видит вокруг не стены и крыши, а что-то другое, далекое.

В конце декабря на пришвинском балконе появилась лесная гостья — свежая лохматая елочка для встречи Нового года. Михаил Михайлович несколько дней не показывался на балконе, и мы, посматривая во двор из окон своей квартиры, решили, что он начал выходить гулять на улицу. Елочка стояла в углу чуть запорошенная снежком, к ней никто не прикасался, никто ее не шевелил. Казалось, сам лес пришел к Пришвину в гости.

День стоит елка, два дня стоит...

Я перед Новым годом попал в больницу, а жена моя не выпускала елочку из глаз. На балкон время от времени выбегала Жалька — последняя собака Пришвина.

Наступило тридцать первое декабря. Со всех балконов елки давно исчезли, а пришвинская елочка так и осталась на морозе.

Злата Константиновна почуяла недоброе, заволновалась, но, вспомнив, что Пришвины по давней традиции справляли Новый год по старому календарю, успокоилась.

Только прошло и тринадцатое января, а Михаил Михайлович ни разу за все это время не появлялся на балконе, и елочка от ветра упала. Так и не внесли ее в квартиру, так и не нарядили.

— Значит, не до нее! — решили соседи. — Значит, не состоится в эту зиму в пришвинской семье новогодний праздник.

— Нет, праздник все-таки состоялся, — рассказала после Валерия Дмитриевна Пришвина. — Вышла «Весна света», и друзья из «Молодой гвардии» вместе с первым экземпляром книги принесли Михаилу Михайловичу небольшую елочку от издательства.

А та елочка пролежала под открытым небом до снеготаяния. Короткая тропинка на расчищенном узеньком балконе с хвойной елочкой из леса на уровне шестого этажа стала последней тропинкой Пришвина.

Но вот что удивительно: с годами я перестал видеть, что она — короткая и узкая.

Она — широкая и уходит далеко-далеко, через Дунино и Загорск, через мою Вологду, откуда Пришвин начинал свое первое путешествие в края непуганых птиц, к карельским озерам, бежит она в приморские дебри, где растет женьшень, к былинному Китеж-граду, к животворным родникам Берендея, в гущу народную, к тем, кто работает на земле и в лесах, и сказки складывает, и песни поет, и на ком вся земля держится —

к людям, к людям. Бежит и разветвляется на много разных тропинок, таких же бесконечных и непохожих одна на другую[2].

С семьей поэта *А. Я. Яшина* (1913—1968) Пришвин был дружен в последние годы жизни.

[1] Жена А. Яшина.

[2] В дневнике Пришвина мы находим такую запись:

«14 июня 1946. Яшин, поэт, прислал мне свою книжку, величая меня учителем и другом. Он талантливый, написал одно прекрасное стихотворение «Сосновая грива»! Есть и другие неплохие стихи, но все какая-то изображается деревенская гражданственность под гармошку. Надо ему написать, дать понять, чтобы он не очень бы колхозился и...

Больной ест на здоровье.

Здоровый ест на работу.

А кто не работает, тот не ест».

К. С. Родионов

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Осенью 1953 года я вернулся из Мурманской области, где работал третье лето с пчелами, впервые завезенными на Север. Об этой экспедиции М. М. Пришвиным написан рассказ «Заполярный мед». От друзей я узнал, что Пришвины в Дунине, больны и просят приехать.

Стоял серый морозный день, в лесу глубокие рытвины от машин замерзли, но в дунинском доме было тепло и светло.

Михаил Михайлович оживленно стал мне показывать новое паровое отопление, которое было проведено в этом году. Подали на стол. Хозяин был очень гостеприимным, налил мне из «пингвина» рюмку «белой головки», но сам пить не стал.

Потом повел меня к себе в кабинет, очень мягко, но серьезно сделал мне выговор, что я не писал, и стал рассказывать, как они жили летом, что ему нездоровится.

— Михаил Михайлович, вы похудели.

— Похудел? — с тревогой посмотрел на меня.

Смерклось рано, и часа в четыре я ушел в Звенигород на поезд. Через несколько дней Пришвины позвонили и сказали, что вернулись в Москву.

Валерия Дмитриевна высказала тревожное подозрение о болезни Михаила Михайловича — ему предстоит пройти обследование. Михаил Михайлович попросил меня:

— Пожалуйста, поезжайте с нами в поликлинику, чтобы Ляле не быть одной.

Пришвин ходил из одного кабинета в другой, Валерия Дмитриевна сидела в зале и порою вынимала из сумочки иконку, целовала и клала обратно. Особенно тревожно было, когда он вошел в последний кабинет, где делали рентгеноскопию.

Но вот кончилось. Пришвин облегченно вздохнул, анализы не показали ничего тревожного.

Михаил Михайлович уехал на поправку в Барвиху, а через два дня я зашел на Лаврушинский.

— Все кончено, рентген в Барвихе показал у Миши *рак*. — Валерия Дмитриевна *заплакала*. — Знаете, седьмого наступают праздники, и они не позволяют мне на это время оставить Михаила Михайловича в санатории, требуют, чтобы я его немедленно взяла.

— Но это бесчеловечно!

— Такие у них правила, боятся смерти на праздник.

Все-таки удалось настоять и оставить Пришвина в Барвихе.

Главный хирург, доктор Бакулев, сказал Валерии Дмитриевне, что операцию делать нельзя. Положение было безвыходное. Началась борьба за жизнь Пришвина. Валерия Дмитриевна настаивала на операции, врачи отказывались. Последняя надежда была на знаменитого хирурга С. С. Розанова, вместе с которым Пришвин бывал на охотах. Розанов приехал, осмотрел больного, сказал, что он идет на поправку, пошутил с ним, посоветовал пить белое сухое вино и есть все, что ему нравится. Очень быстро уехал. Об операции ни слова. Это было приговором. Исследования в больнице закончились, и Пришвин с радостью вернулся домой.

В начале декабря я зашел на Лаврушинский днем и увидел сидящую на полу в шароварах и золотых украшениях девушку, игравшую с Жалькой, а в кресле сидел Михаил Михайлович и весело с ней разговаривал. Его маленькая приятельница оказалась Ольгой Васильевной Лепешинской, только что снявшей гипс после перелома ноги во время спектакля. Нога была еще сильно забинтована, и еще неизвестно было, сможет ли она танцевать.

На столе красовалась большая коробка конфет «Косолапый мишка» — подарок Лепешинской — «со значением».

Пришвин был очень оживлен, он задумал рассказ о балерине «Роковой прыжок».

Когда вышла «Весна света», Михаил Михайлович послал ее Ольге Васильевне с поэтической надписью.

Помню, как на панихиде в Союзе писателей кто-то тронул меня за руку. Рядом стояла Лепешинская в больничной пижаме и брюках. Она потихоньку вырвалась из санатория, попросила меня подвести ее к Михаилу Михайловичу, простилась с ним, поцеловала Валерию Дмитриевну и уехала.

И мне подарил «Весну света» Пришвин. Сидя на своем старинном диване, он написал мне: «Дорогому Родионову Константину Сергеевичу с рождественскими святочными чувствами того самого нашего времени. Хороши были лунные ночи, когда волки рождались: волки, конечно, волками, а нам было неплохо. Михаил Пришвин. 31 декабря 1953 г.».

Передавая книгу, он сказал:

— Знаете, иногда не выходят надписи.

Много у меня сохранилось надписей на его книгах, но одной, грустной, я особенно дорожу: «Константину Сергеевичу Родионову с любовью М. Пришвин. Кремлевская больница. 16.XI—1953 г.».

Знал ли Пришвин о своей болезни? Теперь я думаю, что понимал, но отгонял эту мысль, чтобы не тревожить Валерию Дмитриевичу.

Утро 15 января нового, 1954 года началось записью в дневнике: «Деньки вчера и сегодня (на солнце — 15) играют чудесно. Те самые хорошие, когда опомнишься и почувствуешь себя здоровым».

Днем пришли Капицы, провожая их, Михаил Михайлович сказал: «Скоро я продам свою «Победу» и приеду к вам на вездеходе».

Михаил Михайлович выглядел утомленным, он плохо переносил какую-нибудь боль, а боли начали его беспокоить. «Ну, как же я жить теперь буду?» — говорил он, лежа в постели.

Пытаясь отвлечь его, я напомнил, что завтра 16 января. Четырнадцать лет тому назад в этот день они встретились с Валерией Дмитриевной.

Михаил Михайлович встрепенулся:

— А правда ведь! Лялечка, как мы будем завтра его проводить? — обратился он к жене.

Потом заговорил о том, что наступила весна света, что поездка в Дунино на Рождество не удалась из-за его болезни и что весною надо пораньше уехать.

Разговор перешел на вышедшую книгу «Весна света»: о том, как хорошо, что она вышла именно к 31 декабря. Михаил Михайлович радовался, что в марте в «Новом мире» выйдет его новая повесть «Корабельная чаща».

— Лялечка, почитай нам что-нибудь!

В хорошие минуты в семье читались стихи. У Валерии Дмитриевны был чистый, звучный голос. Она прочла на память стихи Гумилева, которые последние годы особенно любил Пришвин:

Мир лишь луч от лика друга,
Все иное тень его! [1]

Михаил Михайлович лежал сосредоточенный. В комнате была полутьма. Я сидел в ногах у постели. Жалька лежала у стола. Около Валерии Дмитриевны горел ночник. Она перелистала несколько страниц: «Вот, слушайте!» И вдруг с подъемом начала читать:

Выйдем с тобой побродить
В лунном сиянии!
Долго ли душу томить
В темном молчании!
Пруд как блестящая сталь,
Травы в рыдании... [2]

— Денечек! Еще.

Уноси ж мое сердце в звенящую даль,
Где кротка, как улыбка, печаль,
И все выше помчусь серебристым путем
Я, как шаткая тень за крылом [3].

Стихи кончились. Это были последние слова русской поэзии, которые слышал в жизни Михаил Михайлович.

С теплом на сердце я шел в половине одиннадцатого по Болотному мосту после этого задушевного вечера. Я всегда учился у Пришвина радоваться жизни.

В 12 часов Михаил Михайлович почувствовал себя плохо. Появились боли в области сердца. В половине второго ночи Михаил Михайлович скончался [4].

Я пришел в 11 утра. В комнате никого не было. На столе лежал Михаил Михайлович, спокойный и простой. Около него стояли два деревца белой сирени.

Так ушел Михаил Михайлович Пришвин.

К. С. Родионов (р. 1892) — ученый-пчеловод, герой рассказа Пришвина «Заполярный мед», многолетний друг семьи Пришвиных.

[1] Из стихотворения Н. Гумилева «Пьяный дервиш».

[2] Из стихотворения А. Фета «В лунном сиянии».

[3] Из стихотворения А. Фета «Певице».

[4] Последняя запись в тетради дневника М. М. Пришвина сделана рукой В. Д. Пришвиной:

«16 января около половины второго ночи Михаил Михайлович скончался от рака желудка, в припадке сердечной недостаточности. Ему было очень плохо около двух часов, не более. Днем начались сильные боли. И он спрашивал меня с тревогой: «Как же мы теперь будем жить?» Я старалась, как могла, его успокоить. К вечеру боли прошли, и он принимал в кабинете, сидя за столом, гостей — А. А. и П. Л. Капиц, пил с ними свое легкое вино, говорил, что покупает новую машину «вездеход» вместо городской и ему бесполезной «Победы» и скоро сам приедет на ней в гости на Николину Гору. Слушал свою новую пластинку с записью его голоса. Проводив гостей, сказал, что очень утомился, лег в постель. Просил меня почитать ему стихи. Я прочла Фета, одно из наших любимых «Уноси мое сердце в звенящую даль». Оживился. В постели очень бодро беседовал с пришедшим Родионовым. Около 12 часов ночи начался сердечный припадок. Тогда он стал задыхаться: то сядет, то ляжет, я его поддерживала руками и говорила: «Потерпи». А он ответил очень энергично, даже сердито: «Это о другом, а с таким — мы должны справляться сами».

Под действием пантапона успокоился, отвернулся к стене, подложил ладонь под щеку, как бы устроившись уютно, чтоб заснуть. Врач сказал, что пульс как будто наладился. Все немного успокоились и молча стояли вокруг. В эти минуты незаметно для нас Михаил Михайлович тихо скончался» (т. 8, с. 754).

СОДЕРЖАНИЕ

IV

Составители
Яна Зиновьевна Гришина
Лилия Александровна Рязанова

ВОСПОМИНАНИЯ
О МИХАИЛЕ ПРИШВИНЕ

Сборник

Редактор *Е. И. Изгородина*
Художественный редактор *Ф. С. Меркуров*
Технический редактор *Д. А. Калмыков*
Корректор *О. В. Селиванова*

ИБ № 7563

Сдано в набор 07.06.90. Подписано к печати 10.12. 90. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Таймс». Высокая печать. Усл. печ. л. 19,32 + 2,52 вкл. Уч.-изд. л. 23,45. Тираж 50 000 экз. Заказ № 405. Цена 2 руб.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11.
Тульская типография Государственного комитета СССР по печати. 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

Воспоминания о Михаиле Пришвине: Сборник. — М.:
В 77 Советский писатель, 1991. — 368 с.

ISBN 5—265—01229—X

В сегодняшней противоречивой ситуации духовный опыт Пришвина по-прежнему интересен. Колорит воспоминаниям придает сама его выразительная фигура, подлинная оригинальность его личностного опыта и писательской биографии. Свидетельства мемуаристов, современников Пришвина, насыщены богатейшим фактическим материалом, воссоздающим тернистые пути его творческих поисков. Среди авторов сборника — П. Капица, А. Ухтомский, А. Ремизов, многие известные писатели, близкие и друзья Пришвина. Книга богато иллюстрирована.

В $\frac{4603020000 — 405}{083(02) — 91}$ 164 — 90

ББК 83 3Р7



Семья Пришвиных. Стоят слева направо: брат Николай, сестра Лидия, М. М. Пришвин
Сидят: мать Мария Ивановна, братья Александр и Сергей



Вид с балкона дома в имении Хрущево, где родился писатель.
Фотография с рисунка двоюродной сестры Пришвина М. Игнатовой

Миша Пришвин 8-ми лет





Евдокия Николаевна Игнатова —
двоюродная сестра Пришвина

Елец. Вид города





Елец. Мужская гимназия, где учился будущий писатель

П. Д. Первое — учитель греческого
и латинского языков
Елецкой гимназии





*В. В. Розанов — учитель географии
Елецкой гимназии*

М. М. Пришвин и Н. А. Семашко в студенческие годы. Елец





М. М. Пришвин — студент Лейпцигского университета. 1900.



Обложка первой книги М. М. Пришвина. 1907



М. М. Пришвин с первой женой Ефросиньей Павловной Смогалёвой, пасынком Яшей и этнографом Н. Е. Ончуковым. Петербург. 1909 г.

М. М. Пришвин. Фотопортрет к первому собранию сочинений писателя. 1912 г.





М. М. Пришвин под Новгородом. 1912 г.



М. М. Пришвин.
Начало первой мировой войны. 1914 г.



Первая мировая война. На фронте. Сидят: слева направо:
М. М. Пришвин, в центре Л. И. Толстой. Стоит в центре А. Н. Толстой



М. М. Пришвин с И. С. Соколовым-Микитовым и Всев. Ивановым. 1925 г.



М. М. Пришвин с башмачниками в деревне под Талдомом. 1925 г.

Дом М. М. Пришвина в Загорске, где он жил с 1926 по 1937 гг.





Под Загорском. 20-е годы. Фото М. М. Пришвина

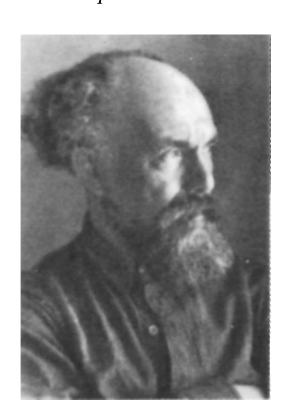
Дворец Петра I — Ботик — под Переславлем-Залесским. Здесь писатель жил в 20-е годы, бывал во время Великой Отечественной войны

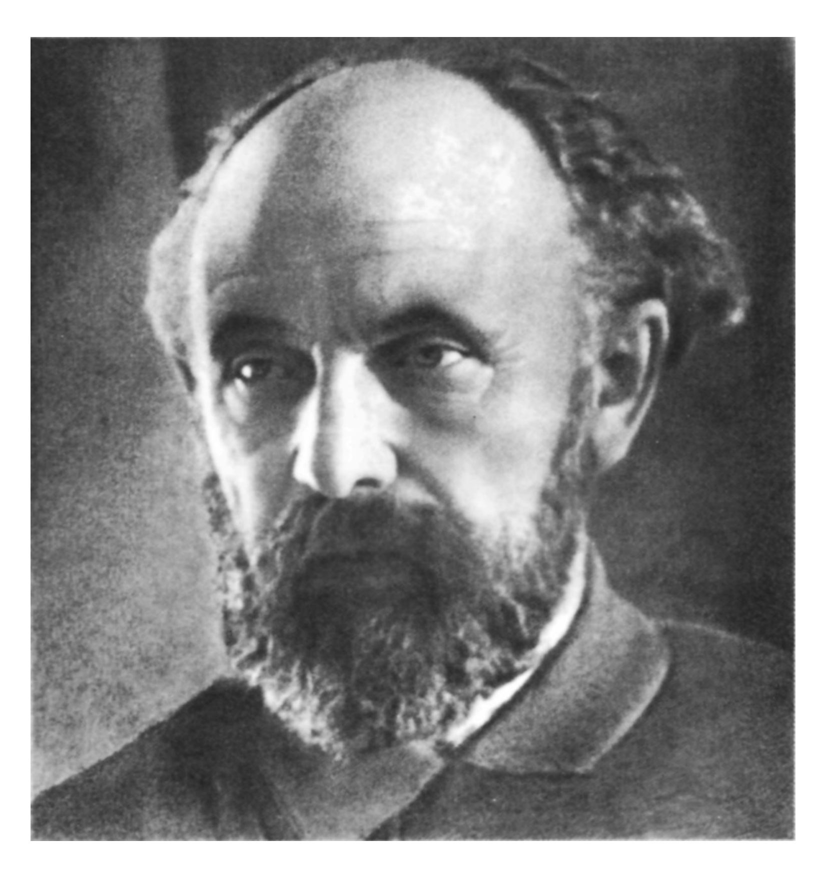




М. М. Пришвин в окрестностях Загорска. 30-е годы

М. М. Пришвин.
Загорск. 30-е годы





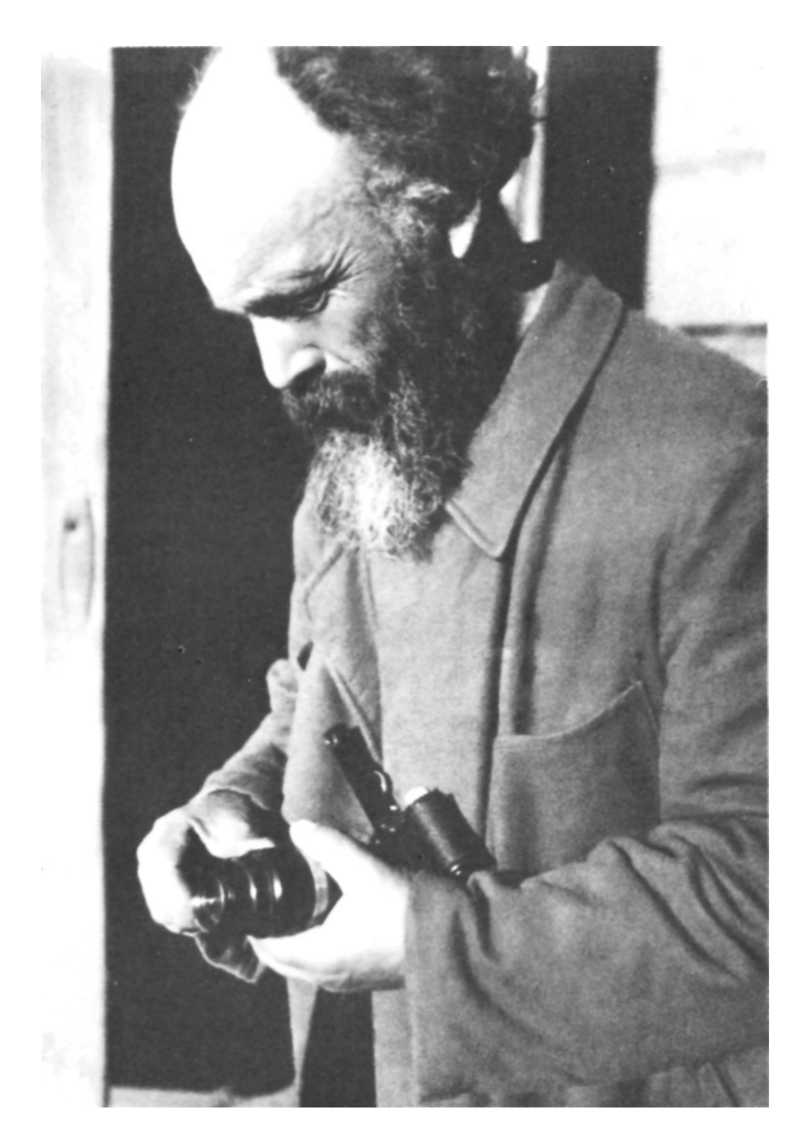
М. М. Пришвин. 1920—30-е годы



А. С. Новиков-Прибой с сыном в гостях у Пришвиных в Загорске. Слева: Ефросинья Павловна с женой старшего сына. 1931 г.

Встреча с рабочими Загорского завода. Рядом сидит Виктор Боков. 1931 г.





М. М. Пришвин. 30-е годы

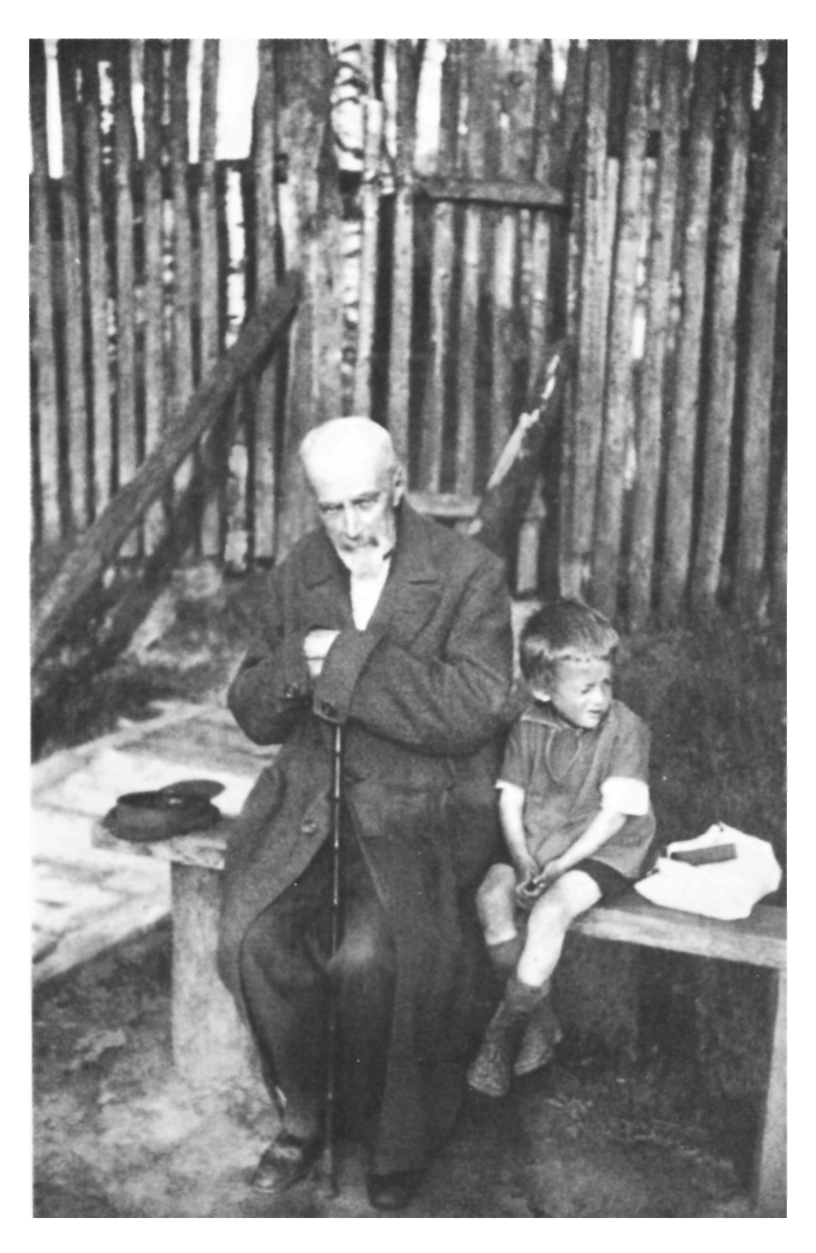


У входа в Троице-Сергиеву лавру. 1930-й год.
Фото М. М. Пришвина.

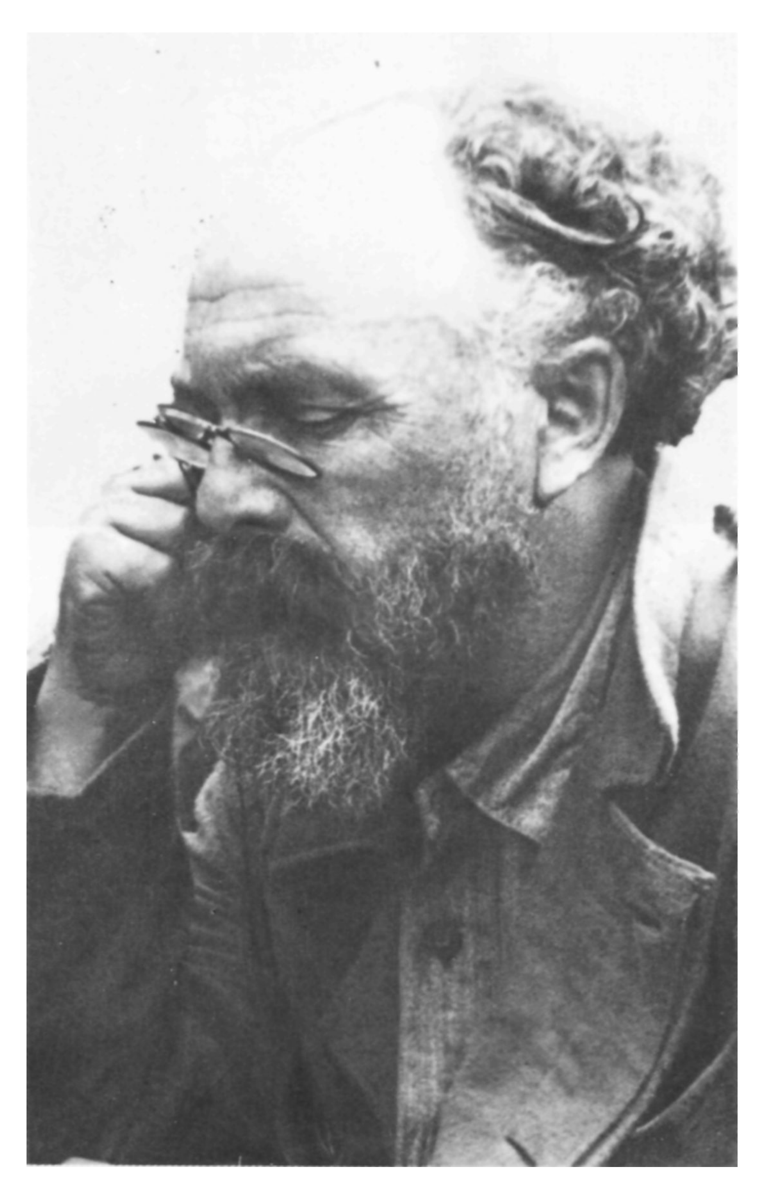


Уничтожение древнейших колоколов годуновскои эпохи.
Троице-Сергиева лавра. Январь 1930 г.
Фото М. М. Пришвина





Князь В. М. Голицын, бывший городской голова Москвы.
Загорск



М. М. Пришвин. 1933 г.



Строительство Уралмашзавода. Свердловск. 1931 г.
Фото М. М. Пришвина

Владивосток. 1931 г.
Фото М. М. Пришвина





Дальний Восток. Океан. 1931 г.
Фото М. М. Пришвина

Съемочная группа фильма по сценарию
М. М. Пришвина «Хижина старого Лувена».
В центре М. М. Пришвин, справа от него режиссер А. А. Литвинов





Беломорско-Балтийский канал. 1933 г.
Фото М. М. Пришвина



Беломорско-Балтийский канал. 1933 г.
Фото М. М. Пришвина





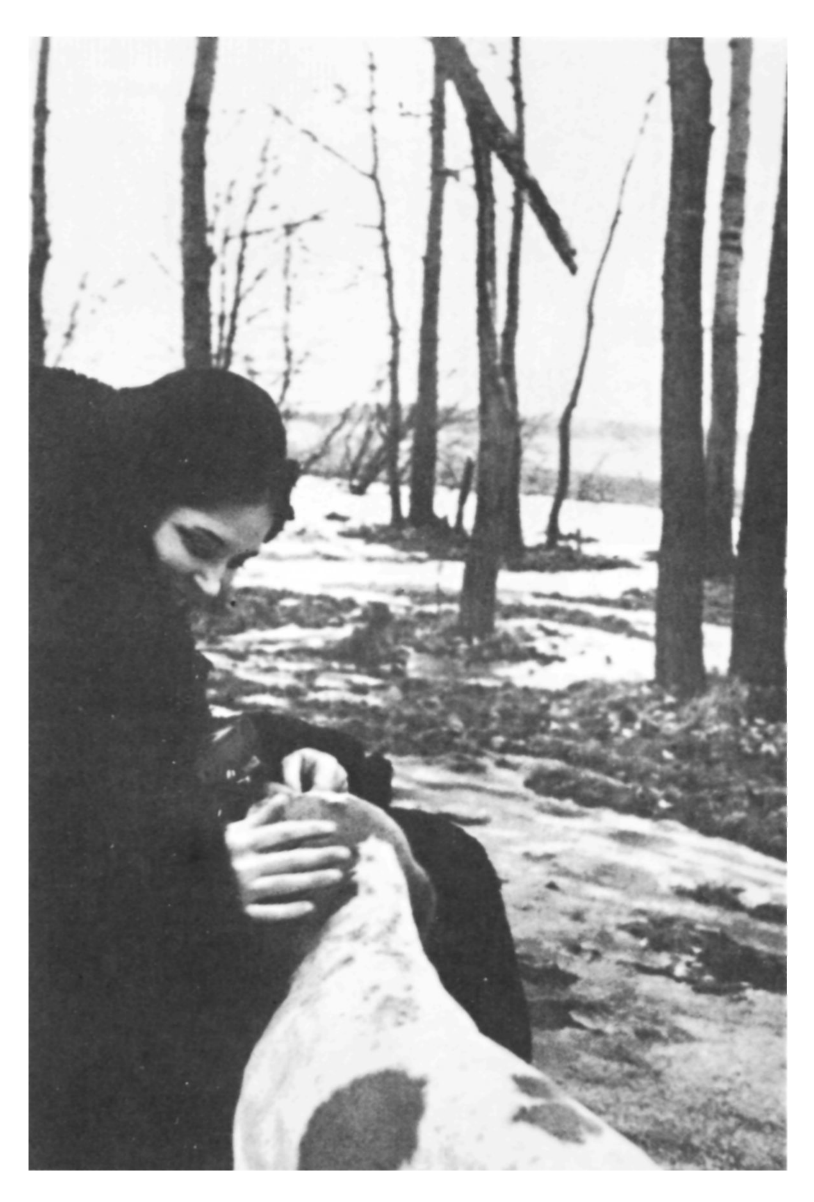
Вологда. 1935 г.
Фото М. М. Пришвина

Архангельск. 1935 г.
Фото М. М. Пришвина





Бетал Калмыков.
Фото М. М. Пришвина



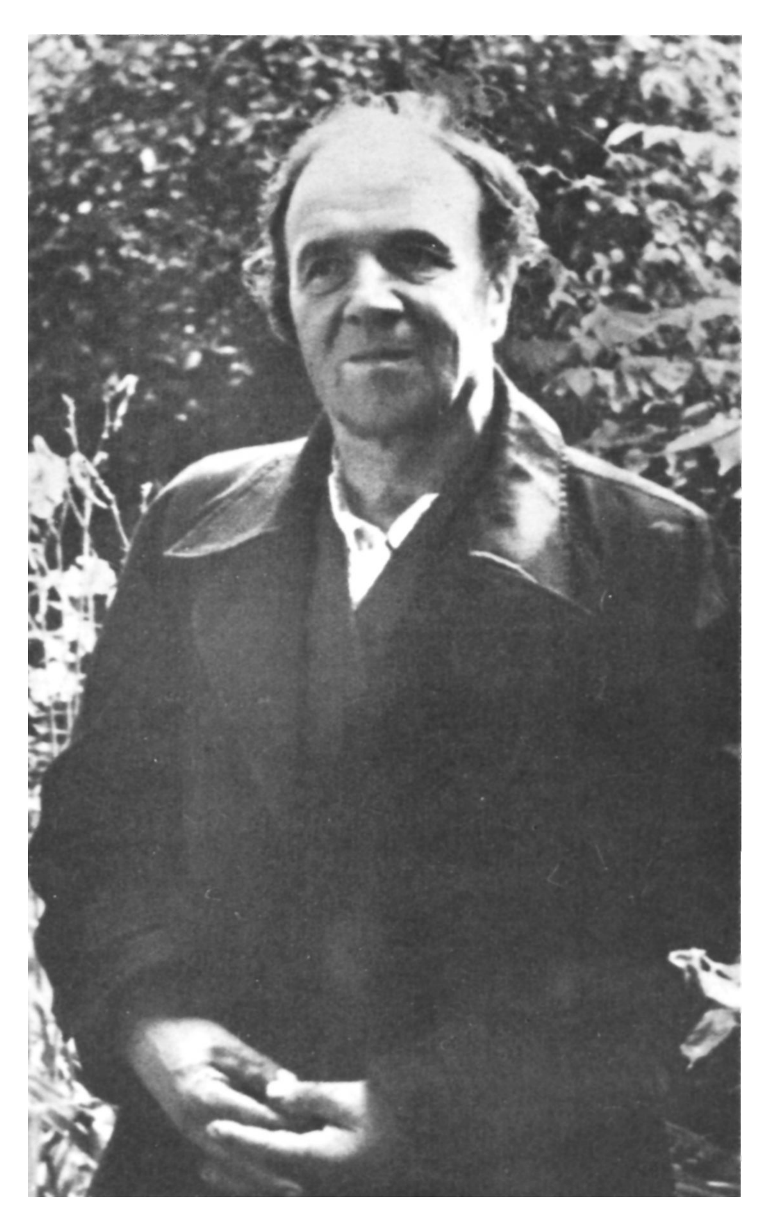
Валерия Дмитриевна Лебедева — вторая жена писателя.
Тяжино под Москвой. 1940 г.
Фото М. М. Пришвина



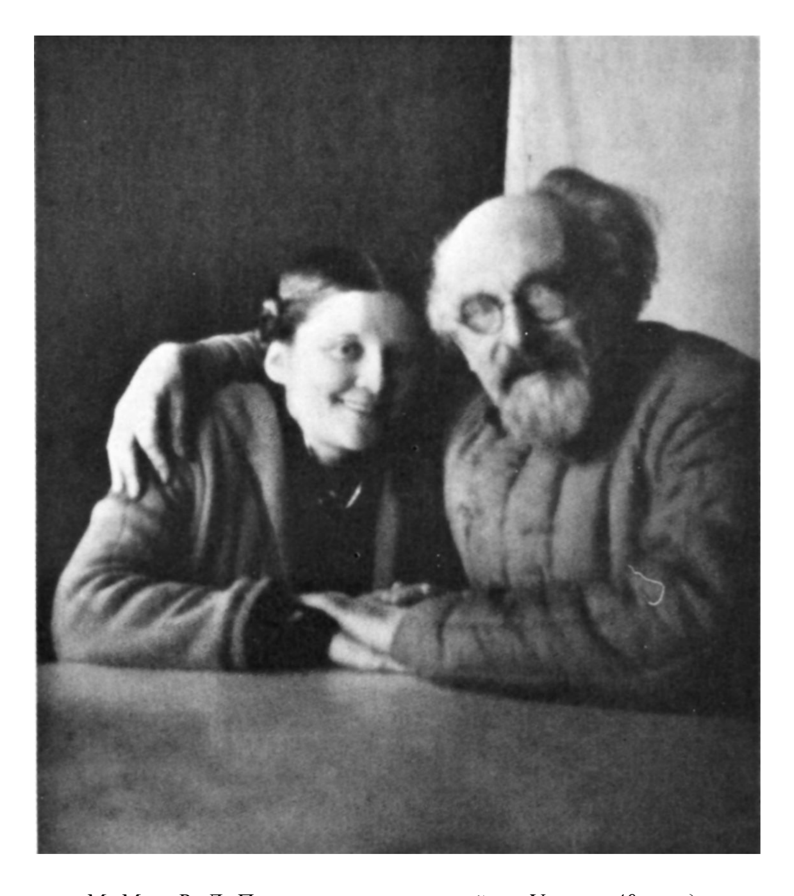
Р. В. Иванов-Разумник. Тяжино. 1940 г.
Фото М. М. Пришвина

Дом в дер. Усолье под Переславлем-Залесским,
где Пришвин жил во время войны с 1941 по 1944 гг.





Д. Коршунов из деревни Хмельники, друг писателя



М. М. и В. Д. Пришвины во время войны. Усолье. 40-е годы

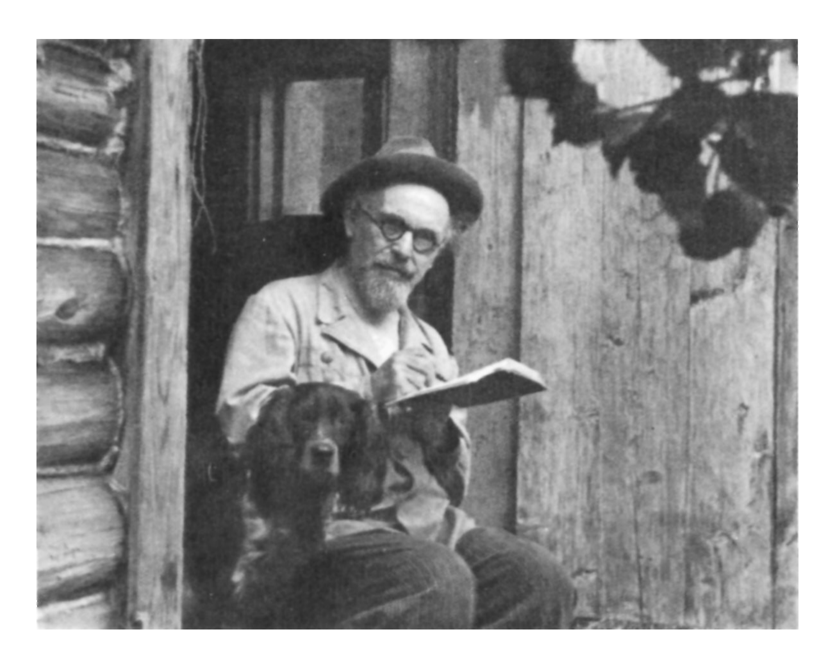
Такие фотокарточки работы Пришвина посылались на фронт.



Семья Н. Воскресенского. Пушкино. 1945 г.
Фото М. М. Пришвина.

М. М. Пришвин с Н. Воскресенским
в Пушкине под Москвой.
Ремонт машины. 1945 г.

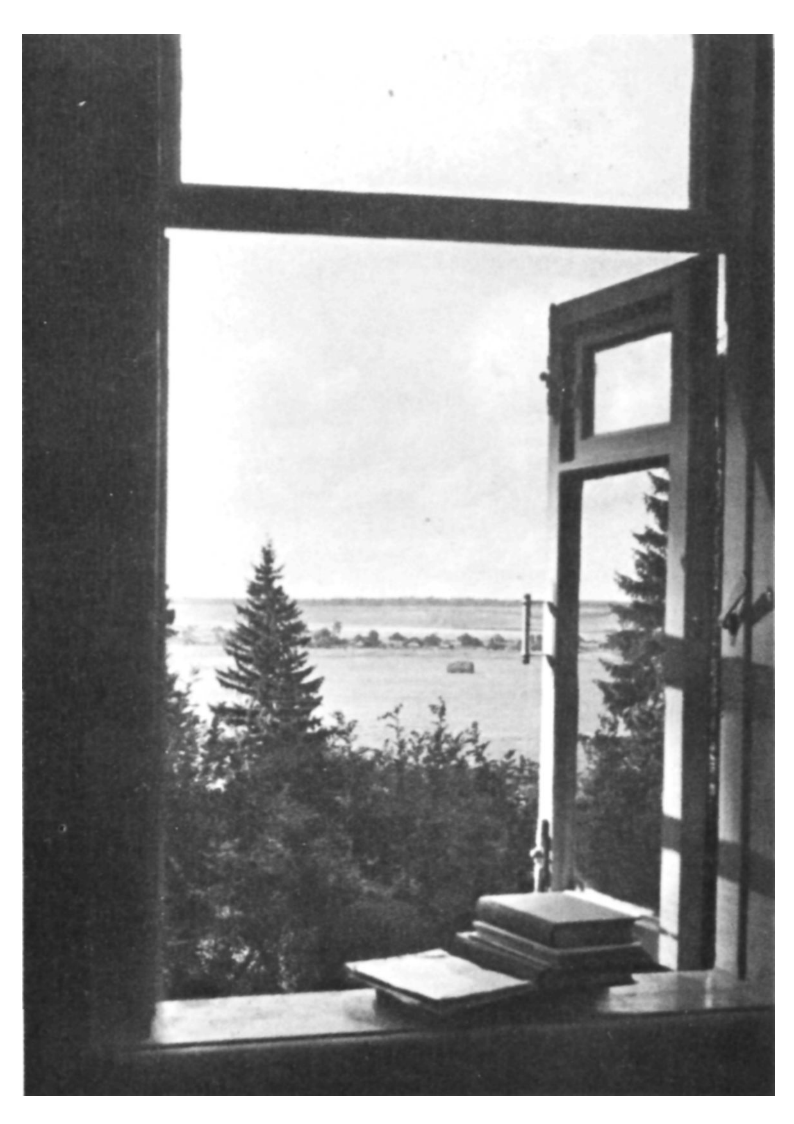




*М. М. Пришвин во время работы над «Кладовой солнца».
Пушкино. 1945 г.*

*Дом М. М. Пришвина в дер. Дунино под Москвой. 1947.
Фото М. М. Пришвина*





Вид из окна кабинета писателя. Конец 1940-х гг.
Фото М. М. Пришвина



М. М. Пришвин в Дунино. 1948 г.



В. Д. и М. М. Пришвины на берегу Москвы-реки в Дунино. 1950 г.



М. М. Пришвин и С. Т. Коненков, рядом Жулька. Дунино. 1948 г.



Иранский поэт Г. Лахути с женой. 1948 г.

М. М. Пришвин с художником В. М. Никольским на дунинском берегу. 1951 г.





Михаил Михайлович с Аней Мутли. Дунино. 1949 г.



Пришвины в гостях у Капиц. Николина гора. 1950 г.

В Дунино. Сидят: М. М. Пришвин с Р. Н. Зелинской. Стоят слева направо: В. Д. Пришвина с Л. Л. Мутли. 1950 г.





М. М. Пришвин. 1948 г.



М. М. Пришвин с художником М. Ивановым. Дунино. 1952 г.



Г. С. Верейский за работой над портретом писателя. Москва. 1948 г.

Юбилейное заседание, посвященное 80-летию писателя.
Слева направо: К. Паустовский, И. Новиков, П. Чагин, В. Катаев,
М. Пришвин. Москва. 1953 г.





Птица Сирин. Надгробный памятник работы С. Т. Коненкова на могиле М. М. Пришвина. Введенское кладбище в Москве



О. В. Лепешинская выступает на заседании, посвященном годовщине кончины М. М. Пришвина. 1955. Москва

Годовщина кончины писателя. В московской квартире Пришвиных. Сидят слева направо: Е. А. Мравинский, В. Д. Пришвина, А. Г. Попова, К. С. Родионов, Е. А. Мравинская. Стоят слева направо: В. Белов, Г. А. Ершов, Е. А. Петрова, Н. С. Родионов, К. Т. Лебедева

